

ISSN 0130-7673

ЖО В Ы И М И Р

||
11
||

ЖО В Ы И
М И Р

|| 1986 ||

11



1986



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 11

Ноябрь, 1986 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ — Из книги «Третий круг», стихи	3
ВЛАДИМИР КРУПИН — Прости, прощай... Повесть	5
АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК — Тридцать шесть и шесть, роман. Продолжение	59
МАРК ЛИСЯНСКИЙ — Стихи	125
ДЖОН АПДАЙК — Кролик разбогатеет, роман. Продолжение. Перевела с английского Т. Кудрявцева	128
ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ — Когда... Стихи	187
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО — Тишина каштанов, поэма. Вступительное слово Андрея Вознесенского	191
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ — Стихи. Публикация и вступительное слово Ирины Чепик	197
ПУБЛИЦИСТИКА	
БОРИС КЛЮЕВ — Раджиш и его поп-мистика	201
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Л. ЛАЗАРЕВ — На всю оставшуюся жизнь... Заметки о повести Василя Быкова «Карьер» и некоторых проблемах литературы, посвященной Великой Отечественной войне	217
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Культура и личность. К 80-летию академика Дмитрия Сергеевича Лихачева	238
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	243
А. Бочаров. Мера нашей ответственности.	
Ал. Михайлов. Поэт и поколение.	
Вадим Баевский. Пристальное зренье.	
Мария Зоркая, Сергей Дмитренко. Сад, где тропинки сойдутся.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	256
Л. Маркелова. Ради мира и прогресса.	
А. Валентинов. Гигант духа и мысли.	
Вик. Ерофеев. Наедине с Марком Аврелием.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Т. Ланда.— Михаил Шатров. Так победим! Шесть пьес о Ленине ♦	
Владимир Тучков.— Сергей Дрофенко. Стихотворения. ♦	
Лев Разгон.— С. Николаева. Анатолий Алексин. Очерк творчества. ♦	
Александр Фюрстенберг.— Антон Лигов. Со строкой наперевес. Афоризмы, шутки, каламбуры. ♦	
Н Попова.— Рене Андрие. Стендаль, или Бал-маскарад. ♦	
В. Григорьев.— П. В. Московский, В. Г. Семенов. Ленин в Италии, Чехословакии, Польше. ♦	
Григорий Резниченко.— Николай Иванов. Встречи в ГДР. ♦	
С. Неретина.— Т. В. Васильева. Афинская школа философии. Философский язык Платона и Аристотеля.	266
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ



ИЗ КНИГИ «ТРЕТИЙ КРУГ»

Страда

В течение года,
В кругу отлетающих дней
То этак погода,
То так погоняла коней.
То била по всходам
Разящим огнем по весне,
То — с новым заходом —
Шла ливнем, подобным стене.
То — градом, то рядом
Ветрами вела обмолот.
Отнюдь не парадом
Для пахаря был этот год.
Но сделано дело —
Под крышей хлеба и корма.
И время пришло —
Простерлась вдоль поля зима.
Трещит среди ночи
И просится в печку сосна.
А пахарь хлопочет
Всю ночь на току — не до сна.
То жатка, то шатко
Коленчатый крутится вал.
То просто нехватка
Деталей: не гонит их «вал».
Глядит сквозь березу
Луна ледяная, бела.
Корону — к морозу,
Как нимб, над челом вознесла.
Когда еще в поле
Пробьются ручьи сквозь мороз...
По собственной воле
И доле он тянет свой воз —
Под ливнем ли прущим,
В пургу ли... Ах, если и мне б
Страдать лишь о сущем,
О самом насущном, как хлеб!

Недоумение

Зачем живешь ты с хмурым видом
И так встречаешь дня приход,
Как будто он к твоим обидам
Обиды новые несет?

Да чем ты так обижен кровно:
Тем, что увидел белый свет,
Который светит пусть неровно,
Все ж благосклонно столько лет?

Что в жизни той, отнюдь не краткой,
Ты был у мира на виду
И жил в том мире не украдкой —
Знал и победу и беду?

Чего ж еще? Но разобраться,
Твой скорбный вид — укор судьбе.
Уж где там громко рассмеяться —
Не улыбнуться при тебе!

Что облаков? Что птиц круженье?
Свеченье куржака зимой?
Живешь, как будто одолженье
Тем жизни делаешь самой...

А жизнь, того не замечая,
То вишеньем над головой,
То красной гривой иван-чая
Метет вдоль тропки луговой.

Вот солнца шар за обелиски
Садится в скошенную рожь...
Зачем так жизнь ты ценишь низко,
Зачем так хмуро ты живешь?

На повороте

Побелела моя голова,
Построжала ко мне моя муза.
Где слова? Все слова — как трава,
Как в степи, под снежком, кукуруза.
А ведь было: что — хлеб, что — цветы,
Солнца ль свет, светлячка ли свеченье, —
Все казалось одной правоты,
Все годилось для стихотворенья.
Нынче возраст разборчивей стал,
Стало время и слово дороже.
Шелест листьев за мысли кристалл
Принимать мне сегодня негоже.
Нынче ветер гуляет такой —
Отлетает от злака полова.
И не час тот, что — мой,
Под рукой
Всей простершейся жизни основа.
Пусть в той жизни конец не далек —
Мины хлещут вокруг без стеснений,
Все тесней: перелет, недолет...
Тем дороже она, тем бесценней.
И разменивать на пустячки
Эту жизнь мне не то что обидно
И не то что, сказать, не с руки, —
Но смешно, недостойно и стыдно.

ВЛАДИМИР КРУПИН

★

ПРОСТИ, ПРОЩАЙ...

Повесть

Это было тогда, когда я, как солдат в отпуску, влюблялся в проводниц и официанток, и даже позднее, когда заглядывался на медсестер и пионервожатых, когда еще жизнь воспринималась наградой, хоть и непонятно за что, а не обязанностью, когда переустройство мира в сторону правды и справедливости казалось элементарным,— тогда еще не было знания, что переустраивать надо себя, а не мир, что после этого мир сам переустроится, — когда сочинение стихов было естественной потребностью организма, когда двух часов сна в сутки доставало для бодрости, но когда при возможности легко было и продряхнуть целые сутки; тогда это было, когда я увидел, что на тротуары валят соль, самую настоящую соль, которой я привык дорожить, когда к весне обрубали до полного уродства уличные деревья, используя для этого приспособление, называемое экзекуторским словом — секатор; тогда это было, когда все знали, как выращивать кукурузу, но выращивали ее без особого рвения, когда в литературу входило фронтовое поколение и мы всерьез бунтовали против старых институтских программ,— именно тогда мы были студентами, «а это слово,— как пелось в песне,— что-нибудь да значит». Встряхнись и блесни стеклами аудиторий,

Московский областной пединститут!

Вспомни нас, пришедших в тебя в начале шестидесятых годов из армии. А служили тогда по три, по четыре года. Так что, по мнению студенток, мы вполне годились как кандидаты в мужья. И были мы женихи поневоле. А если еще добавить, что, по преданию, здание, в котором мы учились, было именно то, где Пушкин танцевал с Гончаровой, если принять во внимание профиль института и наш факультет — литературы и русского языка, где расцветал, входил в формы каждый цветок сборного букета разнообразных невест, так что, беря все это в рассуждение, выхода не оставалось — следовало жениться.

О, наш милый МОПИ был известен не только лозунгом: «Попал в МОПИ, так не вопи!» — но и невестами. Не знаю, кто как думает, но я за то, чтобы считать лучшими женами не кого-либо, а учительниц. Они знают трудности воспитания, они научены справляться с различными коллективами школьников, так что одного переростка уж как-нибудь да воспитают.

Гордая слава МОПИ как о базе перспективных, первосортных жен держалась незыблемо. Не знаю, как сейчас, но тогда студенты всех окрестных вузов — института физкультуры, авиационного, иног-

да геодезии и аэрофотосъемки, трех военных училищ — напрашивались к нам. Да что говорить — бауманцы валялись в ногах у нашего комитета ВЛКСМ, выклянчивая договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи в проведении внеучебного времени. Так что нельзя думать, что мы, единичные лица мужского пола на литфаке среди сотен девушек, могли не бояться конкуренции, нет, не так. Но мы были чаще на виду — отсюда вывод.

Жили мы в общежитии в Лосиноостровской по Ярославской дороге, называемой ласково северянкой, а в обиходе чугуноккой. Лосиноостровская тогда только что вошла в черту Москвы, только что была завершена кольцевая автострада, и постоянным на пять-шесть лет было ощущение ломки и разрушения старых домов и строительства новых. Строились тогда в основном хрущевские пятиэтажки, из которых состоят, например, Кузьминки, неважные дома, но тогда и это был выход из положения. Тогда же в Москве появились перебои в снабжении — следствие сношения окрестных колхозов и совхозов и обобществления домашнего скота. То есть то, что сейчас поправлено, тогда лихорадило общественную атмосферу и рождало слухи. Но это как-то не касалось нас — жили мы в своей пятиэтажке и не тужили. Гуманитарии по традиции занимали пятый этаж — это было несправедливо. А почему не физмат, не иняз, не физкульт, не геофак? Почему, спросили мы у студсовета. Нам ответили: потому. Нам — Леве, Витьке, Мишке и мне, жителям единственной парнишечьей комнаты на пятом этаже, — стало лучше б на нем и не жить, так как на том же студсовете нас лишили умывальника на своем этаже и мы бегали на другие. Легко ли? Но в остальном именно нам было неплохо. Взять вечерние часы: сорок девять комнат, во всех пьют чай, и нам, пятидесятой комнате, вездерады. Вот в доказательство тогдашние стихи: «Жизнь — базар, купи и продай, спорь за цены в Мосторге. Но как мне воспеть вечерний чай при старосте и комсорге? Как варенье воспеть — эту редкую сладь? Из души, нервотрепками взвითой, грусть-тоска была да сплыла, унеслась! И дешево и сердито. Сидят активистки и шторы шьют, нитку в ушко суют со рвением. А я, бездельник, треплюсь и пою их красоту и варенье».

Жили мы безалаберно, но слово это, обозначая легкомысленную неустроенность жизни, не обозначает ее незаполненности. Все у нас было, и всего было много: часто театр, выставки, книги — читали мы непрерывно, купили вскладчину проигрыватель, и потом каждый тащил пластинки. Этому проигрывателю — рижскому «Аккорду» — надо поставить памятник. Три года он работал почти круглосуточно. Начиналось с Мусоргского, «Рассвет на Москва-реке», увертюры к «Руслану и Людмиле», Бородин «Времена года» Чайковского, конечно, Моцарт, уроки немецкого и английского, эстрада (тогда ведь тоже были свои модные певцы и певицы, ушедшие в забвение, как всякая мода). Проигрыватель утаскивался на кухню, и туда нам было не пробиться — не только от малого числа конфорок и тесноты, но скорей оттого, что нас просто выпихивали, чтобы мы подольше не шарахались от повседневного женского вида. Да и каково было нашим студенткам одеваться. На нашу-то стипендию. Стипендия в педвузе тогда была такая крохотная, что не буду и называть, а то подумают, что жму на сочувствие.

Мы, парни, работали. Этому помогало то, что учеба на литфаке начиналась в два часа дня. Мишка, четвертый жилец комнаты, долгое время не работал. Он намекал на покровителя, какого-то сильно высокого дядю чуть ли не из ЧК, а то и вовсе из ЦК. Мишка намекал и на то и на другое. Вдобавок ему крепко помогали из дома. Наши дяди сидели по деревням, в домах тоже не было полной чаши, надеяться было не на кого. Лева работал в железнодорожной фотомастерской, делающей плакаты по технике безопасности, Витька грузчиком на заводе, я устроился всех фруктовей — на мясокомбинат. Туда при-

вел меня брат знакомого офицера из моей части. Работал я в ночную на линии, делавшей колбасный хлеб нескольких сортов: отдельный, любительский, московский; рядом были цеха, производившие ветчину в форме, студень, буженину и незабвенный карбонат. Почему-то его я особенно любил. И вообще с тех пор, со времен мясокомбината, я наелся мясных изделий на всю дальнейшую жизнь. Еще и оттого, что потом за всю дальнейшую жизнь я столько мясных изделий и не видывал. Забегая вперед скажу, что, приглашенный недавно на пятидесятилетие многотиражки «За мясную индустрию», я не мог утерпеть, чтоб не пожелать всем советским людям появления на их столах всего того изобилия, что предстало гостям юбилея.

Мои доармейские и армейские профессии для мясокомбината ничего не значили, меня держали в чернорабочих, платили мало, а хоть зато сыт был всегда. Был бы пятак на метро, да три копейки на трамвай, да добраться бы до проходной, а там обжирайся. И хоть и стыдно было перед ребятами за свою сытость, они сами же требовали рассказывать о моих занятиях. Где только не гоняли на мясокомбинате, какую только дыру мной не затыкали, чего только не пришлось: возил в тачках от печей в холодильник готовый колбасный хлеб, расставлял там по полкам, закрывал и открывал огромные обледеневшие двери, потом мокрый, все в том же легком халатике составлял охлажденные хлебы с полок в контейнеры, подавал их к спусковому лифту, выволакивал на платформу к весам, там передавал ночным грузчикам, грузившим в огромные рефрижераторы для отправки по назначению. Все это было под силу, то ли еще приходилось в армии, но к одному надо было приловчиться — ходить по скользкому от жира и крови кафельному полу. Как его ни терли содой и солью, жир, казалось растворенный вместе с копотью, оседал, и вновь возникал на полу сероватый слой. Кровь сочилась из бочек, которые везли туда и обратно по всем этажам: из обвалочного в ветчиннопосолочный, из засолки на разделку. Хватало крови. В комплект спецодежды рабочих мясокомбината кроме халата и белого колпака входили деревянные сандалии, и всегда сквозь рева газовых печей, грохот «волчков» — гигантских мясорубок — слышался непрерывный колодочный стук, примерно такой, как в час лик в переходах метро, когда останавливаешься у стенки и прикрываешь глаза.

Работой потяжелее было подавать снизу из подъемника деревянные окровавленные бочки с мясом, а еще надсаднее загружать кусками мяса огромную мясорубку. Норма была за ночь девять тонн. Раз я перекидал двенадцать, но к утру чуть не упустил в воронку железные вилы. Именно вилами подавали мясо. Хорошо, что предшествующая жизнь приучила меня к вилам, и хоть мясо тяжелее навоза, но сноровка есть сноровка.

А один раз была смешная работа — меня посадили вместо заболевшей пенсионерки штамповать этикетки продукции комбината. Уже и тогда это было пора делать машине, тем более всю мельтешили статьи о структуральном анализе, споры о машинном творчестве, нет, до этикеток не додумались — сидел и штамповал номер месяца и число. Это было так легко, что под утро я заснул и ткнулся лбом в работу, отпечатав на лбу долго не смываемую послезавтрашнюю дату.

Студентки со страхом спрашивали: а как происходит это самое? В этом самом месте, где убивали коров и свиней, на заводе первичной переработки скота я не бывал, но как не приврать. Врал, что чуть ли не сам убиваю. Тем более и «Джунгли» Синклера о чикагских скотобойнях были прочитаны, нельзя было уступать американцу.

Ну так вот. Тяжелую я работу делал или легкую, но был всегда сыт. Рабочие при печах варили себе деликатесы — бульон, например, из бычьих хвостов. Или жарили свежую вырезку. Но чаще обедал в столовой, где совершенно сытный, свежий обед стоил пятнадцать ко-

пеек. Такая дешевизна была сделана сознательно как средство против воровства. Никогда почему-то не забыть возчика из подготовительного цеха, который приходил с кнутом, брал два первых, крошил в них полбуханки, вставал и стоя выхлебывал обе тарелки. Потом садился, надевал шапку, закуривал, брал в руки кнут и уходил.

Когда говорят, что сытый голодному не верит, то надо спрашивать: кто этот сытый? Как было не сострадать моим друзьям, явившимся с флотских харчей? И я постоянно думал:

Как накормить друзей?

Старославянский, языкознание, античная литература, устное народное творчество... они хоть и не требуют чертежей, на что обычно жалуются в технических вузах, но достаются тоже не с налета. И при всей силе молодости силу эту надо поддерживать. И снова — как не изумиться нашим студенткам. их быту? Они в основном были из Московской области, так как наш институт назывался областным и в него принимали только из Москвы и области, иностранцев не было ни одного, меня же приняли только оттого, что я служил в Московском военном округе, как и Лева и Витька, которые последний год дослуживали при штабе Военно-Морского Флота. Наши девчонки на выходные разъезжались по домам и оттуда привозили продукты, иначе бы им не вытянуть. Нам продукты было возить неоткуда. Мишка питался как-то загадочно, но голодным мы его не видели.

Речи о том, чтоб я что-то вынес за проходную, не было. В проходной всегда обыскивали. На видном месте висел стенд с фотографиями пойманных на воровстве. И я сытый, но с пустыми руками возвращался в нашу комнату, всю увешанную фотоплакатами по технике безопасности. Рассказы мои о тоннах невиданной в продаже жратвы становились бессовестными. Но помогла потеря. Я потерял пропуск. Меня потаскали по начальству, в караул, дали выговор и выдали дубликат. А пропуск нашелся. Он был в учебнике старославянского. Всегда на бегу, в метро, в трамваях, да где угодно, мы не выпускали из рук учебники. Вот, видимо, заторопился и забыл. Я дернулся сдать пропуск, но родилась мысль сводить ребят по очереди на работу и накормить хотя бы по разу как следует. Тем более чтоб не думали, что я вру про изобилие.

Мы были примерно одинакового роста, одного типа лица, русые. Кстати, немного позднее, когда мы по линии шефства дружили со студентами университета имени Патриса Лумумбы, один китаец говорил мне, что так же как они нам, так и мы им кажемся совершенно на одно лицо.

Парни мои долго сомневались, наконец решили: рискнем. Составили очередь. Первыми побывали моряки. В раздевалке я просил еще один халат, обувь оставалась своя, потому что ходить в колодках надо было уметь и новичков сразу бы заметили. Я провел их где посуше, накормил как следует, но в убойный цех не повел, да они и не просились. Кстати, и сам-то я не был там долгое время, так только, врал.

Последним повел Мишку. Переодел, привел в склад-холодильник. Он недоверчиво смотрел на длинные полки, заставленные мясными буханками.

— А не посадят?

— Да бери любую! — И чтоб поощрить Мишку, разломил мясной хлеб, выкусил середину, остальное картинно кинул в браковочный ящик: — На ливер или на студень.

Мишка, можете мне не верить, схватил другую буханку и... съел ее почти всю. Только корки оставил. Пошли дальше. Через колбасные цеха, где Мишка ел, именно ел, а не пробовал в отличие от Левы и Витьки различные сорта колбас — от простых вареных, доктор-

ских, диетических, до ветчинно-рубленых, копченых. Ел простые и охотничьи сосиски, все ел. Бедный Мишка, когда мы пришли в цех, где делали ветчину в форме, потом окорока, буженину, карбонат, вещи все вкусные, есть их он не смог физически. Но так хотел! Чуть не плача, спрашивал:

— Неужели нельзя хоть кусочек взять с собой?

— Нельзя.

— Тогда ты иди работай, а я похожу, похожу и опять есть смогу.

— Ладно, ходи.

В тот день я не был у конвейера, был на студневарке, то есть мог отлучаться и навещать Мишку. Он ходил по коридору, тужился в туалете, но организм ничего из себя не выпускал и не принимал. Смена кончилась, надо было уходить. Мишка попробовал насильно сжевать кусок окорока, но случилась тошнота. Мишка вышел из туалета зеленый и есть больше ничего не хотел.

— Ты ведь не Гаргантюа, не Пантагрюэль,— говорил я в трамвае.

— Кто, кто?

— Читать надо по программе,— назидательно отвечал я.

Но Мишка поел еще все-таки колбасы в тот день. У кого-то из нас была получка. И, конечно, пирушка по этому поводу. Это, кстати, одна из причин, почему не держались деньги — их пускали на общие радости. Мы не были ангелы и частенько боком мимо комендантши волокли на сдачу десяток-другой пустых посуды, но сразу скажу, что дико было потом слышать о серьезной проблеме пьянства среди студентов. Нет, этого у нас не было.

Как водится, на выпивку хватило, а на закуску осталось только на ливерную колбасу. Наглядевшись, как ее делают, я взмолился:

— Парни, давайте хоть в кипятке обварим.

Поставили чайник, вода закипела, опустили колбасу. Слабая оболочка лопнула, колбаса превратилась в жидкую кашницу. И вот — не забыть даже ради юмора — наливали в стакан выпивки, в другой этой жидкой кашницы из чайника, и получалось, что мы не закусывали, а запивали колбасой. Но и то обычный девчачий рацион: селедка, хлеб, чай с подушечками — был в дни наших получек разнообразнее.

Но — дело прошлое — пару раз я порадовал пятый этаж мясными изделиями. Чем-то я приглянулся охраннику в проходной. Я их не запоминал, всегда бежал, торопился с мокрыми после душа волосами, старался подставить голову сквознякам, чтоб волосы высохли до занятий, в проходной терпел ощупывание, показывал и прятал пропуск и бежал дальше. Но один раз меня обыскали тщательнее обычного. На другой день тоже и на третий. Это очень противно, когда тебя обыскивают, но ведь и у них работа собачья. На четвертый раз охранник завел меня в комнату досмотра, там никого не было.

— Ты студент?

— Да.

— У меня сын тоже студент. В общежитии живешь?

— Да.

— У меня тоже в общежитии, только в другом городе. Голодно небось?

— Мне-то с чего голодно? Мне б только сюда доехать.

— А до завтра как? Вечером-то как?

— Ну, не неделя же. Чай пьем.

— А вот выходные. Как?

— Да ничего, живем. Парням похуже. Но тоже работают, так что терпимо.

— На вот порадуй товарищей.— И охранник стал совать мне два батона дорогой сухокопченой колбасы, которая даже и для работников комбината была редкостью, потому что делалась в цехе, куда

нужен был особый пропуск.— Бери, бери,— совал он.— Не бойся, еще не ученная. Бабу засекали, пожалели: одинокая, дети, без мужа, акта не делали, так, внушение.

— Ни за что не возьму. «Мало ли что, — подумал я про себя,— знаем мы вашу породу: заметут, а мне в институте позориться да еще такой работы лишаться».

И так и не взял. Он уговаривал меня и завтра и послезавтра, и я видел, что он не хочет засесть меня, и окончательно дрогнул, когда он признался, что сын у него не студент, а сидит и что он думает, что если я возьму колбасу, то и его сыну кто-нибудь поможет. Тогда я взял, и мои однокорытники узнали, какие продукты может производить мое предприятие. И еще пару раз по договоренности с охранником я выносил на своем теле, обмотав себя как пулеметными лентами под плащом сосисками, а второй раз сардельками. Трусил, конечно, но издали видел, что в проходной именно он, шел смело. Ощупав меня, он радостно говорил: «Молодец, сынок!» — и подталкивал на свободу. Но так как охранников специально переводили с поста на пост, то и моего благодетеля куда-то перевели. Куда — не знаю, ведь мясокомбинат огромен и по территории и по числу работающих, постов охраны наткано везде, где его искать. У других охранников, видимо, никто из родных в тюрьме не сидел, меня чего-нибудь стащить больше никто не уговаривал, а сам я не рисковал. Потом, уже работая в газете комбината, я храбро переделывал Лермонтова для сатирической страницы: «Бежал Гарун быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла, он колбасу тащил в кармане, да вот охрана засекала».

Освоившись с замысловатыми комбинатскими переходами, выкраивая время для занятий, я носился по переходам и коридорам бегом, по каким-то немисливо ржавым мокрым лестницам вдоль осыпающихся стен, из которых под ноги кидались крысы, и раз залетел в камеру дефростации. Я изучал немецкий и знал, что «фрост» — это мороз, а приставка «де» обозначает обратное действие. То есть я сам допер, что камера дефростации это камера разморозения. Туда по подвесным дорогам на крючьях прикатывались огромные говяжьи туши. Они все в инее, так как иногда находились в холодильниках по несколько лет. В камере дефростации туши, вернее их лодкообразные половины, размораживались посредством сильных струй воды, сначала холодных, потом в течение часа доходящих до кипятка. Вот в этой камере меня и заморозило и разморозило.

Я был с ночной смены. Радостно мчался в столовую, думая поест и успеть на раннюю электричку. Заскочил в камеру и побежал насквозь, ежась от холода, задевая плечом сыплющийся с бывших коров иней, и был уверен, что проскочу. И довольно быстро пробежал между рядами, но дальние двери прямо на глазах с лязгом сомкнулись, я ахнул и кинулся обратно. И уже издали услышал, как взвизгнули колесики под полотнами этих ворот и как полотно, смыкаясь, стукнулось. Свет погас. Было близко до ворот, и, несмотря на темноту, я мог бы добраться и стучать. Но так как я нарушил правила техники безопасности и мог кого-то подвести, то стучать не стал, наивно решив, что у стенки или ворот будет сухое место. Как сказали бы в моей Вятке: ума нет, так беда неловко. Хлынула вода. Хорошо еще пропуск был завернут от влажности и крови в целлофан, тем более уже и не пропуск, а дубликат, а уж его гибели не простили бы. Вода была ледяной. Нащупав огромную, как горбыль, половинку туши, я развернул ее, в соседнем ряду развернул другую половину, устроив примерно такой шалашик. Шум воды был как у... Ниагарского водопада, хотел написать, но там не был и права на такое сравнение не имею, но шум был ревуший. Сколько ревели и хлестало до появления теплой воды, не знаю. Половинки коров, мои защитницы, отмякли и стали скользкими, а потом и вовсе поползли: конвейер

протягивали, чтоб подставить под брандспойты разные места мясосырья. Теплой воде я обрадовался и от нее не берегся, но, когда сила ее стала нагнетаться, затосковал. И пол-то подо мной поехал, на нем двинулись скребки в желобах, стоняющие воду, кровь и грязь в сливные люки. Сливалось плохо, снаружи это учли и включили втяжные насосы. Я нашел место, где хотя бы пол не двигался, и подбадривал себя тем, что все-таки в аду «Божественной комедии» было пострашнее. Еще спасло то, что полной темноты все ж не было — красный сигнальный свет у дверей высветил огромную ванну, в которой я и спасся от кипятка. Она была полна воды. Я потрогал — холодная. Но начинался горячий сверху и с боков ливень, и думать было некогда. Я залез в ванну, натянул халат на голову и терпел. Когда было невоготу от банного ударяющего жара, окунался. Так и выжил. И нигде не обварился. И не заболел. Да, все души, о которых потом узнал, все эти Шарко и веерные — детский сад по сравнению с камерой дефростации. Двери раздвинулись, к счастью незамеченный — пересменка, — я побежал, уж не до еды, в раздевалку, попросил сухой халат и новые колодки.

Как раз в это время начинало играть утреннее радио, били куранты, и старик-гардеробщик всегда в это время возглашал:

— Москва проснулась! Москва жрать хочет!

Примерно к семи я возвращался в общежитие. Лева и Витька к этому времени собирались или уже уезжали на свою работу. Мишка спал. Я ложился поспать часа на три, просыпался — Мишка спал. Нас это не могло не возмущать. Мы уж и стыдили его, но Мишка был человек, которому плюй в глаза, скажет: божья роса. Эта пословица, взятая и из жизни и с занятий по устному народному творчеству, была сказана Мишке, но... Мишка спал, как медведь в спячке, как сурок. По вечерам, как кот, уходил куда-то и возвращался, загадочно облизываясь и произнося фразу: «Большое удовольствие получил». Назревала мысль:

Как проучить салажонка?

Его даже не проучить следовало, а отучить. Чтоб не считал себя учнее нас. Витька как-никак был старшина первой статьи, Лева второй, я кончил службу старшим сержантом, а этот салажонек зеленый, каких мы за людей не считали, считает себя умнее нас.

— Да, в общем-то, и умнее, — говорили мы на военном совете старшин запаса, — и дядя у него, и деньги ему из дома шлют, и не работает, и девчонки за него курсовые пишут.

— Будут писать, он в моей тельняшке к ним ходит, вот ему... получит он у меня, — говорил Лева. — И перед сном где-то пасется.

— Еще бы не пастись, — говорил Витька, — я натаскаюсь плоско, накатаюсь круглого, мне недосуг.

— А я вообще по часу в закрытой камере под душем, — поддерживал я.

Был воскресный день. Мы накануне договаривались сделать генеральную уборку, и Мишка об этом знал. Но как-то ускользнул. Плевать! Велика ли комната после тех пространств казарм и палуб, которые нами были мыты-перемыты. Мы врубили проигрыватель на полную глотку, тогда в новинку были мягкие пластинки-миньоны, нам кто-то подарил запись модного тогда певца Тома Джонса, и вот под его вдохновляющий хриплый голос мы крикнули: «Аврал!» — и стали двигать кровати.

— Стоп, машина! — закричал Лева. Он как раз двигал Мишкину кровать.

— Ну, салага! — закричали мы хором, сразу все сообразив. За Мишкиной кроватью были вороха оберток и серебряной бумаги от шоколадных конфет — конфет даже по тем ценам не доступным для

нас. Мало того, задвинутая за тумбочку и начатая, стояла трехлитровая банка меда. Попробовали — чудо какой мед!

В коридоре пятого этажа была небольшая открытая зала — рекреация, где обычно собирались потанцевать, просто поговорить. Еще позднее тут шептались и целовались таинственно возникающие из ниоткуда парочки. Вот мы позвали девчонок, вытащили из комнат столы и стулья, накипятили чаю, пока он кипел, сбежали еще за добавками в магазин и сели. Конечно, и проигрыватель был с нами. И прослушав для начала Моцарта, мы встали для говорения слов о человеческом бескорыстии нашего друга.

— Долой слово «тост»! — воскликнул я. — Есть прекрасное русское слово «здравница». Во здравие и за здравие тружениц-пчел эта заздравная чаша...

Как раз явился Мишка. Увидел свою банку и — что значит неслужившее молодое поколение — не дрогнул, сел со всеми за угощение. Пил чай, мило шутил. Взглядывая на нас, восхищенно разводил руками и говорил:

— Ну, ребята, ну, тимуровцы. Нет, девчата, вы посмотрите, какая у нас комната. Девчат, неужели после этого не вернете нам умывальный? А, парни? А мы им по пятерке в дневник поставим, да? — И Мишка смеялся.

— А ты родителей приведешь, — ляпнул Витька.

— Лучше дядю, — велел Лева.

Мишка развел руками: мол, уж это вы зря. Бедный, он думал, что отдался потерей банки.

Чаепитие кончилось. Мы вернулись в комнату, закрылись. Распределили роли. Витька сразу сказал, что будет палачом, а мы как хотим. Лева назвался судьей и прокурором, мне досталось адвокаторство и написание приговора. Забегая надолго вперед, самое время сказать, что Витьку и Леву теперь так просто по имени никто не зовет. Они служат на очень высоких должностях в милиции, и это прекрасно. Кстати, и Мишке тоже надо звонить через секретаршу. Мы иногда, совсем уже редко встречаясь, собираемся как-нибудь заявиться к Мишке и сказать: «Ты помнишь?»

Приговор мой, как и принято, начинался со слова «именем...». В приговоре оговаривались все Мишкины смертные и бессмертные грехи. Дошло до меры наказания.

— Что писать?

— Пиши: сто ударов бляхой по заднице, — велел Лева-судья.

— Нет. — Тут уже во мне заговорил адвокат. — Во-первых, он салага и бляхи не заслужил, настаиваю на ложке. Вы что, даже за лычку у нас больше двадцати не давали.

— Ребя, ребя, — вмешался Мишка, — как хорошо вы убрали, прямо Колизей.

— При чем тут Колизей? — закричал Витька. — Ты штаны снимай, а античку будешь после учить. А то выучишься, а останешься дрянью.

— Ребя, да бросьте. — Мишка не верил в задуманное. — Пошутили, и ладно, я ж мед не жалею, я и сам его хотел выставить, не успел. Вас же все время нет, вы ж все время на работе. Я ж не мог его девчонкам выпить, думал, работаете, силы вам нужны, вам думал. А вот, ребя, знаете, — сказал он, найдясь, — дядя новую мебель завез, антикварную, а старую... Не всю, а кой-что на той же бы машине и подбросил. И ему бы помогли все перетаскать, и нам польза.

— Спасибо, — ответил Витька, — я натаскался. — Снимай штаны. Ложку можешь сам выбрать.

— Я прошу не сто, а двадцать, — вмешался я. — Будет вроде как ефрейтор.

— С чего это двадцать? — возмутился Лева. — Двадцать только для разгонки. Всыпать сотню, чтоб потом не возвращаться.

— Нет, сотню я устану, — сказал Витька-палач, — мне еще латынь учить.

Уши Мишки заалели, сам побледнел.

— Ребята, если вы это серьезно, то вы за это ответите.

— Мы вначале за тебя ответим, — сказали мы.

— Да как же вы смеете учиться на педагогов!

— Да вот так и смеем.

И не посмотрели мы на Мишкиного дядю и Мишку выпороли. В целях страховки Витька предупредил:

— Будешь орать — добавлю.

— А заорет, поставим Робертино Лоретти.

— Лучше Ирэну Сантор или Пьеху, они громче.

Последнее, что сказал Мишка перед этой гражданской казнью, были слова:

— Ну, может, хоть не мебель, так ковер бы он отдал. А то висят какие-то плакаты.

— А ты их читай, — велел Витька, — читай вслух.

И Мишка, плача от горя воспитания, читал: «Выиграешь минуту — потеряешь жизнь», «Не стой под грузом», «Не стой под стрелой», «Не доверяйте свои вещи случайным знакомым», «Не влезай — убьет» и тому подобное.

Следствием порки было то, что Мишка устроился на работу. Но и тут ухитрился не на физическую, а почти на умственную — прикреплять кнопками объявления на щиты Мосгорсправки. Гордился страшно. Объявления, которые отвисели оплаченный срок, приносил в общежитие, и скоро все места общего пользования были улеплены объявлениями о сдаче и найме комнат, квартир, покупке и продаже дач или их части, о пропаже собак, продаже пианино, гитар, и почему-то особенно много было совершенно наглых объявлений о подготовке в любой вуз по любым предметам. Также Мишкиной обязанностью было срывать объявления, висящие вне щитов Мосгорсправки, и он делал это со сладострастием.

— Требуется няня, — презрительно читал он принесенную бумажку, — тьфу, да еще к больному одинокому человеку. Написали бы — прислуга, нет, им надо скрыть истинное побуждение.

— Чего тебе жалко? Возьми и повесь на щит, — говорили мы. — Старуха какая небось. Легко ли!

— Есть же порядок. Приди, заплати, дождись очереди. Тут же система разработана. Это же, я ничего вам не говорю, но не какая-то погрузка-разгрузка.

Еще, гордясь перед нами своей оборотистостью, он хвалился, что дает до вывешивания объявлений читать их ловким каким-то агентам по жилищным вопросам. И это, конечно, не даром.

И тут же поскуливал, что ему нелегко — щитов много, он один. И однажды клюнул на одно из объявлений, которое, устраняя конкурентов, не вывесил, а пошел по нему сам. Швейной фабрике требовались мужские фигуры сорок восьмого размера. Мишка стал манекеном, как он гордо себя называл. У него оказался идеально сорок восьмой размер. По нему подгоняли костюмы. Мишка и нас звал, но нам показалась дикой мысль, что надо надевать костюм только для того, чтоб в нем показаться комиссии и вновь снять и вновь надеть. Что-то уж очень тряпочно-барахольное. Мишка, естественно, стал резко одеваться лучше нас. В один день он приходил в одном костюме, в другой в другом. Форсил на тех этажах, где не знали о чаепитии на нашем. Возвращался в комнату, облизывался и вновь хвастался очередной победой:

— Большое удовольствие получил. Нет, правда, ребя.

Какая там была правда! Мы специально один раз заставили его показать студентку с биофака, которая по его словам валялась у него чуть ли не в ногах. Уши его заалели, он уперся.

— Пиши приговор,— велел мне Витька.— Лев, давай твою бляху, у тебя начищена.

Я выдрал листок из тетради по языкознанию. Мишка испугался, повел и показал невысокую черноволосую девушку, которую Витька отвел в сторону и о чем-то спросил. Она, поглядев на Мишку, засмеялась. Махнула на него рукой и ушла.

— Ты как спросил? Вить, как ты спросил?

— Спросил, знает ли она вот этого Мишку. Эту морфему и фонему.

— И что?

— Вы же видели! Хохотала до слез.

— Она не знает, что такое морфема и фонема,— защищался Мишка.

— Пойдем, спрошу напрямую.

Но Мишка вновь уперся.

Манекенщику хорошо ухаживать при его свободе времени, обновках и достатке. Ведь он, хоть и хвастался заработками, но на общий стол не тратился, а если тратился, то непременно картинно, то есть делал как-то так, что все знали, что вот это вино или эти пряники именно от его щедрот. То есть денежки у него водились, а ухаживать с денежками, известно, веселей. «Пойдем.— говорили мы в шутку своим однокурсникам,— на трамвае покатаю».

Чего-то я зачастил о деньгах, но это из-за Мишки. Осталось сказать о двугривенном. Сказать о событии, происшедшем в

Каникулы любви

Так мы их потом вспоминали. Первую сессию мы сдали, я уж и не помню как, но раз не отчислили, не лишили стипендии, значит, сдали. Все кроме нас с Витькой, разъехались. Нам ехать было далеко, во-первых, во-вторых, решили поработать в две смены, чтоб, честно говоря, приодеться. Это хорошо в общежитии помелькать в отцовском китее. А театр? А выставка? Хоть и сваливали агрессивные выездные билетерши нашему студкому билеты на такие постановки, где кроме нас были только солдаты и приезжие. все равно: и люстры светят, и девчонки приодеваются, и москвичи парни — а их было много — приходят будто для контраста. Я уточняю: это не ущемляло нас, в то время престижность в одежде еще только начиналась, еще только-только ни с того ни с сего героем, образцом для подражания становился спортсмен или артист, но одеться просто по-человечески — после армии, после незажиточной юности — хотелось. Вот и вся причина нашей мечты подзаработать и приодеться. Но после первой сессии остались мы с Витей на бобах. Как ни экономии, додержались до рубля. Завтра у кого-то маячили деньги, но это завтра. А сегодня решили не ужинать, пойти в кино. Сахар еще был, на кухне на окне набрали сухих корок, размочили в сладкой воде и пошли. С рубля сдали двадцать копеек одной монетой. Каждому доставалось по гривеннику утром на дорогу. Хватило бы и меньше — в метро мы храбро проходили на один пятак.

Ну вот. Мы вышли из кино и потеряли эти двадцать копеек. Стали искать, и искали всерьез. Зрители рассеялись, а в конце шли две девушки, и мы — а куда денешься, где возьмешь глядя на ночь? — стали просить у них пятнадцать копеек. Они думали, заигрываем, хотим познакомиться, но мы взмолились всерьез, допуская при этом тактическую ошибку: просили еще и адрес, чтоб деньги завтра же вернуть. Видимо, чтобы мы отстали, одна, повыше, с косой, сунула

нам трешницу, и они пошли. Но вот тут-то мы и привязались. Они к остановке, мы за ними, они в пустой автобус, мы в него же.

— Нет,— говорили мы,— так мы не договаривались. Возьмите обратно, нам не надо. Мы бедны, но горды. А завтра умрет богатая тетка и оставит нам наследство. А пока мы живем и не тужим...

— ...и не планируем, что на ужин.

Начинал один, подхватывал другой. Техника, методика первоначального знакомства проста, общеизвестна, что ее описывать. Да еще если друг хороший, если вышучивать друг друга, да непрерывно говорить приятные, неожиданные, шуточные, многообещающие, в общем, какие угодно слова, скала не устоит. Весело, вежливо, без грубостей. Но и без остановок. В те годы это называлось кадрержкой, сейчас приколом.

— Мы вообще начинаем движение — жить на одну зарплату. Вот получим дипломы и начнем.

— Да! И газету будем издавать «За невероятные трудности», а ведь в них счастье. Нет денег — трудность, так? Но встретили вас — ах, счастье!

— А пока что мы переживаем постоянный период временных неудобств.

— Да! Но кадры решают все.

— Но вскоре мы ежедневно будем говорить хоть три минуты правды, хоть три минуты, пусть потом убьют! — Мы любили раннего Евтушенко.

— Да! И под нашими грубыми одеждами могут быть горячие сердца!

— Да! И вообще, мы устали греться у чужого огня, хочется чего-нибудь такого.

— А трешница... Что трешница? Возьмите ее! И адреса не надо! О как, оказывается, легко оскорбить недоверием! А во Вьетнаме и Конго нас ждут, и уж вот там-то не будет такого недоверия!

Дело кончилось тем, что они стали смеяться назвались Ритой и Наташей, взяли обратно трешницу, дали рубль, но с нашим непременным условием, что мы его отдадим в воскресенье на том же месте во столько-то.

Потом они говорили, что не верили, что мы придем, а мы не верили, что они придут. Но хотелось, чтоб пришли. В автобусе на свету мы их разглядели — красивые. В воскресенье мы купили цветов, новенький рубль положили в конверт с картинкой, завязали ленточкой с бантиком и пошли на свидание.

Оно состоялось.

Нас привели в домик на северной окраине Москвы у окружной дороги, где жила Наташа, которая без косы. Посидели, пили чай, слушали Майю Кристалинскую, а из мужчин Эдуарда Хила. Даже потанцевали, но чинно. Принесенное нами шампанское было выпито за знакомство, за будущую, тоже воскресную, встречу.

Неделя прошла в фантазиях. Мы пока не делили, кто за кем будет ухаживать, хотя оба думали о высокой Рите, о ее роскошной косе.

На новую встречу мы явились во всеоружии. Опять цветы, опять шампанское, конфеты, торт, все в увеличенных масштабах. Мечты о том, чтобы приодеться, вытеснились более заманчивыми мечтами. А потом разве за одежду любят? Это даже еще ценней, когда любят человека, а не оболочку.

Мы разгрузились, стали раздеваться, но мне Наташа сказала:

— Шапку не снимай, иди в сарайку дрова рубить.

А Рита изнутри закричала;

— Витечка, иди банки открывать!

Так что мы уже были распределены. Пытаясь понять, чем же я хуже Витьки, я пошел рубить дрова. Рубил их и старался найти в

Наташе доблести помимо золотистой косы. «Она хозяйственная», — думал я.

Витька прибежал за дровами вприпрыжку, похвалил мое усердие.

— Конечно, как тут Рите устоять, — сказал я, — у тебя нос больше моего, прямо гоголевский. И чего это девчонки большеносых любят?

— Да где тебе, дровосеку, чего понять, — отвечал Витька. — Ты давай, негр, работай, солнце еще высоко. — И опять вприпрыжку, торя поленья, умчался.

Я и работал, да так разошелся, что остался в одной рубашке, без шапки, тем более и работа была на редкость родная. Не нами выведена мудрость, что работа лечит. Я и вылезился от Риты. Мне, как говорится, было и так хорошо, когда разогрелся.

И вдруг услышал истошный женский крик. Выскочил как был из сарайки, увидел группу парней и услышал другой крик:

— Серега, он с топором, беги!

С крыльца кинулся молодой мужчина с окровавленной рукой. Я в дом. Дверь террасы открылась, Витька впустил меня и за мной ее захлопнул. Оказывается, это пришел муж Риты и его компания. Оказывается, Рита была замужем. Кто знал, что внешность Витьки для нее выше условностей брака? Рита успела увидеть мужа, закричала, Витька выскочил на террасу, а муж уже открывал дверь. Витька так рванул дверь, что ободрал ему кожу на руке. А тут и я с топором.

Мы оказались в осаде.

— Ритка, выйди! — кричал муж, прибавляя слова, которые мы уже знали, как называются, слова похлеще арго, жаргонов, эвфемизмами он выражался, и такими, которые по лексике и семантике были зело экспрессивны.

— Не выйду, — отвечала Рита.

— Чего делать? — спрашивал Витька.

— Ты меня любишь? — ответно спрашивала Рита.

— Ты мне нравишься, — совершенно честно отвечал Витька.

— Наташ, тебя не тронут, иди за милицией, — распорядилась Рита и закричала: — Уходи, не выйду!

— Подожду! — орал муж. Для экономии места остальные его слова можно не приводить.

— Не надо милиции, — сказал Витька, — сами поговорим.

Он распахнул дверь террасы и вышел на крыльцо. Я с топором стоял сзади, как резерв главного командования.

— Эй ты!

— «Эй» зовут лошадей, да и то не всех, — справедливо ответили нам.

— Выходцы из села, — сказал я, — пословицы знают.

— Ритка, не выйдешь — домой не приходи! — орал муж. — Ишь,

— Витя, — сказала изнутри Рита, — крикни, что Маргарита вообще не придет.

— Подойди, — громко сказал Витька, так как понятно стало, что орать на таком расстоянии можно потише.

— Пошел ты, откуда родился!

— Извини, что руку оцарапал.

— Это-то? Ну, это-то...!

— Не выражайся!

— Я тебе еще выражусь по морде, студент сопливый!

— Витя, — визжала внутри Рита, — не разговаривай с этим гадом!

— Ты! — повысил голос Витька. — Слышь, Сереж, Сереж! Иди выпьем. Да один иди, ничего тебе не будет.

— Вас-то двое, — уперся муж.

— Возьми одного с собой.

Они пришли на переговоры вдвоем. Остальные отошли и стали курить. Рита замотала Сергею руку. Мы сели одной мужской компанией. О какой-то закуске Сергей заметил:

— Из дому, сволочь, утащила. Хотел парням вынести, уж похвалился — нет. Не сама же стрескала. Значит, вам. Своего нет, так хоть чужая баба подкормит.

— Серега, ты служил?

— Ну?

— Так какого ж ты тогда? И мы служили.— Витька стал разливать шампанское, но Сергей закрыл свой стакан раненой рукой.

— Я все перепробовал: и денатуру лопал и аптеку — но эту бабью шипучку...— И он опять выразил свое отношение кратким выражением.

— Пей чего дают,— сказала из угла Рита.

— Ну так вот,— приступил Витька к переговорам,— в гости прийти конституция не запрещает.

— И решать мне.— Это опять Рита.

— Да,— неосторожно подтвердил Витька,— пусть она сама решает.

— А я уже решила.

Тут вмешалась Наташа:

— Вы решайте что угодно, только не здесь. Ведь правда? — спросила она меня, подходя и поправляя мне прическу. — Ты дрова все поколол? Или еще остались? А если устал, так и не коли, отдохни, потом закончишь. Приляг, приляг на софу, только разуйся.

Но Рита уперлась:

— Я скажу здесь. Я люблю Витю. И тебе он, Серьга, не ровня. У тебя все кореша да кореша и мать да перемать. И тебе от меня одно надо, ты это знаешь. А я еще и человек. И что хотите делайте.— Рита помолчала.— Но ночевать я домой приду, а то ты с горя напьешься, еще бы: жена ушла! — и дом спалишь, в постели будешь курить.

— А сейчас все уходите,— велела Наташа.— А ты куда? — Это мне.

— Не могу я друга оставить.

— Иди, но возвращайся. Топор в доме оставь. А то я женщина слабая, беззащитная, кофий пью без всякого удовольствия...

Сергей толкнул меня, кивнул на Наташу и показал жестом: ненормальная.

— Это из Чехова,— защитил я Наташу.

— Да хоть из ...!

— Опять? — закричала Рита.— У, пьянь тропическая! Я тут останусь, Витя!

Мы вышли. Компания окружила нас и, если можно так выразиться, мысленно кровожадно потирала руки.

— Оставьте, ребята,— сказал Сергей,— парни здесь ни при чем.

Мы сбросились, зашли — тогда еще не в стекляшку, а в «деревяшку» возле платформы и поговорили.

— То-то она мне всю неделю: да такой культурный, да так может поговорить, да такой начитанный, да где тебе, да ты и «Муму» не читал, дай, думаю себе, погляжу на культурного. Вообще-то ее драть надо, чтоб на стенку лезла, и культуры б не захотела.

Еще мы хохотали над тем, как я бежал с топором, как они отхлынули от крыльца.

— Витек,— говорил Сергей, зубами затягивая узелок на бинте и отплевывая волокна марли,— бери, я не обижусь! Бери! Книги будете читать. Вот ключ, иди хоть сейчас. Я все равно часто у матери ночую. Но только предупреждаю: ты с ней намучаешься, и чтоб мне с пох-

мелья всегда чего-нибудь держи. Бери ключ! Адрес... да пойдем, сам провожу.

— Не надо,— отвечал Витька.— У меня койка в общежитии, мне хватает.

Прошли каникулы, вновь загудели комнаты общежития и аудитории института. На древнерусском ныне покойный профессор Кокорев спросил:

— Как, выполнили мое задание?

И весь курс потупился. И я в том числе, а ведь клялся себе, что за каникулы найду слова Достоевского, относящиеся к воспитанию детей, даже не к воспитанию, к значению детей, к их роли. Говоря перед тем, профессор зачитал слова и, улыбаясь, заметил, что говорить, откуда они взяты, не будет, чтобы мы нашли сами. В Достоевском, которого печатали в год по чайной ложке, мы были слабеньки, но профессор назвал и роман, откуда они взяты.

Вот эти слова (я увидел их уже после института):

«От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль!», «Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет», «Через детей душа лечится».

Сейчас, когда Достоевского издают и он доступен, я использую тот же педагогический прием и не скажу, откуда эти слова, ищите сами. И роман не назову. Смысл в том, что профессор называл учительство не профессией, не ремеслом, даже не призванием, а постоянным озарением, которое освещает пути и перепутья, теплом, которое согревает сердца, совестью, которая не дает переступить через порядочность, исповедью, способной понять любое преступление,— вот что такое учительство.

Мы были последними студентами профессора Кокорева. Похоронили его на Немецком кладбище, где много святых для России могил. В том числе похоронен там доктор Гааз, которого так любил Достоевский и который добился облегчения веса кандалов и наручников.

— «Сказание о Петре и Февронии»,— объявил Кокорев, начиная читать удивительную по чистоте и целомудрию повесть любви и смертной памяти.

С другой кафедры в тот же день слышалось: «Дафнис и Хлоя», рассказы о временах языческого многобожия. Вгоняя девчонок в краску, профессор Богословский говорил про остров Лесбос, про мальчиков при деятелях античности, о разврате римского двора и распаде Римской империи. Кстати, слово «секс» я узнал только тогда, именно на зарубежной. Откуда мне было знать его раньше?

На старославянском в пору было залезать под стол. Читая теперь с легкостью старославянские тексты, что, заявляю всенародно, доступно каждому имеющему среднее образование, со стыдом вспоминаю мучения тогда доцента, сейчас профессора Хабургаева. Вот сейчас бы идти к нему сдавать старославянский! Или не сдавать, так хотя бы автограф получить на его учебнике для высших учебных заведений.

Первый в жизни автограф я получил именно в институте от профессора Абрамовича на его учебнике «Введение в литературоведение». Чем-то понравился мой ответ, и я осмелился попросить подписать книгу, купленную еще в армии. Но это факт, поверьте мне на слово — книги нет, ее свистнули в том же общежитии. Не знаю только, из-за автографа или из-за того, что у кого-то не было учебника.

И работа, и учеба, и общественная жизнь (комсомольские собрания, собрания студенческой партгруппы, шефство над детскими домами) — все шло накатом. И вдруг встряхнуло — любовь Риты к Вите имела продолжение. Витя узнал, что такое любовь Риты или, говоря

языком грамматического разбора предложения, то, чем она может быть выражена. Любовь Наташи ко мне не выражалась ничем. Она предложила прописать меня у себя, я отказался, вот и все. Рита явилась в партком. Нет чтоб сначала к нам. Явилась в партком: так и так, разрушена семья. Спасло то, что заступилась студенческая партгруппа. Но все равно обсуждали. Сейчас, может, и смешно: за что? Но обсуждали — было. Мы все рассказали. Да и чего было рассказывать, в чем было раскалываться? Как двугривенный потеряли? Больше всего возмутило одну преподавательницу то, что мы обратились за деньгами к случайным прохожим, а не в местный комитет.

— Вы будущие учителя,— сказала она,— и вы не знаете, куда надо идти в трудную минуту. Или могли бы позвонить любому из нас, ведь так, товарищи?

Окончательно спас Витьку профессор Аксенов, преподаватель истории СССР. Он полюбил Витю, когда тот, отвечая, посадил Ивана Калиту на княжеский престол после Ивана Третьего. Бывший вояка, профессор грозно закричал на Витю: «При чем здесь Иван Калита?» «При деле»,— храбро ответил Витька. Профессор засмеялся, но гонял Витьку сдавать раз пять или шесть, пока в Витькином уме все доромановские русские князья не выстроились в затылок. Не зря Рита пленилась культурой Вити.

На заседании парткома Аксенов воскликнул, споря с преподавательницей:

— При чем здесь местком? Вот здесь он не при деле.

Соблазненная и покинутая Рита стала делать набег на общежитие. Вызывала Витьку через вахтершу — он высылал на переговоры нас севой.

Рита прижимала меня к комендантскому шкафчику с ключами.

— Будет сытым, я же завпроизводством, будет одетым, я же вижу, какая на вас мода, и тебе костюм куплю.

Однажды Лева надел тельняшку и сказал Рите решительно:

— Я все понимаю, у тебя любовь, ну, а если бы он вез патроны? А он их повез, а это надолго.

Жалко было Риту. И сам Витька жалел. Но был категоричен:

— А зачем она ходила в партком? Сама отвратила! Это же доколумбов способ — жениться через партком. Нет уж, я шмыгну в окно, и мое вам почтение.

— Выйди сам и объяснись.

— Кислотой плеснет.

Это была фраза из той развеселой песни, в которой поют от имени разлюбленной: «А я пойду в аптеку, куплю там кислоты. Соперницу-девчонку лишу неземной красоты. Сама же из окна я вниз брошу голову и буду манной кашей лежать на мостовой».

Кстати, Рите уже было в кого плескаться кислотой — именно та черноглазка с биофака Саша, покорением которой хвастал Мишка, именно она выделила Витьку, к его радости.

— Ритка узнает про Сашку, тут будет вам карибский кризис.

— А ты и с той и с другой, — советовал Мишка. — Ритка костюм купит, а с Сашкой в нем в театр пойдешь.

— Присяги захотел? — грозно спрашивал Витька.

Надо сказать, что так, чтобы враз морочить голову хотя бы двум девчонкам, мы не представляли. В отношении чувств мы были настроены однопланово: полюбил — женись. Других отношений мы не представляли. Мишку в данном случае можно было не осуждать: молод, обгуливается. Но эта настроенность ничуть не возбраняла и не осуждала гусарство, легкость увлечений, недержание слов любовной лексики, обалтывание, веселие вечеринок да даже и поцелуи чего там.

Ах как помню одну сероглазку с иныза, ах!

Мишка, заботясь о своем драгоценном здоровье, взял напрокат велосипед. Не спрашивая у Мишки разрешения, мы также занимались амортизацией прокатной вещи.

Был майский вечер, светлый, теплый, когда я понесся на велосипеде наугад, мечтая вырваться из города. И вырвался. Кончились пятиэтажки Медведкова, которые уже тогда прозвали «хрущобами», кончились и двухэтажные желтые бараки, пошли крупные деревенские дома, во множестве сносимые. Еще торчали остовы печей, еще ветер мотал обрывки обоев на поваленных стенах, еще били фонтаны светлой воды из пробитых и неотключенных водопроводов, еще бродили у домов жирные дичающие кошки, еще летали над запустением голуби смешанных пород. У последнего остатка бывшего дома перед полем, на котором ничего не было посеяно, я остановился и, раздевшись до трусов, принял душ. Вода была ледяной, я мгновенно задрог и торопливо вскочил в седло. И с каким-то ликованием устремился в непонятном направлении. Домчался до железной дороги, хотел проскочить перед поездом, обвильнув опущенный шлагбаум, но громко заматерилась на меня стрелочница с флажком.

Засмеявшись, я надел рубаху, подождал, пока прогремит порожняк, пока полетит догонять его встревоженный мусор, пока испуганно прижмется к спицам обрывок газеты, и... покрутил обратно. В общепитии пошел в душевую и, радостно чувствуя прилив энергии, вскрикивая, стоял под холодной струей.

А в тот день была суббота, а в субботу, по-нынешнему выражаясь, дискотека. На пятом этаже в рекреации, там, где пили чай с Мишкиным медом. Возбужденный, в белой рубашке, в отглаженных брюках, в синих китайских кедах — чем не парень? — пришел я на музыку, как сказал классик, «любить готовый». А там событие — девичий визг и вскрики. Оказалось, на дереве за окном глупый котенок. Ведь погибнет — так думали сердобольные студентки. От сострадания они прервали даже танцы. Ясное дело, ничего бы с этим котенком не случилось, поорал бы и спустился, когти-то на что, но ведь это когда еще. И что-то изнутри взмыло во мне. Вскочив на подоконник, прыгнул на дерево. Даже и не оцарапался. Удачно поймался за ствол и ветви. Честно говоря, дерево было рядом, невелик подвиг, но велик эффект — ведь пятый этаж.

Да, не оцарапался я о дерево, но этот гаденыш, этот котенок, пока я спускался с ним, вдоволь поточил о мою шею и грудь свои растущие коготки. Этого котенка истискали и исцеловали и физички и лирички, а уж потом, когда окончилось сборище, мои царапины целовала сероглазка с иныза. Как мы бросились друг к другу, как вообще люди встречаются, необъяснимо. После спасения животного я не танцевал, ибо эффект был сопровожден и дефектом — разрывом брюк, я же не в джинсах по деревьям лазил, и я не танцевал. И все равно не уходил в комнату, возбуждение продолжалось, я взял на себя роль заводилы, как шутили мы, вспоминая слово, приспособленное для тогдашнего диск-жокея, ставил пластинки и что-то несурзное выкрикивал. Но видел ее, вспоминая, что это именно она отчаянно взглянула на меня, откачнувшись грудью от подоконника и показывая маленькой обнаженной рукой на дерево за окном.

И около этого окна мы всю ночь целовались. Сейчас можно говорить что в окно доносился запах цветущей сирени, отцветающей черемухи, облетевших лепестков вишни, но тогда было одно — какое-то одурение, изнеможение телесное, мука смертная и неистовство объятий. Как я ей не сломал ребра, как она мне не вывихнула шею?

Под утро я докарабкался до своей койки, уронив по дороге велосипед, разве же мог Мишка оставить в коридоре взятое на прокат имущество. Он принес его в комнату.

На этом история с котенком заканчивается, больше я сероглазку не видел. Вот номер, скажут нынешние студенты, а нас учит постоянству. Штука в том, что эта ночь была исключительной, ее готовили и мое шальное состояние, когда я видел гибнущие деревни, когда чуть не попал под поезд, когда физически был весь взвинчен, восторг ждал выхода, а она... ей за глаза хватило страха за меня, когда я кинулся спасать животное и прыгнул с пятого этажа. А белая рубашка? А китайские кеды? Куда там кроссовкам. И почему-то потом я сравнивал сероглазку (не помню имени) с Кармен. Даже и оправдывал Кармен. Она скорее всего не охладевает к каждому очередному возлюбленному, скорее сама отстраняется, ибо ей не вытянуть такую высокую ноту неистовства в любви.

Витька продолжал вламывать грузчиком, Лева по-прежнему штамповал тысячи фотоплакатов, призывающих беречь жизнь, не стоять под грузом, не влезать на столбы, а Мишка вновь сменил работу. Стал контролером в трамвайном депо. Раз ехал с нами и продемонстрировал, как проверяет билеты. Уши его покраснели от усердия, когда он клещом впивался в безбилетника. Что было тогда тоже дешевле — это штрафы, всего пятьдесят копеек. Еще Мишка боролся за нравственность. Велел встать взрослому ребенку, а женщине велел сесть. «Что вы, спасибо, я сейчас выхожу». — «Не портите ребенка, немедленно садитесь!» И женщина села и посидела пять секунд. Больше ездить с нами в качестве контролера мы Мишке запретили, а в тот раз засунули в кассу рубль, открутив тридцать три билета и велел принести копейку сдачи из депо.

В моей судьбе произошла

Перемена

Я перешел из цеха в многотиражку комбината «За мясную индустрию». Стоял в очереди к расчетному столу, а впереди мужчина читал маленькую, такого памятного для меня по довоенной районке формата газетку.

— На комбинате есть газета? — спросил я.

— Еще бы! — ответили мне.

И вот я пришел в редакцию, в крохотную комнату на шестом этаже завода первичной переработки скота, и скромно сказал, что так и так, имею журналистский опыт (кроме районки, армейских газет я уже всю печатался в многотиражке института «Народный учитель»), что работаю в ночную, что, в общем-то, несладко и нет ли, случаем, вакансии хотя бы на полставки. Примерно так. И меня взяли! Оформили через завод со страшным названием первичной переработки скота в еще более страшный цех — убойный, по профессии вообще устрашающей — боец скота. Разряд был, естественно, начальный. но что с того — ведь газета!

Редактором газеты был Заритовский, литсотрудником Лева Степачев. Я буду просто называть его Степачев, так как Лева уже есть. Еще были машинистка Валентина Васильевна и редактор радио Яков Шабловский, он же фотокор. Со Степачевым мы сдружились, он был вечерник МГУ романо-германского отделения. Он хмыкнул высокомерно на наш МОПИ, велел немедленно переводиться в МГУ. Даже повез меня на переговоры. Но вот судите сами В МГУ меня брали на филфак со следующего учебного года без экзаменов. То есть уже год был бы потерян. Далее, в МГУ учиться пять лет, а в МОПИ четыре. Велик соблазн продлить беззаботность и пользу студенческих лет, а если кушать нечего? Если б я перешел, учеба бы растянулась на шесть лет, мне бы просто не вытянуть житейски, разорвался бы меж работой и учебой. А на стипендию тогдашнюю было бы не вытянуть. Но, често скажу, главное — я уже преданно лю-

бил свой вуз, как люблю и сейчас, и кто как не я сочинил вот хотя бы эту частушку: «Пропадаю ни за грош и ни за копеечку, до чего же ты хорош, наш Мопеечка!» Пусть и обождали это на литобъединении «Родник», о котором ниже, но смысл остается.

Степачев, специализирующийся на французской литературе, мне очень пригодился — и как наставник по делам комбината, и как собеседник в литературе, и как советчик вообще. Он учил меня проникать в тайны взаимоотношений цехов и их взаимного жульничества, того же убойного и кожепосолочного, обвалочного и холодильника, фаршесоставительного и шприцовочного, ливеро-паштетного и... ну, допустим, субпродуктового. Как собеседник он заездил меня мыслями Бахтина о Рабле, что очень не нравилось Заритовскому. Заритовскому нужны были мысли для газеты. Валентина Васильевна часто болела или сидела с внуками, и редактор сам печатал материалы. Кстати, у него я взял дикарский, но надежный метод обучения машинописи — если палец промахивался, ударял не по клавише, он кусал его за это. Печатал он медленно, одним пальцем, чтоб убедиться хотя бы один палец. И постоянно спрашивал:

— Медпрепараты — чего две буквы? Гематогена — где можно перенос? Э, раблезянцы, свиноконвейерный цех занял первое место, давайте срочно заголовок.

— «Пальма первенства — свиноконвейерному цеху», — говорил я.

Степачев хмыкал:

— Пальма и свиноконвейерный! Фи! Грубо, дети!

— Называй ты, — требовал редактор.

— Должна быть благородная простота. Сейчас месяца три-четыре свиней будет навалом, а коров уже — чувствуете? — все меньше и меньше.

— Ты заголовок давай.

— «И вновь впереди — свиноконвейерный».

Но Заритовский любил красивое — проходила моя пальма.

Работал я в многотиражке с раннего утра и до обеда, потом мчался в институт, иногда после занятий возвращался, чтобы сделать материал из вечерней или ночной смены. Всегда любил бывать в цехах, писал по просьбе старых работниц заявки на радио — исполнить русские народные песни, читал иногда в цехах в перерыве полулекции-полурассказы о литературе, любил ходить к ветерану труда Мискину Александру Ивановичу, писал о нем. Но почему же так казенны были мои материалы, какое оцепенение овладевало пером, какой гипноз кружил его по привычным звуковым дорожкам: «Идя навстречу... беря повышенные... подсчитав резервы... вахта экономин...» И еще и еще, все такая же чересполосица; читает человек, и разве возникает желание брать повышенные, считать резервы, нет! Слова даже не скользят, даже не отскакивают от взгляда, они просто не видятся, уж лучше бы газетный лист был чист, не испачкан словоблудием, от которого, кроме ощущения гибели все новых деревьев, ничего нет. Строчат перышки, трещат машинки, а от этого клонят головы и хлопаются оземь березы и сосны, тополя и ели, отдают тела на растерзание машинам целлюлозной и бумажной промышленности. Зачем? Чтобы типографские машины печатали слова, которые никого не греют? Зачем тогда о себе писать так, как, например, в стихах о журналисте: «Сердце его бьется на странице в пламенных строках передовой».

С Мискиным много было разговоров.

— Комбинат строили, Микоян был через день да каждый день. Земля скипелась, ломом бьешь, бьешь, только огонь, искры. Первую линию пускали на холоде. За нож схватиться — к ножу рука пристает, за мусат — к мусату.

Мусат, объясню, это стальной стержень, приспособление для доводки остроты лезвия.

— Сейчас деньги, развлечения, молодежи все позволено, поют «молодым везде у нас дорога», тюрьмы не боятся, тюрьмой хвалятся, это как? Ботинки хорошие наденут, папироску в зубы. Нам дадут, бывало, на пасху стакан семечек, уже радуемся. А если кто из молодежи курит, губы прямо с папиросой оторвут...

Любил я писать и о ПТУ-100, училище при мясокомбинате, еще бы — в нем учился один из кумиров детства и отрочества Виктор Талалихин. Он был для меня где-то совершенно небесный, а здесь стал земной и доступный. Завуч училища напористо говорила мне о главной опасности обучения бойцов скота и разделщиков: «Температура тела убиваемого животного равна температуре тела человека». Выпускники училища работали на всех заводах, во всех цехах комбината. Труд иногда был устрашающим по смыслу и угнетающим по однообразию, так девушки полную смену, изо дня в день, из месяца в месяц выстригали мозжечок из мозга, парни стояли у незатейливых машин, называемых костедробилкой и черепорубкой. Но это машины, и небольшие. А вот вам целое отделение под названием шкуросъемка. Как влывает туда туша коровы, как эта туша — ну с чем сравнить, чтоб не совсем страшно? — как эта туша, будто нога из чулка, выходит, краснея, из кожи. Как туша плывет дальше по конвейеру, как, приныкая к ней на рассчитанное технологией время, обработчики делают каждый свое дело — пилят, отделяют, сортируют...

На свиноконвейерах при мне внедрили рационализацию — стали током парализовать голосовые связки свиней, а то они так визжали, что рабочие глохли. После внедрения рацпредложения свиньи двигались по конвейеру молча. Так же было внедрено и, говорили, куплено американцами для чикагских мясобоен еще одно новшество — полый нож. Нож с отверстиями на лезвии, рукоятка трубой с надетым на нее резиновым шлангом. Боец скота втыкал нож в горло свинье, кровь лилась внутри ножа по шлангу, а другой конец шланга поддерживала девушка с ведром. Кровь собирали на гематоген.

Лязгали цепи, гремели крючья, скользкая кровь лилась на чугунные рифленые подмости, уборщицы непрерывно сыпали на мокроту светлые мягкие опилки и сметали их, быстро намокающие, в сточную канаву.

И вот дело прошлое, ведь не любил я ходить на завод первичной переработки скота, в убойные цеха, только по необходимости и по приказу, но как было не выщелкнуться перед студентками, как было не сочинить нижеследующее:

...и чтоб было в достатке водки,
чтоб не делать из жизни арену,
я пошел резать свиньям глотки
по две тысячи штук за смену.

Пугая, добавлял, что размах убийства животных на комбинате таков, что окровавленные опилки вывозят самосвалами, грузят ковшом экскаватора. Не было, конечно, такого, но две тысячи штук за смену — это факт. Смены три. Не знаю, как сейчас.

Больше я любил писать о цехах производства ветчины, сосисок-сарделек, студня, консервов, медпрепаратов. На одной из линий среди сотен девичьих лиц высмотрел украдкой одно. Вычислил конец смены, подкараулил у проходной на тогда еще Осташковском шоссе, а не Волгоградском проспекте, навязал провожание. Было отказано. Но хотя бы узнал имя: Люся. Испытанная журналистами практика — написать о симпатии и тем поставить перед обязанностью отблагодарить — тут не прошла, данная работница усердием не отличалась. Это мне начальница смены сказала на мой вопрос. Как же так?

А энергия молодости, а честь училища?! «Все они такие, — было сказано мне, — пока стоишь над душой, чего-то делают, отошел — уснули». Оказалось все-таки, что Люсю есть за что похвалить, за общественную работу, что и было мною сделано. Так я использовал печатный орган в личных целях. Но Люся, запуганная начальницей, от меня шарахалась. Долго ей шарахаться не пришлось.

Меня остановили глаза, глянувшие с Доски почета. Выпускница этого же ПТУ-100. Надеюсь, что мои лекции в цехе запомнились ей, подстерег ее в столовой и предложил пойти в кино. Сказала, что не может. Ее молодость — шестнадцать лет, моя старость — двадцать два были барьером. Но что такое препятствие как не желание его преодолеть? Приглашения на мероприятия шли как атака за атакой, и помог мне американский балет на льду «Холидей он айс», тогда новинка из новинок, у нас своего не было. Правда, в нагрузку навьючили билеты не скажу в какие два театра, но какие театры в шестнадцать, когда балет на льду. Сейчас представляю концы, какие делал в те времена по Москве, и не могу на себя надивиться. Ведь метро в Кузьминках, где жила Нина, не было, только-только делали, шоссе было как после бомбежки, в автобусах, по образному выражению, кишки выворачивало, что звучит вовсе не грубо для работника мясокомбината, для той же Нины, у нее подруги работали как раз в кишечном цехе. Нет, безответно было мое увлечение. Одну слабую улыбку сорвал я, когда стихами описал дорогу к ее дому: «Эхма, эхма, еще только МЗМА» (тогда так назывался АЗЛК). А дальше: «Слышен сердца испуганный стук, а ведь еле-еле «Клейтук». Слышен шины проколотый свист, это значит — завод „Металлист“». Раз мы прошли от «Металлиста» до Текстильщиков, это много надо идти. И не вышло прогулки: жара, бензин, моторы ревут, мы запылились, и Нина настояла, чтоб дальше ее не провожать. Это ведь только в кино смешны перемазанные влюбленные, в жизни девушкам хочется быть аккуратными.

В дом Нины я напросился. И, может быть, даже и напрасно — ее отец, совершенно молодой, гораздо моложе меня теперешнего, нашел во мне собеседника в застольных разговорах об армии. Он служил при Жукове, я при Малиновском. было что с чем сравнивать.

— Да неужели, — возмущенно спрашивал он, его звали как и меня, — неужели, тетка, не врешь, что любой салага без команды может пойти и наступать на командира? Э, у нас не так, у нас. «Товарищ командир отделения, разрешите обратиться к помкомвзвода». А тот: «А в чем дело?» — и надо объяснить. К помкомвзвода то же самое: «Разрешите обратиться к старшине». И каждому объясняешь. И каждый может сказать, да и говорили всегда: «Не разрешаю. Кругом!» И в судомойку. Не-ет, тетка, когда права качают, это не армия, это... — И он говорил, что это, по его мнению.

— Папа! — возмущенно вскидывалась Нина. У них была однокомнатная квартира, деваться ей было некуда.

— А ты иди в магазин, — командовал отец. — Ты и с прошлой полочки отцу родному пожалела и сейчас жмотишься. Смотри, тетка, какая молодежь, нет, мы не так — от себя оторвешь, да отдашь.

Я срывался с места, чтоб побыть с Ниной хотя бы по дороге в магазин, тут же следовал окрик:

— Сид-ди! Молодая, не переломится. О чем с ней говорить? Подумаешь, дело! Будет восемнадцать, и женись.

Нина была необыкновенно красива, не мастер я описывать красоту, вот примерно: темные, почти всегда потупленные глаза, а когда поднимались, то всегда серьезно и вопросительно, сверкающие, чистые темно-русые волосы, вырезные губы, которые я ни разу не поцеловал. Однажды она послала сказать через подругу — кассиршу столовой, что встречалась со мной только потому, что ссорилась со

своим парнем, теперь они помирились и что я свободен. Так что к многочисленным примерам женской логики можно добавить и этот.

И чем же, говоря языком гадания, сердце успокоилось?

Нет, не еще какое-то лицо в смысле внешности и личности вытеснило и нерадивую активистку Люсю и передовую Нину, нет. Поэзия. О, эта дама не терпела совместительства. Увлекся, вдохновился, и строчишь, и отсылаешь возлюбленную, а оторвешься, перечтешь: про кого это я?

Я тогда всерьез думал, что юность прошла, двух отставок хватило для замысла поэмы прощания с юностью.

«Прости, прощай, — писал я, подразумевая в девушке — ах бес- смертный символизм! — якобы обманувшую юность. — Прости, прощай. Стон рельсов тонких тоской звенит, наперегонки с судьбою мчится эшелон, куда меня уносит он? Мою последнюю печаль не высказать, ее не жаль, угонит ветер; ведь листья, в сентябрь опавшие, к весне лишь редкий вспомнит. Так и ты уйдешь, про память встреч забыв, лицо от ветра схоронив. Как в тяжком сне. А ветра плач лишь всколыхнет твой серый плащ. Лишь всколыхнет. Но ветра вскрик ты не поймешь: не твой язык. Прости, прощай».

Давайте не будем упрекать за украденную печаль, за «ты в синий плащ печально завернулась» (у меня же не синий, а серый).

Но ведь вот тогда-то и была юность, перехваченная посередине солдатским ремнем.

А юность требует чувств. И, окончив поэму, я был свободен для них. Притом поэт, если даже он далек от высоких уровней, не может не быть влюбленным, иначе он не поэт. Собственно, вся поэзия, ее первоначальная цель — петь гимны любви, очаровывать избранницу, склонять ее к взаимности. Остальные заботы поэзии попросту ни к чему. Сказано к тому, что в моей жизни появилась

Элиза

И вот тут-то мне пригодился Степачев. Не хватало мне манер. Вот что, канальство, как сказал бы Ноздрев, было досадно. И Степачев, нахватавшись французов, и вообще москвич стал давать мне уроки поведения в обществе и с дамой. А как иначе? Элиза — существо утонченное, жила на Арбате, на Гоголевском бульваре. Вот, например, буду провожать, то как, спрашивал я.

— Кавалер должен идти не с какой-то конкретной, правой или левой стороны, но со стороны наиболее вероятной опасности для дамы, то есть с внешней стороны тротуара.

Этот совет Степачева мы дебатировали в общежитии.

— Их вообще можно ни под руку, ни за руку не держать, — говорил Лева.

— За что же держать? — спрашивал Мишка, тоже не желавший быть некультурным.

— За зубы, — отвечал Витька.

Были мнения, что гражданским лицам надо идти от дамы с левой стороны, а военные должны идти справа, чтоб была свободна собственная правая рука для отдания чести встреченным старшим чинам. Это убеждало: армия еще крепко сидела в нас, еще дергалась иногда рука к виску при встрече полковника, еще по утрам я говорил: «Пойти сапоги почистить», хотя давно носил полуботинки, но фраза: «Кавалер идет со стороны наиболее вероятной опасности для дамы» — это звучало.

Элиза, повторяю, жила на Арбате. О тогдашние арбатские переулки, еще жива была Собачья площадка, еще Калининский проспект был в проекте, о эти переулки, проулки, их загадочная внезапная красота и запутанность. Мы там любили гулять. Элиза, как и ее имя,

была жеманна, тонка в талии, волосы имела распущенные, желтые (крашенные), что по тем временам казалось кому смелостью, кому развратом. Она звала парней по фамилии. После первых провожаний разведка донесла, что Элиза кроме меня встречается со старшекурсником. Соперничество обостряет чувства, тем более, воспитанный классикой, я знал, что за любовь надо бороться. Это уж потом будет понятно, сколько раз мы бываем в юности дураками. Вот этот, например, избитый женский прием: а отсюда прыгнешь ради меня, если любишь? И почему им нужны непрерывные доказательства любви, зачем постоянно дергать за нити, проверяя прочность привязки? Ведь жестоко. Отсюда, от этого природного женского инстинкта, с которым они обязаны бороться, ибо любовь не требуют, а дают, от этого требования подвигов во имя любви чудовищное количество глупостей и преступлений. Ристалища, битвы, войны — вот следствие желания насытить сладострастие власти над возлюбленным.

Мы гуляли с Элизой и говорили.

— А с этой крыши прыгнешь? — спрашивала Элиза. — Кстати, тут у Нащокина бывал Пушкин. Боже, какое запустение и небрежение национальной гордостью. Прыгнешь?

— Что, правда дом Нащокина?

— Прыгнешь?

— Глупость это все, — сердился я. — Ну прыгну, ну докажу, ну и что? И сломаю башку, и тебе приятно? И следующего приведешь? Мне еще учиться надо. Пусть вначале старшекурсники прыгают.

— А, боишься, боишься!

— Да вся эта литература, все эти средневековые рыцарские романы — это что, литература?

— А что тогда литература?

— Улучшение души. А тут заблуждение и не тот путь.

— Кокорева наслушался. Где у тебя душа, где? Здесь? — Элиза засовывала холодную ладошку под мой шарф. — Ну погрей, погрей.

Дело ухаживания шло в мою пользу. Ведь не только мужчину можно взволновать, если вовремя восклицать: ах какой вы талантливый, и неужели еще остался кто-то, кто не понимает этого, — и женщины на этот счет таковы же. Я внимательно слушал Элизу. О ее знакомой пианистке, которая находила в Элизе задатки: «Смотри, какие гибкие пальцы, вот погни их в обратную сторону, мне не больно»; о знаменитом гляциологе — ее первой любви и археологе, тоже знаменитом, ее второй любви.

— Они почти стрелялись, я кинулась между и уговорила поехать в одну экспедицию. Я просила год сроку для выбора, я стала затворницей, фигурное катание даже не смотрела (тогда, опять же кстати, фигурное катание было притягательным, о где ты, несравненная Николь Аслер?), ты слушаешь?

— Да, да, — горячо говорил я, — о как я тебя понимаю! Ты тоже хороша, зачем хоть в одну-то экспедицию?

— И ты понял, да, и ты понял мою вину?

— А что такое?

— Они оба погибли. Спасая друг друга. На Шпицбергене. Их раскопали. У обоих на груди была моя фотография.

— Элиза, — говорил я, потрясенный и немного радостный отсутствием хотя бы еще двух конкурентов, — я стану журналистом, поеду туда и положу цветы на их могилу.

— Спасибо, милый. Подожди, я вытру слезы.

— Нет, дай я осушу их поцелуем.

Мы петляли по закоулкам, сплетничали о преподавателях, обсуждали виденные фильмы, и я все время перебежал на внешнюю сторону тротуара. «Что с тобой?» — тревожно спрашивала Элиза. Также я выполнял еще один урок Степачева, он говорил, что неправиль-

но пропускать даму впереди себя в общественное место: мало ли там какая опасность, еще ударят, и надо войти, убедиться, что ничего даме не угрожает, тогда ее пригласить. И первым лез в булочные, кафетерии, первым вдвигался в кинозал, забывая, что все-таки Москва не Париж, что в Москве дамам такие опасности, как на диком Западе, не грозят.

Но, несмотря на приличные манеры, дело двигалось, я был приглашен в дом. Элиза предупредила, чтоб я при маме и папе не называл бульвар Гоголевским, а только Пречистенским, ушла вперед. Я купил длинный гладиолус, один — по причине отсутствия присутствия средств, но заготовил фразу, что он так же одинок в вазе, как я в этом мире, и двинулся.

Поднялся в старинном лифте, открыл двери с цветными витражами, погляделся в волнистое зеркало, сбжавшее, видимо, из комнаты смеха, и позвонил. Услышав шаги, встряхнул длинными волосами, отпущенными до плеч как компенсация за годы жизни с остриженным затылком, как месть казарменному парикмахеру, который, извиняя себя обилием работы, никогда не точил инструмент, чтоб ему! Шаги приблизились, загремели дверные цепи. Я вырвал гладиолус из целлофана и, держа в руке, как обнаженную шпагу, вошел в дверь, отошедшую внутрь высокого коридора.

— Мама, это он!

Я поклонился полной седой даме и браво сказал:

— Шел по Пречистенке, а до того по Остоженке, дивно у вас, дивно. Но это ужасно, что андреевский памятник Гоголю поставили во двор, а на его прежнем месте помещен явно невыразительный. Но вообще дивно!

— Дивно-то дивно, — сказала дама и ушла.

И больше в тот раз не показывалась. Папа Элизы уехал в тот день на своей машине на свою дачу, мы с Элизой пошли в ее комнату. Набор книг у нее по тем временам был престижный: Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Бабель, Хемингуэй, Сэлинджер и два номера журнала «Москва» с романом Булгакова «Мастер и Маргарита».

— Эль, не выпущу из рук!

— И не вздумай. Вот стань моим Мастером, тогда.

— Как же я стану, если не буду учиться?

— А он у кого учился?

— Ну, первый-то портной, может, хуже моего шил.

Мы уселись на диван и стали беседовать.

— Бабель, — закатывала глаза Элиза, — о Бабель!

— Натурализм все это, — отвечал я. — Бабель. Конспект натурализма это, пусть и романтический. Подумай — голубиная кишка ползет по щеке, человек тычется лицом в лошадиную сырую рану, ковыряется в ней пальцем, как это? Золя и тот умел щадить.

— Значит, ты отрицаешь натуральную школу? Как же тогда твой Гоголь? Мало он описывал безобразий?

— Согласен, согласен — и там и там описана жизнь, но прочтешь Гоголя и улущаешься, а прочтешь Бабеля — ухудшаешься. Бабель на нервы действует, Гоголь на душу.

— Ну уж Хемингуэя я тебе не отдам.

— И не отдавай, я всего прочел.

— Ха-ха-ха, ты не понял, я говорю не в смысле отдать, а в смысле не дам унижить.

— Никого я не унижаю, у всех найдутся читатели. Один другого всегда стоит. Хемингуэй! Молодец, умеет, себя все только высовывает.

— Ты не высовываешься!

— При чем тут я? Я объективен. Ему повезло, что его долго у нас не печатали, а он биографию делал, а слухи шли, а американцы

любят эти штучки: охота на львов, Килиманджаро, рыбная ловля, «о подожди!». За «Старика и море» я ему многое прощу.

— Нуждается он в твоём прощении!

— Не нуждается. Но отношение мое мне самому важно. Вопрос: Фицджеральд хороший писатель?

— Д-допустим. — Элиза оглянулась на полку, Фицджеральда там не стояло.

— Прекрасный! А Хемингуэй его умудрился, боясь конкуренции, унижить. Прочти «Праздник, который всегда с тобой». Читала? Перечитай. Перечитай-перечитай! А! — Подскочил я так, что Элиза вскрикнула. — А «Старик и море»! Знаешь, какое самое сильное место? Не рыба — мысли старика. Помнишь, он восхищается бейсбольным игроком, великим Ди Маджио, и безумно жалеет, что у того костная мозоль. Бедный Ди Маджио! А сам старик при последнем издыхании. Очень русская повесть!

— Какая, какая? Пойду маме скажу, а то так и умрет не узнав.

— В том смысле русская, что сам гибнет, а других жалеет. Так-то он, конечно, американец. Зачем нам кого-то силодером к себе тянуть?

— Как тянуть?

— Ну в смысле насильно, силодером. Нам своей классики и за глаза и за уши хватает.

С собой Элиза дала мне почитать свою курсовую по сопоставлению двух постановок «Маскарада» — в театре имени Моссовета и в Малом. Их мы видели вместе, и это было основание для требования соучастия.

В следующее свидание меня поили чаем, я читал курсовую вслух, не всю, а наиболее яркие места:

— «...И если Царев в сцене ожидания Нины выходит слева и сидит неподвижно, — писала Элиза, — то Мордвинов в этой же сцене входит справа и ходит, то заламывая руки, то замирая...» Гениально! — хвалил я. — Неужели это еще не все заметили?

— Конечно, не все. Ты же впервые такое прочел?

— Впервые.

— Ну вот. Тебе легче, ты выбрал в курсовую «Конька-Горбунка». Все-таки, согласишься, это первичный слой, тебе пора подниматься к культуре.

Решительная встреча с предполагаемой тещей была вскоре. На сей раз я купил хризантемы и, ощущая их похоронный запах, причесался, глядясь все в то же взволнованное стекло.

Был встречен и публично, то есть при маме, чмокнул и был вынужден дурацки чмокнуть то место на щеке Элизы, которое указал ее палец. Был раздет и приглашен за стол. Перед этим я попросил показать мне умывальник, Элиза показала мне, где моют руки, и я их вымыл. Она подала полотенце.

— Эх ты — «умывальник»! Это ж не общежитие. Ванную можно от умывальника отличить?

— Можно! Твоя мама дивная женщина.

— Ну то-то.

По договоренности я принес лимонную настойку, выставил. Сели. Я вел себя культурно, ложку достал не из-за голенища, взял со стола. Умел пользоваться ножом и вилкой. Угощая настойкой, вначале немного откапнул себе, потом по табели о рангах будущей теще и будущей жене. Налив, я совершил первую ошибку — не просто отставил бутылку, а захлопнул ее жестяным колпачком. Так всегда делал отец. «Не закроешь, — говорил он, — так хоть градус да выскокит». Поднимая тост, желая понравиться, стать душой общества, обязанный как единственный кавалер в компании веселить дам, произнес:

- Ну, прощай, разум, здравствуй, дуры!
- За знакомство, — мягко поправила меня будущая теща.
- Мы же в тот раз познакомились.
- За более близкое, — вступила Элиза.

Выпили. И дальше я, к сожалению, ускорил программу, как говорят, погнал картину, поспешно налил по второй. Здесь опять срабатывало правило отца: бутылку откроешь, так она кричит. Но эти мои просчеты были цветочками. Беседа и ужин шли своим порядком.

Я вновь налил.

— Вы не торопитесь? — спросили меня.

— Что вы, — отвечал я словами отца, — с такой закуской с литра не качнет.

У меня узнали об обширной родне. Я радостно сообщил, что и сам из большой семьи и что дядей и теток, что по отцу, что по матери, очень и очень много. И у всех детей, то есть моих братенников и сестренниц, очень помногу. Не поддаются исчислению.

— И все по деревням?

— Нет, в городах тоже есть. Но в Москве я первый.

— То-то им радости.

— Да, я думаю, что гордятся. — Отвечалось мне легко, так как я входил в новую семью, да и вообще никогда не врал, исполняя при этом завет мамы: врать себе дороже.

— А ваши планы? — Это меня все будущая теща допрашивала.

— Буду писать.

— А вы можете писать о спорте?

— Я его ненавижу!

Элиза запоздало ударила меня ногой по ноге.

— Почему?

— В нем есть что-то лошадиное, в нем есть желание превосходства, реванша, в нем есть возвеличивание силы за счет унижения личности.

— Как? Победитель унижает личность? Чью?

— Но другие-то побеждены. А Диоген? Он говорит олимпийцу: «Ты чего радуешься?» «Я же победил на олимпиаде». «Но ведь ты победил тех, кто слабее тебя».

— Победители протягивают руку побежденным!

— Чего и не обнять, когда, например, боксеры, — и по морде надавал, и в милицию не забирают, да еще и хлопают.

Я опять получил ногой от Элизы.

— Позвольте, — заинтересованно сказала «теща», — подожди, Эля, отнеси пустые тарелки...

— Мне интересно, мама, до чего он договорится.

— Да давайте я отнесу, — вскочил я.

— Что вы, что вы, вы — мужчина, как это можно...

— И правильно, — сказал я, — а то с этой эмансипацией доказались... — Тут я чуть не вскрикнул от удара ногой.

— Элиза, пересядь. Итак, позвольте, как же тогда — в здоровом теле здоровый дух?

— Это вздор, то есть это не совсем верно.

— Элизочка, я в восхищении. Молодой человек, этому выражению как минимум два тысячелетия.

— Ну и что, надо же когда-то и разобраться.

— Мама, он ревизионист. И агент мирового капитала. Ты! У тебя есть капитал? Сколько тебе платят за абсурды и абракадабры?

— Под знаком аббревиатур? — Я сворачивал на шутку.

— Мам, он словарь на букву «а» уже освоил.

— Э-ли-за! — Это было сказано внушительно, Элиза пригласа. — Чем же вы опровергнете это выражение?

— Все тем же. Вы посмотрите на драки хоккеистов. «Прессинг по всему полю!» Прессинг! Говорили бы: стычки, потасовка, наезды, удары — нет, надо скрыть. Откуда же в них здоровый дух? Здоровый дух разве не есть порядочность, разве порядочность допустит драку? Как раз здоровый дух больше в тех, которые через свою боль понимают чужие страдания. А тут наступит бутсой на живот и дальше бежит да еще радуется. Силовой прием! Конечно, вы можете сказать: кто же упавшему запрещает определить и сделать свой силовой прием, так? Но если есть хоть капелька совести, этого нельзя. «Бей первым, Фреди!» — это же американство. Ведь это же убавляет жизнь, ведь все скажется: любой удар, травма, сотрясение...

— Это ваши собственные рассуждения?

— Вот то, что все скажется, это мама всегда говорила. Она не в смысле физических ударов, но и, например, если в чем-то покривишь совестью, то умирать будет страшно.

— Она верующая?

— Да нет, вроде не замечал. Да у нас и церковь-то разрушили.

— Ну-с, вернемся,— задумчиво протянула мама Элизы, — но вы сами занимались спортом?

— Куда я денусь, я ж из армии. Там не можешь — научат, не хочешь — заставят. Там...

— Значит, вам знакомо понятие победы, поражения?

— Да.

— Вы против понятия сильной личности?

— Понятие сильной личности и жертвенности — не синонимы.

— Mamочка, мы уже проходили и синонимы, и антонимы, и омонимы, и омофоны, и это он хочет образованность показать и завсегда говорит о непонятном, — опять не вытерпела Элиза. — Mamочка, он у нас боец скота.

— Да, именно так написано в трудовой книжке. Нет второй ставки литсотрудника, чем мне-то хуже, как меня формально считают?

— Вашу работу я одобряю, — сказала мама Элизы. — Это, дочь, у тебя первый такой молодой человек, который живет за счет своего труда, а не тянет с родителей.

Тут, видно, и она получила пинок под стоаом от дочери, потому что ментально сменила тему:

— Что ж мы забыли об ужине?

И тут-то я совершил непоправимое. Но меня можно было понять. Где нам приходилось выпивать? Пю вокзалам, забегаловкам, столовым, закусочным, озираясь и скрывая следы. Конечно, мы всегда убирали посудины под стол, которые тут же загадочно куда-то исчезали. И вот, разлив остатки лимонной настойки по хрустальным рюмкам, я не вернул бутылку на стол, а нагнулся и поставил ее к ножке стола под скатертью. Разгибаясь, увидел расширенные глаза дочки и матери.

Но они были культурные люди, и мы стали пить чай с печеньем, о котором было сказано, что оно испечено Элизой.

— Прошу хвалить, — сказала она.

— Уже одного того, что ты пекла его, достаточно для того, чтоб, не чувствуя его вкуса, его хвалить,— отвечал я цветисто.

— Я не буду, мне не наливай, — сказала Элизе мама.

Тут я чихнул. От пыли этого самого печенья. Странно, что в то время не было принято говорить при чиханье «будьте здоровы». Считалось приличным не заметить чиханья. Но как же не заметить, вот как раз это-то и ханжество. И еще сидели во мне воспоминания детства, когда дед мой чихнул, а я не поздравил. Тогда он помолчал, помолчал и с чувством произнес: «Будь здоров, Яков Иванович, спасибо Владимир Николаевич!» Дед мой лежал в сырой земле, а внук

его чихнул в благородном обществе, обошелся посредством платка и сообщил:

— Чиханье — признак здоровья.

Элиза воздела руки.

Я стал одеваться и прощаться. Вышла в прихожую и мама Элизы. Я звал обеих на лыжную прогулку за город.

— Я прокатную базу знаю, там никогда очереди нет. Я бы раньше поехал.

— Нет, нет, спасибо, я уже стара. Эля как хочет, а я... увольте.

— Какая ж вы старая. — Я и напоследок хотел понравиться. — У нас, знаете, как про таких, как вы, говорят?

— Как?

— Такую тещу, так и жены не надо.

Тут уж воздела руки будущая теща. Я же решил, что комплимент мой понравился.

Все мое недостойное поведение, вся моя сверхлапотность были изложены мне Элизою с негодованием на следующий же день. И я решил, что дело кончено, и начал переживать. Вдруг еще через день приходит Элиза на занятия и бросает записку: «Мама говорит, что и медведей учат танцевать. Проводи меня. Э.». А я уж за истекшие две ночи написал поэму в столь чтимом Элизой новаторском жанре: «Рвался к тебе, как к костылю с постели безногий, страдал, будто курево в потемках ища. Поздно: любовь прощает многое, но вот это (что «это»?) нельзя прощать... Туман рваной марлей виснет, а ты зябнешь в очереди за сигаретами «Висант» (тогда это были модные сигареты, а женщины, тем более девушки, еще только-только начинали баловаться, у нас на курсе было три курящих девчонки, Элиза из них). Судите! В свидетелях ее заплаканные ресницы (с чего взял, что она плакала?), судите мою неуместную гордость, блестящую, пока крутятся глупости спицы». Ну и так далее.

Я вновь явился на Арбат, вновь выдержал спор о литературе, но виделось, что для Элизы не спор важен, а поддразнивание меня, что мои мнения ее мнения не своротят, а ее мнения, по ее мнению, это мнения культурного общества. Я еще должен был заслужить право войти в него. На это мне намекалось, и совершенно впрямую.

— Тебе нельзя носить такую шапку, тебе нужна из жесткого меха с козырьком. Тебе нужно кожаное пальто. А знаешь, какие тебе нужны ботинки?

— А знаешь, что тебе нужно прочитать? — перебивал я.

— Знаю. Тебе нужна рубашка с накладными (я уж не помню, то ли планками, то ли карманами).

Еще Элиза садилась на спинку дивана, на котором сидел я, и оказывалось, что я сию у ее ног, ерошила волосы (было что ерошить) и спрашивала:

— Тебе удобно будет заниматься в этой комнате? Представь: это твой кабинет. Так поставим стол. Или так? Я буду входить на цыпочках, класть перед тобой тартинки и миндаль, ставить чашечку кофе. Но знаешь, нам лучше занять большую комнату. Я думаю, ты скажешь по-мужски, чтоб мама перешла в эту.

Элиза выдала мне тайну разговора про спорт. У ее мамы были связи в какой-то центральной газете, куда могли меня устроить в спортивный отдел. Все подходило: национальность, партийность, образование немного было непрофильным, но ведь на то и знакомства, чтоб что-то преодолеть.

Но чем была хуже моя дорогая сердцу «За мясную индустрию»? И на вечернее я не собирался, привязавшись к курсу. Делить газетчиков по сортам в зависимости от того, центральный это орган или орган парткома предприяття, я не могу до сих пор. В многотиражке не соврешь, а соврешь, так тебе сразу это скажут. Нет, не покинул я родное «За мясо», как называли нас в типографии «Московской»

правды», где мы печатали тираж. Нас — а было в типографии свыше ста многотиражек — всегда пускали без очереди. Честно сказать, не бескорыстно — мы привозили к праздникам талоны на свиные и говяжьи ножки для холодца, что ж, в конце концов живые люди. Зато и в цехе клише, и в наборном, и в печатном нам был зеленый свет.

Переговорив с мамой, Элиза вновь привезла мне ее слова:

— И чем ты ей так понравился? Во-первых, она поражена, что ты пренебрегаешь такой работой. Ведь командировки за границу. А во-вторых, велела за тебя держаться. Дивная женщина моя мама...

И поездки на Арбат стали регулярными.

Любимым занятием Элизы было упрекать меня в невежестве. Сидим говорим о Маяковском, вдруг вскакивает, дергает меня за собой за руку, впрыгивает в комнату матери и кричит:

— Мама, он не знает, что Эльза Триоле и Лиля Брик родные сестры!

— Но узнал же! — вдвигался я следом. — И спасибо, что узнал. Не ты, так другой бы кто сказал.

— А кто еще тебе скажет, что Майя Плисецкая их племянница?

— Мало ли кто кому брат да сват, — защищался я. — Такие знания ума не прибавляют. Все кругом родня. Я совсем Фамусова не осуждаю, ведь «как не порадеть родному человечку». Ко мне в общепитие кто приезжает из родни, я тоже помогаю: на Красную площадь, в Кремль свожу, по магазинам сопровождаю, в музей.

— Но мы же гибнем от блата! — воздевала руки мамаша.

— Конечно! — радовался я поддержке. — Взять торговлю или хоть эстраду. Как они на ней поют, многие же так поют, но все же на эстраде не уместятся и своих тянут. А потом раз-два и вдолбили, что появилась хорошая певица, мы и верим. А она-то знает, что она плохая, и тем более хороших не пускает.

— Напиши статью, — советовала Элиза.

— Это у них тоже отработано, скажут: завистник.

— Какой же журналист из тебя выйдет, если ты заранее сдаешься?

— Я не то чтобы сдаюсь. — Я потихоньку тянул Элизу за пояс сок халата обратно. — Я не сдаюсь, я знаю, что борьба может быть одна: творчество!

— О какие мы! Чувствуешь, мам?

— Но в самом же деле — нельзя же по блату пройти по канату. Я еще на эту тему стих напишу: «Кто сможет по блату пройти по канату, вот тут-то родня обнаружит утрату...» И в таком духе. Ну! Или напиши по блату «Капитанскую дочку», это можно по блату о ней сколько угодно писать, а толку!

Мама Элизы отсылала нас к себе.

В другой раз, иногда в то же свидание, Элиза возмущенно волокла меня на новый правож.

— Мам, он заколебал меня своим крестьянством.

— Что это за слово, Элиза?

— Это жаргонное слово, — объяснял я, — но видишь, Элиза, даже и в этом ты невольно подчеркиваешь превосходство деревни, там рождается и живет русский язык, а здесь жаргоны.

— Элиза, сдайся раз и навсегда, — советовала мама.

Воцарялось молчание: ясней ясного был тонкий намек на толстые обстоятельства.

— Нет, — решала Элиза, — еще повзбрыкиваю.

— Смотри сама, — отворачивалась к телевизору мамаша.

У Элизы и ее мамы были совершенно гениальные соседи, а у них исключительно гениальные дети. Отцы чего-то открывали, созидали,

строили в выходные дни дачи по индивидуальным проектам, а занятия гениальных детей были слышны непрерывно: звуки скрипок продирали даже капитальные арбатские стены. Иногда Элиза убежала «вспомнить детство», в детстве она тоже играла на скрипке, и оставляла меня с мамашей.

— Это очень правильно, — одобрял я соседей, — что с детства учат. И возможности есть.

— Вас не учили, — сочувствовала мамаша.

— Какой там! Может, и стояли где по клубам рояли, это же дрова, — подделывался я под мамашу, — разве ж дотуда когда дойдет настоящий беккеровский. А! — окончательно предавал я земляков, — им хоть каждому по скрипке Страдивари дай, все равно...

— Что «все равно»?

— Разве у нас кому дадут высунуться? Вот кто-нибудь поет, какой-нибудь парень, его по башке: подумаешь, Шаляпин! Или кто рисует, его тоже по башке: подумаешь, Репин! Я, например, тянулся к писанине, книжки читал, меня запечным тараканом прозвали, а напечатался в районке, стали писарем дразнить. Пальцем показывали: ишь Лев Толстой. А у вас здесь очень правильно: с молодых лет подерживать, внушать талант. Он поверит в себя. потом и идет по жизни как белый человек, потом и попробуй откажи ему. А моих ото всюду выпинавают, так им и надо.

— Но вы же поступили.

— Так у меня стаж шесть лет. С армией. А я, кстати, до армии два раза поступал. Если б еще не приняли, тут уж я бы раскипятился. Нас ведь самоварами зовут, — выдавал я все пошехонские секреты, — мы ведь очень долго греемся, но уж если раскипятимся — туши свет, сливай воду.

— Ах, нет Элизы, она б вас поймала на жаргонных оборотах.

— Город портит, — валил я на город, но признавался тут же: — Но это, правда, «сливай воду», «туши свет», «рви когти» мы и в армии говорили. Это-то, может, для меня и хорошо. — возвращался я к теме разговора, — что шесть лет после школы не мог поступить, — знание жизни, а кто-то и отчаялся...

— Значит, вы считаете, что знаете жизнь? — шурилась на меня мамаша Элизы.

— Да где уж всю-то ее узнаешь, так, частями, — скромничал я для вида, я ведь полагал, что жизнь меня ничем более не удивит, видывал виды.

Мамаша стучала в стенку:

— Элиза, двенадцатый час.

И много-много раз я мог бы петь популярную тогда песню «Последний троллейбус мне двери открыл...».

А утром под звуки гимна подъем, умывание на своем этаже, учебники за пазуху и бегом к электричке.

Думаю, что только энергия молодости могла вынести темп тех лет нашей жизни, похожий на музыку Свиридова «Время, вперед!».

Пройдя тяжким путем познания непонятно какой длины дорогу, вспоминаю студенческие годы, то незабвенное время любви к Москве, тоски по милой Вятке, и, ах, если бы можно было воскликнуть:

«Вернись, я все прощу!»

Прощу все себе, а не времени, так как чего валить на время, которое зависит от нас. Но в том времени что от нас зависело? Армия и студенчество заслонили перемены, происходящие в остальной жизни: укрупняли районы, РТС, переименованные из МТС, переименовывали в «Сельхозтехнику», создавали главки и совнархозы, делили обкомы на промышленные и сельскохозяйственные...

«Ну, что еще сегодня новенького?» — говорили мы по утрам, раскрывая газеты. И однажды в октябре шестьдесят четвертого было новенькое: Хрущев попросился на пенсию. В то утро в электричках, метро, автобусах лиц не было видно — одни белые полотна газет. Слово «волонтаризм» было названо и осуждено.

Но, повторяю, как-то все не касалось нас, занятых институтом, работой, книгами, любовью. И — дорогой. Ведь это Москва. Гоголевский гимн дороге, ее врачующей силе, благодарность тем чудным замыслам, что родились в ней, — как не подходили они к заколдованному кругу от общежития к работе, от работы к институту, от института к общежитию с заездом иногда в кино, в театр, к подъезду провожаемой девушки и опять от общежития к работе и так далее. Дорога в день съела самое малое три-четыре часа. Это одна из причин, что мы самый читающий народ в мире, так как у нас всюду читают: в автобусах, электричках, метро, троллейбусах, трамваях. А где и когда читать? Раз в метро женщина в годах сделала мне замечание. Я читал в перчатках, хотя по осени (начинался второй курс) не было еще холодно. Читал в перчатках и получил замечание. Сконфузясь, защитился тем, что руки-де болят. Ничего они не болят, перчатки эти были первые в жизни, гордился. Еще бы — каждый палец пристроен. Помню, читал историческую хрестоматию Сиповского. Со стыда притворился, что надо выходить, вышел на первой же платформе, содрал перчатки и сунул в карман. И к вечеру одну потерял, а вторую выбросил вслед, чтоб догоняла пару. И с тех пор так всегда: не держатся у меня перчатки, как бы хороши ни были. И всерьез прошу жену, чтоб как маленькому сделала тесемку для перчаток, пропустив ее в рукава и скрепив перчатки с курткой.

Газета, институт, общественные нагрузки, научное студенческое общество (доклады по первым повестям Быкова, Бондарева, Бакланова, по повести Калинина «Эхо войны»), самостоятельность, литобъединение «Родник», газета «Народный учитель», стенгазеты курса и факультета, рукописные журналы с энергичными названиями «Молодо-зелено» и «Кто во что горазд» заполняли все дни. На первый курс после нас пришли московские в основном ребята, они в пику нам стали выпускать журнал «Литэра», то есть вроде бы и литера — буква, но и литературная эра. Они теперь в основном критики. А ночные наши бдения! Память и любознательность были цепкими, до сих пор отрывками сохранились споры, иные интересные, иные от возраста. Кто нужнее — глупый или правдивый? Правдивый необязательно глуп, но глупый обязательно правдив. Каков диспут? И можно ли представить, что спорят умные люди? Но вот поумнее: как жить не как все, если живешь среди всех? Жестокость или благо требовать невозможного? Вот примерно такие. Все это нам простиительно, тем более на философии нам сказали, что человечество вообще живет в предыстории, а раз в предыстории, чего с нас взять. Прошло в то время незаурядное событие — попытка реформы русского языка. Ну ладно, мы-то студенты, но взрослые люди со званиями, остепененные и академически застрахованные от упрека в неумности, всерьез обсуждали, как писать: заяц или заец? До сих пор не могу смириться, что одно слово и одно его значение (подмышки) пишется отдельно — под мышки. А ведь я филолог по образованию, то есть не глупее других. Или, получается, фил. олух, как шутили мы друг над другом. Статью Леонова в защиту русского языка мы зачитали до дыр. «Это не первое нашествие на русский язык, — писал он, — но последнее ли?»

В этой круговерти дороги, работы, занятий было много хорошего, занятость оберегает от плохого. Занятость и, добавлю, ограниченность в средствах. Нам еще сверх программы ввели преподавание военного дела до или после занятий. Это смешило нас, отслуживших. Нас учили поворотам налево и направо — нас, научивших этому не

одну сотню новобранцев! Мы издевались над преподавателем как могли, хотя понимали, что он мужик неплохой. Мишку мы звали «сено-солома» и избрали командиром взвода. Но, надо знать Мишку, это ему льстило и, представьте себе, шло. Маршировали мы вразнобой, уча строевую, кричали на весь стадион на мотив «Прощание славянки»: «Мы идем, нас ведут, нам не хочется...» Сдавая зачет по противохимической защите, всерьез, гвардейски преданно глядя на преподавателя, говорили: «В Советском Союзе головы делятся на три размера: первый, второй и третий, дальше по величине размеров начинаются два лошадиных номера, но, товарищ подполковник, надо и об остальных животных подумать, у них ведь нету простыней, чтоб, завернувшись, ползти на кладбище».

Подполковник строил нас, Мишка, алея ушами, докладывал, что в строю столько-то, подполковник обводил нас взглядом и, щурясь, спрашивал:

— Айесли война?

— Повезем патроны, — высовывался Лева.

— Р-разговоры! Айесли война, кто будет воевать? Пушкин? Убит! Лермонтов? Убит! Я? Отвоевался!

Думаю, он и сам понимал, что смешно учить без пяти минут офицеров запаса элементарным вещам, ибо ставил нам отличные оценки.

Занятость уберегла нас от заразы модой. А уж эта зараза прилипчивей смолы. И как следствие, это надо запомнить, уберегла от внимания таких девушек, которые обращают внимание на моду. Ставишь на первое место внешность — сама такая. Убереженное от моды время ушло на дело, а дело — это то, ради чего и дается жизнь. Дело — стратегия, пути к нему — тактика, а уж преимущества стратегии мы сдавали на той же философии.

Образ студента — чудаковатого очкарика, поглощенного наукой, не замечающего окружающего, девушек, образ этот выдуман: студенты полнокровны. Да, занятость не может не лишать чего-то, делать человека даже смешным. Например, я не заметил, что надел разные носки. Элиза заметила — и хохотать. Издевательски хохотать, делиться восторгом с подругами, высмеивать. Конечно, мне больно. Мне бы в те годы прочесть где-то или выдумать, что рассеянность — признак сосредоточенности. В довершение к разным носкам Элизе вздумалось — шалунья! — испытать мое терпение. Попросила поехать с ней к подруге к Павелецкому вокзалу. У Театрального музея имени Бахрушина просила немного подождать. Я ждал два часа. Мороз. Я в своем пальтишке. Спрашивается, любит ли девушка юношу, если не жалеет его? Вышла и, совершенно иезуитски пожав плечами, заметила: «Не ушел? Я б ушла. Чтоб столько ждать? Нет в тебе гордости».

Это даже не женская логика, это какой-то женский силлогизм. Как восклицали мы в те времена: вот и верь после этого людям!

Я слег. Не то чтоб слег, но слаб был, температурил. Предаваясь варварскому способу излечения, я и здоровых друзей в него втянул, и на занятия мы не ходили. Правда, на третье утро вышли к платформе — шел товарный поезд. Мы загадали: будет семьдесят вагонов — поедет институт, а нет — не судьба, пребудем в темноте. Вагоны нескончаемо грохотали. Испугавшись, что их будет все сто — порожняк, — мы повернули в общежитие. Как больного, друзья отравили меня чистить картошку, сами пошли в здание, названное французским словом «магазин». Я чистил и сочинял: «На небе звезды-веснушки стыннут на щеках зорь. Не могу головы от подушки приподнять, вот проклятая хворь. Сердобольный комсорг Наташка натащила лекарств с утра, все напрасно, опять рубашка от жары и кашля мокра. Но довольно в кровати сети забываться простудным сном, еду, как в больничной карете, на трамвае тридцать седьмом». Вот ведь что такое жизнь и поэзия, в жизни никуда не поехал, а на

словах сочинил. Тридцать седьмой трамвай ходил, да и сейчас ходит, от Комсомольской площади до нашего почти института. Вагоны были только другие, да и другие сейчас в них контролеры, посерьезнее Мишки.

В разгар лечения в общежитие явились Элиза и Надя — секретарь комсомольской организации факультета. Им сказали: «Вы или садитесь с нами, или не смейте делать замечания». Они удалились. Излечение продолжало совершать витки по спирали, руководствуясь лозунгом: рожденные пить, любить не могут. А назавтра наутро и вагоны считать не пошли, назавтра был другой лозунг: с утра выпил — весь день свободен.

И опять нам был нанесен визит предупреждения об обязанностях студентов. Элиза отозвала меня в сторону:

— Мама спрашивает, можешь ли ты писать о промышленности?

— Нет, только о сельском хозяйстве.

— Где ты нашел в Москве сельское хозяйство??

— Вот, — отвечал я, показывая на стол, не убранный с вечера и накрытый заново.

Проигрыватель со скоростью семьдесят восемь оборотов в минуту извергал танго послевоенных танцплощадок: «Счастье мое я нашел в нашей дружбе с тобой, все для тебя — и любовь и мечты...»

— Так что ответить маме?

— Я и пишу о промышленности. Но связанной с сельским хозяйством. Мясо. Сядь поешь. От мяса не полнеют. Или танцуй. Все это ты, моя любимая, все ты. Или железо куй, или песни пой, или села обходи с медведем.

— Если б не мама, я б тебя давно бросила.

— Разве мама вымораживала любовь? Разве я на маме женюсь?

— Я еще подумаю, выходить ли за тебя замуж.

— А я еще подумаю, жениться ли.

Элиза не присев удалилась. Я думал, что уж теперь-то все, ибо, на мой взгляд, нахамил ей ужасно. Нет, напоследок в вузе был приглашен в первый же перерыв на перекур, в который я должен был прикрывать ее, а она курила от моей сигареты, чтоб не держать самой сигарету. курила и спрашивала, любил я еще когда-нибудь или она первая.

— Конечно, любил, и не однажды. А твои альпинисты?

— Гляциологи! Не смей, это святое.

— Но мои-то чем хуже? Тем, что не умерли? А может, я их убил, только по-другому.

— Однако! У тебя есть дети?

— Я к ним не прикасался.

— К детям?

— Ты все прекрасно понимаешь. — Я чувствовал, что чем грубее с Элизой, тем она вежливей. — Я и тебя, кстати, не касался.

— Какие мы смелые!

Зазвенел звонок, из которого, помню, все годы учебы при исторгии звука сыпались искры. И ничего, звонил.

— Какой же смелый. если не касался?

Подошла Надя, комсомольский секретарь, и попросила дать объяснение, почему мы столько-то дней не были на занятиях.

— Совесть, — отвечали мы, — главный контролер.

И опять я думал, что с Элизой покончено, но нет. Поташила в тот же день в Пушкинский на Кацикояниса и восклицала: «Совершенно Модильяни!» Спустя время там же смотрели Кэте Кольвиц: «Совершенно «Капричос» Гойи!» О древнеегипетских фресках: «Совершенно Лансере!»

Тогда мне чуть не привилась эта искусствоведческая привычка облегчать восприятие искусства, уподобляя одно другому. Все со

всем сравнимо, но высокое искусство может быть соотнесено лишь с эпохой, в которую создано, и с нами.

Поглощение книг, кино, учебников, выставок, разговоров — все это было на огромной скорости, все, к сожалению, галопом. «В захвате всегда есть скорость, — говорил любимый Есенин, — даешь, разберем потом». А когда потом, когда мы все собирались жить, а жизнь-то и была то, что мы собирались жить когда-то потом.

На вечеринках читали стихи, начиная щеголять переводами с латыни. «О Сафо фиалкокудрая, — говорили мы красавице Наташе, — хотел бы я кой-что сказать тебе на ушко тихонько, но не могу, мне стыд мешает». И красавица Наташа, возвышая голову в короне прически (тогда стремительно укорачивалась девичья коса — девичья краса, а Наташа держалась), отвечала соответственно стихами Сафо: «О если б твои держалы были чисты, разве б ты постеснялся?»

Ввели преподавание эстетики. Мы долго терпели косноязычие профессора (именно к этому периоду относится мое крамольное открытие, что профессор может быть глупым), а однажды всем курсом ушли с эстетики в театр, заявив, что эстетика зовет к искусству, а если мы просидим всю лекцию, то в театр не успеем. Помню, сорвались в театр имени Вахтангова, помню молодого Абрикосова — Фому Гордеева. Конечно, в перерыве Элиза на виду всех волокла меня под руку в буфет. В другой раз рванули в Малый театр, а там случилось, что у меня перед этим оторвалась пуговица на пальто, а вешалки давно не было. Элиза могла бы и заметить, да и сам мог бы пришить, но, получив после спектакля пальто, заканчивая, так сказать, театр вешалкой, уже на улице обнаружил, что и пуговица и петелька сверху пришиты. Что и остальные пуговицы укреплены, что подкладка заштопана, словом, выполнен текущий ремонт. Как было после этого не полюбить Малый театр и невольно не вспоминать его все последующие годы, проходя мимо.

И этот случай, и подобные ему, и встреченные мною хорошие люди Москвы, ее хотя и судорожная, но все-таки творческая атмосфера, ее улицы, памятники, ее, особенно зимние, солнечные дни, когда мороз ставит на прикол машины и воздух чист, когда на закате или вознесении солнца становишься так, чтобы золотой купол церкви Всех скорбящих сливался с ним, когда от стайки голубей, выпущенных смелым голубятником, вдруг отделяется один и заворачивается в небо до исчезновения. Нет, боюсь зарепортоваться. Люблю Москву, но устаю в ней. Уезжаю и без Москвы долго не могу, примерно так.

Скорость не может не вызвать желание остановки. Представить безудержную тройку — это представить загнанных лошадей. Остановиться мне помогла поэзия. Я бежал с работы на тридцать пятый трамвай через Птичий рынок, через Абельмановскую площадь, и вот бы уже сесть, но не шла рифма. Решил дойти до площади Прямыкова, там по набережной Яузы к Дворцовому мосту, там недалеко институт. Сочинял я тогда пьесу в стихах о любви...

Встану у края площади,
От восторга, как в цирке, глупеть:
Машины — дрессированные лошади,
Чуть не скачут за парапет.

Строфа нравилась, но что было делать с рифмой глупеть — парапет? Слышится парапеть. Получается пара Петь, два Пети идут и глупеют. Но ведь и любовь не без глупости, оправдывал я себя, а это была поэма о любви, о любви в большом городе, размеры и ритмы описания ее были, как и город, разные: «Город, растящий дома из могил (в смысле ставящий дома на месте старых кладбищ), город, нарушивший рамки приличества, город, пытающийся на растяг и изгиб, город, истязющий кнутом электричества...»

Вариант третьей строки: «Город, который меня погубил».

Отлично помню, что именно около Андроникова монастыря, где музей Рублева, я топнул ногой и остановился. И пошел в музей, куда давно собирался пойти. Шел, переживая внеочередную ссору с Элизой, спешить было не к кому. В тот день я сочинил: «Опять на душе то и се, опять душа нездорова. Махнувши рукой на все, явился в музей Рублева. Но среди старинных икон, в осыпях фрески зыбкой, в ликах русских мадонн увидел твою улыбку». Где уж я там видел осыпи фрески, там копии, да и не мозаика, но нужна была рифма. Меня дружно обсмеяли на «Роднике», но там и не то обсмеивали, на обсмеивание все мы мастера.

Шла осень второго курса, я писал об осени: «Отстояла береза лето, выцвел кроны зеленый парус. Скоро будет она одета в подвечный ломкий стеклярус». За «стеклярус» оборжали. «Скоро влажным хрустом по озими к нам накатит мороз без жалости, а пока на палитре осени расплескались цвета побежалости». Оборжали и за «цвета побежалости». А мне нравится.

Конечно, трудно было. Какие там радости жизни, когда главным счастьем было упасть на изодранный панцирной сеткой матрас. Но зато и вторая радость — ночь проносилась мгновенно, не тяготила, давала отдохновение, переход к бодрствованию был как продолжение дыхания. О этот утренний прилив сил! Даже непрерывно гремевший шум большого города ничуть не утешал. Все было в его сопровождении: сны, умывание, бег на электричку, врывание в безразмерный тамбур, вырывание из него, бег в метро, на метро, из метро, бег по улице, трамвай... и все шум, шум и шум.

Под этот шум и писалось соответственно. «Я в этой Москве се-рокаменной одинок, как гармошка в метро...» Или названное — эх, западно! — «Экзерсис верлибра», но все о том же:

— Зачем вы здесь, деревья?
Разве только асфальт в этом мире,
Разве нет просторной земли?
— Как же уйдем мы отсюда,
Ведь у нас на ногах решетки,
А вот ты почему не уходишь?
— Я ушел бы. Но надо учиться.

Живя в Лосиноостровской, как было не побывать в Загорске, стоящем на нашей северянке, и в один из дней, помня тем более суровые слова профессора Аксенова: «Вы — русские люди, и вы не бывали в таком месте, где не раз был центр событий отечества!» — мы отправились. Было с нами много девчонок, они любили с нами бывать. Но, еще отступлю, да вообще что есть жанр воспоминаний как не постоянные отступления? Как нас было не любить? Дежурили, например, в гардеробе три группы нашего курса, мы девчонок от дежурства освободили, мало того, всю неделю во все время дежурства мы не просто подавали пальто в обмен на номерки, но выходили навстречу каждой студентке и каждой подавали пальто в рукава. И никто не сердился, что приходится ждать. Это была сердечная дружба. Ведь знали же все, кроме меня, что Элиза меня из рук не выпустит, а Витьку черноглазка, а Леву томная Тома, которая вела себя так, будто всегда имела на Леву права, и он только разводил руками и вздыхал. Мишку в расчет не брали, но в данной поездке в Загорск Мишка хотел взять реванш — он писал многие месяцы курсовую по атеизму и вызвался быть гидом. Ехали, и он постоянно высывался, чтоб быть на виду. Например, сказал нищему, а их много ходило тогда по электричкам: «Хотите, я вас устрою на работу через адресное бюро, нет, правда?», — а нам, когда нищий ушел, заметил, что зря подавали, все равно пропьет и что всем не нападаешься.

День поздней золотой осени был солнечный, и сверкание золотых куполов Троице-Сергиевой лавры открылось нам тогда, когда мы спорили

О непознаваемом

Шли от электрички к лавре и подшучивали над сокурсницами, что тут их полюбят монахи, или семинаристы, или слушатели академии (мы не разбирались в различиях этих понятий), что были сокурсницы, а станут попадьями. Студентов духовной академии хотелось увидеть. Хотя бы оттого, что они тоже студенты. Побывав в музее, попив из интереса и для утоления жажды святой воды, мы пошли в сторонку от шума отдохнуть и попали как раз на спор семинаристов и гражданских лиц. Там, за колокольней, была узорная железная изгородь. Мы стояли по эту сторону, со стороны музея, семинаристы по ту. С одной стороны говорили: Эйнштейн, относительность, ядро, квант, плазма, дельфины... С той стороны говорили: недостижимость, вечность, пред-верие, до-верие (именно так они делили слова), еще говорили: не-беса, в смысле не небо, а то место, где нет бесов, — не-бесы. Смутно это было и легко подлежало недоверию. Наш Мишка, вспомнив курсовую по атеизму, ввязался в спор.

— Бога нет, — сказал он.

— Откуда тогда все? — спросили его с той стороны.

— От природы.

— А природа откуда?

— От космоса, — не сдавался Мишка.

— А человек откуда?

— Ну, это просто, это эволюция. Папоротники, мхи, лишайники, амебы, простейшие, ну, это же просто — эволюция.

— Да этот простейший от обезьяны, — сказали уже с этой стороны, а когда и там и тут засмеялись, неизвестно, с какой стороны, добавили: — Да еще Дарвин.

И опять замелькали слова и фамилии: Кант, свобода воли, казуальность, детерминизация... — это с этой стороны. С той: совесть, выбор, душа, бессмертие.

— На бога надейся, а сам не плошай, — опять вылез Мишка. Свалить его в споре было невозможно. — Народная пословица, а народ не может ошибаться, значит, и народ против религии.

— Помилуй, сын мой, — сказал с той стороны ровесник Мишки, — что же в этой пословице безбожного? Это как раз об обязанности человека надеяться на свои силы. Лескова читал. Как полковник полк проверял, как лошади в полку были запущены, воровство и прочее. И все валят друг на друга. Старшие на младших, доходит до рядовых, им валить не на кого. Им только на бога. А он что им скажет? А он скажет: «Я вам не конюх». Самим нельзя плошать.

И вновь мелькали имена и слова. Сошлись на одном слове — прогресс. Прогресс в понимании стремления к совершенству. Сошлись также, что прогресс дело человека, который, как сказали с той стороны, идет впереди всех существ тварного мира.

— Какого? — не потерпел Мишка, — какого мира? Тварного? Я — тварь?!

— Ты можешь себя и не считать, раз ты выше Державина.

— Выше или ниже — будем посмотреть, — отшутился было Мишка, чуя, что в чем-то его уличают.

— Читал? «Я царь, я раб, я червь, я Бог».

— Не беспокойтесь, читали. Вас тут держат, а мы и в кино и в театры ходим.

— Счастливым ты, — позавидовали с той стороны, — и спишь небось спокойно?

— А вы не должны говорить в таком тоне, — взвился, краснея ушами, Мишка, — церковники тем и сильны, что притворно, но внимательно выслушивают исповеди и делают вид сочувствия. А мы в нашей напряженной жизни не всегда доходим до каждого человека, и вы его ловите в свои сети!

— Сын мой, ну какое же притворство, когда человеку у нас становится легче.

— А надо, чтоб трудности были непременно, а если вы их снимаете, значит, выключаете человека из активного процесса. — Так победно заявил Мишка и, не замечая сожалеющего, вот именно — сочувственного взгляда, еще добавил: — Может, вы и с горьковским утверждением не согласны: «Человек — это звучит гордо»? Или вы бы и в лицо писателю сказали, что он тварь?

— Да, перед всевышним.

— Устарелая терминология. Сейчас верят или безграмотные старушки — пережитки прошлого, — или сектанты.

И с той и с этой стороны стали расходиться, даже и те, кто говорили: квант, плазма, нуклеиновые кислоты. Напоследок ровесник Мишки, протягивая через решетку руку, сказал примирительно:

— Уж хоть не приложись, так пожми в знак дружбы, в знак обещания, что когда-нибудь приложишься.

— Ни-ког-да! И напрасно вы пришли сюда учиться, — отрапортовал Мишка.

— Ну что ж, — сказал семинарист, — прозябай. А с сектантами, сын мой...

— Я вам не сын, и на ты не называйте!

— Хорошо бы, чтоб не сын, да куда тебя денешь. А с сектантами мы боремся сами, и успешнее, чем вы.

— У вас не те методы.

— Уж какие есть.

— Вы отделены от государства, ваше дело обречено!

— То есть и от тебя отделены?

— От меня?! — растерялся Мишка. — Это еще неизвестно, удастся ли это вам. Еще неизвестно. — Вдруг он выкинул номер: — Я проникну в ваши ряды и расстрою их изнутри.

Мы стали дергать Мишку сзади, что он истолковал как поощрение.

— Да как же ты проникнешь, — стал горячиться семинарист, — когда тебя видно за версту? — Уже и семинариста его товарищи дергали сзади.

— Как это?

— И свинья, сын мой, когда наедается, то хрюкает довольным и благодарным хрюканьем...

— Уж не хотите ли вы... — начал, щетинясь, Мишка.

— Не хочу, не хочу. Про свинью притча, и, извини, не евангельская, а народная.

— Вы за народ не говорите, мы вам народ не отдадим! — Так ораторски закончил Мишка, считая, что последнее слово осталось за ним, ибо семинаристов отнесло как отливом — показался у стен академии седобородый старец в высокой черной шапке.

В электричке Мишка гордо говорил, что еще бы немного, и он бы победил окончательно.

— Да если б еще не мешали, я б их сагитировал, не скажу всех, но половина бы в другие вузы перешла.

— Вот бы в наш! — смеялись девчонки, поглядывая на Мишку с уважением.

Помимо этого говорили о модных тогда спиритах, возникающих по непонятно какому графику раз в тридцать — сорок лет. Кстати, начинал тогда возрождаться интерес к гороскопам. Еще говорили вообще о таинственном, о котором всегда говорить интересно.

- Может, эти монахи видят что-то, а мы не видим?
- Ну, это мистика.
- А если мистика реальна?

Разговор наш обличал наше цыплячье барахтанье в проблеме, но в этой проблеме мелко плавали и постарше нас. Из всего разговора мне особенно понравились слова, что прекрасное не может быть недобрым. Но ведь есть красивые и злые, думал я. Элиза дремала на моем плече и по временам, когда ей казалось, что я отвлекаюсь от нее на разговор, подтаскивала мою голову к своей и шептала на ухо:

— Ты мой Бетховен, ты тоже напишешь «К Элизе», но только не музыкой, а стихами.

— Конечно, — шептал я, — ведь я же не знаю нотной грамоты.

Стихи билась в моей голове, стесняясь ребят, под предлогом курения выходил в тамбур. Но не записывал ничего, стоял прислонясь к стеклу. Одно открытие поразило меня, и оно из тех, что мучает и сегодня, — мне показалось вдруг, что наша жизнь, такая скрученная, занятая, перегоночная, эта жизнь скуднее уже описанной. То есть дело не в жизни, а в уровне описания ее. Ведь куда как интереснее мы живем, чем старосветские помещики, почему же они интересны, а мы нет? То есть вот этот тогдашний ужас, он не прост, как кажется, он в том, что стало вдруг, в какой-то момент неинтересно жить, хотя непрерывным напором давили новые и новые факты и впечатления жизни, новые и новые знания. И ужас заключался в том, что ничего не изменится, хотя это новое должно же что-то менять, ведь нельзя, невозможно оставаться прежним даже физически, а тем более узнавая другие жизни в другие эпохи. И эта неинтересность непременно, думаю, поражает многих, а от нее дороги к замкнутости, к интересу к своему собственному миру. Я и сейчас не до конца понятно выражаюсь. Не оттого, что что-то скрываю, а просто, значит, еще и сейчас не все тут самому ясно. Но почему в какой-то момент становятся неинтересными новые знакомства, новые люди, впечатления? Почему, как дикий, шарахаешься от разговора? Почему неинтересно, как о тебе думают? Но последнее, что интересно: почему вдруг это стало неинтересным? А уж если и этот интерес покинет...

— Ну, и долго я буду в разлуке? — выходила в тамбур Элиза. И мы закуривали вдвоем.

Мы оба не знали, что вскоре разлука наступит навсегда, и разлука беспечальная. Это снова от поэзии: «Была без радости любовь, разлука будет без печали» Не было с Элизой радости. Уже одно то, что она считала, что облагодетельствует меня и квартирой, и дачей, и машиной, уже одно это могло отравить отношения.

Надвигался диспут, модный тогда,

О физиках и лириках

Нужна ли в космосе ветка сирени? — такой якобы животрепещущий вопрос задавала «Комсомольская правда». Ответ все давали однозначно: да, нужна. Но сколько вариантов! Сколько возможностей поразглагольствовать и ученость показать. Нас на спор вызвали физматовцы. Силы были явно не равны, не в нашу пользу. Парней у нас почти не было, с первокурсниками у нас были разногласия, а как идти на поединок без единства? Кстати, по этимологии слово «поединок» как раз обозначает событие, происшедшее после единения. Но не со своими же мы идем спорить. Спор, чтоб стать конкретным и напряженным, был огрублен до вопроса: кто нужнее — физики или лирики? Одно то, что физиков везде ставили на первое место, говорило в их пользу.

Мы собрались в старинной аудитории старого здания, где ступени, полукругом полуопоясывая кафедру, восходили к когда-то леп-

ному потолку. На кафедре была укреплена доска, а на ней был начертан именно этот вопрос о том, кто нужнее. Наши девчонки явились на диспут стройными рядами. Это вдохновляло физматовцев, у которых с болельщицами было не густо. Тут я увидел наконец своего соперника по притязанию на Элизу — громила баскетбольного роста, которого и взяли-то, наверное, для баскетбола. Так я язвительно подумал, но это было недостойно честного соперничества.

— Покажи себя, — шепнула Элиза, проходя на переднюю скамью мимо физиков, и тому старшекурснику, думаю, шепнула то же, что и мне.

Для начала мы попробовали, упирая на то, что точные науки требуют конкретности, потребовать определить в вопросе о нужности, кому именно или чему именно они и мы нужны, а уж потом биться за степень нужности.

— Это не важно, — заявили физики. — Наука нужна везде.

Им похлопали. Тогда пошла эта мода на КВН и различные состязания в эрудиции, значение человека в глазах общественности зависело не от его качеств, характера, а от суммы нахватанных им знаний.

— Хорошо, — отвечали мы. — Чего же тогда ваш Эйнштейн на скрипочке играет и Достоевского читает да еще говорит, что это дает ему больше для науки, чем все остальное?

— Он оригинал, — отвечали нам, — это первая позиция, а вторая — это то, что вы сами себя высекли, сразу определили подсобную роль искусства для науки. — Им похлопали. Они даже сели как-то поразвалистей, снисходительно поглядывая. И одеты они были лучше. — Вы еще про Ландау сообщите, — добавили они на бис.

— А вы изучаете физику твердых тел? — спросили мы.

— Дети, это азбука.

— А вы знаете, что печник — это академик твердых тел? Кирпич — твердое тело, не так ли?

— В общем, относительно. Но при чем тут академик?

— А при том, что вашим профессорам печку не сложить

— Вульгарно! — сказали физики. — Наука и печка!

Но в этом месте им уже не похлопали.

— Алгебра и гармония, — стали мы говорить, но физики пусти-ли в ход домашнюю заготовку. Именно мой соперник встал и прочел стихотворение Пастернака, которое, стреляйте, я три дня назад обозначил закладкой в Элизиной книге. Может, впрочем, совпадение.

— И что это доказывает?

— А то, что вся ваша лирика достижима для нас, а наши формулы для вас недоступны. Мы — элита, а ваша литература для нас обслуга.

— Ребята, отвечайте, — выскочил кто-то из наших девчонок с верхних рядов.

И опять снисходительные переглядывания и усмешечки физиков.

— Вы скажете, — стали мы наступать, — что мы ничего не понимаем в ваших сложных контурах, в обработке, например, звукового сигнала, так? Не отвечайте, мы ответим сами: да, не понимаем! И не хотим понимать, то есть, может, и захотим, тогда быстро пойдем, подумаешь — бином Ньютона, но это вы обслуга — уж вы, будьте добры, сделайте так, чтоб была качественной запись Чайковского и Бетховена, чтоб пластинки служили без износа, чтоб звук воспроизводился один к одному, как задумал композитор, а уж мы послушаем да еще пожалеем, что звуки эти вам недоступны и вам безразлично, по каким звукам настраивать ваши приборы. И что за маниакальность, — знали мы, чем громить, знали, — что за маниакальность, что за преступная страсть все объяснять? Откуда все? — задали мы вопрос, заданный в давнюю нашу поездку Мишке.

— Болтать вы только умеете с вашей литературой.
— Тогда что же есть общественное мнение? — спросили мы. — И что есть атомная бомба?

— Ну, есть несколько версий, — бодро начали они.
— То-то! И ни одна не подходит. Легче говорить об образовании Земли, а откуда Вселенная? Был день творения?

Захлопали нам, но недоуменно.

— При чем тут лирика? — спросили физматовцы.

— То есть вы хотите сказать, что это не наше дело — физика, то есть, видите, мы вам даже слова суфлируем. Ну ладно, оставим физику. Нас вот бабушки учили. (У нас тоже были домашние заготовки.) Как вы к бабушкам относитесь? При чем тут бабушки, скажете? Скажете? Ну, не пустите же вы бабушек к лазеру и в барокамеру. И дедушек не пустите.

— Отстаньте вы с вашими Аринами Родионовнами.

— То есть наше дело — человек, а ваше наука? А наука для кого? Естественно, для человека? Так? А если вам не нужны старики, значит, они лишние. А это уже фашизм. — Вот куда мы блистательно вывели, рассчитав ход заранее.

— Ну, знаете. — Физики чуть драться не полезли.

— Знаем. Но только ответьте: будут космонавты стариками? Опять же отвечаем за вас: будут. Это ведь только в научной фантастике все с каменными мышцами да молодыми извилинами. Будете вы жалеть космонавтов-стариков, экстремальный случай, будете? Будете, если их будет сто, двести, триста, а если будут города в космосе и сирень там зацветет, хватит вашего качества на количество? Или опять ставка на элиту? И детей этому будете учить?

Они справедливо не совсем поняли, но обиделись, ибо мы вовсе не соглашались ни в чем уступать первенства, тогда как им оно казалось безусловным. Технократы, конечно выросли из них.

Поглядывая на Элизу, я видел ее напряженную заинтересованность в исходе поединка. Но уже вначале стало ясно, что ни они, ни мы не уступим, что будем считать свою профессию важнее и призыв организаторов «пересаживаться по мере убеждений со своих стульев на стулья противоположной команды» остался неподхваченным. Физик, прочитавший Пастернака, получил записку. Прочтя, могу присягнуть, кивнул в сторону Элизы. Вскоре она ушла, и я получил записку: «Прости, разболелась голова, ты держись молодцом. Только не надо так волноваться. Утром позвони. Э.»

Как поется в популярной частушке, «в клубе жулика судили, судьи все ушли в совет, а девчата вдруг спросили: танцы будут или нет?». Так и у нас все кончилось танцами. Я не танцевал. Мрачный, как обманутый муж на маскараде, стоял я в нише окна, одним своим видом исключая возможность приглашения на дамский вальс. Тогда у меня постоянно в голове вращались три сюжета фантастических рассказов, подстегнутые данным диспутом. Закончу эту главу кратким пересказом их содержания.

Первый. Лампочки, которые распространяют не свет, а темноту. Огромные пространства, над которыми не заходит солнце, но в наказание над какой-то частью территории ввинчивают лампочки, от которых происходит темнота. И не смеют выйти за темный круг под абажуром.

Второй. Непредусмотренный рейс. Будущее. Все налажено: снабжение, дороги, графики жизни. Интернат детей на Луне, чтоб оградить их от земных влияний. Аппаратура, устраняющая последнее — земные сны и наследственность. Продовольствие идет с Земли. Вдруг сбой, тут надо было оправдать этот сбой: откуда же он, если все налажено, но без «вдруг» нет ни литературы, ни жизни, а потом — когда-то еще все наладится, да и тем более сбой на Земле, а не на Луне, и вот приходится снаряжать корабль с продовольствием, уп-

равляемый корабль. У рулевого в интернате сын. Тут столкновение, гибель. Столкновение может быть по двум причинам — ритм автоматически отлажен, и идут корабли-автоматы, с ними и столкновение. Или вторая причина: кому-то не надо, чтоб отец встречался с сыном.

Третий. Если два первых можно объяснить начитанностью: черные лампочки могли быть, хотя могли и не быть, от черного солнца, которое увидел Григорий Мелехов, второй от глотаемой на бегу фантастики, — то третий надумался исключительно от тоски по родине. Мне казалось, что из Москвы не выйти, все будет Москва: асфальт, провода, движение. Я и звезды стал различать в армии, чтоб узнать, в какую сторону глядеть к своему дому. И вот — рассказ. Домой! Но все сместилось в ту ночь. Человек знает дорогу по звездам, но звезды сошли со своих мест, образовав невиданные созвездия. Не стало сторон света. Надо идти по рельсам, думает человек, ведь они не сошли с насыпи. И идет по рельсам. Тут я путался, да и не мудрено — апокалипсическая картина схождения звезд с орбит была не из рядовых. Тут могли быть полустанки, брошенные дома. Взгляд на небо приводил в ужас. Всем думалось, что это не на небе, в каждом отдельном человеке, его психике, все видели по-разному, все думали про других, что они сошли с ума, потом это думали про себя, хотя все были нормальны. Но разве нормально жить в ненормальном мире? А вдруг мир доселе был ненормален и скорректировался?

Такие сюжеты. И чтоб было тогда сесть и записать. Уж ясно, что по молодости были б поживей и поневероятней страсти. Например, жить под черным колпаком темноты, зная, что это не полярная ночь, а надолго, навсегда. А почему, а кто виновник? А за что?

И этот мужчина, рвущийся к сыну в лунный интернат, и, наконец, это безумие, равное по впечатлению даже не знаю чему. Еще не конец света, но все кончилось. То есть даже не так, не все кончилось, но все перестало быть, каким было от века, и оно уже не для нас, и мы просто переживаем время кого-то следующих, которых не смутит новый порядок (для нас беспорядок) светил. Тут перебрашивались бы мостики от рассказа к рассказу — ведь и среди светил огромные провалы, темные пятна Вселенной (тогда и о черных дырах начинали говорить), как не представить, что и там горят звезды наоборот, и чья вина, что они захватывают пространство темнотой? Чей меч, чья голова с плеч? И есть ли что-то среднее меж палачом и жертвой? Я говорю не о топоре.

Первым на курсе женился Слава П. Я не упоминал его, как и многих других сокурсников, только оттого, что он не жил в общезжитии. Арнольд Сидоров, Слава Самсонов, Эдик Туманов, другие точно так же участвовали во всех делах и проделках, бывали у нас. И Слава П. бывал у нас (он, кстати, был первостатейным крикуном на заседаниях «Родника»), читал на вечерах и вечеринках свои стихи, повергая студенток в трепет, — его стихотворение «Тебе» было знаменитым в институте, оно начиналось так: «Лежишь нагая и бестыжая». И он же умудрился выбрать жену не из своего круга. Он служил в Белоруссии, в Полесье, начитался Куприна, бредил его Олесей и теоретически доказывал нам, что девушка из простонародья — он так и выражался: «скромная, неизбалованная девушка из простонародья» — будет гораздо лучшей женой, чем московская, «все знающая» студентка. Он вывез свою Олесю из мест, где служил, и мы поехали на свадьбу в Раменское, откуда он ездил в институт. Слава оказался ниже невесты, посему натолкал в туфли бумаги, тогда еще не было высоких каблуков. На наши крики «горько!» он не позволял ей вставать до конца.

Элиза попросила у нее примерить фату, подскочила ко мне, заякорила под руку и закричала:

- Смотримся? Прошу хвалить!
- Горько! — закричала публика.
- А когда свадьба?
- Сессию сдадим, и через неделю! — объявила Элиза.
- Ур-ра! — закричала публика.

И фата невесты пошла гулять по девичьим головам.

И не хотелось говорить, а придется: разошелся Слава П. со своей Олесей. Она уехала, прожив с мужем едва ли полгода.

Вскоре после свадьбы члены литобъединения «Родник» поехали читать свои стихи и рассказы в подшефный детский дом в Бронницы. Уже и тогда там были не только дети погибших и умерших, но и дети родителей, лишенных родительских прав дети тех, кто сидел в тюрьмах. Ездили туда на первых курсах часто потом пореже. Отлично помню, как помяну и жадно писали нам ребята. Мы им тоже. Старались писать весело, ободряюще. Но ближе к выпуску переписка стиха. Конечно, по нашей вине. Еще долго детские письма заполняли ячейки почтового ящика в вестибюле института на все почти буквы.

Слава П., опустивший крылья после свадьбы, обещал не читать про нагую и бесстыжую, а шел и учил наизусть Асадова.

С вокзала я позвонил Элизе.

— Поедем с нами.

И вдруг она заявила:

— Интересно, куда это ты собрался? И я не поеду, и ты не поедешь.

Я даже растерялся:

— Послушай, ты подумай сама, куда мы едем. Ведь не в турпоход.

— Повторяю: и я не поеду, и ты не поедешь.

— Послушай, ты же знаешь: я поеду, должен ехать.

— Если поедешь, можешь вообще больше не звонить, понял?

— Понял, — пошутил я, — понял, чем старик старуху донял.

— Идиотизм какой! Немедленно приезжай.

— Вернусь и приеду.

— Будет поздно.

Мы поехали, выступили. Еще в добавление к детдомовцам привели отделение полиомиелитных детей. Они сели впереди всех на полу, накрыв перед собой костыли. Было тяжело выступать, но все равно хорошо, что выступили. Нас не отпустили от обеда, накормили.

Только вышли, как сразу стали спорить. Задиристый Евг. Сергеев, только что читавший стихи про храм, такой высокий, что «аж видно Волоколамск, аж страшно колоколам», набросился на меня как на редактора журнала «Кто во что горазд», упрекая в неясности позиции. Они же — он, Поздняев, Быховский, Марцинкевич, Амурский, все теперь критики, кроме Марцинкевича, — представляли как раз журнал с пижонистым названием «Литэра».

— Да у вас-то какая позиция? — отвечал я вопросом.

— А вот я напишу статью под названием «Обидьтесь, Фирсов и Вознесенский», что ты ответишь? Могу в порядке помощи в ответе сказать, что мысль такова: один по-плохому традиционен, другой по-плохому новатор. Крайности сходятся. Гиперболы, параболы, прямые — это все геометрия, согласен. Жаль, что мы это еще не сказали физикам. То-то им близок Вознесенский, он — схема, чертеж, сравнение с конструкцией.

— Но ведь новаторство традиционно.

— Ты сейчас не стравливай на ветер мысли, побереги, — заметил Сергеев.

— А давайте выпьем! — закричал женатый Слава П.

— Нет, вы все-таки оцените название — «Обидьтесь, Фирсов и Вознесенский». Прямо как «Новый мир» и «Октябрь». Так будешь писать ответную статью?

— Буду. Она будет называться «Было бы на кого».

Статьи эти были написаны и изданы тиражом в один машинописный экземпляр, и тут же их авторы подверглись гонению со стороны ректора нашего вуза, крупного физика Ноздрева, писавшего стихи. Рецензия на его первую книжку так и называлась — «И физик и лирик». Напечатанная, конечно, не в наших журналах.

Так вот, вернувшись из детдома, я прямо с Казанского решил мчаться к Элизе. В руках был рукодельный медвежонок, подаренный мне детьми. Конечно, я решил его переподарить, забыв, что дареное, да еще такое дорогое, не дарят. Я позвонил, что мчусь.

— Я же тебе утром сказала, чтоб ты больше не звонил.

— Ты знаешь, со мной так нельзя поступать.

— А со мной можно?

— Я ездил не на пикник. — Во мне начинала вздрагивать обида.

— Это безразлично.

— Я приеду сейчас.

— Ни за что!

— Успокойся, я позвоню через час.

— Скажу то же самое.

— Хорошо, больше никогда не позвоню.

И, повесив трубку и выйдя на гигантскую площадь трех вокзалов, которую тогдашние поэты в залетном усердии сравнивали с русской тройкой (только странно, что лошади в данной тройке рвались в разные стороны), выйдя на эту площадь, я, отлично помню, ощутил ликующую легкость освобождения.

А медвежонок встал у меня в изголовье на тумбочку, и прекрасно.

В жизни моей наступал

Музыкальный период

Студентки наши были красивы все. Это я говорю с полной ответственностью. Они всегда все прекрасны. Но нетерпеливые из них, кто боясь не выйти замуж, кто не надеясь, что разглядят, берут дело в свои руки. Выражение «красота бросается в глаза» не лучшим образом говорит о красоте. Чего ей бросаться, не собака. Но тут же есть слепота молодости, особенно в юношах. Торопливость жизни не дает рассмотреть красоту внутреннюю, душевную, ту красоту, с которой придется жить, а внешняя, которая временна, заметна. А тем более сделанная, эффектная, она прямо-таки кричит, попробуй не обернись на крик. Я и обернулся.

Это была Ирина. Ее сравнивали, будто больше не с кем, с «Незнакомкой» Крамского, или, будто они эталон, с актрисами. Красива была, красоту усиливала умелой косметикой. Она занималась музыкой, кончила музыкальную школу, распространяла по линии комитета ВЛКСМ абонементы на музыкальные вечера.

— Как ты сюда-то попала? — спрашивал я ее.

— «Из всех искусств одной любви музыка уступает», — отвечала Ирина. — Пришла в МОПИ, чтоб с тобой встретиться. Чтоб тебя взять в хорошие руки.

— Меня уж брали, — отвечал я грубовато. — И что у вас у всех бзик (я нахватался городских выражений) воспитывать?

Эта Ирина имела большое влияние на меня. Не в личном плане, а, скажем, в просветительском. Ожегшись на Нине и Элизе, поняв, что не был ни ими любим, ни сам не любил, решил я, что мне и не дано, чтоб меня любили. Видно, так устроен, и обижаться нечего. Проживу и необласканным. Мне же дано любить, я это знал. Я и

на Ирине был готов жениться, несмотря на все то же сознание его своего превосходства. Даже нравилось, что меня часто принимали за дурачка. Возглас «мы этого от тебя не ожидали!» после того, как я что-то свершал, долго преследовал меня и еще не отступился. Ирина приобщала меня к миру искусства. Это было посерьезнее мечты Элизы купить мне шапку с козырьком. Я за многое благодарен Ирине. Она через кого-то доставала контрамарки — как бы я, придя с улицы, мог услышать Рихтера, например? Легко сказать, что я многого не понимал, мне еще легче сказать, что и сейчас многого не понимаю в музыке, но наш слух, данный нам природой, независимо от нас избирает звуки, оставляет их в памяти, они трогают сознание, сердце, они выращивают нас. Надо довериться им, а не заставлять насильно себя слушать, вот и весь секрет.

— Ты любишь воду? — спрашивала Ирина, прогуливая меня по фойе зала имени Чайковского.

— А что, разве я неумытый? — Меня сердил этот «мальвинизм» — постоянная попытка воспитывать. Да еще тогда добавила модная Эдита Пьеха. Женским басом она часто пела: «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». Крайне вредная песня.

Ирина спрашивала о воде на пейзажах. Как будто я не бывал десятки раз в Третьяковке. Нет, ей льстило да и было проще изображать, что она начинает с нуля. Или спрашивала, щурясь, о битах информации в музыке.

Маме Ирины, врачу, я очень понравился. Уже умел открывать шампанское, уже напором и частотой визитов выжил конкурента в очках и со скрипкой, что было к удовольствию мамы. Уже и с мамашей вел беседы, в основном на медицинские темы.

— А у вас там, в вашей Вятке (она говорила будто о загранице), есть облепиха?

— Есть, — отвечал я, — у нас, как в Греции, все есть. Но вы знаете (забыл, как ее звали, допустим, Любовь Борисовна), знаете, Любовь Борисовна, это все предрассудки, что можно от чего-то излечиться. Болезнь — благо. Конечно, тут и Толстой мне помогает в этом убеждении, но ведь правда, что когда приглушаются физические силы, то духовные возрастают. И нет панацеи. Смотрите, набросились на пенициллин — панацея! Нет. Или что другое — нет единого лекарства. И облепиха не спасет.

Ирина в отличие от Элизы воспитанно не вступала в разговор, не обрывала меня, но копила замечания для разговора наедине. Любовь Борисовна была попроще Элизиной мамы, писать о спорте не агитировала, говорить со мной любила. Достижение это или несчастье — нравиться предполагаемым тещам?

— Не спасет, но поможет, облегчит боль, устранил, — поправляли меня.

— С облепихой согласен, неудачно. Но вообще. Давайте рассудим: здоровье — стратегия, так?

— Допустим.

— А действие лекарства — тактика. Это обман организма, то есть не обман, а поблажка. Больно — лекарство устраняет боль. Но организм привыкает, что не надо самому бороться, так как хозяин (хозяйка) помогут таблеткой. И самая худшая болезнь — излечивать себя лекарствами. Эта болезнь неизлечима. Почти неизлечима.

— Но как же вся фармацевтика? — Любовь Борисовна весело смотрела на меня.

— А так. Больно — терпеть. Организм подождет-подождет, помощи ждать неоткуда, поднатужится и сам справится.

— А не справится?

— Значит, такой организм, такая судьба, — жестоко отвечал я.

Любовь Борисовна смеялась. Ей нравилась такая логика.

— Или взять сроки жизни мужчин. Почему они короче, чем у женщин? Мужчины совестливей. Чем доказать? Они, собравшись, стараются выглядеть хуже друг перед другом, а женщины чванятся. Лучшее лекарство для улучшения самочувствия женщины — сказать что-то плохое про другую женщину. Не впрямую сказать, тонко, и чем тоньше, тем изысканней считается собеседник.

— В Вятке все такие? — спрашивала Любовь Борисовна, отсылая Ирину за чаем. Но чаще Ирина сама уходила. Звонить. Или ей звонили. Разговоры по часу меня потрясали. Безумно хотелось подслушать, о чем говорят по часу. Но Любовь Борисовна не отпускала. А мы с ней о чем по три часа говорили?

— Что-то не видно, что мужчины переживают.

— Переживания скрыты. Это еще ужасней.

— Но говорить о переживаниях — не значит переживать.

— Это упреждение переживания. Исходя из опыта.

— А вы опытный? — шурилась Любовь Борисовна. — Ира говорит, вы пишете. Она приносила стихи в институтской вашей газете. Мне понравились.

— Какие? — искренне радуясь новому читателю, спрашивал я

— Не помню. — отвечала она, — но хорошие. Я даже, кажется, сохранила. Цените.

Тут я похлестче Мишки распускал перья и говорил об открытии мира и литературы адекватным опытным путем:

— Нужна лаборатория, полигон.

— А любовь? Можно так сказать, что любовь — это опытное поле?

— Для стихов? Конечно!

— Я вам Ирину не отдам. Она молода и для опытов не годится. Лучше вам практиковать на опытных.

Эта Любовь Борисовна все поддразнивала меня, что очень злило Ирину. Ирина выговаривала мне, но за что — я совершенно не понимал. Мне даже нравились поддразнивания, они касались в основном моего говора юмора. Любовь Борисовна забавлялась, я же думал, что угождаю будущей теще.

— Я ваш юмор городской не принимаю. — говорил я. — В нем цинизм. Пример? Московские ребята рассказывали: Лежит на тротуаре коробка из-под торта. Конечно идет человек, хочется пнуть. Пинает. А под коробкой два кирпича. Травма. Это смешно?

— Вот и боль, которую, по вашей теории, не надо лечить.

— Совесть надо лечить. Или цепляют за нитку кошелек, прячутся за кустами, бросают кошелек на асфальт. Кто-то идет, нагибается, а кошелек поехал от него.

— Но, согласитесь, это смешно. И издевка над мелкими чувствами.

— Да он в бюро находок хотел отнести, объявление повесить.

— Ой не скажите.

— Вот вам и доказательство вашей испорченности. Вы заодно с насмешниками, вы не верите в бескорыстие.

— Хорошо, хорошо, — торопливо говорила Любовь Борисовна. — Интересно, какие же шутки вас устраивают?

— Какие у нас шутки, когда мы не люди.

— Как не люди?

— Да так. Кто от кого, кто от обезьяны, а мы от медведей. Или вот. Плынут по Вятке в лодке, ну, кто-то плывет. Стали тонуть. Кричат: «Эй, люди!» А на берегу сидят. Вот те, которые тонули, еле выкарабкались и этим с упреком говорят: «Что ж вы нас не спасали, мы же кричали вам «эй, люди!»?» А эти отвечают: «Мы не люди, мы — вятские».

Я заметил, что Любовь Борисовна заливается смехом тогда, когда в шутках моих есть самоуничижение, когда же юмор через хит-

ринку говорит о смекалке и способностях земляков, тут она смеется поменьше.

— Мы — вятские — все можем, — заверял я. — Только вот часы нам не отремонтировать: топором негде размахнуться, и лестницу не можем сделать: долбежки много.

Полагаю, я был более забавен для матери, чем для дочери. Думаю, они расходились во мнениях обо мне. Ирина могла сердиться на мать, что та портит меня поощрением подобных разговоров, а впрочем, не знаю. Возведя однажды очи от моего произношения: кофэ, кафе, выбора, — Ирина дождалась от меня ответного возмущения: чем же лучше ее жаргонизмы, например, словечко тогдашнее «лажа» («лажать», «лажануться»). «А еще к музыке приобщаешь. Ну-ка скажи наизусть «Степь да степь кругом!»».

Но я был бы не прав, представив дело так, что Ирина мне не нравилась. Даже очень нравилась. Уже и стихи появились: «Слова отыщу и стихами пораду о любви наивной и чистой. Ты вспомни: ночь, радиатор в парадном, горячий такой, ребристый. О как ты нежно к нему прижималась...» Далее следовало сожаление, что жаль, что к радиатору, а не ко мне. Еще я Ирине благодарен, что стал обращать внимание на язык. И свой и чужой. Свой, защищая от нападок, я превозносил как незамутненную норму лексики и семантики: «Мы не знали ни татаро-монгольского ига, ни крепостного права. Мы как говорим, так и пишем. И ваше это ма-асковское аканье мне не указ». Но для себя я старался говорить не «чэ», а «што», не «выбора», а «выборы», не «кофэ», а «кофе» и тому подобное, то есть тренируя себя в вещах легко достижимых. Но уже и Пушкин коснулся моего влекущегося к нему разума, уже щеголяя я знанием того, что слово «хладнокровие» (у Пушкина вычитал) есть дурно переведенное с французского сочетание, а правильно надо — хладномыслие.

Заметив склонность мамы к разговорам со мной, Ирина поубавила свои телефонные разговоры, и мы зачастили в театры и концертные залы. Я был введен в круг Ирины, то есть не введен, да и круга я там не заметил, а просто познакомился с молодыми людьми, слушающими музыку, которая не звучала по радио. «Что у нас, — говорили они, — что у нас за эстрадная музыка? Один Эдди Рознер». На концерте Рознера в саду имени Баумана мы с Ириной побывали, и я был согласен, что это хуже, чем то, что слышалось с привезенных из-за границы пленок. Элвис Пресли, юные «Битлз», немного Шарля Азнавура. Всего не упомнишь. Сборища при свечах напоминали общества спиритов, разговоры сводились опять же к тому, что мы отстаем не только в сельском хозяйстве, но в искусстве особенно. Мне повезло увидеть избранных из этой компании в непринужденной обстановке, в однодневной поездке, куда позвала Ирина. Любители Пресли, выпив, орали в электричке: «Веселися, бабка, веселися, Любка, веселися ты, моя сизая голубка». Песня нескончаемая — разговор старика и старухи о жизни. Там любые варианты. Старуха спрашивает: «Где же взять мне денег, милый мой дедочек, где же взять мне денег, сизый голубочек?» Мужская половина отвечает, ударяя кулаком по гитаре: «Спекулируй, бабка, спекулируй, Любка, спекулируй ты, моя сизая голубка». Это очень хорошо, что я видел этих эстетов без их «умных» разговоров, и процеживания слов, слов, будто золотых, так их мало тратилось. Трубки они держали в зубах «под Хэма», и свитера у них были грубой вязки «под Хэма». Стильный был народ.

Но ведь чуть не соблазнился тогда, чуть не стал, говоря языком нынешней молодежи, балдеть над джазом, блюзом, «Битлз». Пусть их. И Армстронг и кто угодно, как говорится, не хуже других, но считать, что вот это-то искусство и есть — это увольте.

Концерты продолжались. Из событий, которым я безумно гордился, был концерт тогда молодого, но уже знаменитого земляка

моего баса Александра Ведерникова. Меня распирало от гордости. Я больше не Ведерникова слушал, а вертелся, наблюдая, чтоб все слушали, чтоб не смели и шевелиться — наш поет!

— И Шаляпин наш, — захлебывался я от счастья, провожая Ирину к горячему радиатору в подъезде.

— И Эдит Пиаф ваша?

— Конечно! Не здесь же ей быть понятой. Здесь, где юмор такой: сегодня видел, как два балбеса моих лет стоят у парапета над подземным переходом и роняют на мрамор пятак. Он падает, звеня и подпрыгивая, они ловят, а люди многие начинают глядеть под ноги, искать. Тут расчет на смех: мол, чего искать, раз не у вас упало? Или на что другое? Может, объяснишь? А помнишь, чем я тебя насмешил? — мстительно говорил я. — Я вытер ноги не о ваш коврик, а о коврик соседей и пошутил, что не смею, не достоин, чтоб мои подошвы вытирались о ваш коврик, мои подошвы не достойны его коснуться. А ты смеялась, да еще Любви Борисовне рассказала. А чем виноват коврик соседей?

Но Ирина, не принимая критики, прижалась ко мне, и вся моя задиристость кончалась.

Ирина повела меня на концерт новой музыки. Туда было не попасть, чуть ли не конная милиция, но нас провели. Это был концерт-диспут. Исполняли, помню, музыку под названием «Заводной слоненок» Бэнни Гутмана. И еще что-то в этом роде. Помню спор, как проносить: Гудмэн или Гутман. До сих пор не знаю. А потом два искусствоведа, один с бородой, другой лысый, орали друг на друга. Один: это безобразия — другой: это гениально.

— Вы согласны, что каждый инструмент имеет право на самостоятельную тему? Согласны, что солировать и развивать тему могут все инструменты? Согласны или нет? — Так кричал лысый.

— Со второй частью согласен, все инструменты развивают тему, но не согласен и лягу костями, что каждому инструменту дается самостоятельная тема. Есть общая, сквозная тема, ей все подчинено. — Так отвечал бородатый.

— Это диктат! — Лысый прямо кулаки воздевал, протестуя. — Где же ваше понимание каждого?

— У Бетховена из хаоса возникает мир, идет к гармонии. Голос бога над бездной... — заговорил бородатый.

Тут я нагнулся к Ирине, спросив, есть ли у нее пластинка «К Элизе» Бетховена. Ирина дернула локтем, слушала.

Лысый не дал досказать:

— Вот! Вот! Хаос, бездна, голос... Вот вам уже три темы! Гармония, наконец, тоже тема!

— Гармония не тема, а стремление...

— А стремление не тема? — победно, но демагогически возглашал лысый. — Великий Шонберг дает свободу любому инструменту.

В публике закричали, чтоб он дал сказать оппоненту.

— Эта музыка, которую мы слышали, — начал бородатый, — угнетает и утомляет...

— Значит, вы ее не понимаете? — опять перебил лысый. — И публично признаетесь в этом.

— Сам дурак, — восторженно шепнула Ирина. — Как он бородатого лажанул!

— Что-то не заметил, — отвечал я, зная, что она пожмет плечами: мол, и не заметишь, не дано. Но мне нравился бородатый, хотя он почти ничего и не успевал сказать.

— Если я не понимаю это, — прорезался бородатый, — то как же я понимаю Чайковского, Бородина, Мусоргского? А Моцарт?

— В них и понимать нечего, — отрезал лысый, — они слишком просты для понимания.

Но тут он явно хватил. В публике даже засвистели.

— Ничего себе! — закричал и я, получив толчок от Ирины.

— А это, что мы слышали, — наступал ободренный бородач, — слишком просто до бессмысленности. Разброд. Труба туда, кларнет сюда, рояль барабанит свое, ударник вообще лишь бы оглушить...

— Н-не скажите! — опять попер лысый. — Если вы ретроград, консерватор, кто же вам запрещает быть им, но нам позвольте пойти и дальше.

— Куда?

— Куда вам не дойти.

— Туда я не хочу.

— Туда вас и не зовут...

В подъезде, заменяя радиатор, грея Ириныны руки, я говорил:

— Да, ты тоже можешь сказать, да так и думаешь, что я ничего не понимаю. И когда на Гарри Гродберге зевнул, это ты отнесла к необразованности, а не к тому, что ночью очерк писал, но подожди. У меня есть признак прекрасного, ты не смейся или смейся: вот если меня мороз по коже дерет, озноб, мурашки бегают — это настоящее и большое.

— Слон в зоопарке, — сердито говорила Ирина.

— Ну и смейся. У нас скоро проигрыватель концы отдаст. Ты слышала концерт для скрипки с оркестром Бетховена. Кожу снимает! И интересно, вдруг бы где-то там труба вылезла и завопила свое, нет, этот лысый чего-то...

— Не смей его так называть!

— Но он же лысый!

— Ну и что? Поумней тебя.

— И на здоровье. Можешь ему сказать в утешение примету, что ослы и бараны не лысеют. Ты слушай. Глинку благословил Пушкин. Ты кому бы поверила: лысому — тьфу! извини! — искусствоведу этому или Пушкину?

— Время изменилось, время! — закричала она, отдергивая руки, будто становясь в боксерскую позу.

— А Пушкин? А Глинка? А твой Берлиоз? «Шествие на казнь» — это же...

— Кожу снимает?

— Да. И вдруг бы в мелодии чего-то бы забрякало, завыло.

— Хорошо ты выражовываешься, — ехидно сказала Ирина. — Этому лысому всего двадцать восемь лет, а он уже доцент. Посмотрим, будешь ли ты хотя бы кандидатом в двадцать восемь.

— Принципиально не буду. Этих кандидатов, извини, как нерезанных собак...

— Или ты будешь говорить нормально, или мы видимся последний раз. Перед тем как говорить, надо думать!

С этим лысым у меня была схватка на даче Ирины, умственная схватка. Мы были вывезены помочь на даче. Там он сразу ушел в глубь комнаты и там переоделся в рабочее, из чего и дурак умозаключил бы, что здесь он далеко не впервые. Мне, с моей одеждой, можно было не переодеваться. Ирина, веселая от ранней весны, свежего воздуха, порхала как бабочка. Надела какой-то балахон. «Только не ссориться, мальчики!» «Мальчики» переглянулись. Я-то еще, да и то с натяжкой, подходил под мальчика, а доцент? Молча мы таскали старые доски, разбирали какой-то сарай, работа пыльная, но не тяжелая. Доцент извелся от молчания и первый, первый — это льстило мне — предложил перекурить.

— Устал, — примирительно сказал он. — А вы, говорила Ирина, прошли трудовую школу?

— Прошел. Ну что, покурили?

И снова мы запряглись. Уже Ирина, жалея доцента, велела нам отдыхать. При ней я разговорился, да еще и Любовь Борисовна

явилась с сумками. Разговорился о том, что в пословицах о труде сказанся противоречивый хитроватый характер русских.

— Нет ни одной пословицы, славящей труд. Может, только эти: бог труды любит,— но она может быть извлеченной из проповеди — или: без труда не вытащишь рыбку из пруда,— но ведь рыбка-то для своего удовольствия, для еды. От трудов праведных не наживешь палат каменных; с работы не будешь богат, будешь горбат...

— Значит,— обрадовался доцент случаю поддеть меня,— пословицы как раз толкают к нечестному труду, а как же нравственность народа?

— Или нынешние: пусть работает трактор, он железный; лучше плохо отдыхать, чем хорошо работать; если хочется работать, ляг поспи, это пройдет; работа не что-нибудь, век простоит; работа не Алитет, в горы не уйдет...

— Вот это все и доказывает! — радостно заключил доцент.— Эта вековая лень, нежелание трудиться, странно будет, если вы не скажете это публично. Лекарство горько, но это лекарство, я вам запишу потом, как это будет по латыни.

— Юра, нам преподают латынь,— мягко заметила Ирина.— Его хвалили,— сказала она обо мне как о постороннем. Она была довольна, что спор идет без обид.

— Нет уж, извольте,— не дал я ей остаться спокойной,— странно это слышать, вы будто не русский.

— Национальность ничего не доказывает,— вежливо сказал доцент Юра,— «кто живет без печали и гнева, тот, как известно, не любит Отчизны своей».

— «Труд этот, Ваня, был страшно громаден» — это тоже Некрасов,— отбился я.

— Чтецы-декламаторы,— восхищенно заметила Любовь Борисовна.— Но Некрасова сейчас современники знают мало. Ушел тот быт, ушел и поэт.

Я взмахнул рукой и воздуха набрал.

— Ой не надо! — закричала Ирина.— Ой не надо. Люблю, люблю, люблю, люблю Некрасова!

— Но о работе я договорю,— упрямо сказал я.— Значит, вам не повезло, а я столько раз в жизни видел работу, которая вовсе не из-за денег, не из-за голода. Вот в армии. Солдат спит — служба идет. Сыт, обут. Но сколько раз были моменты: уголь, цемент, дрова — ночи напролет, энергия такая, и удаль, и все такое, отчего?

— Ну просто друг перед другом,— снисходительно молвил доцент.

— Да перед кем там, все в зеленом? Ну, до армии на комбайне — тоже чуть не сутками. Чтоб не уснуть или чтоб от усталости не попасть в молотилку, привязывались ремнями.

— Сезон, заработок,— заметил доцент.

— Вы и про сенокос скажете: не упустить время. Да, можно сказать. Но когда идет туча, тут азарт, тут небо подстегивает, и никогда не было, чтоб не успевали. И не падали замертво, а начинается дождь, стог стоит сметанный — такая радость, такое ликование, это со стороны не пережить.

— Но это лишний опыт для вашей будущей жизни. Ведь вы не остановитесь на вузовском дипломе?

— Или ремонт тракторов. — Я не мог остыть, с такой радостью вспомнились наши дымные мастерские.— О, я тогда схлопотал выговор, лозунг написал — «Трактор без кувалды не соберешь». Хоть и правда, а начальству обидно: технический прогресс подковырнул. Какие уж там заработки! Вот вы говорите: из-за денег. Нам сверхурочные не платили, слова такого не знали...

— Профсоюз плохо работал.

— Какой профсоюз — весна приближалась. Ни запчастей, ни

железа, холодище! На улице женщины работали, кирпичи грели в костре и потом на спину подвязывали, чтоб поясницу сохранить.

— Прямо блокада какая-то,— засмеялась Любовь Борисовна.— Вы с какого года?

— Привязывали! Врать-то мне какой резон? Вот вы вставили шпильку, что мне это в городе не нужно, сено, мол, это ваше. Еще, думаете, про навоз, мол, заговорит...

— Ну да, ну да,— сводил на шутку доцент,— «но хлеб, который жрете вы, ведь мы его, того-с, навозом», так?

— Да-да, уж точно. «они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня!».

— Ириша, разводим на пятнадцать шагов,— смеялась Любовь Борисовна.

— Ну что вы — доцент и студент, это все равно что офицер и ефрейтор, какая тут дуэль,— поуничижался я.

— Струсил ты,— заявила Ирина.— Давайте разожем костер из мусора.

— Да вот и в городе,— я хотел непременно оставить за собой последнее слово,— на мясокомбинате...

— Ой не надо! — закричала Ирина, закрывая уши ладонями.

— Я не о крови. Хотя вот раскладывает же Любовь Борисовна колбасу и отварное мясо, есть-то будешь, и класс жажду заливает не квасом...

— Замолчи!

Нас повели за стол, накрытый на застекленной террасе. Усаживаясь, доцент обратился ко мне:

— Вы позволите? У меня серьезный разговор. Спасибо, Ирина, достаточно зелени. У нас на кафедре расширение штатов, набирается группа языка эсперанто, вы понимаете, как это важно для науки, искусства и как это перспективно. Было бы жаль, если б нахлынули ловкие дельцы от науки, сняли бы сливки, а потом приходят пахари, вы понимаете этот термин, он нов, вам должен понравиться, это о тех, кто пашет, а не заботится о выгоде.

— Но вы же латынь упоминали, разве не хватает?

— Она трудна для всех, оставим ее для рецептов и для разговоров о смерти больного при больном.

— Скажите-ка, скажите, проверьте на доценте вашу теорию о вреде лечения, — подзадорила Любовь Борисовна.

— Сами потом перескажете,— сказал я невежливо, а сам думал, что нехорошо повторяться при том, кто уже слышал.

— Ну-с,— возгласил доцент,— занесем зеленого змия в Красную книгу.

Тогда еще только-только начали говорить о Красной книге природы, и остряки упражнялись.

За столом наступило время примиряющих анекдотов. Мои, казарменные, скрашивающие солдатское житье, не годились, доцент и тут первенствовал.

Про эсперанто с доцентом мы ни до чего не договорились. Мы бы и договорились, я даже был готов на последнем курсе взять эсперанто темой диплома, затем реферата для аспирантуры, раз уж Ирина так хотелось ученого мужа, но, уже чуть ли не давая обещание, я попросил доцента сказать что-либо на эсперанто. Он с огромной готовностью, торжествуя, вызвался прочесть стихотворение Лермонтова «Парус». И прочел: «Белеет парус одинокий...» Но это было до того чудовищно, неживо, куце, знакомые слова стали уродами, ударяясь друг о друга горбами корней, что мне сказать было совершенно нечего, кроме того, что я подумаю.

После обеда уже не работали. Ирина села за пианино. Доцент пел, и пел неплохо. Тенором. Когда я попросил его спеть любимую

арию Ивана Сусанина «Ты взойди, моя заря» с потрясающими до озноба словами «настало время мое» и о страшном последнем часе, то опять попал впросак, мне было сказано, что ария эта для баса.

Порыв чувства к Ирине заменился вяло текущей дружбой. Но ведь на лекциях сидим вместе, но ведь провожаю, но ведь на даче работал, за стол усаживали, что еще? Как у Чехова: это только женихи ходят обедать. То есть подошло к тому, что надо было назначать день свадьбы. Тот же случай, что и с Элизой. Увидя же и в Ирине расчет, я резко сказал ей об этом.

— В чем? — Она возмутилась. Красивая была, брови высокие, изогнутые.— Уж извини, но это у тебя расчет. Хорошо тебе, все готовенькое. Или на даче перетрудился?

Все закипело во мне, только звонок прервал разговор. В аудитории я сел с Витькой и Левой, которые жизнерадостно предложили делать свадьбы в один день: дешевле.

— Я не буду жениться.

— Да ты что?

— Камчатка! — сурово прикрикнула профессор Гражданская. Была лекция по зарубежной литературе.

Я внезапно встал:

— Зоя Тихоновна, разрешите мне и Ирине С. выйти из аудитории.

Ирина испуганно поднялась. Мы вышли в пустой коридор.

— Ира,— сказал я,— я тебя никогда не любил, и прости, что мою благосклонность (это слово было продумано, все-таки силен в нас в молодости синдром Печорина) ты приняла за серьезное увлечение. О дальнейших наших встречах речи быть не может, но если ты будешь считать меня человеком, способным прийти к тебе на помощь, буду благодарен.

Она закусила нижнюю губку, которая обычно выдавалась вперед верхней, и сказала:

— Я не вернусь на лекцию, ты отдай кому-нибудь из девчонок мой портфель.

— Могу и сам взять.

И отвез я тогда этот портфель в Измайлово по знакомой дороге, поднялся на знакомый этаж, поставил портфель у знакомых дверей и позвонил. И так мне хотелось дать деру, но сдержался — в чем я виноват? Открыла Любовь Борисовна.

— Прошу передать, — сказал я о портфеле.

Портфель был молча принят. Мы раскланялись.

Ах

эти девичьи комнаты и альбомы отрочества и юности. «Это мы с мамой в Гаграх, был? О море в Гаграх!» И эти милые сувениры прежних встреч и увлечений: перо птицы («Правда, как пушкинское?»), обертка от шоколада, засушенная ветка, цветок. письма, показанные из рук. «Это от него, когда-нибудь дам прочесть». — «Он погиб?» — «Нет, кто тебе сказал? Он в Гане».

Штука в том, и никто их за это не осуждает, что девушки, пройдя первые любви или увлечения, кому как достанется, испытывают их острее, обреченнее, безогляднее, нежели те, путь от которых к замужеству. Тут непременно есть расчет, если не свой, то родительский или ближайшего окружения. Тут не вопрос, любишь ли ты его, тут вопросы: а кто он, а перспективен ли, а откуда, а какая родня, а кто родители, а сколько лет — и прочие житейские вопросы, которые не обойти, которые надо знать, но которые ранние чувства в расчет не берут. И камешек, поднятый с тропинки, и снова фотографии... Целая, без преувеличения, жизнь проходит до замужества в судьбе девушки. И эта жизнь будет светлой всегда и будет как

упрек, как контраст будущей жизни, которая, конечно, будет разной и полной страданий. Судьба это или так надо, чтоб человек всегда томился воспоминаниями о том, что, казалось, вот-вот сбудется? И не сбылось бы, а кажется, что сбылось бы.

Не могли стать моими женами ни Элиза, ни Ирина, ни другие, с кем связывала факультетская молва. А мне тогда было какво? Ведь оставленные не прощают, Ирина объявила, что бросила меня первая. И теперь уже я, соблазненный и покинутый, приходил на лекции, сочинял мрачные стихи, которые забыл, жил какое-то время в странном состоянии. Винил, конечно, себя. Какие-то билеты в театры оставались, я попытался отдать их ей — для нее же старался, — Ирина гордо прошла мимо. Правда, разведка доложила точно: ее тот доцент после занятий подхватывал у подъезда, так что чего было на меня обижаться.

Уединение хорошо самоуглублением, а это полезно. Увлечшись Толстым, его статьями, я угрызался собственным несовершенством. И чем больше всматривался в себя, тем в большем ужасе отшатывался. И было отчего. Люди совершенной жизни принимали за грех тень мысли о грехе. Вот и доживи до такого совершенства. Попробуй, по Толстому, любить того, кого не любишь. Мяса не есть. Босиком ходить. Как это все исполнить?

Самое интересное, что вскоре все это исполнилось. Правда, на три месяца. Эти три месяца — это работа в пионерском лагере на берегу Черного моря в Крыму. Там я ходил босиком, разве только на поднятие флага обувался, мяса не ел совершенно, ибо отдыхал от него, а кормили там! Лагерь был от Министерства обороны. И любить приходилось даже тех, кого не любил, — пионеры все равны, за всех отвечаешь. Но до лета надо было дожить.

— Вот ты комсомольский секретарь, — сказал я Наде, — ты и решишь проблему, с кем мне в театр ходить.

— Ходи один.

— Я не могу один. Надо же реагировать, обмениваться мнениями.

— А ты разговаривай сам с собой, и хлопай в два раза сильнее, и думай, что не один.

Такой совет дала мне Надя, однако в театр пошла, думаю, из интереса к театру, а не ко мне. Потом мы несколько раз гуляли по Москве, и я привычно, по накатанной дорожке говорил:

— Это ужасно, что мы плохо знаем архитектуру (мы стояли перед собором Петра и Павла в Сокольниках, а на следующий день перед собором Богоявления, в просторечии Елоховским на Разгуляе), ужасно, ведь это мысль в камне, в дереве. Взять готику, там одно, здесь другое, там суровость, расчет, сведение небес на землю, здесь же возвышение, стремление вверх (мы стояли перед церковью Вознесения в Коломенском) поднять земное до небес... Каннелюры, — говорил я, — пилястры, закомары, полотенца, барабаны, золотое сечение... — Много чего говорил.

Однажды Надя, засмеявшись открытию, спросила:

— Ты знаешь, я почти уверена, что так, как мне, ты всем до меня говорил.

И я, удивляясь на себя, покраснел и признался, что да, говорил.

В редакции тоже заметили перемену в жизни, и вот почему. Давая в номер по несколько материалов, не мог же я все их подписывать одной фамилией, брал псевдонимы. Они были по именам девчонок: Элизин, Ирнин. Я сдал материал с новой подписью — Надеждин.

— Что за новости? — сурово спросил Заритовский.

Я объяснил: так и так, хорошая девушка, дружу. И что мне хочется привести ее в гости в редакцию. Интересно, что это желание не возникало, когда встречался с другими.

— Приведи.

Надя, взяв с меня клятву, что не увидит ничего страшного, согласилась побывать. О как она была принята! По высшему разряду. На столе были продукты из экспортного цеха. Ни до, ни после Надю так никто не кормил. На свадьбе хуже ели. Но главным было то, что она всем так понравилась, что, когда я звонил ей из редакции и, от-вернувшись в угол, говорил часами, мне не делали замечания. Не было еще произнесено ни слова о любви, но было постоянное состояние вопроса о Наде: что с ней теперь в эту минуту, что делает, помнит ли?

Надя жила далеко — с Курского вокзала на электричке, а там пешком или на автобусе. Провожал, потом возвращался через Курский на Каланчевку, бежал на Ярославский и ехал в общежитие. В один день, когда мы долго прощались (именно в этот день решилось, что мы едем в один лагерь в Фвпаторию), я опаздывал на последнюю электричку. Ночевать на вокзале было не в новость и не в тягость, не раз меня утренние уборщицы выковыривали шваброй из-под скамьи, но и не в радость. Бежал, торопясь, а из арки от таможи выскочила на меня черная «Чайка». Я успел подскочить и попал не под колеса, а на капот. Ударило не так сильно, но спицей заломленного дворника прорвало куртку на плече и ободрало плечо. И как-то еще попала рука, тоже шваркнуло. Машина, завизжав, вскоптыгившись, встала, я свалился на асфальт, но быстро вскочил. Шофер, оба мы были виноваты, подбежал. Я взял больной рукой больное плечо и сказал:

— Двигай дальше, я опаздываю.

— Молодец! — радостно крикнул он и уехал, а я успел на последнюю электричку в послений вагон и прошел ее на скорости всю, все десять вагонов, пугая своим видом редких пассажиров. В первом вагоне сел. Ко мне подсел плачущий пьяный мужик, который вовсе не из-за меня плакал, он объяснил:

— Она мне сказала: до смерти домой не приходи — я и ушел. Пойду, думаю, сяду в любую электричку, шпаны полно ходит, может, убьют.— И впрямь, фраза «до смерти домой не приходи», сказанная, конечно, в сердцах, была страшной.

В общежитии наши марлю, перевязали. Зажило быстро. Организм в молодости такой, что некогда думать о ранениях, оттого они и заживают быстрее.

Но это сказано к тому, что вскоре медицинская суровая комиссия АХОЗУ МО (что означает административно-хозяйственное управление Министерства обороны) допустила меня к работе в качестве пионервожатого в огромный (полтора километра побережья) пионерский лагерь «Чайка». И лагерная песня

«Чайка крыльями машет»

сделалась одной из наших любимых. Лагерь этот был для детей военных аппарата министерства и этого самого АХОЗУ. Дети там были не ниже чем дети подполковников. Дети майоров были редчайшей редкостью, у меня в отряде была одна капитанская дочка, она ходила в золушках. На мотив песни «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы — пионеры, дети рабочих» я написал песню вожатых, и мне крепко за нее влетело. Она начиналась так: «Взвейтесь кострами, синие ночи, если б у нас были дети рабочих!» Но в АХОЗУ умели и ценить службу, с нами считались. Дружина нашего института, то есть та, в которой были вожатые-мопийцы, не знала равных. Нам с Витькой достались самые старшие отряды. По нашему убеждению, у наших переростков были подделаны годы рождения. Но, вообще-то, уже и тогда словцо «акселерация» мелькало рядом с модными анкетами социологов. Вдобавок это вступало в жизнь поколе-

ние эгоистов, как его называли, поколение одного ребенка в семье. Девицы и юноши, составляющие Витькин и мой отряд, явно тяготились пионерскими церемониями, физзарядкой, самодеятельностью, рукоделием. Даже купание их не влекло, они ждали вечера. Ближе к нему они начинали оживляться, наряжаться, золото сверкало на пальчиках, девицы становились томными, юноши независимыми. Но, как говорится, и не с такими справлялись. Витька по утрам, выгоняя на зарядку и понуждая к уборке, ходил в одной тапочке, другая была в руках и звонко шлепала по известному воспитательному месту виноватых. Однажды на ночном совещании педагогов и вожатых Витька уснул от усталости. Его подняли и на него закричали:

— Какая у вас главная задача?

— Чтоб никто из пионерок не забеременел,— четко ответил Витька.

На вторую смену приехали настоящие пионеры. Впереди всех всегда бесспорно был отряд Нади. Как ей удавалось влюбить в себя за два дня сорок человек, как все сорок брали все призы в спорте, все сорок пели и плясали, шили костюмы — это загадка. Но самое смешное и несправедливое было в том, что первое место было присуждено отряду Мишки. Да, не спорим (я тогда был назначен старшим вожатым дружины), отряд Мишки был вышколен. Но как-то мрачен. «Дисциплина помогает отдыхать» — такой лозунг мы внедряли, и успешно. Но муштру отрицали. Мишка сумел понравиться начальству. Еще бы, подъем флага — Мишкин отряд выглажен и в галстуках, а Витькины и Левины стояли наполовину в тельняшках, наполовину в ковбойках. Конкурс строевой песни — Мишка во главе, а Витька заявляет: «Купаться надо, а не маршировать». Надины ребята делали все по охоте и из любви к вожатой, а Мишкины — по его принуждению. К чести Нади, она первая поздравила Мишку.

Элиза и Ирина тоже были вожатыми, и я намучился с ними и очень рад, что они ездили. Надо видеть человека в работе — она мера души и характера. Они жаловались мне, как старшему вожатому, на своих воспитателей, на них сваливали беспорядок в палатах, на море я трясся от страха именно за их отряды, они, храня себя, не очень лезли в воду, тогда как Надя, плохо умея плавать, сидела в воде до дрожи. Они в столовой сидели отдельно от ребят, Надя всегда вместе, и сверх того, что полагалось на пионерскую порцию, лишней ягодки черешни не съела, тогда как — я замечал, а уж пионеры тем более — Элиза была не прочь полакомиться сладеньким, которого ребята лишались. Сказать я не мог, было стыдно. Элиза и Ирина, получая письма из дома, передавали мне приветы от своих мам. Вечерами они наряжались, оговаривая это тем, что не хотят выглядеть хуже пионерок. Надю я ни разу не видел в нарядном платье, всегда в простеньких ситцевых или сатиновых — тогда я думал, что нет нарядных от бедности, а потом спросил. Нет, платья были, не успевала надеть, все работа и работа. Идешь ночью от директора с очередного разноса, сидят Элиза и Ирина и посидеть зовут на скамье среди глициний и магнолий, а в отряд к ним зайдешь — или парни куда-то сбежали, или девчонки перемазаны зубной пастой. А Надя босиком ходит по палатам, уже все у нее спят, она кому одеяло поправит, кому на тумбочку поставит цветы, кому под подушку спрячет ириску. Зовешь ее на море посидеть при луне — ни за что ребят не оставит. Кстати, так же и Мишка. Только он не босиком ходил, а специально топал, чтоб слышали и боялись.

Тогда я впервые увидел море. Привыкший к северным просторам, просидев в отрочестве несколько лет подряд на лесной пожарной вышке, я совершенно был уверен, что открылся бескрайний, сливающийся с горизонтом лес. А это было море. Помню чайку, упавшую в волны и взмывшую с трепещущей рыбкой в клюве, чай-

ка не смогла ее проглотить на лету, села на берег, бросила рыбку, та билась, и чайка, испытывая чувства кошки, играющей с мышью, глядела на рыбку поочередно то одним, то другим глазом. Волны моря, их размер, эти прекрасные строки Бунина: «В дачном кресле, ночью, на балконе.. Океана колыбельный шум...» — все это незабываемо. Огромная луна над морем, перевернутый ковш Большой Медведицы, Полярная звезда, на которую мы с Надей договорились смотреть в одно время, милый Север, который был тогда в десять раз дальше от нас, чем Турция. Тогдашнее состояние было удивительным. В пересменках, когда было посвободнее, сидели на берегу и под шум волн, вспоминая институт, гексаметры Гомера, смеясь над Мишкой, который залепил на зарубежке историческую фразу факультета, что Илиада это жена Одиссея, мы пели под вечный ритм волн: «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» — а досидев до рассвета: «Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос...» А то и свое сочиняли.

Мы сидели с Надей как раз в тот вечер, когда глядели на Полярную звезду, и к нам подбежал ежик. И сел у наших ног. То ли он был ручной, то ли доверился, но мы его погладили, как собачку.

Да, но ведь день приближался, день, в который назначена была свадьба с Элизой. Мы, те, кто поехал в «Чайку», сдали сессию досрочно, а если бы сдали нормально, то как раз и было бы то время. Напомнила мне о свадьбе не Элиза, а Надя. Был первый за пять недель выходной, мы стояли на палубе прогулочного катера.

— Сегодня ваша свадьба с Элизой,— сказала Надя.

— Почему с ней, с тобой,— ответил я.

В городе забежал в магазин, купил медные кольца. Тут же при выходе надел и ей и себе. Мы пришли на набережную. Надя, опустив глаза, покрутила кольцо на пальце, потом сняла его и бросила в прибой.

До наших с ней золотых колец оставался год.

Доброе утро!

«Доброе утро!» — так я однажды сказал, прощаясь поздно вечером с родителями Нади. Они сидели на кухне общей квартиры, ждали, пока мы расстанемся, не зная, что я просто-напросто сплю на диване, а Надя просто сидит рядом. Конечно, они могли подумать, что я ненормальный, не отличаю утра от вечера. Но они не знали того, что я устаю смертельно, пишу по ночам, по-прежнему работаю, но теперь уже грузчиком, чтоб заработать на свадьбу и кольца, а для меня главной радостью было то, что перед Надей не надо было стесняться этой усталости, она понимала. Помню весну, молодую, горящую, сверкающую под фонарями после дождя листву деревьев, помню грозу, когда электричка тряслась на рельсах. Зимю помню, когда мы поссорились, я забыл свою тетрадь, выскочил, а Надя бежала по снегу в домашних тапочках, догнала и сказала: «Ты забыл», — а обратно пошла шагом. Метель обвивала голые ноги, синий фланелевый халатик казался таким тонким. Я догнал и схватил ее на руки.

И ношу на руках всю жизнь.

— Все-то ты врешь,— говорит жена, поднимая глаза от рукописи к низкому потолку окраинной квартиры.



АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК

★

ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ И ШЕСТЬ *

Роман

6

Сойдя с парохода, он направился прямо в райком: издали еще, с палубы, подплывая, нашел глазами среди сельских строений Вотчи, сгрудившихся тесно, будто подобраны граблями в кучу, будто вокруг места мало, а вокруг-то дали и дали, речные плесы, лесные взгорья, золотистые пашни и сочные пастбища, деревянное здание с полощущимся над крышей красным флагом и понял, что вся власть там.

Рассыхаев, первый секретарь Вотчинского райкома партии, был на месте и принял его сразу, сказал, что рад, спросил, надолго ли и по какому делу.

Алексей объяснил, что командирован на хвостовую караванку, должен написать о ней очерк, а где ее сейчас искать, никто не знает толком, вот и решил выяснить.

— Хвостовая караванка? А она от нас уже ушла, перебралась к соседям, в Талицкий район... Погодите, я сейчас вызову инструктора, он только вчера оттуда вернулся, с караванки, сопровождал до самой, можно сказать, границы. Он все точно знает. — Рассыхаев крутанул ручку допотопного телефона. — Алло, Мяндин? Зайди, бегом давай. — Положил трубку. — Значит, на караванку?

— Да, — подтвердил Алеша, — мне кажется, что это интересно.

— Как не интересно!.. Между прочим, я до войны на сплаве работал — еще допризывником, мальчишкой, — улыбнулся секретарь райкома, — так и сам однажды ходил с этой караванкой. Славное дело! Хотя и трудно, а весело: вся работа в пути, нынче здесь, завтра там. Только ночевка на месте в плашкоутах, на воде, а с утра опять шагаешь берегом вдоль да по речке, вниз, багор в руке. А другая бригада — на том берегу. Только и слышно: эге-ге-гей, ого-го-го! Кто кого одолеет — левый берег или правый? Работа кипит, кровь играет, солнышко светит, с реки ветерок, идешь, уже и ног под собой не чувствуешь, а песни поешь. Ведь молодежь одна — парни да девчата, все им ни почем, мозолей не замечают, устали не знают, хорошо!

Секретарь райкома зажмурился, потряс головой с вьющимися прядками над ушами, по краю лысины, и можно было догадаться, что был он когда-то сплошь кудряв и золотоволос, молодец что надо.

— Ну и польза, конечно... — подобрался он. — Караванка — это что? Весною, когда большая вода, лес идет по малым речкам самотеком, россыпью, модем, так и называется — молевой сплав... а потом и

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

по главной реке, по Вычегде, мчит сплошняком, будто льдины в ледоход, бревно на бревне, вся река деревянная. До запаней далеко еще, тут его не перехватишь, удержу нет... А вода помаленьку падает — что ни день, она все ниже, — и этот лес по берегам оседает, на отмелях, на перекатах, запутывается где ни попадя... Вот за этой большой водой, за лесом этим и идет караванка: чистит берега, сбрасывает лес обратно в реку, чтоб дальше плыл, к запаням, к плотбищам, чтоб не пропадало добро — ведь, считай, сотни тысяч кубометров возвращаем государству таким образом, а денег сколько, а золотой валюты!

Алексей слушал вежливо и терпеливо: все это он уже затвердил назубок, все это ему подробнее объяснил Улитин, подписывая командировочное удостоверение, а потом еще и Степан Огузов растолковал не только на правах заведующего отделом промышленности, но и как выпускник лесного техникума — Алеша понял, что учился он там прилежно, дело знал во всех тонкостях, человек грамотный.

Мяндин явился по вызову и, присев к столу, тоже внимательно слушал речь первого секретаря, хотя надо полагать, что и он об этом имел соображение, да не с чужих слов, ведь вчера лишь вернулся с хвостовой караванки.

— Познакомься, Мяндин: это товарищ Рыжов из «Северной звезды», — сказал Рассыхаев. — Ему на караванку надо. Где она сейчас?

Инструктор, молодой, хотя и плотного сложения, в диагоналевой гимнастерке и синих галифе, прошагал к карте, повел палец по извилистой линии Вычегды.

— Вот тут, Питирим Григорьевич... Позавчера ночью они пересекли границу, — он постучал ногтем по красной линии районного деления, — и на сегодняшний день находятся в Талицком районе, у Гундыр-Полоя. Там, я полагаю, застрянут надолго.

— Что так? — удивился Рассыхаев.

— Затор, пыж. Весь моль не успел пройти, а вода спала, и там, в устье Талицы, наворочено теперь — черт ногу сломит, глянуть страшно... Сезонники начали разбирать этот пыж, но когда в Талицком районе узнали, что караванка на подходе, то все и бросили — пускай чужие уродуются, а своих перевели на другой объект. Все. — В знак того, что доклад окончен, Мяндин вытянул руки по швам.

— Садись... Вот видите, — продолжил секретарь райкома, обращаясь к Алексею, — какие паводок сюрпризы преподносит, не уследишь, не угадаешь. А соседи наши, гляди-ко, исхитряются: на чужом горбу хотя в рай въехать, ну и ну... Впрочем, — опять подобрался Питирим Григорьевич, — это нас не касается. Мы свое обеспечили. Нашу дистанцию караванка прошла нормально, даже с опережением суток на восемь, да? Да. Теперь они это опережение, конечно, растеряют там, у Гундыр-Полоя, но уж это извините... — Рассыхаев развел руками. — Все, что от нас, от Вотчи, зависело, мы сделали.

— Провожали с музыкой, с оркестром! — вставил Мяндин.

— Да, и провожали с оркестром, и людей на митинг собрали, и слова, какие надо, сказали в напутствие. И не только слова: вот прикомандировали к рабочему коллективу — все же двести человек — инструктора райкома партии, чтоб помог в организации, в воспитательной работе. Оборудовали передвижной медпункт, дали фельдшера. Снабдили киноустановкой. Даже лектор сопровождал: о международном положении... Так что на нас караванщики не должны быть в обиде. Не было жалоб, Мяндин?

— Никак нет.

— Вот и хорошо, — удовлетворенно кивнул секретарь райкома. — К нам еще вопросы есть, товарищ корреспондент?

— Нет, спасибо. Но как мне добраться до караванки?

— Пароходом не доберетесь — он там не останавливается, у Гундыр-Полоя причала нет. Вы уж и сами поняли, что хвостовая кара-

ванка — она верткая, как угорь, на месте не задерживается, все время двигается, вьется вместе с рекой... хвост и есть хвост.

— Так как же? — переспросил настойчивей Алеша.

— Послушай, Мяндин, ты там выясни — на почте, либо у торгашей, либо в райфо — наверное, чей-нибудь катер сегодня пойдет вниз? Так чтобы товарища с собой прихватили и доставили его к караванке. Хотя и придется заплывать в чужие воды, — усмехнулся Питирим Григорьевич, — да ничего, авось соседи в драку не полезут, Вычегду перегораживать не станут... Выясни и распорядись.

— Есть, — ответил инструктор.

Алексей сунул в карман блокнот, не написав в нем ни строки, ни буковки.

И это засек цепкий взгляд секретаря райкома.

— Так что же, товарищ Рыжов, нашу Вотчу совсем вниманием не удостоите, будто бы и не были, будто бы и мимо? А зря, между прочим. У нас тоже немало интересного. Все колхозы отсыпались в срок, теперь развернули сенокос. Строимся помаленьку своими силами: комбикормовый завод, звероферма, новая школа, Дом культуры новый — вчера было открытие, артисты приехали из республиканской филармонии, выступали...

— Видите ли, — сказал Алексей, вставая, — я бы со всей охотой, но у меня конкретное задание: хвостовая караванка, двести пятьдесят строк, очерк... и, насколько мне известно, редактору звонили из обкома, велели срочно подготовить материал о караванке, так что... — чуть понизив тон, доверительно объяснил Алеша.

— Ну, тогда ясно, — кивнул Рассыхаев и встал, протянул руку. — До свиданья, желаю успеха. Вы все-таки по райцентру погуляйте, взгляните хоть — очень красивое наше село Вотча. И в чайную наведаетесь, это рядом, пообедайте, там хорошо кормят. А после обеда зайдите к товарищу Мяндину, он к тому времени все устроит... Будьте здоровы.

В чайной пахло маслянистыми оладьями, жареной дичиной, еще чем-то, он не сразу разобрал, но пахло вкусно.

Поискал себе место. В красном углу на свежеструганой лавке сидел плечистый мужик в расшитой петухами косоворотке, держа на коленях двух девочек — поил их компотом из граненого стакана, поднося то одной, то другой, — лавка напротив была свободна, но Алеше не захотелось туда, не то чтобы он не любил детей, но совершенно не выносил их капризов и писка и перемазанных чем попало щек.

За другим столом орудовал алюминиевой вилкой и собственным, наверное, перочинным ножом человек в очках, одетый по-городскому, пиджак и брюки, интеллигент, такое соседство было сносным, и Алексей направился к нему.

— Вы позволите?

— Да, конечно, — сказал едок и тут же посоветовал: — Возьмите утю, просто прелесть что за утя, вся течет жиром — возьмите, пальчики оближете!

— Благодарю вас, — сказал Алексей, брезгливо смахивая с голых досок столешницы чьи-то неубранные крохи.

Сосед, обглодав до блеска последнюю косточку, оторвался от тарелки и, взглянув на него, определил:

— Ага, так вы тоже из города?

Алексея несколько покорибил этот вопрос, от которого несло дремучей провинцией — будто бы на белом свете был всего один город, будто бы в этом богом забытом краю был всего лишь один-единственный город, но ведь и здесь их было уже четыре, и, между прочим, он, Алексей Рыжов, все их успел объездить и во всех побывать, — однако, признаться, у него не было сейчас ни пыла, ни настроения заводить спор по этому частному поводу, в конце концов было и некото-

рое удобство в том, чтобы не вдаваться всякий раз в подробности, ведь все равно было заранее ясно, что за город имелся в виду, и он ответил:

— Да, я из города.

— То-то, гляжу, лицо мне ваше будто знакомо, уже встречалось,— обрадовался своей зоркости сосед. — А вам мое лицо не знакомо?

— Нет.

— Странно. Ведь я тоже из города. А здесь в командировке: читаю лекции о международном положении.

— Вот как? — с холодной вежливостью сказал Алеша, тотчас сообразив, что, значит, именно этот любитель жареной дичины, этот тип в очках и пиджаке уже побывал на хвостовой караванке, куда ему, Рыжову, только предстояло ехать, но он не хотел расспрашивать, не имел желания раскрывать своего удобного инкогнито и потому осведомился: — Как же вы оцениваете нынешнее международное положение?

— Сложно, очень и очень сложно! — блеснул стеклами очков сосед.

К столу подошла то ли официантка, то ли сама стряпуха — распаренная, от плиты.

— А вам чего подать?

— Оладьи, пожалуйста. Оладьи и компот.

— Сейчас принесу.

— Нет, вы напрасно не заказали утю, — пожурил сосед. — Такой ути вы больше нигде не попробуете, кроме Вотчи, кроме этой чайной. В городе таких уже не бывает, нет!

— Простите, а чем вы занимаетесь в городе? — поинтересовался Алексей. — Также по международным вопросам, по иностранным делам?

— Не совсем. Отчасти, только как лектор. А вообще я работаю в Педагогическом институте, преподаю политэкономию... Позвольте представиться: Феофилов Борис Андреевич, доцент.

— Что вы говорите! — воскликнул Алексей, сразу же позабыв и о своем осторожном инкогнито, и о своей холодной надменности, избранной им как лучший способ защиты в подобных случаях жизни. — А ведь вас-то мне и надо, мне вас очень надо, представьте себе! Я все собирался зайти к вам в институт...

— По поводу?

— По поводу сдачи экзамена. Я учусь заочно в Библиотечном институте, в Москве. И у меня имеются оттуда направления сдать несколько предметов прямо на месте, в Городе-на-Реке, включая политэкономия. И вот какая неожиданная встреча... я очень рад.

— М-да,— без особого восторга отозвался Феофилов. — Что ж, зайдите на кафедру, договоритесь с ассистенткой, она вам назначит день и час в установленном порядке... Вы сказали, что заочник. А где работаете?

— В редакции газеты «Северная звезда», специальный корреспондент. Моя фамилия Рыжов. Может быть, читали?

— Нет. Лицо как будто знакомое, а читать не читал.

Алеше принесли оладьи, они были пышны и румяны, он с аппетитом принялся уплетать их.

Борис Андреевич Феофилов между тем вытер пальцами лезвие перочинного ножа и защелкнул его.

— Послушайте,— сказал он в некотором раздумье,— у вас там, в редакции, теперь новый заведующий отделом пропаганды и агитации — Пашутин... недавно появился, вы с ним знакомы?

— С Леонидом Константиновичем? А как же... как мы можем быть не знакомы, если работаем в одной редакции? Очень солидный человек, настоящий газетный волк, ему бы не то что отдел, а сразу... впрочем, вам это ни к чему.

— Нет, мне это очень даже к чему! — возразил лектор. — Понимаете, у вас в редакции в отделе пропаганды уже три месяца лежит без движения моя статья теоретического плана: насчет общего загнивания капитализма... Но, во-первых, она лежит так долго, что может устареть, а во-вторых, мне сейчас крайне нужны публикации. Видите ли, я намерен поступать в докторантуру — и здесь публикации играют решающую роль. Вы не могли бы поговорить с Пашутиным просто как товарищ с товарищем? Если в статье что-то нужно поправить или, допустим, освежить факты, то пожалуйста — лишь бы напечатали, мне это очень нужно!

Алексей не отвечал, большими глотками компота запивая маслянистое тесто.

Борис Андреевич подтолкнул его плечом:

— А вы можете зайти ко мне в любое время с зачеткой, с написанием — я поставлю вам... четверки хватит?

— Нет, зачем же! — Алеша уверенно поставил на стол пустой стакан. — И почему четверка? Мне не нужно никаких одолжений. Я готов к сдаче. Я все знаю: товар — деньги — товар... хоть сейчас спрашивайте.

— Положим, это все знают: деньги — товар — деньги... — проворчал Феофилов. — Но разве вы не можете замолвить Пашутину несколько слов о моей статье?.. Девочка, а тебе что тут надо?

Алексей оглянулся.

У скамьи, на которой он сидел, отиралась девочка в белой блузе с откиннутым матросским воротником (когда-то он тоже ходил в такой блузе, тогда все дети ходили в матросках) и в синей плиссированной юбочке, в белых носочках. Она сделала ему книксен и сказала:

— Вы Рыжов, да? Из «Северной звезды»?

— Ну допустим.

Алеша украдкой покосился на Бориса Андреевича: вот так-то, дорогой профессор, меня везде и всюду знают, и взрослые и даже дети, надо почаше заглядывать в газеты, не только самому сочинять, но и других почитать.

— Здравствуйте, — сказала девочка и снова присела, растопырив пальчиками юбочку. — Донатов приглашает вас к столу.

— А кто такой Донатов? Я не знаком с ним.

— Он с вами тоже не знаком, но очень хочет познакомиться. Он из города, мы все из города.

Алексей издали пригляделся в незнакомому мужику, сидевшему в красном углу, и вдруг узнал его со всей безошибочностью юной памяти: да-да, несомненно он видел его минувшей зимой, накануне поездки в Москву, но тогда он был не в косоворотке с петухами, а в черном фраке с шелковыми лацканами, в лоснящемся цилиндре и с такой же лоснящейся испитой рожей — вот как раз это, рожа, и по-могло опознанию, — он стремительно выбежал из-за кулис, вращая пропеллером трость с набалдашником, а из бочат и кубиков, расставленных на сцене, повыскакивали мальчики в пажеских беретах с перьями и девочки с пышными бантами в волосах, аккордеон, рыча всеми клапанами, играл выходной марш...

Алеша наклонился: ну да, у этой маленькой девочки было капризное и тронутое ранним увяданием личико, под ее матроской дышали ядренные груди, а ее уста отчетливо подыхивали спиртным, вот какой компот — лилипутка.

Он хотел было наотрез отказать от столь неожиданного, и нелепого, и ненужного ему приглашения.

Но она, ухватив его обеими ручонками за палец, тянула к другому столу точно так, как маленькие девочки и мальчики тянут пап и мам к лотку с мороженым, к продавцу воздушных шаров, к витрине магазина игрушек — он, бывало, и сам когда-то тянул.

— Извините, я на одну минуту,— сказал он Феофилову.— Мы еще договорим.

Донатов тряхнул ему руку своей здоровенной лапищей, и Алеша предположил вдруг, что, может быть, он иногда, осерчав, отпускает затрецины этой медвежьей махалкой своим лилипутам, как Карабас Барабас своим куклам,— но обе девочки опять сидели на его коленях, игриво приласкиваясь к хозяину и постреливая глазками в гостя.

— Вот эту зовут Майя, а эту Инга,— объяснил Донатов.— Мы тут на гастролях. Было открытие Дома культуры, а теперь — по точкам... А-а-а-а мы себе поем и выступаем,— вдруг запел он, вихляя задом по лавке,— культуру в массы мы себе несем!

Девочки расхохотались.

— Вы хотели мне что-то сказать? — сухо спросил Алексей.— Я вас слушаю.

— А ты не торопись. Посидим, потолкуем...— улыбнулся Донатов.— Статейки твои я читал, не все, конечно, а только насчет искусства,— молодец, кумекаешь, имеешь вкус. Но я хочу с тобой не насчет искусства, а насчет жизни. Все-таки жизнь — она страшней искусства. Так вот я и хочу — об жизни... Ты с Кларой Истоминой любовь крутишь — не спорь, я знаю, мы в одной филармонии работаем, а в нашей филармонии секретов нет, у нас друг про дружку все знают насквозь и до дна.

— Что за чушь вы несете? — возмутился Алексей, намереваясь тотчас встать.— И кто вам позволил...

— Не дергайся, не пыли, сиди где сидишь! — прервал его мужик, ворочая страшными глазищами.

Алеша почувствовал, как у него ослабли коленки и одеревенели ступни, он попытался, но не смог встать. И еще он ощутил себя совсем маленьким — гораздо меньше, чем он был на самом деле, и куда меньше этого мужика, пожалуй, вровень с двумя пожилыми девочками, прильнувшими к рубаше с петухами.

Ему подумалось: если этот мужик — Карабас Барабас, а девочки — куклы, то кто же тогда он сам? Буратино? Какая ерунда. Он вполне самостоятельный и взрослый человек, никто не вправе разговаривать с ним так развязно и нагло... но все-таки ноги его никак не могли нащупать твердого пола.

— Я же тебе добра желаю, дурашка,— покачал головой Донатов.— И ей тоже. Я вам обоим желаю добра. Клара — золото, чистое золото, клад золотой. Такое раз в жизни найти можно, а нашел — не упустит, не проворонит, вцепись обеими руками и близко никого не подпускай, отымут... Понял?

Алексей моргал оторопело, и губы у него подергивались в желании дать ответ, но он не находил, что ответить, не знал ответа.

— Да разве в том лишь беда, что могут отнять? — продолжал свои поучения Карабас Барабас.— А и в том еще, что золотишко — оно бегучее, оно и само убежать может — смекаешь? Оно только в умных руках держится, а из глупых бегом убегает... Ну, теперь дошло?

— Нет,— сказал Алексей Рыжов, поискивая глазами на столе, чем бы запустить в эту мерзкую лоснящуюся харю, но на столе ничего не было, кроме пустых стаканов, а что стаканы такой харе?

От Донатова, по всей вероятности, не укрылся этот шарящий взгляд.

— А давай мы с тобой алычовки хватанем? — подмигнул он, сгребая лапищей стаканы.— Для знакомства и для полного понимания... На-ко поддержи, пока я схожу.

Он перенес под мышками обеих девчонок и усадил их на колени Алексею — одной коленка и другой коленка,— а сам направился к окошку раздачи, где был и буфет, все тут было вместе, в этой харчевне.

— А вы Донатову напрасно не верите,— сказала, устроившись поудобней, Инга.— Донат врать не станет, зря не скажет — не такой он человек.

— О чем вы? — изумился Алеша.— Что за странные загадки? Что вы имеете в виду?

— Мы имеем в виду, что вы еще совсем мальчик,— сказала Инга, кокетливо потрепав крохотным пальчиком его нос.— Вы напрасно так самоуверенны, ведь вы женщин совсем не знаете... а мы, женщины, бываем очень ветрены.

— Да,— подтвердила Майя,— мы очень, очень!

Алексей, не выдержав, рассмеялся: его позабавили эти мудрствования, будто сами они могли что-то знать, две куклы, хотя они и были, судя по всему, гораздо старше его возрастом, во всяком случае обе выглядели довольно потрепанными, но все же они были очень маленькими и были похожи на двух капризных испорченных девочек, и у него даже возникло желание перевернуть их, положив через колена, и больно отшлепать, чтоб вели себя, как подобает.

Донатов, появившись с налитыми стаканами, уселся на лавку, двинул один стакан гостю, а другой взял себе, а третьего он не принес, не желая, видно, спаивать своих подопечных, они и так уж были хороши.

— Давай, Рыжов, за твое здоровье и за твою удачу, чтоб тебе везло во всех делах, служебных и личных... Будь здоров!

Он звякнул гранью о грань.

— Я не хочу,— сказал Алексей.— Я не желаю, и все. Я вообще не пью. И какое вам, собственно, дело до моих личных дел?

— Ты что же — отказываешься со мною выпить? — снова выкатил глаза Донатов.— Обижаешь? Меня обижаешь? Доната Донатова? Да тот, кто меня обидит, дня не проживет...

— Он выпьет, он сейчас выпьет,— сказала Майя и, ухватив стакан обеими руками, поднесла его к лицу Алексея.— Ну открой ротик, ну пожалуйста, ну одну капельку, будь хорошим мальчиком, во-от, ну еще глоточек, еще... а теперь давай с тобою вместе — ты глоточек, я глоточек...

— Мне оставь,— предупредила Инга.

Алексей поперхнулся теплой настойкой, от которой несло не столько алычой, сколько керосином, у него прыснуло с губ, потекло к подбородку, по шее и за ворот. он взмолился:

— Я не хочу, не надо, что же вы насильно?..

Майя, отпив, передала Инге.

— Послушайте,— обозлившись, сказал он Донатову,— да возьмите же их обратно, зачем мне этот цирк?

Девчонки быстро сползли, обежали стол и вскарабкались на колени хозяина.

— Ишь ты какой,— сокрушенно покачал головою Донатов.— Хлебнешь ты, парень, в жизни лиха, но никого не виновать — сам виноват... А насчет Клары я тебе так скажу: может, это и к лучшему и для нее и для тебя. Ну прикинь, что ты ей дашь? Ничего. Чем осчастливишь? Ничем. Думаешь, сам ты столь уж завиден? Нет. Да что ты для нее такое? И вообще — что ты и кто ты? Ну кто? А она...

— Подите вы к черту! — процедил сквозь зубы Алексей, вставая с лавки.— Шут гороховый.

Порывшись в кармане, вынул десятку и швырнул на столешницу.

Потом, вспомнив, что еще не плачено за оладьи, направился к раздаче. Оглянувшись попутно, сидит ли еще за другим столом Феофилов, и слышал ли он все это непотребство, и какое мог об этом составить мнение — ведь хочешь не хочешь, а придется идти к нему на поклон с зачеткой,— но Феофилова уже не было, он не дождался и ушел, тем лучше.

Расплатившись, Алексей зашагал к выходу.

Из красного угла его проводили издевательским хохотом: утробно ухал Донатов, звенели, как бубенцы, две пожилые девчонки, причем он заметил, что Инга растопырила над головой два пальчика, изображая рожки.

Он вышел на крыльцо и постоял там несколько минут, глотая свежий воздух.

Угораздило его сунуться в эту харчевню. И — вот уже совсем непростительно! — зачем было откликаться на зов лилипутки, подошедшей к столу, ведь можно было просто не заметить ее. И тогда бы не пришлось подсаживаться к незнакомым и к тому же нетрезвым людям, не пришлось бы выслушивать от них всякие гадости, досужие сплетни — он мог бы просто избежать всей этой глупой сцены, он мог бы и не слышать всей этой несусветицы. Но он проявил неосторожность — и вот поплатился за нее, дал легкий повод изнывающим от скуки уродам вволю покуражиться над ним. Какая досада! Впредь урок.

Однако что за нравы царят в этой провинциальной глуши. Ну хорошо, открытые районного Дома культуры, ну хорошо, спели, сплясали, самодеятельность — так нет: надо было пригласить на гастроли пропойц из городской филармонии, циркачей, лилипутов. Только цыган недоставало — эй, чявалэ!.. — что за дикость, подумал Алексей.

Моторка летела пулей — у нее был ходкий двигатель и загребущий винт, к тому же стремнина, катящаяся вниз, еще несла в себе всю силу паводка. И хотя вода уже подобралась до обычного уреза, вошла в положенные берега, но разбег ее не укротился.

И на пути сюда Алеша не мог избавиться от удивления, видя, как легко, будто играючи, весна расправилась с долгой и лютой северной зимой, напластовавшей бездны снега, наварившей метровую броню льда, сковавшей все намертво и все оставившей голо, — а вот уж и следа не осталось от самой зимы, словно ее и не было.

Лишь месяц назад все гляделось иным. Белое-белое пространство без конца и без края, на котором едва различалась тонкая штриховая сетка, оставленная природой для памяти, чтобы начисто не забыть, где что было, где какой удел и где чему граница — где был лес, а где река, а где лужок.

Да, это было похоже, вспомнил он, на альбомы для рисования, которые ему дарили в детстве отец и мать, они назывались «Раскрась сам». Там тоже по белой бумаге извивались тонкие черные линии, и по ним не сразу можно было понять, что они изображают. Но он всматривался, сощураясь, угадывал наитием и разумом, брал кисточку, макал ее в банку с водой, размывал кружочки акварели и смелыми махами заполнял цветом белые поля: свежей зеленью разыгрывал лес, текучей синью разбегались реки, желтым глазом вспыхивало солнце, нежной голубишной насыщало небо — и уже ничего на листе не оставалось белого, все было яркое, живое, праздничное...

Алексей посмотрел на берега, летящие мимо: да, на них уже все было захлестнуто буйной листвой, даже черная хвоя елей обновилась, оторочилась юными побегам, поляны и взлобья манили шелковой травой, и лишь изредка вдруг, как напоминание о том, что все-таки была зима, берег ослеплял полосой нестывшего снега — но тотчас выяснялось, что это вовсе и не снег, а кипень зацветшей черемухи... ветер был напоен душистым и росным черемуховым запахом.

Однако этот ветер был пронизывающе холоден и должен был еще остудиться к ночи — черемуховы холода сошлись с белыми ночами, — он поплотнее зажал воротник плаща на горле, нахлобучил поглубже кепку.

А моторист лодки и пожилой инкассатор из райбанка — с ружьем и брезентовым пустым мешком — те, не обманываясь наступившим летом, оба были в овчинных тулупах и шапках.

— Далеко еще? — прокричал Алексей сквозь ветер; они уже были в пути два часа.

— Бли-изко... — ответил моторист, взглядом окинув берег. — Напрямки бы верст семь, а так верст двадцать, а напрямки пути все равно нету. Ничего, река довезет!

— Ну-ну, — понимающе кивнул Алеша; значит, еще часок.

Он без усилия, уже привычно впал в отсутствие и забытье: он научился этому как делу, как профессиональной хватке за все свои разъезды и путешествия, а их уже набралось за год немало, столько, что если бы их сложить вместе и вытянуть в одну линию — в единую линию пространства и единую линию времени, — то, пожалуй, эта линия протянулась бы... нет-нет, пресек он и линию и мысль, потому что такой ход мыслей требовал напряжения, работы, не давал голове отдохновения, чувства совершенной пустоты, а ему требовалось именно это.

За поголой излучиной Вычегды, на плесе, уже подернутом космами тумана, показались две большие плоскодонные баржи, наглухо спаянные плашкоуты с дощатыми надстройками на палубах и сохнувшим на веревках, будто флаги расцветивания, пестрым бельем. К плашкоутам были пришвартованы смоленые лодки, много, пожалуй, с десяток, и еще буксирный катерок с крестообразной мачтой.

Издали было заметно людское копошенье на палубах — уже вечернее, досуемое, вразброд. Фигуры застывали на миг, уловив тарактенье мотора, но тотчас продолжали снование — ах, подумаешь, что за невидаль, что за радость, кто-то едет мимо, мало ли шастают по этой улице взад-вперед, вверх-вниз по реке, кабы еще пароход, а то просто моторка, не событие, нет, — но один человек оставался неподвижным и следил неотступно за их приближением, вскинув руки к голове и расставив локти, похоже, что смотрит в бинокль.

— Караванка, — сказал моторист, — большое хозяйство, целая деревня серед реки!

Они промчались, погнав косые буруны в борта плашкоутов, круто развернулись ниже и, скинув обороты, уже медленно затарахтели вверх против течения, подгребаясь к цели.

Фигура на палубе была определенно знакома Алеше: кряжистая, угловатой и плотной рубки, ноги в резиновых броднях с отвернутыми раструбами, — он узнал бы, если б не бинокль, если б лицо было открытое, а так лишь терялся в догадках. Откуда быть знакомцу на хвостовой караванке, если он сроду не бывал на ней и еще несколько дней назад даже слыхом не слыхал, что это такое.

— Привет, — сказал моторист, коснувшись бортом своей лодки трапа, — доставили вас, как приказано, в Талицкий район, а нам обратно в свою Вотчу... до свиданья.

Инкассатор промолчал, как молчал всю дорогу, вероятно, он был недоволен, что в рейс навязали постороннего попутчика, наверное, это было против правил — так ведь и мешок еще пустой.

Моторка, навоняв сивым дымом, ушла вверх по реке.

Алексей взобрался на палубу.

Перед ним стоял Коломиец, технорук Белоборской запани, той самой, где Алеше довелось побывать прошлым летом — его первое репортерское задание, первый напечатанный материал. Да, теперь он вспомнил и это круглое лицо с задубелой на ветрах и солнце кожей, голову, остриженную в колючий ежик.

— Здравствуйте, — пробормотал он в некоторой растерянности.

Он позабыл имя-отчество Коломийца, знал, но забыл. Если б в его первом очерке — ну, не очерке, а зарисовке, какая разница, — если там была бы названа фамилия технорука генеральной запани, то при

ней наверняка имелось бы и имя, имелось бы и отчество, и тогда бы он непременно все это запомнил, ведь у него была отличная память. Но дело в том, что из этой зарисовки вообще вылетело напрочь упоминание о Коломийце: да, он отчетливо представил себе, как редактор «Северной звезды» вычеркивает косым крестом это место,— и как вычеркнулось на бумаге, так вычеркнулось и из памяти.

И еще Алексея охватило смущение, когда он вспомнил, как целых полтора месяца летней практики в Городе-на-Реке и даже после он пуще всего боялся случайной встречи на улице нос к носу с Коломийцем и даже предполагал, что именно тот выскажет ему при встрече: «А, это ты, сукин сын?.. Обещал помочь нашей запани, обещал продернуть в газете сплавной трест, а вместо этого напустил слюней, красивых слов, тьфу, утереться нечем... А ведь ты мне честное слово давал, где же оно, твое слово?»

И оправдаться даже сейчас было нечем.

— Богдан Самойлович я,— вывел из затруднения гостя Коломиец.— Хорошо, что приехали. Пожалуйте в мою контору.

Они вошли в дощатую хибару, возведенную на корме плашкоута, и Алеша она показалась очень похожей на ту, что была на запани — вроде бы даже та самая,— но было и различие: в той конторе был только стол и к нему табуретки, а здесь была еще железная кровать и железная плита, на ней дымился чугунок и шкворчала жаревом сковорода, а возле плиты стояла дебелая баба в полотняной блузе, куховарила, пробуя с ложки, оглянулась на вошедших, кивнула неробко — и Алексей понял, что здесь не только служебная контора, но и жилое гнездо.

— Ганна, подай нам вечером, а к вечеру сулейку, ту, что ты прячешь незнамо где.— Коломиец лукаво подмигнул: мол, пусть думает, что незнамо.— А под сулейку нам дай сельдя с цибулькой... Да живей, мы народ голодный.

Теперь Алеша и впрямь чувствовал зверский голод и еще сознавал, что не откажется от рюмки, продрог в пути на студеном ветру, да и компания была куда милее сердцу, чем та, в харчевне.

Мимо окошка, у которого они уселись в приятном ожидании, сновали девушки, простоволосые, поскидавшие косынки к заходу солнца, и рослые парни в майках, отчеркивающих густой загар, ишь, позавидовал Алексей, когда успели, еще и не лето,— в фортку залетали молодые голоса, хохотки, нарочитые взвизгиванья.

— Еще знакомых встретите — не одного меня,— пообещал Коломиец, разливая по стаканам водку.— Тут с Белоборской запани целая бригада работает, увязались, когда меня назначили караванкой командовать...

— Богдан Самойлович, а это выше или ниже?— осторожно поинтересовался Алексей.— Что главней: запань или караванка?

— Да как сказать,— пожал плечами хозяин.— Хвостовая караванка — дело разовое. Вот пройдем реку до последней запани — и расформируемся. Наши все вернуться в Белый Бор, я тоже, конечно, вернусь... А пока приходится командовать единолично. И коллектив мне доверили, и плавсредства, и технику... Да какая тут техника? Вертячий пар... Ганна, выпей с нами, окажи честь гостю.

Ганна подошла, чокнулась, выпила до дна, поклонилась, однако не села. И пока было неясно, кем она доводилась Богдану Самойловичу, то есть плита не оставляла сомнений и кровать тоже, но это еще не давало полного ответа — жена или так.

Алеша поддел вилкой с тарелки кусок сельди и обнаружил, что она нарезана прямо в шкурке, пришлось чистить. Тем же делом был занят и Коломиец.

— А большинство тут из Вотчи. Парни ладные. Помнишь,— перешел он на «ты» после стакана,— когда ты прошлым летом при-

езжал на запань, там в основном девчата работали. Ну, мужики тоже были, однако уже в годах, старый кадр...

Алексей вспомнил пожилого сплавщика, который, лежа на мостах,пил из реки, макая усы.

— А теперь молодых парней много. Демобилизовались из армии — и сюда, на сплав...— Коломиец обсосал косточку, подумал, поправился: — Нет, не совсем так. Демобилизовались, заглянули в родные деревни, в колхозы свои, погуляли, осмотрелись — знаю, что не сильно им там понравилось,— вот и предпочли на сплав, сюда. Зато девчатам нашим теперь раздолье. Жить стало лучше, жить стало веселей... а когда веселей живется, работа спорится, знаешь?

— Знаю,— подтвердил Алексей.

Дверь хибары скрипнула, вошла тонконогая девушка с выгоревшими добела ресницами и бровями, вздернутым носом, с которого отшелушивались первые веснушки, а под ними намечались другие.

— Богдан Самойлович,— сказала она, не пряча запала, с которым явилась,— правый берег скоро выйдет к Гундыр-Полою, а там — пыж, мытариться будем... а левый берег говорит: у нас пыжа нету, мы пойдем дальше. Это как же?

— Мало ли что они говорят,— отмахнулся начальник караванки.— Послушай, бригадир, разве ты не узнаешь товарища? — Перекинул взгляд на него.— И вы не узнаете? Вы же про нее в газете писали.

— Ия Шахова,— уверенно сказал Алексей.

— Я вас тоже узнала, еще когда вы из моторки лезли... Здравствуйте,— опустила она ресницы.— Но ведь я не за этим.

— А если бы и за этим — что за грех? — Коломиец выдвинул табуретку.— Садись с нами, Иечка, повечеряй.

Она покраснела.

— Нет, я не за этим... Как же насчет пыжа?

— Пыж будем разбирать вместе — оба берега,— тоном безоговорочным сообщил Коломиец,— так и скажи левому берегу. А туда мы еще наведемся, к Гундыр-Полою, когда ближе подойдем, разведем что и как. Вас тоже приглашаю,— обратился он к Алексею,— есть там на что подивиться...

— Ладно, тогда я пошла.

— Погоди-ка, Ия!

Но она уже выскользнула за дверь.

Ганна принесла и поставила на стол чугунок, который дышал упоительным запахом окуневой ухи, заправленной пшеном. Положила две деревянные ложки, Алеша догадался, что тарелок не будет, и не надо — смело потянулся своей ложкой к пару.

— Мне сказали в Вотче, что Талицкий район снял с этого пыжа своих сезонников, когда там узнали, что подходит караванка,— наобедничал он.— На чужом горбу хотят...

— Это кто же так сказал? — заинтересовался Коломиец, не донеся до рта горячее хлебо.

— Рассыхаев, первый секретарь райкома. Я был у него сегодня утром.

— Так и сказал?

— Да,— подтвердил Алеша,— так и сказал, такими словами: мол, на чужом горбу...

Богдан Самойлович положил ложку, наклонился к Алексею.

— А больше он тебе ничего не сказал, Рассыхаев? Про свой горб — нет?

— Нет. То есть он говорил, что Вотчинский район свое дело сделал, обеспечил хвостовую караванку на всей дистанции, что проводжали с оркестром... там еще при этом разговоре был инструктор Мяндин, он ведь только что отсюда от вас, разве нет?

— Был он тут,— подтвердил Коломиец.— Был да сплыл.

— А что? — уловив неладное, переспросил Алеша. Он даже потянулся к карману, намереваясь вытащить блокнот и записать, если имелись какие-то претензии к руководству.

Однако Богдан Самойлович, уловив это его движение, сказал глухо:

— Нет, ничего... пустяки. Ганна, неси нам жаркое. И чай сразу.

Вот так, понял он, не откроется, не станет жаловаться. Потому что однажды просил расчихвостить в газете трест и сплавконттору за то, что оставили запань без такелажа, и он, Алексей Рыжов, обещал под честное слово и не обманул, нет: написал все как есть, целую страницу острой критики, но эту страницу безжалостно вычеркнули, несмотря на все его возражения, вычеркнули крест-накрест, хотя критику вообще нельзя вычеркивать — он по-прежнему так считал.

Но теперь ему не было веры.

Все замкнулось на прежнем.

Но он осознал с некоторым удивлением, что прежнее тоже изменилось. Что вот его почти перестали посещать воспоминания былого — детства и юности, Ленинграда и Москвы, — нет, они еще иногда возникали в памяти, как вспомнился нынче альбом «Раскрась сам», но все это было очень далеко, бесконечно далеко, будто бы и не о нем.

Теперь его воспоминанием было то, что было год назад и что было в черте этого года.

Все пошло по второму кругу: белые ночи и медный чайник, Богдан Самойлович Коломиец и бригадир Ия Шахова.

Надо ли было сожалеть об этом? Вряд ли. Все это лишь доказывало, как полон и богат был минувший год. Как был насыщен любой день в этом году, который он прожил, так насыщен, что ему и не нужно было воспоминаний, он вполне мог жить и обходиться сегодняшним днем.

Алексей хлопнул себя по лбу ладонью, словно бы что-то вспомнил или что-то понял, но нет, он ничего не вспомнил и не понял, его движение было машинальным, защитным, ну да: на ладони был расплюсчен комар и размазана капелька крови.

Комары залетали в форточку, от их укусов запоздало жгло шею и лодыжки.

— Можно? — спросил он, вынимая пачку папирос и надеясь, что удастся табачным дымом если не выкурить, то хотя бы отпугнуть комарье.

— Кури, конечно, — кивнул Богдан Самойлович.

— Пожалуйста, прошу, — протянул он свой «Беломор».

— Нет. Я это бросил давно... семь лет уже как бросил.

— А как? — заинтересовался Алеша, потому что каждый курящий человек желает иметь про запас верный способ избавленья от порока, но не сейчас и не сию минуту, а в неопределенном будущем, на всякий случай.

— Очень просто. Я в лагере бросил, в Тромсе, в Норвегии, в лагере военнопленных... Когда нас немцы стали из-за колючки выпускать и на лесоповал гонять, вот тогда вижу: ганс покурил, бычок кинул, а там еще на пару затяжек вполне — только нагнуться... Тогда я и понял: один раз нагнусь за этим — и уже всю жизнь буду кланяться, раб навеки, конец, хуже расстрела... и задавил я этот бычок сапогом. Вот так и бросил. Сам бросил и ребятам молодым, когда видел, что они за окурком на колени становятся, не давал, нет. Подойду, ухвачу за шиворот: «Ты что, ты кто? Ты русский или не русский, чтоб за немцем сосать? Выплюнь, гад, не то...» И представь себе, действовало!

Значит, Улитин не соврал тогда насчет Норвегии, подумал Алексей, косясь в окошко на реку, значит, правда. Но как же с этим быть теперь, в очерке о хвостовой караванке, который он должен напи-

сать? Опять обойтись без фамилии начальника? Ограничиться именами рядовых людей? Опять — бригадир Ия Шахова? Ну да, а чем она плоха?.. Впрочем, он слишком рано озаботился такими частностями — кого называть, кого нет, — ведь он еще ничего тут и не видел, никакой работы, он всего лишь успел добраться до караванки, поужинать, попить чаю, закурить и захотеть спать.

— Ганна, где будем ложить гостя? — будто подслушав его мысли, заторопился кончать вечерю Коломиец. — На буксире?

— Там его комары до мослов заедят, — впервые прервала молчание хозяйка. — Лучше его в плашкоуте покласть на нарах. Там хоть полога развешаны... Я провожу, устрою.

Богдан Самойлович не сдержал восхищенной ухмылки:

— Ну и ну... голова у тебя, Ганка, на министра, ей-богу.

— А шо, я згодна, — не смутилась баба. — Идемте за мной, товарищ, будь ласка.

— Спокойной ночи, — сказал Алексей Коломийцу.

Они прошли обезлюдившей палубой и спустились по трапу.

Чрево плашкоута показалось огромней, чем сама посудина, чем сам этот плавучий уют, каким он смотрелся на воде. Из щелей натекал внутрь призрачный свет белой ночи, и можно было различить два ряда сплошных дощатых нар, на которых тесно, впрытик друг к дружке, лепились палатки белого холста, зыбкие сооружения на веревках, невысокие и узкие, будто скрыни, они создавали только видимость обособленности, чисто договорное укрытие от чужих глаз. Но даже от постороннего слуха не уберегали нисколько: в ночной и окрестной невозмутимой тишине были оглушительны раскаты молодецкого храпа, ерзанья, шорохи, вкрадчивые шепоты, стенанья, скрип досок.

Алексей, пораженный явственностью и понятностью этих звуков, остановился в смущении.

Ганна потянула его за рукав, предположив, что он плохо ориентируется впотьмах.

Она миновала несколько палаток и — не наугад, а с выбором, зная, что и где искать, — приподняла полог.

Однако там не надобилось третьего.

Не обескураженная этим, Ганна двинулась дальше вдоль нар. Она неслышно отстраняла занавески, деловито заглядывала, отпускала холстины... Армейские парни в отсеках работали честно и рьяно — за всю службу, — охлопываясь сзади от комарья.

Но у очередной палатки добрая хозяйка хвостовой караванки повела себя не так решительно, и жест, которым она тронула полог, был осторожен.

Там было одиноко: прильнув щекою к тощей подушке, спала Ия Шахова.

Ганна легонько, поощряя, подтолкнула Алексея в спину, а сама тотчас исчезла, будто бы ее и не было, будто бы и не она его сопровождала.

Девушка вскинулась, уловив то ли мягкий шелест ткани, то ли ее овеял ветерок от поколебленной занавески, то ли она просто ощутила кожей взгляд чьих-то глаз — может быть, она еще и не спала, а лишь пыталась заснуть, но сон не шел к ней.

Она скомкала одеяло у худых ключиц, лицо ее даже в этом сумраке заметно побледнело, и на нем четче обозначились веснушки, брови заломились в испуге и мольбе.

Алеша уловил выражение мольбы, но не мог понять, о чем она молила: чтобы он ушел и оставил ее в покое, не то она сейчас закричит на весь трюм? или же наоборот: она извелась до отчаянья, до помутнения разума среди всего того, что было вокруг, она не хотела бы ничего слышать, хоть заткни пальцами уши, но все равно было слышно и никуда не деться, не заслониться, не избавиться, не спа-

стись, нет,— и она, оцепенев, едва дыша, ждала его следующего шага и движенья.

— Извините, это какое-то недоразумение...— сказал Алексей.— Я вовсе не хотел.

Он выбрался на палубу, огляделся.

Ночной плес был покоен и гладок, над ним были тоже развешаны белые холстины тумана, они колыхались, зыбились, подымались и опадали, распластывались на воде.

К борту плашкоута был зачален буксирный катер, в нем никого не было. Алексей спрыгнул на железо, громыхнувшее и погнавшее эхо в прибрежные леса, забрался в кабину, где пахло соляжкой и стоял комариный звон, лег на скамейку и принудил себя заснуть раньше, чем комары спохватились, что есть добыча.

Те бревна, что лежали совсем близко к реке, тяжестью своей продавив сырой песок, почти погребенные в нем,— их поддевали крючьями, выковыривали без особой натуги, сталкивали в воду, и они, поколебавшись на волне, выравнивались и покорно плыли по течению куда надо.

А те, которые заблудились подальше, застряли в ивняках и давно обсохли, под них заводили багры поперек, будто следи, и несли их, тяжеленные, вчетвером либо даже вшестером.

Но паводок занес лес черт знает куда, метров за двести, за триста от Вычегды, и там были целые лежбища бревен, словно стада моржей, и по одному их было таскать не перетаскать.

— Клади уты! — распорядился Коломиец.

Хвостовики (Алексей записал в блокнот это смешное слово и про уты тоже) быстро выкладывали из лесин подобие колеи, рельсов, сбегавших к реке, и уже по ним скатывали бревна, а потом и сами уты шли вдогон.

И всё. Там, где прошла бригада караванки, оставался чистый, словно прочесанный частым гребнем, берег.

Сплавщики были похожи на древних витязей с копьями наперевес, в кожаных латах, подобных панцирям, а власяные сетки накомарников свисали, будто кольчужные бармицы,— они шли стеной, вагагой, расправляясь с супостатами, кидая их тела в реку: ну, кто еще?..

Однако вскоре оказывалось, что не только сзади, но и впереди берег был совсем чист: словно кто-то опередил караванку, прошел здесь раньше, сделав за нее всю работу.

Люди вскидывали багры на плечи, отмахивали забрала, переводили дух, закуривали, затевали досужие разговоры, ноги их в броднях с раструбами топали теперь вдоль берега легко и беззаботно — не поход, а прогулка.

И это не укрывалось от зорких глаз начальства.

— Правый берег, к лодкам! — командовал Богдан Самойлович.

Востроносые смоленые челны отваливали один за другим, похожие на струги лихих дружин — копья над головами щетинятся грозным частоколом,— пересекали реку наискосок, сносимые стремниной.

— Видишь ли,— объяснял Коломиец корреспонденту газеты,— паводку закон не писан, он не разбирает, где русло, а где берег, он по весне как зверь кидается: то туда, то сюда, куда хочет, как ему вздумается... И если этот берег чистый — а он, замечаешь, повыше,— то, значит, вода понесла лес на тот берег, где низина, там и осело... Там сейчас люди пупки надрывают, ворочая, а тут делать нечего... Вот мы и завели такое правило: берег берегу идет на выручку...

К концу дня, едва переставляя ноги, Алеша подумал: сколько же они отшагали, а еще — даже подумать страшно! — сколько им идти назад, туда, где на излучине Вычегды была заякорена караванка.

И будто в ответ его мыслям коротко гуднуло за спиной.

Оглянулся и увидел: буксирный катерок, отдуваясь важно, тащил за собою по фарватеру обе плоскодонные баржи вместе с дощатыми надстройками на палубах, вместе с катушками троса и заколоченными ящиками, даже вместе с бельем, которое досушивалось на веревках после вчерашних постирушек и теперь трепетало на ветру флагами расцветивания.

Он возрадовался душой, словно бы увидел родной дом, с которым расстался век назад и теперь опять пришел к его порогу... Но нет, совсем иначе, наоборот, еще отрадней: этот дом родной следовал за ним по пятам не отставая, тихо бороздя речную гладь, чтобы к часу усталого ночлега быть рядом: входи, хозяин.

Алексей вдруг подумал, что так, наверное, всегда и было, когда люди кочевали по неведомым краям: ноги шли и шли, а дом, и кров, и дым очага следовали позади, будь то речной струг или кочевая кибитка.

Это надо было записать в блокнот, но сил не оставалось ни писать, ни думать.

А утром снова шли вдоль берега.

— Эй, Шахова, бригадир! — окликнул зычно Коломиец.

— Чего вам? — откликнулась она. — Здравствуйте, — бросила Алексею.

— Сейчас пойдем на Гундыр-Полой, посмотрим, что там. Надо прощупать этот пыж... Дистанционеры говорят, что семьдесят тысяч кубометров леса напластовано, штабелями лежит. Ой-ой, что делать будем?

— Разбирать, — ответила Ия.

Она не прятала взгляда, но лицо ее было занавешено сеткой накомарника, распяленной на широких полях, и за плетением нитей глаза мерцали недоступно и загадочно, как за вуалью блоковской незнакомки.

«И каждый вечер в час назначенный... — мысленно продекламировал Алеша втайне любимое, но тотчас одернул себя: — Эка чушь, декадентство! Ведь утро...»

Сам же он то и дело наотмашь хлестал себя ладонью по лбу и щекам, убивая наседавших комаров, и было что-то обидное и унижительное в этих пощечинах, которыми он награждал самого себя, даже что-то зловещее было в этом, он чувствовал.

Они шли берегом, то восходя на кручи, когда обрыв нависал над омутами, то обходя низом, кромкой, шлепая по вязкой кашнице.

Резиновые сапоги Ии, излишне свободные в голенищах, печатали впереди на сыром шинный рубчатый след, который тут же наполнялся водой, оплывал и сглаживался, будто не было.

А ботинки Алеши сначала набрали песку, который тер и жег пальцы, потом этот песок повлажнел, раскиселился, внутри зачавкало, подошвы разъезжались — идти было сколько угодно, неудобно и противно. Он пожалел о том, что, снаряжаясь в эту командировку, не купил себе хотя бы кирзовых сапог — ведь знал уже, что такое сплав, — жесткий плащ-дождевик он купил, молодец, а сапоги нет, но теперь было поздно сокрушаться.

С очередной крутизны им открылся Гундыр-Полой.

Страшное зрелище даже для первого взгляда.

Разверстое устье было закупорено неподвижным, плотным, спутанным, как песий колтун, затором леса. Теперь уже не отгадать, с чего все началось, но, вероятно, где-то на выносе малой речки намылась и вспучилась песчаная отмель, в ней увязли первые бревна ошалело несущегося моля, а другие, плывущие следом, ударились торцами, но не смогли протолкнуть и, подпираемые сзади, полезли, норовя перевалить через чужие хребтины, словно рыбы, гонимые к нерестилищу вековечным инстинктом, а иные пытались пронырнуть снизу

или сбоку и зарывались еще безнадежней, а напор не ослабевал, наоборот, он делался все мощней, бревна с треском и скрежетом вскидывались на попу, образуя уже настоящую плотину, неодолимый створ, в который тщетно бились лбами новые и новые заряды и тоже застревали, впутывались, становились частью преграды, а речка, бурлящая тальми водами, несла скопища нарезанной за долгую зиму древесины, она попадала сюда как в ловушку, заполняя от берега до берега все займище, перекрыв русло намертво, не давая воде ни хода, ни выхода, отодвигая устье все далее, загоняя речку обратно в тайгу, ставя крест на ней самой и на имени ее.

Поверху бревна уже обсохли, они были рудыми, как старое железо, и скрещения вздыбленных лесин напоминали противотанковые ежи, сваренные из стальных балок, которые Алеша, вернувшись из Городища в Ленинград, обнаружил недалеко от дома, где они жили, на городской окраине, на Охте, там был рубеж.

Коломиец, несмотря на грузность тела, легко, как воробей, перепрыгивал с бревна на бревно, иногда притопывая сапогом и пытаясь по звуку — глухому, бетонному — определить размеры бедствия.

Нашел прореху, сунул в нее отвесно багор — он погрузился на всю длину, осталось лишь за что держаться, и там, внизу, коротко стукнуло, уткнувшись в плоть дерева.

— Все, — крикнул Богдан Самойлович. — Как есть до дна.

— До самого дна? — поразился Алексей. — Но что же вы станете делать? Ведь это невозможно даже раскатать, не то что сдвинуть...

— Ну, это с какого конца взяться, — подмигнул ему Богдан Самойлович. — Смотря за какую ниточку потянуть... Видишь ли, в каждом деле самое главное — найти кончик, ниточку, за которую первоначально надо дернуть, а потом само пойдет... — И заметив, что гость смотрит с недоверием, повторил настойчивей: — Ну как не понимаешь? Если, допустим, вот это бревно выковырнуть, то и другие, соседние, ослабнут непременно. А если еще и это — все растормошится помаленьку, задвигается, оживет... Но ты попробуй-ка его, вот это первое, зажатое, достать — семью потоми изойдешь... Да-а, приготовил нам подарочек Гундар-Полой! — Коломиец поскреб затылок. — Как полагаешь, бригадир, сколько тут проканителмся?

Ия Шахова окинула взглядом пыж, определила:

— Дней десять. Не меньше.

— Десять дней... значит, все наше опережение коту под хвост?

— Туда.

Алеша тоже огляделся.

Вспомнил, как на Белоборской запани сплавщики легко и отважно скакали по плывущим бревнам, а под ними была зыбь и бездна, но они успевали перенести ногу и тяжесть тела на другую опору прежде, чем первая оседала и погружалась, а там опять прыжок.

И куда он еще не обладал такой сноровкой, было трудно одолеть соблазн: пересечь это речное устье от берега до берега, — зная, что под верхними бревнами тоже лежат неподвижные бревна, а под теми еще ряд и так до самого дна — перебежать речку аки посуху.

Он переступил с округлого соснового туловища на другое, серое, бородавчатое, жабье — еловое, — а потом опять на слюдяную чешую сосны, а там запрыгал вразмах, подражая Коломийцу, через одно, через два на третье, будто бы по шпалам, будто по бревенчатому настилу, — снова сосна, опять ель, а тут ошкуренный, трещиноватый, состаренный дождями и ветрами ствол...

Пронзило и дернуло ногу. Не сумев остановить бега и не в силах бежать дальше, он оступился и упал на бревна, они саданули по ребрам, лишив дыхания.

И в этот короткий миг падения еще успел почувствовать муку стыда: ну вот, опять... опять, как год назад, когда он впервые приехал на запань... когда он был столь же неловок и, орудуя багром, сорвался с мостков в воду... и опять все случилось на глазах этой девушки, Ии Шаховой... а еще давешнее, в трюме... Что за напасть?

В левом ботинке было совсем мокро. Он выбрал себя и за то, что вздумал скакать по бревнам в отсыревшей и скользкой, вихляющейся обуви.

Но, кроме ощущения сырости, была нестерпимая боль, заставившая стиснуть зубы. Вывих?..

Не расшнуровывая стянул ботинок и увидел, как из него заляпали капли крови.

Коломиец и Шахова бежали к нему.

— Э-э, гляди...— удивленно вскинул брови Богдан Самойлович и, не добежав, присел на корточки.— Гвоздь... ну да, гвоздь вбитый... А зачем он тут?— Повертел головой озадаченно.— Ну, парень, находчив ты: один, я думаю, гвоздь на семьдесят тысяч кубометров— и ты его нашел! Или он тебя... ржавый, сволочь, а острый... Ну давай покажи.

Он был уже рядом и, пятная кровью пальцы, так и сяк поворачивал ступню Алеши.

— Перевязать, а чем...

— Я перевяжу,— сказала Ия,— но сперва надо подорожника нарвать, подложить, чтоб не загноилось, а то вон какая ржа... Походите, я сейчас!

Она понеслась к берегу, подпрыгивая на бревнах высоко, как коза.

— Ишь, угораздило...— продолжал сокрушаться Коломиец.— Ну посиди тут, не горюй, а я сейчас подгоню лодку ближе— ведь дойти не сумеешь...— Опять посмурнел, окинув взглядом нагромождение бревен.— А куда ее тут подгонишь— места живого нет, чтоб причалить... Ну ладно, посиди.

Первой вернулась Ия.

Она сняла накомарник, и оказалось, что его широкие поля были сами по себе, без колпака, словно нимб на святых иконах, а голова была повязана ситцевой косынкой в мелкую крапинку— размотала, оказавшись простоволосой и русой.

Алеша не сдержал тихого стопа, когда она, обернув его плюсну мягкими и прохладными листьями подорожника, начала пеленать ногу тугими витками крапчатой ткани.

Девушка подняла выгоревшие свои ресницы, и он увидел в ее глазах выражение неподдельной жалости, острой боли, которую она сумела воспринять как свою. Но там прочлось еще. что она жалеет не только его проткнутую гвоздем ступню, но и всего его, чужого и безразличного ей человека, Алексея Рыжова.

— Какой же вы... невезучий. несчастный!

И, сколь ни больно было Алексею, он слабо улыбнулся.

Что за наивность, что за простота. Невезучий? Ну, положим, с этим хочешь не хочешь, а в данных обстоятельствах придется согласиться: они встречались дважды— и обе их встречи обернулись для него плачевно. Первый раз он сверзился с мостков и мог бы утонуть, если бы течение затащило под бревна— амба,— но он выплыл, вылез, и там все кончилось смехом; а теперь он, тоже пытаясь явить удачу, напоролся на бегу на ржавый гвоздь, упал, ушибся, и, кто знает, сумеет ли он подняться без посторонней помощи и чем ему вообще грозит все это, если учесть, что гвоздь оказался ржавым,— тут, конечно, ему и впрямь не повезло, и она имела право считать его невезучим человеком, ведь они не встречались в иные поры, когда ему сильно везло, когда так и катило везенье... Но она

еще сочла его несчастным, и прямо сказала об этом, и пожалела его — вот это уже было совсем несусветно и даже смешно: наоборот, он был очень счастлив в своей жизни, и те двадцать лет, которые он донныне прожил, он был на удивление счастлив в своих делах и в своей любви, он был совершенным счастливчиком, будто родился в рубашке, у него было столько счастья, что даже чуточку неловко, ведь говорят, что дуракам счастье, а разве он был дурак?.. И тем более странно, что его назвала несчастным, усомнилась в его счастье вот эта невзрачная девушка с облупленным от солнца припухлым носом и соломенными волосами, Ия Шахова, которая, вот уж это точно, сама знала лишь то счастье, что выбилась в бригады на сплаве да пропечатали ее имя в газете раз-другой, а больше ничего, никаких ей радостей, ни тихого замужества, ни вольных утех, ведь он, Алексей, все рассмотрел минувшей ночью в копошливом полумраке трюма, понял всю меру неприкаянного ее одиночества и бессонных мук, а она еще толкует о счастье, будто знает, что это такое, да еще по наивности и простоте жалеет его, скорбит о его несчастьях...

Донесся скрип уключин: Коломиец, правя короткими махами весел, вогнал челнок в зазор чистой воды между обрывистым берегом и щетиной бревен.

Алеше подвязали ботинок веревочкой к запеленатой ступне, как подошву, и, закинув его руки себе на шею, осторожно повели к лодке.

Причалили не к плашкоуту, а к буксирному катеру, на котором он провел ночь. Алексей понял: для того чтобы ему никто не досаждал, кроме комаров, а уж от них все равно нигде нет спасу.

— Ты поди, Ия, покомандуй вместо меня, — сказал Богдан Самойлович, — а я пригляжу тем часом за нашим раненым... Ну как, герой? — склонился он над гостем, распростертым на лежанке, подсовывая ему под голову свой ватник. — Не полегчало?

Но Алеша не испытывал покуда ни малейшего облегчения. Хуже того, он чувствовал, как вспухает кувалдой нога, как она наливаются тянущей болью, как от ступни к колену все чаще взбегает колючая искра, разряд, подобный электротоку. Навалившись мальчишкой в больнице, он имел представление, что это очень опасно, что с того и начинается: ржавый гвоздь, потом нагноение, заражение крови, дальше гангрена, а в конце концов отнятая нога либо обший смертельный сепсис...

— Богдан Самойлович, может быть, все-таки прижечь йодом? И перебинтовать снова — чистым бинтом...

— Оно бы конечно, — сокрушенным вздохом ответил Коломиец, глядя в сторону. — Да вот нету у нас, понимаешь ли, ни бинта, ни йоду.

— Как же так? Должна быть хоть какая-нибудь аптечка, мало ли что...

— Это верно, — кивнул тот. — А вот нету.

«Очень странно», — подумал Алексей и прикрыл глаза.

Сейчас ему показалось, что гнойный сок, бурлящий в ноге, уже проник во все сосуды, ходит по телу, заставляя тяжело и встревоженно колотиться сердце, учащенно вздымая легкие, одно из которых у него было трачено давним очагом, что тлетворные пары уже мутят голову, заполняя мозги вязким туманом, лишая сознание внятности, нагнетая жар... Он приложил ко лбу ладонь, но рука сама была слишком горячей, чтобы ощутить сторонний пыл.

— Богдан Самойлович, — шевельнул он спекшимися губами, — а термометр у вас есть?

— Нету термометра. Ничего у нас нету...

— Как же так...

Коломиец поднялся с лавки, отодвинул плексиглас иллюминатора, крикнул кому-то:

— Эй, Петро!.. Заводи мотор! Дуй на Лозым. И чтобы полный ход.

Почти сразу же затарахтел дизель, кабину заволокло дымом солярки, взбурлил винт, катер покачулся с борта на борт и пошел ровно, ходко.

— Куда это? — спросил Алексей, разлепив глаза.

— В Лозым, сельцо такое верстах в пятнадцати отсюда. Там медпункт есть, а ближе ничего нету, что вверх, что вниз... Потерпи, за час дойдем.

Они оба умолкли, прислушиваясь к гулу двигателя и плеску поперечных волн.

Алеша задышал спокойней. Он понял, что хоть через час, хоть за пятнадцать верст, но необходимая медицинская помощь ему будет оказана: там наверняка найдутся и бинт, и йод, и даже шприц, чтоб ввести, если понадобится, какой-нибудь антисептик, а если и это не поможет, то оттуда, из Лозыма, позвонят по телефону в Город-на-Реке и вызовут санитарный самолет, который тотчас прилетит и сядет на лужайке, больного положат на носилки, засунут в фюзеляж, «кукурузник» взвьется — а ведь он, Алексей Рыжов, еще никогда в своей жизни не летал на самолете, — но в любом случае, как водится, как должно, как бывает со всеми советскими людьми, ему будет оказана срочная помощь, и он будет спасен, он выздоровеет и будет жить дальше.

Но вместе с тем, немного успокоившись, он испытал и новую тревогу. Как же не ко времени и некстати все это приключилось: его неловкое падение, проткнутая гвоздем ступня. Мало того что это помешало его собственной работе, но еще и оторвало от прямых служебных обязанностей самого командира хвостовой караванки Богдана Самойловича Коломийца — вот он, нахохленный и пасмурный, сидит на лавке в его ногах, и морщины забот так и ходят на смуглом его челе, пошевеливая седоватый ежик короткой стрижки. Ведь не на час и не на два пришлось бросить все дела, а, считай, на полный рабочий день — покуда смотаешься в Лозым, пятнадцать километров туда и столько же обратно, уже, гляди, и вечер. А дел невпроворот, вспомнить хотя бы чудовищный затор на Гундыр-Полое, семьдесят тысяч кубометров леса, сплетшегося в кудель...

Но, между прочим, подумал Алеша, в этой вынужденной отлучке начальника хвостовой караванки есть и собственная его вина: была бы в его хозяйстве обыкновенная походная аптечка — фанерный ящичек с красным крестом на дверце — и, глядишь, не пришлось бы плыть на катере к едрене матери, за пятнадцать верст, в сельский медпункт, в Лозым...

— Богдан Самойлович, а все-таки почему на хвостовой караванке нет аптечки? — спросил он. — Разве не нужна?

Коломиец, наклонившись, внимательно пригляделся к его лицу.

— Эге, — сказал удовлетворенно, — глаза маленько прояснели, и не такой бледный, как был, значит, не помрешь на полдороге, довезем... Ты насчет аптечки спросил? Нужна, конечно, как не нужна — сам видишь. И не только для приезжих, но и для своих, для всего трудового коллектива. Работа у хвостовиков опасная — может случиться производственная травма, да уж, извини, похуже твоей ноги... И простудиться недолго, когда часами по пояс в воде стоишь. И на двести человек иногда кого понос прохватит — тоже лечить надо... И еще по секрету скажу: девок у меня вон сколько, бедовые они, на любовь жаркие, а как расплачиваться за любовь — так иные дуры с перепугу, с вредного совета готовы себя покалечить, лишь бы скинуть...

— Ну тем более как же вы обходитесь без медицинской помощи? Что за дикость!

Коломиец перемолчал свой ответ, тяжело работая желваками, а потом сам спросил:

— Помнишь. Рыжов, когда мы с тобою вчера вели беседу, ты упомянул насчет товарища Рассыхаева, насчет Вотчи — как они нас в дальний путь провозжали с оркестром?

— Да, он хвалился, что всем обеспечили караванку: оборудован медпункт, при нем фельдшер, кинопередвижка есть — культурный отдых, лектор из столицы... как же его фамилия?.. А, вспомнил, Феофилов — я познакомился с ним совершенно случайно... И еще Рассыхаев сказал, что для помощи караванке специально был прикреплен инструктор района Мяндин, с ним я тоже знаком... Ну а что — разве это неправда? — Алексей обеспокоился, зашевелился. — Да-да, я точно помню, что Рассыхаев говорил насчет медпункта и фельдшера... Где же этот медпункт, где фельдшер?

Богдан Самойлович коснулся пальцами его груди.

— Да ты лежи, лежи, не ворошишь, а то снова заболит... Вот так, лежи смирно.

— Что же он — врал?

— Нет, не врал, все правильно. И все у нас было. Кино показывали — прямо в трюме вешали экран, каждый вечер «Небесный тихоход» крутили, а все не надоест, смеются, хлопают. А перед этим лектор о международном положении рассказывал — тоже слушали, народ у нас вежливый. Медпункт работал справно, хотя, слава богу, никто еще не болел... И товарищ Мяндин, инструктор, за досугом приглядывал, но и работу нашу не забывал: повесил график, отмечал выполнение — правый берег, левый берег. Стенгазету наладил...

— Ну и что же? — перебил Алеша. — Куда все подевалось?

— Погоди, о том и сказ... А третьего дня, когда мы подошли к границе Вотчинского района — Мяндин сам по карте следил, чтоб впритык, — нам выдали команду «стоп», собрали все районное хозяйство, погрузили вот на этот самый буксир, — Богдан Самойлович постучал кулаком в железный гулкий борт, — и свезли на берег. Все как есть: и медпункт с аптечкой, и киноаппарат с картиной, даже стенгазеты не забыли, свернули в трубочку — и с собой... Из Вотчи за ними другой катер пришел, взял на борт. Только ручками нам помахали — и кинщик, и фельдшер, и лектор, и товарищ Мяндин во главе...

Алеша, поднатужась, приподнялся на локте, выглянул в иллюминатор: за пробегающими пенными гребешками волн, кропящими стекло на уровне глаз, был виден плоский песчаный берег, клочки черемухового цветенья, а за ними отвесно и плотно стоял сосновый лес.

— Сейчас мы в каком районе? — спросил он. — Лозым — это где?

— Талицкий район, соседний с Вотчей. Тут сейчас работаем и еще недели три будем вкалывать.

— Ясно, — кивнул Алексей. — Значит, теперь вас обязан всем обеспечивать Талицкий район: и медициной, и культурой, и всем прочим. Теперь вы у них на довольствии.

— Да-а? Ты так полагаешь? — Дубленные на ветрах, чуть отвислые щеки Богдана Самойловича затряслись от негодования. — Мы от них уже получили привет — и тебе он известный: пыж у Гундыр-Полоя до нас разбирала бригада сезонников, а когда в Талице узнали, что пришла караванка, они своих людей поспешили оттуда снять для других надобностей, а пыж этот нам оставить, чтобы мы надрывали пупки, а не сами, — вот и все довольствие... Три дня уж как мы тут, а из Талицы хоть бы кто наведалься для приличия, хоть бы кто спросил: ну как вам тут работается, дорогие товарищи, не надо ль

вам чего? Так вот ведь нарочно будут делать вид, что про нас и знать не знают — какая еще караванка, кто такие? — Коломиец дышал прерывисто, негодуя. — Потому что для них мы — чужие, вотчинские. А для Вотчи вроде бы теперь тоже не свои — талицкие, вот пусть у Талицы за нас и болит голова... Будто бы Вотча и Талица разные державы, удельные княжества и сейчас промеж них междоусобица, война... Тьфу, прости, что слетело такое слово страшное.

— Этого не может быть, — снова сделал попытку приподняться Алексей. — Такого быть не может.

И опять Коломиец удержал его на лежанке.

— Может, коли есть... Это еще ладно, что для Вотчи мы талицкие, а для Талицы — вотчинские. Но дальше нам идти еще через два района — долго нам идти, Рыжов, и все пешком, да не посвистывая, а собирая по бревнышку! — так для тех мы вообще ничьи... будто с другой планеты, на которой, все знают, жизни нет... Это я тебе правду говорю: не первый раз своими ногами Вычегду меряю!

Перевалившись на бок, Алеша вытащил из кармана блокнот: он решил записать еще одно поразившее его в речи Коломийца слово, чтоб оно не забылось, хотя он еще и не знал, зачем оно ему и как может пригодиться это слово — н и ч ь и.

Однако Богдан Самойлович, конечно, тоже не знал, зачем корреспондент газеты достает свою записную книжку и какие слова в нее запишет, он поспешил заверить:

— А насчет аптечки ты не сомневайся: я ее где-нибудь, хоть в том же Лозыме, куплю в сельпо, если есть... Надо было загодя купить, так кто же мог догадаться про такое? На родине моей, на Украине, говорят: эх, як бы знав, дэ вправ, так соломки б пидистлав...

Катер ощутило повело правым бортом.

Коломиец выглянул в окошко, порадовал:

— Ну, кажись, дошли — вот и Лозым.

Все в этот день было досадно некстати, и сюда они явились невпопад.

Хозяйка медпункта — фельдшерица или сестра — занималась ремонтом: влезши на табурет, она оклеивала стены газетами, то ли под побелку, то ли вместо обоев — чисто и дешево. На полу стоял таз с разведенным пахучим клеем, лежали кипы газет. Стена, что против окна, уже подсохла, морщины разгладились, все ровно, вприкурку, загляденье, другая стена была совсем сырая, в потеках и складках, а до остального только дошел черед, как вдруг явились.

— Посадите вон туда, на топчан, — распорядилась недовольно медсестра. — Что у него, нога? Сейчас я...

Она доклеила лист, слезла с табуретки, пошла к умывальнику и, грюкая железной тычинкой, вымыла руки, надела белый халат, завязала тесемки сзади.

— Ну покажите, — сказала, подсаживаясь на краешек топчана, но тут же обратилась к провожатым: — А вы что — дожидаться будете, повезете обратно? Или нам оставите?

— Ждать некогда, — развел руками Коломиец. — Пожалуй что пусть остается... Не возражаешь, Рыжов? У тебя ко мне есть вопрос?

Алеша подумал, мотнул подбородком:

— Нет.

— Тогда мы поедем Поправляйся будь здоров. Извини, если что не так... До свиданья.

Они с мотористом Петром тяжело пробухали сапожищами в сенях и на крыльце.

Медсестра уложила Алексея на клеенчатую подстилку, отвязала ботинок, умелыми легкими пальцами размотала косынку, которой

была перевязана ступня, осторожно — он даже не почувствовал — отлепила привядшие листья.

— Подорожник? Ну правильно, он всю заразу отсосет лучше любых лекарств... Чем это вы угораздились?

— Гвоздем,— объяснил Алеша.— Гвоздь торчал в бревне, ржавый, а я не заметил, наступил...

— Здесь больно?

— Нет.

— А здесь?

— Ой-й...

— Ну ясно. Кость вроде не задело. Крови нет, засохло хорошо, опухоль спадает. Я на всякий случай продезинфицирую. А пока температуру измерим, расстегните рубашку, еще пуговку, во-от...

Он ощутил под мышкой холодок градусника.

Потом стало холодно и пятке ноздри щекотнул запах спирта — она промывала рану. Последовал ожог, он догадался, что это йод, на который он возлагал такие надежды, и вот наконец-то.

Медсестра отошла к столику, присела, зашуршала листками тетради.

— Фамилия, имя-отчество?

Он назвался.

— Откуда?

— Из Города-на-Реке.

— Я сразу поняла, что городской, — призналась она.

— Видите ли, я из Москвы,— заторопился он утвердить и возвысить свою репутацию столичного жителя.— А вообще я из Ленинграда, точнее — Кронштадт.. — полез он в подробности своей биографии, но тут же понял, что для этого запредельного сельца, для Лозыма, с избытком хватало и сказанного вначале.— Все равно пишите Город-на-Реке.

— Где работаете?

Он сообщил небрежно, и она, это было заметно даже на расстоянии, вовсе заробела от почтительности. В смущении оглянулась на разбросанные по полу там и сям газеты.

— А вас как зовут? — спросил он, чтобы устранить ненужные барьеры и войти в свойский лад.

— Тоня.

Алексей приподнял голову, всмотрелся внимательней, но она сидела к нему спиной, и что он мог увидеть — лишь завязки белого халата, раздавшегося на широких лопатках и очень полных ягодичках.

Она подошла, сунула руку ему за пазуху, достала градусник, сказала:

— Тридцать шесть и шесть.

Он вздохнул, не скрывая облегчения.

Эти несколько слов — даже не слов, а цифр, — эти несколько совсем пустяковых, но ритмичных, повторяющихся, как заклинание, слов — десятичная дробь — означали спасение, вселяли надежду, бодрое ощущение одоленной хвори. Они были символом жизни, которая могла еще длиться сколь угодно долго, что практически было равно бессмертию. И более того, этот знак возвращал его в круг людей, составлявших радостное большинство, в сообщество здоровых особей имеющих одинаковую теплоту крови, что не только не умаляло их личного достоинства, а наоборот — возвышало каждого до всех и всех до каждого. И сверх того этот частный признак — нормальная температура тела в окружающей среде, тридцать шесть и шесть, — делал их опорой всего сущего и надлежащего на белом свете.

Но кроме радости, охватившей его, он испытал и другое чувство, тоже очень знакомое обычным, как и он, людям: что это мгно-

вение его жизни — то, которое сейчас, — что оно уже было когда-то раньше в его жизни, и не во сне, а наяву. Вот это место, хотя он был тут впервые, и этот самый час, минута в минуту, и черед движений, будто отлаженный и освященный веками ритуал, и все произнесенные при этом речи — они совпадали дословно, что за диво.

Алеша попытался разобраться в этом странном и пугающем наваждении, напряг память, сосредоточился, отшел все зыбкое, бесплотное, что могло быть одним лишь настроением, и сумел выделить осязаемые, зримые, бесспорные детали, которые действительно повторялись теперь: больничный лежак, крашенный белилами, застланный сырой клеенкой; лобастые колени медсестры под тканью халата, почти у самых его глаз; рука, стряхивающая ртуть в градуснике; голос, произносящий с насмешливым укором: тридцать шесть и шесть, тридцать шесть и шесть... Да ты ведь, парень, вполне здоров, только выставляешься больным, вот разве что здоровьем ты болен, а больше ничем, ах ты хитрец, ах симулянт, а не нарочно ль ты гвоздем укололся, чтоб разыграть все это представление?

Самое удивительное было в том, что ее тоже звали Тоней, как и медсестру в чахоточном отделении ярославской железнодорожной больницы, которая развлеклась его невнимательностью. И возраст сходился, та тоже была годками тремя его старше. Но в том-то и дело, что это была не она — все совпадало, однако не она.

На миг в нем проснулся живой интерес, но он сам погасил его — не столько усилием, сколько слабостью своей, ведь что ни говори, а крови из него вытекло порядочно, и настрадался он от боли, и дурными предчувствиями извелась душа.

Кроме того, сама память о болезни отвращала его сейчас от игривых затей.

И еще он понимал, что теперь ему надлежит быть весьма и весьма осторожным, потому что на сей раз его шалость никак не могла бы укрыться от ясновидящего ока Клары: ведь Лозым находился всего лишь в сотне верст от Города-на-Реке.

Нет, он не хотел бы дать ей повод для ревности, для новой ссоры, он не желал, чтобы оправдались даже малой толикой хулы и наветы, которыми оскорбляли их любовь пьяные шуты в вотчинской харчевне.

— Ну, я пойду, что ли... — сказала Тоня, потоптавшись у его изголовья. — А вы полежите. Хотя и ничего нет страшного, но полежите до завтра... Может, вам принести поесть? Или чаю?

— Нет, спасибо, не надо.

Алеша чувствовал, что гнойная муть еще в нем, и даже думать о пище было тошно, даром что целый день во рту не было ни крошки.

Медсестра с некоторым сожалением обвела глазами две обшарпанные, закоптелые стены, столь разительно отличавшиеся от двух других, сияющих свежестью.

— Доклеить бы надо, а вот жалко вас тревожить... Ну да ладно, завтра доклею.

Сняла халат, повесила на гвоздик и уже у двери, толкнув ее налитым плечом, сверкнула задорным взглядом, какой бывает у женщин, обошедших неминуемый грех.

— Спокойной вам ночи... Не скучайте, Алексей Николаевич.

Едва захлопнулась дверь, он пожалел, что отпустил ее, что отказался от стакана чая, от приличной вежливой беседы, которая помогла бы скоротать вечер, зря, конечно, отпустил, но не догонять же ее на улице, к потехе всего села, в ботинке на одной ноге, а другая в бинтах, припадая босо: да ты постой, постой, красавица моя...

Ничего не поделаешь, придется скучать одному.

Алеша потянулся к кипе газет, лежавшей на полу, зацепил верхнюю, но это оказался «Медицинский работник», и под ним тоже, и еще ниже — видно, сюда, на медпункт, газета шла по казенной подписке, иначе какой интерес.

С шорохом развернул чуть зажелтевший лист.

«...таким образом, более чем за столетие до Флеминга отечественная наука не только открыла, но и начала изучать и даже практически использовать лечебные свойства зеленой плесени (пенициллиум). В «Военно-медицинском журнале» за 1871 год, в «Медицинском вестнике» за 1873—1877 годы русские ученые Манассеин и Полотебнов опубликовали результаты своих работ об отношении бактерий к плесеням, об успешном лечении с помощью плесени гнойных язв и ран...»

Нет, это было очень интересно. Это самым непосредственным образом касалось его, Алексея Рыжова, его ноги, проткнутой ржавым гвоздем у Гундыр-Полая.

Хорошо, что все обошлось так удачно и счастливо, как оно обошлось. Но если бы случилось то, чего он боялся — если бы рана продолжала гноиться, и если бы нарыв пустил заразу в кровь, и если бы начался сепсис, что сразу бы подтвердил резкий скачок температуры, — то спасти его ногу, его здоровье, его жизнь могла бы только инъекция новейшего лекарства, пенициллина, который совершал чудеса, исцелял самые страшные недуги, даже дифтерию, даже туберкулез, — а ведь когда-то, в войну, и у него, у Алеши, внезапно обнаружился очаг в правом легком, но зарубцевался сам собой, оставив память о себе пятнышко в легком на рентгеновских снимках, однако теперь даже чашотка отступила перед всемогущей плесенью, и было отрадно сознавать, что это лекарство подарил людям не какой-то англичанин, а наши собственные российские ученые мужи, да еще полста лет назад, в прошлом веке, давным-давно.

А больше ничего любопытного и важного — во всяком случае, для него лично — в «Медицинском работнике» не нашлось, и он отшвырнул газету.

В изъясном окошке амбулатории был виден обновленный каемчатый ельник, увешенный, будто новогодними игрушками, гроздьями шишек — их смолистый запах проникал сюда, — в проемах пышной хвои посверкивала река, цвет ее ближе к вечеру делался холодней и железней.

Но и в этом окошке ничего кроме нельзя было высмотреть, разве что, оцепенев, следить час за часом, как будет меркнуть все вокруг и заволакиваться пеленой ночи, белесой, как сыворотка, из которой отпахтали за день желтый комочек солнца, да и тот корова языком слизала.

Нет, он напрасно отказался от предложенного чая и тем обрек себя на скуку.

Придется все же читать газеты, пока хоть это возможно, покуда еще достаточно света.

Алексей поднялся с лежака, ступил на пол здоровой ногой, а больную поджал и, опираясь ладонью о стену, запрыгал медленно и сбивчиво, как подшибленный из рогатки воробей.

На стенах печать была представлена более разнообразно, нежели на полу: тут и «Известия», и «Труд», и «Комсомольская правда», и даже «Северная звезда». Вряд ли все эти газеты выписывала медсестра Тоня, скорей они были собраны со всего села, пожертвованы от общественных щедрот, чтобы в лозымском медпункте — кого он тут не пользует! — навести чистоту и опрятность, как в городских больницах, чем мы хуже.

Газеты были наклеены безо всякой заботы об удобстве их чтения — какая боком, а какая вверх ногами, — и Алеше приходилось изгибаться в пояснице, выворачивать шею, скашивать глаза, чтобы

разобрать строки бледного боргеса и дробного петита, посвященные событиям недельной, а то и месячной давности, прочесть которые раньше не было времени, по ним в суете лишь скользнул беглый взгляд.

«...при попытке перейти австро-баварскую границу с подложными документами была арестована Ханна Рейч, личный пилот и друг Гитлера и Геринга. В последние дни гитлеровской Германии Рейч находилась в главной квартире Гитлера в Берлине, и с тех пор о ней ничего не было известно...»

«Как сообщает газета «Вельт ам абенд», бывший гитлеровский генерал войск СС Эйхман, который был интернирован в лагере военнопленных в Египте вместе с 27 другими эсэсовскими генералами, привлечен к работе в «генеральном штабе» арабского легиона. Эйхман, имеющий большой стаж работы в гестапо, с 1936 года является другом муфтия Иерусалима...»

Эти имена ничего не говорили ни уму, ни памяти Алексея — он их попросту не знал, — он лишь понял, что теперь, после Гитлера, принявшего яд в подземном бункере, и после Геринга, которого втащили на виселицу в Нюрнберге уже мертвым, настал черед последней, мелкой сошки: эсэсовских генералов и фюреров, личных пилотов и закадычных друзей, — а они норовят улизнуть от кары, расползаются по укромным углам, по темным щелям кто куда.

И еще его поразила мысль: что вот уже три года прошло с конца войны — да, ровно три года и месяц сверх того, — и невероятно подумать, как далеко в глубь времен ушла война — целых три года! — а газетные полосы все еще полны вестями о войне, она подает их оттуда, из прошлого, и даже те сообщения, которые на первый взгляд не касаются минувшей войны и не связаны с нею, все же подспудно таят эту связь: там причины, там корни, — и взбудораженный войною мир никак не может расквитаться с этой памятью, хотя уже давно пошел совсем иной счет времени, и ему самому, этому иному времени, уже сравнялось три года и пошел четвертый, а война все дает о себе знать.

«...Совет Министров Румынии, приняв во внимание, что Михай Гогенцоллерн вместе с членами своей семьи продолжает и усиливает действия, направленные против интересов народа, постановил лишить его румынского гражданства и утвердил декрет о переходе в собственность государства имущества бывшего короля Михая и членов королевской семьи...»

«...американская публика проявляет явное отвращение к антисоветскому фильму «Железный занавес» и не посещает кинотеатры, где он демонстрируется. На этой неделе «Железный занавес» был снят с экранов в таких крупных городах, как Питсбург, Филадельфия, Бостон, Сан-Франциско...»

Еще усилие, еще шагок.

«—...и тогда порожняк со всей шахты гонят ко мне, чтобы не было простоя, чтобы обеспечить рекорд. А ведь я знаю, что тем часом в других забоях уголь навалом лежит на решетаках без движения, потому что нет вагонеток, все — мои...»

Опять — второй раз на дню — Алеша испытал это странное чувство: будто бы слова, которые он сейчас прочел на стене, уже были читаны им прежде, знакомы дословно и по своему складу и по смыслу, что это мгновение уже было когда-то раньше в его жизни, и не во сне, а наяву... Неужели вот таким странным мороком отдается в его голове обескровленная слабость, или все еще дурманит мозги гнойная жижа? Но ведь ему и впрямь знакомы, как родные, эти газетные строки...

Тупо уставясь, он перечел их, увел взгляд в сторону, к заголовку, и увидел: «Забобы Клима Сидорова». Скользнул глазами под кромку текста, где подпись, и обомлел: «Алексей Рыжов».

Это был его собственный очерк. Тот, что еще зимой он послал в газету, внештатным корреспондентом которой числился, но ничего путного там не напечатал, кроме нескольких куцых информаций. Возвратившись из поездки в Заполярье, он долго прикидывал: что же послать в Москву — покрупнее, посолидней, — что может оказаться достойным столь высокой чести и представить интерес не для узкого круга подписчиков «Северной звезды», а — даже оторопь берет — для миллионов... В конце концов решил, что самое интересное — Тундра, шахта, молодой горняк, обретший славу в двадцать лет, да так и не знающий, во что ее употребить... Написал, заклеил в конверт и отправил почтой в Москву Аржанникову. А потом неделя за неделей — с дрожью в пальцах и замиранием сердца — разворачивал номера комсомольской газеты, заранее представляя себе, где именно должен быть напечатан его очерк — внизу, слева, — но на этом месте изо дня в день появлялись другие материалы, подписанные другими сочинителями, он вчитывался в них, изучал до тошно, пытаясь понять, чем же они лучше того, что написал он, и поначалу его даже охватывало возмущение — да разве это лучше? — но он смирял гордыню и терпеливо перечитывал сызнова, и тогда приходило благодарное понимание, что да, что лучше, в сто раз лучше, чем написанное им, потому и появилось, а его очерк все не появляется и, наверное, не появится никогда — ну что же, переживем, горевать не станем, и на исходе третьего месяца он уже спокойней, без дрожи распахивал широкие газетные страницы и цепким взглядом провинциального внештатника сразу же находил в лоскутной пестряди вестей с мест свою коротышку, свою информацию в десять строк, надиктованную по междугородному телефону редакционной стенографистке в Москве — из-за тридцати земель отдавался в мембране ее понукающий томный голос: «...дальше... дальше...»

Неужели он проморгал свой очерк в давно вышедшем номере? Изогнув шею — газета была наклеена боком, — Алеша просмотрел дату: нет, газета свежая, вероятно, этот номер пришел в Город-на-Реке как раз в день его отъезда, может быть, доставлен сюда, в Лозым, тем же пароходом, на котором плыл он сам. И кто-то здесь, в селе, уже прочитал эту газету и не нашел причины хранить ее вечно, класть за божницу, а отдал за ненадобностью в амбулаторию, чтоб медсестра Тоня оклеила ею стену, авось не забудет такой милости и в свой черед оплатит добром... Но, значит, безвестный кто-то все же успел прочесть этот номер?

И ведь этот номер не единственный. Бессчетное количество подобных же номеров разошлось по городам и весям, и в каждом — да-да, в каждом — был напечатан подвальный очерк с броским заголовком «Заботы Клим Сидорова» в начале и подписью «Алексей Рыжов» в конце.

Стоя на одной ноге, он утомился изрядно: нога не то чтобы разболелась, а занемела, он уже не чувствовал ее под собой — как, бывает, от радости не чуют под собою ног, так и он не чуял ее, правой, на которой стоял.

Держась за стену, допрыгал до лежака и сел на него, переводя дух.

Наверное, эта газета достигла уже и далекой Тундры, и там ее, конечно, прочел герой очерка, врубмашинист Клим Сидоров — если сам не наткнулся, то другие подсказали: на, мол, читай, о тебе сверху донизу... А кроме него, эту газету наверняка прочел главный механик шахты «Капитальная» Ерофеев, водивший его по мерзлотным подземельям, и майор Махнач, инспектор по культуре, терпеливо опекавший его, и, может быть, он, как свидетельство выполненного им долга, показал этот номер своему начальству, и своей жене, пухленькой Ларисе с Лиговки, и своему подчиненному, адми-

нистратору театра Хвощинскому... Но, разумеется, было всего важней, чтобы этот очерк прочел его главный герой, Клим Сидоров, — чтобы он прочел, и не рассердился, и не сказал, что все вранье.

И уж подавно эту газету прочли в Москве, где она выходит день в день и появляется в почтовых ящиках, в киосках ни свет ни заря. Прочла тетя Надя, ведь она, как многие старухи, выписывала именно эту молодежную газету. Прочли недавние однокурсники Алексея Рыжова по Библиотечному институту, порадовались за него и даже возгордились тем, что вот лишь год назад он сидел вместе с ними в аудитории, слушал лекции и вел конспекты, а теперь — гляди! — уже повсюду печатается в центральных газетах, да с каким размахом — от сих до сих, да еще откуда подает материал — из Заполярья, чуть ли не с Северного полюса!

И в заочном деканате, несомненно, прочли этот очерк и уважительно покачали головами — ну кто бы мог подумать? — а лаборантка Лилька Панкратова вынула украдкой носовой платок и протрубила в него, будто у нее насморк, чтобы скрыть таким образом всхлип своих обманутых надежд.

И у Дворца Советов, в доме, поднявшемся над сырым котлованом, эту газету прочла Светлана Дагирова и подумала так: ну конечно, я не ошиблась, я сразу догадалась, что он-то и есть тот самый человек, который знает — он лишь из скромности отнекивался, уверял, что ничего не знает, но теперь, судя по этому очерку, совершенно очевидно, что если кто-то что-то и знает, то именно он и больше никто...

И в его родном Ленинграде, включая Кронштадт, прочли эту газету. Прежде всего прочла мать — ей позвонили и поздравили, — она прочла и впервые заколебалась: а может быть, вовсе не она права, а прав он, ее сын? Не напрасно ли она бранила его, называла неучем и щелкопером, упрекала в провинциализме? Ведь если разобраться, то не живи он сейчас в такой дали, в такой глуши, разве стали бы печатать его пространные очерки в центральной газете? Нет, пожалуй, он в чем-то оказался мудрей и сметливей, чем она...

Еще эту газету непременно прочли студенты медицинского института Лена Распопова и Мишка Ковалев — ведь все студенты читают эту газету, — и еще ее прочли бывшие одноклассники, и детдомовские одноклассники, и еще многие люди, встречавшиеся ему, о которых он позабыл и которые тоже его забыли, просто выкинули из памяти, предположив, что он затерялся бесследно в житейском море, исчез, пропал, как пропадают без вести, — и вдруг увидели под интересной статьей имя и фамилию «Алексей Рыжов», и вспомнили, и были приятно удивлены, и воскликнули: «Алексей Рыжов? Погодите, да не тот ли Алексей Рыжов, с которым мы...»

Но, несмотря на сладость этих дум, роящихся в его смятенной душе, он отдавал себе отчет — серьезно, здраво, — что происшедшее событие куда важней его тщеславной радости. Он допускал, что если даже порыться в памяти и наскрести там еще дюжину дальних родственников и добрых знакомцев, то все равно они составят вкупе лишь ничтожную, и незаметную, и ничего не значащую долю той невообразимо обширной массы людей вовсе не знакомых, и неизвестных ему, и одинаково не знающих его, однако уже прочитавших в газете подвальный очерк, вынесших о прочитанном свое суждение и, возможно, извлекших из него урок и пользу... И вот именно для этой массы людей, о которых вовсе ничего не знаешь — это с предельной ясностью осознал сейчас Алексей, — и пишется и печатается все, что пишется и печатается, безусловно, да, для них.

Он опять, собравшись с силами, поднимался с лежака, хватался за стену и вприпрыжку короткими шаркающими шажками доскакивал до того места, где был наклеен боком его очерк, — и вновь и

вновь перечитывал от начала до конца, от первой строки до последней.

Ближе и дальше на стене были наклеены и другие газеты, они пестрели другими заголовками, под ними красовались известные, давно, еще с войны примелькавшиеся имена, но было достаточно и имен непривычных, даже странных в своем написании, в своем звучании, или слишком распространенных, обиходных, нецепких, вроде его фамилии — Рыжов, — но это все-таки была его фамилия, и за нею был не кто-то посторонний, а лично он, Алексей Рыжов, любите и жалуйте, запоминайте.

Нога опять затекала, немела, и он опять возвращался к лежаку. За окошком смеркалось. Белая ночь опять стелила полотнища тумана по речной зыби, по травянистому берегу, опутывала ими, словно бы новым цветением, купы черемухи. А ельник мрачнел, загустевал, содвигался и, казалось, подступал все ближе и плотнее к окнам и уже осторожно скребся колючей хвоей в стекло.

Теперь обе стены, оклеенные газетами, потеряли свою свежую белизну, затянулись паутиной серостью: сплошняки передовиц и статей мешались с крошевом телеграмм и писем, граничные черточки между столбцами терялись, серые буквы уже не выделялись на серой бумаге, да и сама бумага словно бы превращалась обратно в ту серую кашу, из которой ее делают, и в этой каше вязли, как в трясине, жирные заголовочные шрифты, семечковая шелуха подписей, все-все становилось расплывчатым, мутным.

И Алеша даже не порывался более встать с места и допрыгать туда, потому что уже невозможно было различить, где свое, а где чужое — все теперь было одинаково серым, унылым, невзрачным в надвинувшемся сумраке.

7

Улитин был хмур, глядел исподлобья, даже не подал руки — правда, руки его были заняты: он держал в них листки, на первом была типографская фирменная заставка, которую газетчики называют собакой, а чуть ниже Алеша прочел напечатанный крупно на машинке заголовок «Ничей хвост».

— Это что такое? — спросил Семен Ильич.

— Это? Фельетон.

— Фельетон... А тебя за чем посылали?

— Меня посылали на хвостовую караванку за материалом к очерку, — достаточно спокойно ответил Алексей. — Но то, что я там увидел, и то, о чем мне рассказали, это в очерк не лезет, не годится. Это требует — притом срочно! — резкого критического выступления в газете. Мне показалось, что наилучшей формой такого выступления будет фельетон... вот я и написал. Как сумел. Во всяком случае, заглавие, по-моему, хорошее: в смысле хвост есть, а чей — неизвестно, вроде бы никому он не нужен.

Улитин отложил листки в сторону. Поднял на Алексея свои ягодные темные глаза, и Алеша впервые за все знакомство увидел, что они холодны как лед, и вообще впервые в жизни он обнаружил, что даже темные, совсем темные глаза могут быть холодными.

— Где очерк?

— Очерка нет. Я же вам объяснил только что...

— Но ведь блокнот есть, записи в нем есть? Есть у тебя фамилии, цифры, проценты?.. Впрочем, если даже цифр ты не записал, это можно уточнить в тресте — позвони, спроси, они подскажут... Ну а всякую лирику, пейзажи, разговоры — это в голове у тебя обязательно должно быть, застряло что-нибудь, постучи — и найдешь. — Редактор продемонстрировал, как это делается: согнутыми костяшками пальцев

постучал себя по лысине.— А если ничего не найдешь, то выдумай, сочини, вообрази!

— Семен Ильич, подождите, выслушайте меня...

— Ждать не буду и слушать не буду. Вот, держи-ка ты свой фельетон — и чтоб я его больше не видел, понял? А теперь немедленно отправляйся в кабинет, пиши очерк... и к вечеру чтобы он лежал вот здесь.

Улитин припечатал ладонью край стола.

— Все. Не задерживаю.

Алексей скатал листки в трубку, затянул ее потуже. Сказал:

— Очерка я писать не буду.

— То есть как? Почему?

— Потому что, если я напишу очерк, вы не напечатаете фельетон. Ведь нет?

— Конечно, нет. Мы его и так и сяк не напечатает... я вернул его тебе, поди и подотришь.

— Тогда и я спрошу,— пересилив закипавшую обиду, усидел на месте Алексей,— а почему? Почему вы так категоричны? Ведь вы не всегда против критических материалов: бывает, сами требуете, чтоб поострей... я знаю, вы и с меня требовали, помните, о пычимской плавильне?

— Да. Помню.

— Почему же в таком случае...

— А я сейчас тебе объясню, если ты до сих пор ничего не понял.— Улитин, вздохнув, отвалился к спинке редакторского кресла.— Во-первых, ты должен раз и навсегда усвоить сам принцип: задание газетчику дается определенное, конкретное. Нам это не годится: поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что. Нет: то или се! Если нужен критический материал — так и говорят: езжай за критикой да сделай позубастей. Фельетон? Пиши фельетон... Но если требуется материал положительный, то как же можно... Послушай, Рыжов, ведь ты не вчера на свет родился и ты уже целый год как работаешь в редакции, должен же ты был хоть что-то уразуметь в этом деле! В конце концов, не я сам придумываю и решаю, кого хвалить, а кого ругать,— надо мной тоже есть: позвонили, сказали — необходимо срочно подготовить очерк о хвостовой караванке, о самоотверженном труде ее лучших людей... а вместо этого... Да что я теперь отвечу?

— Все правильно! — обрадовался вдруг Алексей.— Теперь я понял: все правильно... Вам дали указание послать в командировку журналиста, который порезвее бегаёт да побыстрее пишет. Верно? Вот вы и послали — все сделали как надо. А теперь снимите трубку и отзовните тому человеку, который давал указание, скажите ему: наш человек побывал на месте и обнаружил там такие вопиющие безобразия, такие кричащие факты, что и вам, наверное, будет небезынтересно о них узнать...

— Стоп.— Семен Ильич выставил ладонь, обрывая поток его слов.— Значит, сейчас ты меня, редактора газеты, учишь, что я должен делать в данной ситуации, не так ли? Снять трубку, и позвонить, и сказать... Ведь учишь меня? Учишь. Спасибо. Притом еще требуешь от меня, чтобы я последовал твоему примеру: чтобы я начал учить свое начальство, как ему жить, как ему быть и как ему работать...— Улитин сощурился зло.— Да ты что, Рыжов, дураком меня считаешь? Давно ли?.. А пожалуй что и давно: я еще тогда, на «Тютчеве», это понял... Но учти, мальчик, Семена Ильича еще никто и никогда не оставлял в дураках! А сами — те, которые пробовали,— бывало, что и оставались... Вот так.

Алеша испытал вдруг ощущение крайней усталости — нет, он не привез эту усталость из Гундыр-Полоя, он, несмотря ни на что, вернулся оттуда полным пыла — и только сейчас почувствовал мгновен-

ный упадок сил, знакомое обморочное головокружение, вялую обескровленность, будто всю его кровь высосали беспощадные талицкие комары. Да еще из пораненной ноги сколько вытекло, пока перевязали.

— Семен Ильич,— сказал он вразумительно и тихо, не желая больше брани,— там, на хвостовой караванке, двести человек. Работают они хорошо, на совесть. Но их оставили безо всего: без медицинкой помощи, без культурного обслуживания, без почты, наконец, без человеческого внимания — их просто бросили на произвол судьбы... но об этом обо всем написано в фельетоне... Как же так?

Улитин приподнялся, лег животом на стол, заглянул за край.

— А что, Рыжов, у тебя с ногой? Гляжу — прихрамываешь, в руке палка... Напоролся, что ли? Или вывихнул?

— При чем здесь...

— При том, дорогой ты мой! Скажи мне честно, как на духу: если б не это — не нога твоя,— ты бы хоть заметил, что там без фельдшера обходятся? Нет, пожалуй, не обратил бы ты внимания на такую мелочь... Я тебя уже немного знаю: сам собою упоен, всегда доволен, пустяков вокруг не замечаешь. И не пискнешь, куда тебя самого петух в темечко не клюнет. А тут вот и клюнул — правда, в другое место... Так что же я, дружок, из-за твоей пятки, из-за цырлы твоей стану фельетоны печатать? Сразу два райкома по щекам хлестать — наотмашь? Ну нет...

Пожалуй, последние слова Семен Ильич употребил неосторожно: Алексей почувствовал, как зачесалась ладонь, понял, что сейчас с удовольствием отхлестал бы по щекам самого Улитина — ведь тот уже говорил не о его фельетоне, а о нем лично, оскорблял, издевался, унижал как мог.

Но он решил, что нужно вытерпеть и это ради главного, ради дела.

— Хвостовая караванка пройдет по территории четырех районов,— сказал он.— Вотчинский и Талицкий районы надо подвергнуть критике хотя бы для того, чтобы в двух других районах подготовились как следует к приему караванки и обеспечили ей необходимые условия.

Кажется, сама заезженная казенность фраз и слов, которые сейчас произнес Алексей, отрезвила Улитина: он понял всю нелепость и неприличие своего гнева, своей страсти, чуть-чуть охладел, возвратясь в круг привычных оборотов и понятий.

Но ненадолго. У него, судя по всему, было еще припасено кое-что для этого разговора.

Он выдвинул ящик, достал оттуда сложенную газету, и Алеша увидел, что это не «Северная звезда»,— определил не только по шрифтам и верстке, но и по тем двум орденам в титуле, которые сразу отличали эту газету среди других.

— А что, Рыжов, может быть, ты просто зажимаешь очерк, приберегаешь его для центральной газеты? Нам кинешь фельетон, а туда — очерк. Они напечатают, материал-то незаезженный, свежачок: там, поди, и слов таких еще не слышали — хвостовая караванка. И к комсомолу имеет прямое отношение: парни там молодые да девчата, эх, грянем, эй, ухнем... Так, что ли? — всезнающе подмигнул Семен Ильич.

— Нет, не так.

— Но почему бы мне не предположить, что это именно так? Ведь вот, как говорится, факт налицо: поехал сотрудник нашей редакции в командировку в Заполярье, а самый интересный материал зажал — своей газетой погнушался, послал в Москву... и вот напечатано черным по белому: «Заботы Клима Сидорова».

— Я отписался по той командировке по всему маршруту. Вы поручили мне сделать серию очерков «Энтузиасты Севера» — я сделал, и все пошли, даже не упомяну сколько... раз, два, три, четыре...

—...а самый лучший приберег для централки, да? — снова подмигнул Улитин.— Слушай, почем они платят?

— Пришлют — скажу,— пообещал Алексей.— Семен Ильич, вы что — принципиально против того, чтобы местные журналисты выступали в центральной печати? Или вы убеждены, что материалы о Севере не должны появляться нигде кроме как на самом Севере?

— Не угадал,— тотчас посерьезнел Улитин.— Если хочешь знать, я ждал твоего возвращения с Вычегды именно потому, что нужно сделать очень важный материал для Москвы... центральная газета хочет опубликовать статью Дмитрия Ивановича Есипова, первого секретаря обкома. Насчет перспектив развития края. Текст нужно подготавливать, и это поручено мне. Я решил привлечь и тебя: хочется, чтобы статья была поживей, с искоркой, а ты вроде умеешь... И Дмитрий Иванович не возражал. Я дождался твоего возвращения, чтобы нам запереться тут вдвоем и засесть. Поручение это ответственное, обязывающее — более того, высокое! — к тому же срочное... но теперь...

— А что теперь?

— Пожалуй, обойдемся без тебя,— жестко сказал Улитин.— Обойдемся. Сделаем с Огузовым, у него, между прочим, тоже перо ходкое...

— Я могу идти? — спросил, вставая, Алексей.

— Иди.

Улитин выждал ровно столько, сколько потребовалось, чтобы пересечь ковер и взяться за дверную ручку, окликнул:

— Рыжов, вернись. Сядь.

Алеша опять плюхнулся в кожаное кресло, разглаживая на колене, выпрямляя листки с заголовком на первом «Ничей хвост».

— Послушай, я обещаю твердо... нет, я просто сейчас же, при тебе позвоню в обком и расскажу, какие там трудности, на караванке,— пускай помогут. И пусть надерут холку Вотче и Талице... они надерут, поверь!

— Я верю, Семен Ильич. Но как быть с фельетоном? В набор?

Темные глаза Улитина въедались в душу, насылая, лишая воли.

— Нет, ты сейчас пойдешь и напишешь очерк. У тебя в блокноте должен быть материал — ты человек запасливый. А там начнешь с первой буковки — и побежит само... ведь побежит?

Алеша вдруг заколебался: ему надоела — к черту! — эта говорушня. Ведь он и впрямь мог сейчас же сесть за письменный стол, с ходу написать тот очерк, который вымогал у него редактор. И действительно все, что надо, было в его блокноте — и нужные фамилии, и годные для такого случая проценты,— а в памяти было картинно отпечатано: как идут по правому берегу Вычегды парни в накомарниках, отмахнув на затылок власяные бармицы, вскинув на плечи багры будто копыя... как пересекают плес смоленые струги лихих дружин, оцетинясь остриями пик,— правый берег спешит на выручку левому... Он вполне бы мог все это написать, больше того, он был бы рад написать это: чтобы еще раз учуять кожей и ноздрями свежесть речных брызг и черемуховый холод...

Но правый берег обрывался у Гундыр-Полоя. А там были дико и уродливо сбиты в колтун семьдесят тысяч кубометров леса — этот пых надо было разобрать по бревнышку. И сделать эту непосильную работу предстояло людям, которые знали, что до них никому нет дела, что они ничьи, что о них забыли, будто их и вовсе нет.

Он понял, что если и на сей раз отступится — сдастся на уговоры, на высокопарные резоны, на угрозы,— если он пойдет на это, как уже бывало, то больше никогда в нем не шевельнется совесть и не восстановит праведность.

И дело даже не в том, что при новой встрече где-нибудь на сплавной запани или на городской улице технорук Коломиец и бригадир Шахова отвернутся от него,— ведь теперь он уже знал, что однажды

встреченные в жизни люди непременно появляются вновь, пусть ты о них забыл или хотел бы забыть, но они опять возникают на пути как проверка, как спрос, и этой встречи нельзя избежать, нет лазейки, чтобы ушмыгнуть в сторону, и нет мига, чтобы притвориться, будто ты их знать не знаешь и впервые видишь... И дело вовсе не в том, что Ия Шахова и Богдан Коломиец отвернутся от него при следующей встрече, а в том, что он сам — и теперь уж навсегда — отвернется брезгливо от себя самого.

— Семен Ильич, я мог бы написать очерк, но я не буду,— сказал он.

— Почему?

— А потому что написал вот этот фельетон. Я знаю, что можно просто позвонить в обком — и примут меры, наведут порядок. Но зачем тогда газета? Хватило бы вполне и телефона: по любому случаю звонок — и все улажено: кого надо похвалили, кого надо наказали... А газета зачем? Наверное, она для того, чтобы люди читали, чтобы прочли все. Не только в Вотче и Талице, а везде. Ведь это не только про караванку...

Улитин будто лишь этих слов и ждал, подался к нему.

— Ага, значит, ты понимаешь, что не только о караванке речь?

— Конечно, понимаю. Иначе бы и не писал.

— То есть жаждешь обобщений?

— Да.

— Каких же? — сощурился Семен Ильич.

Алеша подумал, перебрал слова, что были сейчас у него на уме, выбрал из них одно-единственное, однако еще раз взвесил его, прежде чем решил, что это именно то слово.

— Местничество. Я считаю, что вся беда в этом. И все, что произошло с караванкой, — результат местничества. Руководители некоторых районов разыгрывают из себя удельных князей: что в моем уделе — то мое, а что опричь — не моя забота... С этим надо бороться, и лучше всего печатно, гласно.

— Стало быть, ты, обобщая, хочешь добраться от Вотчи и Талицы до...

— До, — согласился он сразу. — Докуда надо.

— Ладно, — кивнул Улитин, снимая трубку телефона. — Теперь хоть имеется полная ясность в этом вопросе.

«Неужели все-таки решил звонить в обком? — подумал Алеша. — Но из этого следует, что фельетона он печатать не будет.. или, наоборот, хочет испросить благословения?»

Однако тотчас выяснилось, что редактор звонил не туда.

— Анна Сергеевна? Здравствуйте... Рыжов вернулся из командировки в Вотчу и Талицу... Знаете? Так вот мое распоряжение: авансового отчета по этой командировке у него не принимать. Он не выполнил редакционное задание, не привез материал, за которым его послали... Что? — Голос Семена Ильича, разговаривающего с бухгалтершей, напрягся, построжел. — Нет, без уважительных причин, а исключительно по собственной вине... да-да, именно так. Подотчетную сумму удержите из зарплаты... Из гонорара? А я не уверен, что он у него предвидится. Выполняйте, все.

Старый добрый знакомец пароход «Тютчев» разводил пары у причала: дым столбом уходил в небо из его черной трубы с красной полосой, а все остальное было выкрашено свежими белилами ослепительной лебяжьей чистоты.

Алексей занес чемодан в третий класс, в пассажирский трюм, разгороженный отсеками и полками, — все открыто и распахнуто наружу, будто в общем вагоне пятьсот веселого поезда. Отыскал незанятый уголок скамьи, а рядом бабку, по виду которой можно было

определить, что она нипочем не двинется с насиженного места, пока не доберется до конца, куда ей надо и куда билет.

— Бабушка, постерегите,— попросил он, водружая чемодан на скамейку.— Никто не украдет, и ничего в нем нету, а чтоб видно было, что занято. Ладно?

— Я пригляжу,— согласилась бабка.— Пускай стоит твой чемодан.

— Да это вовсе и не мой чемодан,— сказал Алеша, но в подробности не счел нужным вдаваться.

Протиснулся обратно узким коридором, по которому туда-сюда сновали люди с поклажей, взобрался по железным ступенькам трапа, подрагивающего от близкого хода машины, выбрался на палубу, а здесь столкнулся нос к носу с капитаном Илюхиным, за ним шествовала жена, ведя за руку подросшего Ваньку — он запомнил, что мальца, родившегося в Берлине, в самом логове, звали Ванькой.

— Здравия желаю. Опять вместе? — обрадовался Илюхин.— Что, тоже в отпуск?

— Нет,— покачал головой Алексей.— Я не еду, я только провожаю.

В душе его возникло даже чувство сожаления о том, что они не поедут вместе, как год назад, только обратным рейсом, вниз по Вычегде, что они не будут распивать чай в салоне из ведерного медного чайника, а в обед не будут хохотать над винегретом, который принесет им на закуску буфетчица Валя, потому что никто не будет знать, как он правильно пишется.

— Я возьму отпуск позже, у меня тут сейчас неотложные дела,— объяснил Алексей.— А вам и вашей семье желаю счастливого пути. Семь футов под килем, капитан!

— Он уже не капитан, а майор,— с достоинством и укором поправила фрау Илюхина.

Алеша, смутившись, глянул на его погоны и только сейчас обнаружил, что на их золоте вместо одного малинового просвета теперь было по два, а вместо четырех маленьких звездочек на каждом теперь было по одной, но крупного калибра.

Просто удивительно, как быстро и как счастливо росли, возвышались люди в Городе-на-Реке.

— Я поздравляю вас, товарищ майор. Всех благ, товарищ майор! — исправил свою оплошность Алексей Рыжов.

Майор Илюхин улыбнулся ему и взял под козырек.

— Счастливо оставаться.

Алеша осторожно миновал сходни, ведь он еще прихрамывал и опирался на палочку, вновь оказался в сутолоке шумной пристани.

Здесь, как обычно, по стародавней, уездной еще традиции и по той простой причине, что в городе не было железной дороги, а потому и не было вокзала,— здесь ходили на пристань провожать и встречать пароходы, особенно в июньские вечера, в эти белые ночи, в эту пору начала навигации, ходили все, кому нравилось прощально махать платочками знакомым и незнакомым людям, а то и всплакивать попусту, ни с того ни с сего, ни по ком, а по себе.

Он порыскал, ища в толпе Клару.

Нашел: она стояла со Степаном Огузовым, который тоже пришел проводить ее в дальний путь, а Серафима не смогла, осталась при детях.

Клара уезжала в Москву поступать в консерваторию — еще раз, попытка не пытка.

Поначалу, зимой, они мечтали, что поедут вместе, как прошлым летом, когда они впервые встретились на «Тютчеве»,— и вот они бы вновь оказались на его борту, на его палубах, изумляясь случаю, радуясь, что так удачно сложился для них совместный путь, теша любовь и память. Но, увы, Алеша не мог сейчас уехать из Города-на-Реке,

не доказав своей правоты в споре с редактором «Северной звезды», не выполнив долга совести перед людьми хвостовой караванки, бросив затеянное им дело большой государственной важности, — нет, он не мог и не хотел идти на попятный, он был полон решимости одержать верх в этом споре, ведь он кругом был прав.

К тому же у него не было сейчас крайней нужды ехать в Москву и сдавать там экзамены, потому что у него было все сдано.

Он уже побывал в здешнем пединституте со своей зачеткой, без труда разыскал доцента Феофилова, с которым недавно свел знакомство в вотчицкой чайной, и тот без лишних разговоров поставил ему «хорошо» по политэкономии, хотя Алексей и порывался изложить ему свои познания в теории прибавочной стоимости, но он и слушать не стал. В порядке ответной любезности Алеша спросил заведующего отделом пропаганды «Северной звезды» Пашутина протолкнуть в ближайший номер статью Феофилова о загнивании капиталистической системы — и статья появилась в газете, не вызвав особого смятения в умах.

Ободренный этим опытом, Алексей столь же легко и успешно сдал в местном пединституте историю средних веков, французский язык и логику. И на всех кафедрах, куда он навещался, преподаватели встречали его доброжелательно и чутко — всем им было знакомо по газете его имя — и ставили в зачетку хорошие отметки, не обременяя лишним спросом и ничего не требуя взамен.

И к тому сроку, когда из Москвы пришел вызов на весеннюю сессию, на экзамены, у него оказалось все сдано честь честью и ехать в Москву, а тем более в Химки уже не было никакой нужды.

Он решил взять отпуск поздней, ближе к осени, когда тут вновь наступят холода, а на юге, как он слышал, подойдет самая благодать, бархатный сезон.

Однако, провожая этот пароход, он испытал сейчас некоторое сожаление о том, что не едет сам, — ему передался суетный восторг перемен и странствий, владевший окружающими людьми. И с пронзительной болью ощущал он сейчас, в эти минуты, близость Клары — пока она еще была близка, покуда она еще не уплыла, — и он вдруг загоревал о том, что не едет сам, что отпускает ее в столицу совсем одну.

Впрочем, у него было к ней важное поручение, и настало время изложить его наедине, с глазу на глаз.

— Ты извини, Степан, мы отойдем на минутку посекретничаем, — сказал он Огузову, — не возражаешь?

— Ну давайте пошепчитесь, — усмехнулся Степан, — только, чур, не про меня.

— Нет, не про тебя, — успокоил его Алеша.

Они отошли к дощатой оградке пристани. Алексей достал из кармана своей кожаной куртки запечатанный плотный пакет с уже налепленными марками и написанным адресом.

— Вот, — сказал он Кларе, — когда ты приедешь в Москву, опусти в почтовый ящик прямо на вокзале... но смотри не забудь, а то иногда забывают.

Она взглянула на адрес.

— Улица «Правды»... Так, может быть, съездить туда, отвезти? Это где, от метро далеко ли? Я найду. Зачем же в ящик бросать? В ящик ты и тут мог бы бросить, этим же пароходом и ушло бы...

Он подумал, прикинул: да, такое дело можно бы вполне ей доверить — передать пакет прямо в руки заведующему отделом фельетонов Сурену Гургеновичу, тому, который говорил ему, что этот жанр — высшая проба профессионализма газетчика и его гражданской смелости. Или отдать его Юре Аржанникову, который ведал корреспондентской сетью — тем более что конверт был адресован именно ему, — а уж он распорядился бы.

Но Алеша тут же мысленно представил себе, как Аржанников начнет с пристрастием допрашивать девицу из Города-на-Реке, кто она, и что она, и кем она приходится внештатнику Рыжову, а та, растерявшись, не сумеет ответить, либо брякнет напрямик в простоте души, что невеста, либо застесняется излишне и тем все выдаст, а уж Юре Аржанникову того только и надо, едва дождется вечера, чтобы, встретясь, рассказать Светлане Дагировой о том, как к нему в редакцию нынче являлась с особым поручением провинциальная дремучая красавица и лишь пунцовела всякий раз, когда он справлялся о житье-бытье, о здоровье и делах одного их общего знакомого, того самого, Алексея Рыжова, неужели не помнишь, он был у тебя в гостях, ну да, совсем случайно попал сюда, кажется, кто-то привел его встречать Новый год...

— Нет, — покачал головой Алеша, — туда, в редакцию, свободно не пускают, обязательно нужен пропуск, а пропуск сперва надо заказать, а кто тебе его закажет? Лишние сложности... Ты лучше брось это в почтовый ящик на Ярославском вокзале, когда приедешь в Москву, и все. Только не забудь.

Клара послушно опустила письмо в сумочку.

Подняла на него взгляд, и он вдруг увидел, что белки ее глаз прошились тонкими красными ниточками сосудов, а из слезных мешочков в уголках выкатились и повисли на ресницах две крупные прозрачные слезы.

— Неужели ты думаешь, что я смогу забыть?

Ему почудилось на миг, что в тоне, каким она произнесла эти слова, было иное, гораздо большее значение, нежели обида на то, что он считает ее такой рассеянной, способной забыть о поручении, что он держится такого превратного мнения о ее девичьей памяти.

— Да нет же, ты меня неверно поняла, — поспешил он оправдаться сам и ее утешить. — Сейчас вообще все не так понимается, а сикось-накось, потому что суета кругом... и еще потому, что ты уезжаешь, а я остаюсь, потому что мы с тобой расстаемся, а из-за этого играют нервы... но все это пустяки. Вот ты вернешься, и мы все обсудим спокойно и с умом и решим, как нам дальше быть...

Глаза ее, только что полные слез, мгновенно высохли, но выражение обиды не улетучилось из них, а будто бы сделалось еще горше.

— Ах вот оно что! — сказала Клара с вызовом. — Значит, ты уверен, что я вернусь обратно ни с чем? Что я не поступлю, что меня опять не примут? Ну признавайся, миленок, ведь ты сейчас так подумал?

— Да что ты, совсем нет... — пришлось опять оправдываться ему. — Ты обязательно поступишь.

— Если даже не поступлю, то все равно не вернусь сюда! — с внезапной жесткостью заключила она. — Не стану перед людьми сражаться, перед этим городом постылым...

— Ну да, само собой, — поспешил согласиться он, лишь бы унять ее волнение.

Между тем коловерть и шум на пристани нарастали по мере приближения урочного часа: «Тютчев» отходил ровно в девять, а сейчас было без двадцати. По мощеному вспученному съезду бежали с мешками и баулами, спотыкаясь и надсадно дыша, припоздавшие пассажиры. Мохноногая трофейная грузовая лошадь, отфыркиваясь, упираясь в булыжник всеми четырьмя копытами, не то чтобы тащила, а скорей не давала скатиться телеге с фанерными посылочными ящичками, и Алеше показалось странным, что кто-то мог что-то и кому-то посылать в гостинец отсюда. Черная «эмка», начальственно сигналив, продиралась сквозь толчею, норовя доставить своих седоков прямо к трапу.

И в эту разноголосицу еще врывались стенанья и хрипы медных труб: в парке, зависшем на крутогоре над рекой, духовой оркестр играл вальсы и танго. «Скажите, почему нас с вами разлучили, зачем, зачем ушли вы от меня?.. Та-рай-ри-ра-ам, та-ри-ра-ра-ри-ра-а-ам...» — помимо воли подтянул Алеша.

У-у-у... — выдал «Тютчев» басовитый первый гудок.

Алексей заметил издали, что Степан, терпеливо дожидаясь их, сейчас беседует с каким-то человеком в щегольской широкополой шляпе, с плащом, небрежно переброшенным через локоть. Он пригляделся и узнал — это был Настоящий Станиславский. Алеша удивился, что они знакомы, хотя не раз имел возможность убедиться в способности Олега Васильевича проникать везде и всюду и заводить нужные знакомства. Но зачем ему был нужен Степан Огузов?

И еще Алеше было любопытно узнать, что здесь подельвал Станиславский: то ли сам уезжал, то ли провожал кого-то, то ли забрел от скуки поглядеть, как уезжают, как провожают другие.

— Ну пойдём,— сказал он Кларе и, нежно обняв ее талию, повел к людям.

Ему вдруг пришли на память слова Семена Ильича Улитина, сказанные им однажды, когда они за распиловкой дров обсуждали вероятные причины, заставившие этого типа, который выдавал себя за Настоящего Станиславского, покинуть дынные бахчи Средней Азии и откочевать на Север. «А скорей всего, я тебе скажу... — начал загадочно тогда Семен Ильич, но погодил делиться своими предположениями. — Нет, не скажу. Сейчас не скажу — через год скажу, ты запомни...» Алексей запомнил, и вот как раз минул год, пора бы выяснить. Но у него настолько обострились отношения с редактором «Северной звезды», что было совсем не время справляться, что он тогда имел в виду, и судачить о посторонних — у них своего хватало. И Алеша подумал, что теперь весьма подходящий момент задать вопрос — уезжает он или провожает — самому Настоящему Станиславскому и по его ответу догадаться обо всем остальном и прочем.

— Здравствуйте, — сказал он, подойдя, — какая приятная встреча.

— Я рад вас видеть. — Станиславский приподнял над головою шляпу, отвесил изящный полупоклон Кларе Истоминой, а затем и Алексею.

При этом он бросил косвенный взгляд на его пальцы, обнимавшие талию девушки, и Алексей, оробев, поспешил убрать руку.

«Ну это старичье со своим занудством, со своими приличиями, — подумал он, оправдываясь перед собой за школярскую беспрекословность, — черт бы их взял, вечно они все замечают, вечно всюду суются...»

Но вслух спросил задорно:

— Вы уезжаете? Или провожаете? Или просто так?

— Я уезжаю, — сказал Настоящий Станиславский.

— Надолго ль? В отпуск?

— Нет. Я уезжаю совсем.

В его тоне было мрачное и гордое торжество.

— Вот как? — не скрыл удивления Алексей. — Но куда же, если не секрет?

— Я приглашен в Ногинск художественным руководителем драматического театра.

— А где это — Ногинск?

— Ногинск — это Москва.

— Но разве может один город быть в другом городе?

— Сколько угодно. В Средней Азии почти в каждом городе есть Старый город и Новый город. В той же Москве был Земляной город, а в нем Белый город, а в нем Китай-город, а в нем... В конце концов,

Кремль — это тоже своего рода город. — Он прокашлялся. — Что же касается Ногинска, то до него какой-нибудь час езды от Москвы. Можно сесть в пригородный поезд или на автобус, поехать в Ногинск, посмотреть спектакль и вернуться обратно в Москву.

Алексей расцвел ликующей улыбкой: он и не ждал, что этот тертый калач так легко клонет на нехитрую наживку.

— Надо полагать, — сказал он вкрадчиво, — что теперь вся Москва будет ездить в Ногинск смотреть спектакли. Олег Васильевич, а каковы ваши творческие планы? Наверное, сначала вы поставите «Нору», а затем «Каширскую старину»?

Настоящий Станиславский посмотрел на него с невозмутимой холодностью.

— Вы ошибаетесь. Я намерен прежде всего поставить там новую пьесу Анатолия Софронова «Московский характер». Эта вещь, на мой взгляд, весьма значительное явление в нашей драматургии и, более того, в общественной жизни. В ней изображен совершенно новый сценический характер — московский.

— Как интересно! — Алексей расхохотался откровенно. — Значит, это про мою тетку, она живет в Москве. Я специально приеду посмотреть. Могу рассчитывать на контрамарочку?

— Можете, я вам дам. Я уже заметил, что вы любите ходить на дармовщину, по чужим билетам.

Степан Огузов засопел озабоченно, почуяв, что дело может обернуться ссорой.

У-у... у-у... — предупреждая, двукратно пробасил «Тютчев».

Воспользовавшись гудком, перекрывшим все другие голоса и звуки, Клара досадливо остерегла:

— Не задирайся... Ну зачем?

— Я его терпеть не могу, — объяснил Алеша. — И он меня тоже.

— Мало ли кто кого...

Однако гудок пресекаясь, она замолкла, а он, Алексей, уже не зная удержу, полез открыто и дерзко:

— Вы, помнится, хвалили конструктивистов за то, что в здании театра есть квартира для главного режиссера... Значит, теперь она будет ждать претендента?

— Свято место пусто не бывает. Все находит своего преемника и хозяина.

— А ваша спальня карельской березы — вы опять увозите ее с собой?

Теперь расхохотался собеседник.

— Ну конечно! Она послужила и еще послужит. Учтите, молодой человек, старая мебель прочней и долговечней. Не говоря уж о том, что она благородней.

Он отвел складки плаща, свисающего с руки, глянул на часы. Приподнял свою широкополую шляпу.

— Однако пора. Всего хорошего.

И, повернувшись, гордо вскинув подбородок, зашагал к трапу, который внезапно опустел: все, кому положено быть на борту, уже были там, а все, кто не ехал, отступили, отстранились от кромки, ожидая, что вот-вот уберут сходни, отдадут концы и разверзнется щель с кипящей водой меж причалом и палубой.

— Тебе тоже пора, — сказал Алексей Кларе.

Она оглянулась, поняла, что и вправду пора, что одна лишь она замешкалась, что теперь белый пароход «Тютчев» дожидается лишь ее, и бросилась на шею Алеше, разрыдалась взахлеб.

— Ну что ты, что ты... — забормотал он смущенно, потому что слишком явным и безутешным было ее горе, а ведь они расставались не навек. — Ну зачем слезы?

Он слегка отстранил ее от себя, потому что отовсюду — и с пристани и с палубы — на их прощанье смотрели люди, а людям совсем не обязательно было знать, какая у них любовь.

Но Клару, похоже, ничуть не заботили эти чужие взгляды, у нее была одна лишь кручина: что она уезжает, а он остается. И ее горячие слезы стекали ему за воротник, к ключицам.

— Алешенька, дорогой, что же с тобой тут будет без меня?.. — причитала она в испуге и отчаянии, заглядывая ему в глаза так близко, что два ее глаза слились в один полный слез огромный глаз.

— Да ничего со мной не будет, — улыбнулся он ей снисходительно и беспечно. — Ну сама посуди, что со мной вообще может быть?

Увернувшись от ее поцелуев и слез, он взглянул на Степана Огузова, лица у него защиты от этого изъясления чувств, от этого напрасного горя, причиной которого, теперь он понял, был простонародный обычай безутешно и прилюдно рыдать на росстанях.

Но Степан стоял отвернувшись, будто бы в отсутствии, не желая мешать их прощанью.

Пароход издал трубный глас напоследок и уже троекратно.

— До свиданья, Алеша, — сказала Клара и побежала к сходням. «Тютчев» заворочал колесами, зашлепал дощатыми плицами.

С его палуб махали платочками и с берега тоже ответно, но белые платочки было еще видно, а лиц уже не различить в сумерках, так, будто пятнышки.

Пароход боком выплыл на средину, на фарватер. Он был столь огромен, этот двухдечный белый корабль с черной трубой, что река едва вмещала его в своем тесном ложе. А тут он еще надал ходу — полный вперед — и широким днищем развалил реку надвое, погнав вспененные крутые гребни врозь от себя к одному берегу и к другому, выплеснув всю реку на берега.

Но потом, когда пароход отдалился — лишь космы дыма еще висели, колеблясь, в воздухе, — вода постепенно стекла обратно в русло, смешалась, пришла в себя после пережитой бучи, прояснела, зализалась тихую волной и неспешно потекла дальше.

Они забрели в парк — развеяться, вернуть покой душе.

Матовые фонари, застрявшие в листве деревьев и будто бы возросшие на их стволах, на их ветвях, кидали вниз, на дорожки, пятна света, отпугивали своим накалом двоякую сутемь белой ночи, давая знать со всей определенностью, что нет, что не бывает никаких белых ночей, схожих с днем, а бывает либо день, либо ночь, или свет, или мрак, белое и черное — только так, а все остальное блажь и несусветица.

В глубине аллея сквозь решето танцевальной веранды тоже изливался желтый свет, доносилось звучанье медных труб, уханье большого барабана, мелькали в круженье пары.

У ворот парка, внутри, был фанерный киоск, к нему тянулась недлинная очередишка, в окне из продолговатых стеклянных сосудов тек не убывая брусничный сироп, а рядом золотился лимонный, фырчал газом краник, наполняя стаканы пузырчатой водой.

— Давай, что ли? — предложил Степан Огузов.

— Давай, — согласился Алеша.

Они терпеливо переждали девчонок с бантами в косицах и сопливых ихних кавалеров, мусолящих пятаки, а когда дошла их очередь, Степан сказал:

— Мамаша, дай нам два по сто пятьдесят и вон тех «косолопых мишек» на закуску... Ты не суйся, Алеша, я плачу.

Продавщица, кивнув, взяла с витрины бутылку водки и, отмерив по делениям мензурки, налила им в чистые стаканы, бросила по конфете, с вас шестнадцать сорок, следующий.

Алексей и Степан чокнулись, выпили, зашуршали фольгой.

— Все же, я скажу тебе, — начал Степан, когда они, отмякнув, двинулись в глубь парка, — Клара твоя, конечно, дар бесценный... такая девушка, да что ты! Теперь вот честно признаюсь: как приходила она, как, бывало, садилась рядом — делался я сам не свой, хоть и женатый человек... и Серафима моя тоже хороша, и я ее крепко люблю, но заметь, что и сама она — на что уж баба! — а тоже влюбилась, все бы ей Краля...

Алеша выслушал это признание молча, горделиво, лишь переспросил с усмешкой:

— Ну и что? Попробуешь отбить, когда вернется?

— Да не вернется она, — буркнул Степан. — И отбили уже без моих хлопот... — Он разъярился вдруг. — Да ты что теперь-то кочевряжишься, если увели ее у тебя из-под носа?

— Из-под носа? — не понял Алексей. — Почему это — увели?

Степан Огузов остановился, топнул ногой, наклонился к его лицу, закосив глаза на кончик носа, и это, знал Алеша, выражало, что он смотрит тебе прямо в душу.

— Да ведь уехала она вместе с этим хмырем. Со Станиславским этим...

— Что ты мелешь? — возмутился Алеша. — Я же сам чемодан ее заносил — в третий класс, где как сельди в бочке. А у того, наверное, первый класс, он и сюда вместе со мной тоже первым плыл...

— Класс, класс! — зарычал на него Огузов. — Помешались вы на этих классах! Всё на классы мерите, в классы играете, как дети малые... Неужто они такие дураки, чтоб на глазах у всех в одном классе ехать, еще, скажи, в одной каюте? Ничего, они потом найдут лазейку, чтоб им из класса в класс удобней шастать...

Алексей хлопнул себя по лбу, отнял ладонь — на ней размазалась капля крови и были расплющены лапки-крылышки: значит, талицкое комарье уже добралось и сюда, в столицу, ело тут людей поедом.

— Врешь, — убежденно сказал он чуть погодя. — С чего ты взял? Как ты можешь об этом знать?

— Да про это, кроме тебя, весь Город-на-Реке знает, весь город и вся река... Что ж ты думаешь, они с сегодняшнего завелись? Они давно уж... Эх, парень, какую левку проворонил, жалко мне тебя, — угрюмо заключил Степан Огузов.

И Алеша вдруг понял, что — правда.

Мгновенно перетасовалось в памяти и легло в неумолимом, как гаданье, раскладе: как в Вотче пьяный Донат Донатов пророчил ему, что отымут сокровище, а лилипутка Инга топырила над головой два пальчика, изображая рожки; как он предложил Кларе выйти за него замуж и остаться жить тихо-мирно в этом городе, в его собственной комнате, а она разгневалась и ушла, хлопнув дверью, приказав: «Не ходи за мной!»; и уж из дальнего далека явилось воспоминание о том, как замер в кресле Настоящий Станиславский, впервые услышав в концерте ее голос, и как он тогда определил категорично: «Природные данные исключительные, но ей нужно покровительство...»; и совсем из ближней близости, сразу же вогнав в холодный пот, пришло, как он час назад на пристани донимал своими издевками этого человека, а Клара нервничала и остерегалась, чтоб не задирался, а он, войдя в раж, возьми да и спроси насчет спальни карельской березы, которую Станиславский повсюду возил за собой, а тот в ответ расхохотался едко, потому что он-то знал, кто и с кем будет спать на этой богатой кровати, а может статься, что уже и было...

Алексей застонал.

— Ну вот, — сказал Степан, услышав, — ну конечно, ну еще бы...

Да что там стон. Алеша ощутил сейчас позыв броситься прочь, хромая, приволакивая ногу, как подраненный зверь, в заросли — подальше от этой праздной аллеи, от света парковых фонарей, туда, где в темноте угадывалась неухоженная чащоба деревьев и плотная вязь кустов, забиться поглубже, залечь, затихнуть или, напротив, вскинув голову, огласить окрестность протяжным воем боли и тоски.

Но он не двинулся с места, а Степан топтался около.

— Алеха, давай вернемся и возьмем еще по сто для утех.

— Давай, — понуро согласился Алексей.

Теперь он вспомнил и другое: усталое и печальное лицо паяца Канию с густо забеленными глазницами в черных обводах и гипсово-белым подбородком, с кроваво-красной щелью рта: «Позвольте! Позвольте...»; и отечные, нездорово серые щеки майора Махнача, его странный взгляд, тупо вперившийся в толстые линзы очков, чтоб не увидеть, покосившись невзначай, как жена, сидя рядом с ним, льнет к плечу другого; и суеверный страх, обуявший его, Алексея, в ту минуту: о нет, все что угодно, любые муки, любые пытки — он вынесет, — но только не это, нет-нет, боже упаси... вот так и накликал.

Они опять выстояли очередь за газировкой, а купили что им было надо.

Водка почему-то не проняла Алешу, будто бы и не пил, зато Степан исполнился мрачного и деятельного воодушевления:

— Вот теперь послушай. Я знаю, что надо делать... Ты должен заехать вперед, понимаешь? Заедь вперед, а уж там...

— Как это — вперед? Я не понимаю.

— Ну прикинь: пароход этот, хоть и вниз по течению, будет плыть до Котласа дня два. Так?.. А ты завтра утром садись в автобус — сейчас они ходят справно — и дуй в Спас-Погост. Там пересядешь на поезд и к вечеру будешь в Котласе... Смекаешь, что я говорю?

— Ну. А зачем?

— Как зачем? «Тютчев» этот приплывет в Котлас — заметь, через два дня, — а ты уже там на берегу... Они выходят, а ты их ждешь тут как тут.

— Но зачем? — удивился Алексей. — Дальше что?

— А дальше по обстановке, по твоему усмотрению. Я бы лично, э-эх... я б ему врезал по сопатке, чтоб красной юшкой умылся, сунул бы ему под дых, чтоб коленки уронил, чтоб не встал он, гад... — Огузов помахал перед носом Алексея пудовым своим кулаком. — Ну а ее — за ручку и назад... — Он пораздумал, добавил: — Можно б, конечно, и ее поучить, чтоб не блудила, так ведь вы с ней не расписаны еще, не имеешь права.

Алеша в ответ лишь пожал плечами.

— Но это все потом, — разъяснил Степан, — а перво-наперво надо заехать вперед, перенять, засаду сделать... вот, жалко, ты не воевал, нет у тебя такой сноровки, жилки фронтовой.

— Нет.

— Что — нет?

— Я не стану догонять. И за ручку возвращать не буду... Нет. Я даже не знаю почему, но нет, ни за что.

— Как же нет? Да неужели ты такой телок покорный, безответный? Тебя повели — ты идешь, у тебя увели — ты молчок...

— Я? — Алексей смирил его надменным взглядом с головы до пят. — Я? Покорный? Мало же ты меня знаешь, Степа... Но я не считаю, что в этом и есть геройство: за ручку тащить обратно. Я никого не тащил и не тащу. И я ничего не прощу — никому ничего, ни-ни... попомни мои слова, Степа!

Он сам почувствовал, как онемелая и вялая кровь, закиснувшая в жилах, двинулась с прежним напором, взбурлила горячо.

И лишь сейчас в его мозги запоздало вошло круженье. Но это могло быть даже не из-за выпитой водки, а потому что они оказались сейчас возле танцевальной веранды, у нижней ее опалубки, а сверху лился яркий свет и гремела музыка: пели трубы, свистела флейта, рычал бас-геликон, била в барабан обмотанная войлоком колотушка, с лязгом смыкались тарелки, — и топот ног по дощатому полу выдавал круженье каждой пары и общее круженье всех танцующих.

— Пошли, — решительно сказал Алексей, увлекая Степана за рукав к ступенькам веранды.

— Да ты что, плясать вздумал? — удивился тот. — Ведь у тебя нога...

— Наплевать... Два билета, пожалуйста.

Они поднялись на площадку, отошли в сторонку.

Степан Огузов щурился и смаргивал, оказавшись после темных аллей в ослепительном свете.

Он же, Алеша — ему вдруг показалось, что все взоры, как только он появился тут, устремились на него с любопытством, состраданием или злорадством, — он стоял, опершись на палку и откинув голову, как школьный Грушницкий.

Впрочем, он недолго привлекал всеобщее внимание.

На веранду, увернувшись от контролеров, ворвался Йой-Володь. Это был местный дурачок (собственно, кличка его так и переводилась — Володя-дурачок), известный всему Городу-на-Реке и всем городом любимый.

Он двинулся по кругу, волоча ступни, развинченно болтая руками, улыбаясь широко и сяюняво, принимая как должное снисходительный и жалостный смех, которым всегда сопровождалось его появление. На нем были моряцкие суконные клеши, обтерханые до такой последней степени, что снизу махрились лапшой, застиранная полотняная матроска с синим широким гюйсом, к которой по обе стороны груди были прицеплены всеми уже забытые довоенные значки Осоавиахима, Освода и МОПРа, а к ним — голубые и алые лоскутки, обрезки галантерейных шелковых лент и невесть где раздобытый Георгиевский крест, но вместо бескозырки его голову украшала кепка с переломленным козырьком — прежде была и бескозырка, но у него ее украли или выщыганили, долго ль обжудить убогого дурачка.

Алеша знал, что Йой-Володь не просто рядился под морячка, но и взаправду был им. То ли учился в школе юнг, то ли служил на Северном флоте, но однажды свалился с корабля за борт, и кабы в воду, а то стукнулся головой о ледовый припай — и готовый дурак в семнадцать лет, теперь уж двадцать, — а-ля-ля-ля, дластуйте, дластуйте, ха-ха-ха...

И добро бы явился на танцплощадку людей посмотреть, себя показать, так нет ведь: покуда оркестр молчал, переводя дух и отстаивая трубы, он слонялся, потешая публику, подпрыгивая, покруживаясь в одиночку, но едва музыканты взяли в рот мундштуки и заиграли вальс — последний в этот вечер, прощальный вальс — и едва самые расторопные пары выпорхнули на круг, Йой-Володь бросился в гущу стоявших вдоль стены девушек, в самый цветник, в самый малинник, и принялся тащить одну, потом другую, третью на средину — послы стансуем, а-ля-ля-ля! — девушки пищали, вырывались отчаянно, били его кулачками и сумочками по дурной голове, но он, не обращая никакого внимания на это, цеплялся, хохоча, волок силком, а они того пуще визжали и чуть не лишались чувств от ужаса, потому что им всем было известно, что если ему удастся какую-нибудь из них вытащить на круг и сделать с нею хотя бы два-три размашистых дурашливых витка, то уже никто и никогда не пригласит на танец эту бедняжку, о которой всему городу тот-

час станет известно, что она танцевала с Йой-Володем, и не то что эти глупые и никчемные танцы, а гораздо хуже: ей уже никогда не стать ничьей невестой, не выйти замуж, а вот так и доведется всю жизнь коротать вековухой, если в городе узнают, что с нею танцевал Йой-Володь, — такой обычай, такой неписанный закон, такой славный город.

Алексей и Степан, как и все остальные, с интересом и смешливым азартом следили за этой забавной сценой, выжидая и угадывая, какой же в конце концов суждено в этот вечер стать жертвой и лишиться всех счастливых надежд, всех радужных мечтаний...

Как вдруг Алеша напрягся, вытянув шею: нет, он не ошибся, не обознался — сейчас Йой-Володь пытался вытащить из сбившегося в кучу, перепуганного насмерть стада самую кроткую и самую юную овцу... да-да, несомненно это была Ася из их редакции, из «Северной звезды», Ася Лыткина, секретарша Улитина, значит, она тоже пришла сюда на танцы, а почему бы и нет, но здесь ее подстерегала нежданная опасность — и вот сейчас ее лицо, обычно пунцовощекое, было бледно как мел, кудряшки разметались, глаза полны слез и обморочно закатываются, она упиралась из последних сил каблуками в пол, приседала, цеплялась за своих соседа, а те спешили отцепиться, лишь бы уцелеть самим, а Йой-Володь, уже забыв смеяться, набычась и сопя от натуги, вырывал ее из скопища тел, и, похоже, это ему удавалось...

— Подержи. — Алеша протянул Степану свою клюку; тот взял.

Он пересек круг, лавируя между танцующими, обходя тех, что застыли и наблюдали происшествие, достиг места, положил руку на плечо Йой-Володя, сказал:

— Эй, браток...

Тот вздрогнул, оглянулся, сжался.

— Послушай, браток, — сказал Алексей, — эта девушка обещала последний вальс мне, а уже последний.

Сейчас глаза дурачка были совсем близко, он разглядел, что они светлы и водянисты, и нашел, что их выражение куда более осмысленно, чем этого можно было ожидать.

— Понимаешь, браток? Она — со мной.

Пальцы Йой-Володя разжались, отпустив ее платье, уже смявшееся, перекошенное жгутом.

— Позвольте пригласить, — поклонился Алеша, подавая Асе руку.

Они вышли на круг, выждали такт, нашли расщелину между парами и закружились, подчинясь общему движению и музыке.

— Спасибо, — вымолвила она еще трясущимися губами.

— Пустяки, — улыбнулся Алеша.

Они завершили первый круг, когда увидели, что контролеры с красными повязками изловили Йой-Володя и гонят его взашей, тем более что без билета.

Иногда при поворотах Алексей ощущал пронзающий укол в левой стопе и тогда, не успев подготовиться к этой боли, вспрыгивал непроизвольно, и досадливая гримаса, тоже не уловленная им заранее, взбегала по лицу.

Ася заметила это, и сейчас глаза ее смотрели на него с ответной жалостью, будто бы она хотела, но не смела спросить: каково его больной ногой? Или она уже, как и все остальные, как и весь город, знала о другом его несчастье, и пыталась определить, насколько это больно для него, и всею мерой своей доброты хотела бы унять его боль, однако тоже не смела. Да и что она могла понимать в таких предметах, девочка.

Но Алеша не испытывал желания касаться этих больных тем.

— Какой прекрасный вечер, — сказал он, — не правда ли?

Впервые в жизни ему выпало присутствовать на таком важном заседании — на бюро обкома партии, а ведь он пока был всего лишь комсомольцем, но его пригласили телефонным звонком: «Товарищ Рыжов? Просим быть на бюро обкома в двенадцать ноль-ноль, ваш вопрос идет вторым, так что не запаздывайте».

И вот он сидит в просторном зале, где перед каждым подобие письменного столика — едва уместить локти, зато с настольной лампой. Эти столики составлены углами, наискосок, чтобы никому не застали вида чужие головы, чтобы всем и отовсюду одинаково хорошо был виден поперечный стол президиума, покрытый зеленым сукном, за которым сидели члены бюро обкома, и трибуна темного дуба, с которой докладывали.

Алеша впервые в жизни был на таком важном заседании, и тем более его приятно удивило, даже польстило самолюбию, что здесь оказалось очень много знакомых ему людей.

Начать с того, что на трибуне сейчас находился — отчитывался, переворачивая листки, — Иван Михайлович Чупров, первый секретарь Печорского горкома партии, у которого они побывали вместе со Степаном Огузовым и Яшей Черношварцем, целой бригадой газетчиков, минувшей осенью, когда рабочий поселок на Печоре стал городом Печорском. И вот обо всем, что произошло после этого обязывающего события, сейчас докладывал Чупров.

А в первом ряду маленьких столиков Алексей заметил и председателя Печорского горисполкома Лебедева, который, следуя за речью докладчика, сосредоточенно листал страницы — наверное, у него была копия отчета.

Несколько правей Алексей увидел еще одного знакомого ему руководящего товарища, с которым встречался позднее, всего лишь месяц назад, первого секретаря Вотчинского райкома партии Питирима Григорьевича Рассыхаева, — он сразу узнал вьющиеся прядки волос над его ушами, по краю блестящей лысины. В какой-то миг, когда Рассыхаев оглянулся, ища кого-то взглядом, глаза их встретились, и Алеше показалось, что Питирим Григорьевич узнал его, однако Рассыхаев, не поздоровавшись, тотчас отвел глаза — может быть, и не узнал, мало ли всякого заезжего и прохожего люда стучится в кабинеты райкомовских секретарей.

И еще один давно и хорошо знакомый человек, сидевший впереди и тоже оглянувшийся, намеренно или невзначай, вполне определенно увидел и узнал его, но тоже не удостоил кивком: это был Семен Ильич Улитин. По долгу службы, по праву своего редакторского поста Улитин всегда присутствовал на заседаниях бюро обкома, и, казалось бы, должен был знать, что на сей раз его сотрудник тоже приглашен на заседание специальным телефонным звонком, и мог бы предложить ему отправиться туда вместе на машине, но не предложил — впрочем, он не обязан был знать об этом телефонном звонке.

Даже за столом президиума, где сидели секретари и члены бюро, Алексей обнаружил знакомое лицо: это был заведующий отделом обкома Евгений Логинович Полупанов, который год назад, когда еще были карточки, вручил ему талоны на питание в закрытой столовой, а позднее, к зиме, снабдил ордерами на теплые вещи — пальто, шапку, бурки, — когда их еще нельзя было запросто, как сейчас, плати—бери, купить в универмаге.

Но более того: Алексей Рыжов узнал за столом президиума и человека, которого видел впервые и чье лицо было ему совершенно незнакомо, однако он догадался, что это и есть тот самый человек, о котором он столь часто слышал, — Дмитрий Иванович Есипов, первый секретарь обкома партии.

Он был смугл, черноволос и чернобров, но в гладкой прическе и в бровях искрились седые нити — и это прибавляло достоинства и мужества всему его облику. Тонкий нос выгибался клювом, а от крыльев носа ко рту и подбородку шли резкие морщины, что при смуглости кожи делало его похожим на индейского сурового вождя, — именно такие лица были у вождей, с перьевыми гребенчатыми уборами, в тех книжках, которые в детстве читал Алеша: бронзово-смуглые, изрезанные глубокими, как шрамы, морщинами, и нос всегда был выгнут горбинкой, как клюв, — но сейчас Алексей понял, что это воспоминание о суровых индейских вождях пришло на ум не только из-за внешнего сходства, а прежде всего от той непререкаемой властности, которая была написана на этом лице, ею был отмечен любой поворот, любой наклон головы, когда он слушал, когда он думал, и каждый жест его руки, когда он вдруг прерывал на полуслове чью-то речь.

— Товарищ Чупров, — перебил он докладчика, — а скажите нам откровенно, по совести: кто к кому ходит на прием — руководство желдорстроя к вам в горком партии или вы сами посиживаете в приемной желдорстроя под дверью у высокого начальства? Да вы не стесняйтесь, говорите как есть...

Однако первый секретарь Печорского горкома не больно-то смутился заданным вопросом, лишь ногтем придержал строку, на которой его остановили, ответил спокойно:

— Что касается горкома — даже когда еще был райком, — ни под чьими дверями мы не сиживали, а любой ранг вызывали к себе — и являлись, попробуй не явись... Ну а если иметь в виду отношения ведомства, скажем, с нашим горсоветом, то тут еще у руководителей стройки привычка не выработалась: всё нороят к себе затребовать, вызвать тем более если город выступает в роли просителя — с тем помочь или с другим подсобить... Вот на бюро обкома присутствует председатель горисполкома Лебедев, так ему нередко приходится иметь на этой почве стычки с управлением строительства...

— А на какой почве, товарищ Лебедев? — обернулся секретарь обкома к залу. — Конкретно. Факты.

Лебедев поднялся с места, коротко переглянулся с Чупровым, стоящим на трибуне, сказал:

— Я это приберегал для выступления, если дадут слово, но могу и сейчас. Недавно горисполком специальным решением отменил как незаконные правила движения, изданные желдорстроем...

— Погодите погодите! — снова перебил Есипов. — А вы что же, решили сами устанавливать правила, как паровозы гонять по железной дороге?

По лицу секретаря обкома можно было угадать, что он прекрасно понимает, о чем разговор, лишь прикидывается, что невдомек, и, значит, мысленно уже выстраивает цепочку дальнейших вопросов.

— В том-то и дело, что не для паровозов эти правила, — сокрушенно вздохнув, объяснил Лебедев. — Управление желдорстроя издало — в прямом смысле издало, брошюрой — приказ о правилах движения автотранспорта на улицах города Печорска и дорогах района. Все там — и предписания, и запреты, и даже по сколько штрафа взимать с нарушителей... то есть ведомство грубо вмешалось в компетенцию местных Советов. Мы поставили вопрос об этом на горисполкоме, потребовали присутствия на заседании руководства желдорстроя — не пришли...

— Не пришли?

— Нет. Обиделись даже: говорят, почти весь автотранспорт в городе ихний, а у вас, мол, три машины и четыре подводы — кому же при таком раскладе устанавливать правила?

— Вы отменили этот приказ?

— Да. И в решении записали о юридической незаконности...

— Правильно сделали. Спасибо за справку, товарищ Лебедев, она очень кстати. — Есипов перекинул взгляд на трибуну. — А теперь у меня вопрос к докладчику, к первому секретарю горкома. Товарищ Чупров, насчет автотранспорта ясно, тут желдорстрой и впрямь, как говорится, залез не в свои сани... Но вот чтобы не считать мой вопрос о паровозах случайной обмолвкой, я поставлю его в иной плоскости: насколько смело вникает горком партии в производственную, в хозяйственную деятельность ведомства, расположенного на территории города и района?

Зал ощутимо притих, замер, уловив подспудную значительность вопроса. Даже у Алеши перехватило дыхание: он вспомнил, как в Стойбище начальнику стройки Турубанов наотрез отказался пустить его на трассу, а когда гость заартачился, то и вовсе указал ему от ворот поворот, выпроводил на следующий же день из своих владений, оставив ему в утешение лишь одно удовольствие — заступить Полярный круг, который пролег аккурат посередине главной улицы поселка. И пусть сейчас речь шла о другой стройке и о других начальниках, Алексей, как и все остальные здесь присутствующие, хорошо понимал, чем чревата любая попытка проникнуть в святая святых всемогущих ведомств, мнящих себя подотчетными одной лишь Москве.

— Да, Дмитрий Иванович, партийный устав дает нам такое право, более того — обязывает контролировать хозяйственную деятельность всех без исключения предприятий города и района... — Чупров говорил медленно, взвешивая каждое слово, сознавая очевидную невозможность увильнуть от поставленного вопроса и равным образом понимая, что любое лишнее, оброненное неосторожно, выставит его — всем напоказ — суетливым угодником и болтуном. — Но взять под контроль — значит, принять на свои плечи и всю ответственность за ход и результаты этой деятельности: за выполнение плана, за само планирование, за организацию труда и производительность, наконец — за кадры... Нет, кривить душой не станем: пока, на сегодняшний день, мы не можем взять на себя такую ответственность — мы еще не готовы к этому, не имеем достаточно опыта, ведь мы только еще организовались на уровне горкома... Полагаем, что это дело перспективны.

Есипов молчал, выжидая, что же последует за этим признанием. Но и Чупров молчал, пошевеливая листки недочитанного доклада.

Наконец секретарь обкома опять повернул лицо к трибуне, сказал негромко:

— Ну что ж, Иван Михайлович, ценим вашу прямоту. Мы тоже думаем, что спешить вам не следует — входите в права, присматривайтесь, думайте. А когда подойдет срок, мы вас обяжем — да, обяжем! — вникать во все хозяйственные дела стройки и, соответственно, предьявим спрос... Извините, я прервал вас — можете продолжать.

Чупров дочитывал страницы, потом выступали члены бюро, обсуждался проект решения. Но всем уже было ясно, что главный разговор произошел именно в ту минуту, когда секретарь обкома задал свой вопрос, а секретарь горкома не лукавя ответил на него.

И еще было ясно, что Печорский горком отчитался успешно и достойно.

— Переходим к следующему вопросу. — Есипов поднес к глазам очки. — О фельетоне «Ничей хвост», опубликованном шестнадцатого июня в центральной газете... точнее — об итогах проверки приведенных в нем фактов. Бюро обкома поручило доложить результаты работы комиссии товарищу Полупанову. Пожалуйста, Евгений Логинович.

И хотя Алексей знал заранее, по какому вопросу его пригласили на заседание, сердце его заметалось, будто искало тот потаенный лаз, каким душа от страха ускользает в пятки и отсиживается там, пока не минет судный час.

Но доклад Полупанова уже с первых фраз, с начальных интонаций голоса — строгих, жестких — не оставил сомнений в том, что факты подтвердились. Да, хвостовая караванка, выполнявшая работу большой государственной важности и пользы, по существу, осталась беспризорной. Территориальные организации — в первую очередь райкомы партии, а также трест Вычегдалесосплав, которому подчинена караванка, — устранились от руководства, не проявили должного внимания к труду и быту сплавщиков, не позаботились о развешивании политико-массовой работы, о социалистическом соревновании и отражении его итогов средствами наглядной агитации, культурная работа запущена, медицинское обслуживание практически отсутствует, рабочее снабжение и общественное питание не налажены... Отдельные неточности, допущенные в фельетоне, не меняют самого существа критики, вопросов, своевременно и остро поставленных газетой...

«Какие неточности? — внутренне напрягся Алексей: теперь вместо первоначального страха его захлестнуло чувство протеста. — Почему он не говорит, какие именно неточности?» Вот сейчас его спросят... нет, никто не спрашивает... может быть, самому спросить?

Но он не успел.

Полупанов сел. А Дмитрий Иванович Есипов пошарил глазами в рядах письменных столиков, составленных так, чтобы ни одна голова не могла укрыться за другою головой, и сразу нашел, поднял кого надо.

— Товарищ Рассыхаев, что имеете сказать по сему поводу? Ведь как ни верти, а все началось с вашего района, с Вотчи: вы снаряжали караванку в путь, вы провозжали — даже с оркестром духовым, как в газете написано... Что ж, на дальнейшее не хватило духу?

Питирим Григорьевич переминался с ноги на ногу, как набедокуривший школьник, оглаживая пятерней рыжеватые кудри над ушами.

— А мы не только музыкой обеспечили хвостовую караванку. Еще оборудовали медпункт, дали фельдшера, снабдили киноустановкой, лектор с ними ездил, инструктор райкома партии был прикомандирован... и между прочим, все это в газете упомянуто — черным по белому. Так что на нашей дистанции нареканий не было. Ну а за пределами района... в общем, соседей наших, Талицкий район, подменять не беремся — у нас своих забот хватает.

— Вот как! — вскинул брови Есипов, не ожидавший, судя по всему, такой лихости тона. — Значит, критику в свой адрес отмечаете начисто?

— Насчет критики тоже могу дать объяснения... — Рассыхаев зыркнул в сторону Алексея: все-таки знал, что он тут, видел, где сидит, но не пожелал здороваться. — Когда товарищ корреспондент был в Вотче — правда, он представлялся, что из «Северной звезды», а не от Москвы, — когда он был у нас, беседовал, мы сами подали сигнал, что Талицкий район не встретил караванку, не взял на обеспечение, что они — как обычно, не первый это случай — опять норовят проехать на чужом горбу... мы так и заявили корреспонденту, а он все это взял на заметку. А теперь что получается? Мы дали толчок здоровой критике — и мы же ходим в виноватых, нам же отдуваться... Ну и ну!

Зал заседаний постепенно наполнялся недоуменным ропотом. Было слишком очевидно, что первый секретарь Вотчинского райкома партии в волнении и расстройстве чувств громоздил опрометчивости, допуская ошибки, непростительные для такого ответственного работ-

ника: нес хулы на Талицкий райком, обнажая всю застарелость соседской неприязни, избегал честных признаний, смиренных покаяний и, хуже того, выставлял себя едва ли не вдохновителем появившегося в центральной газете критического материала, это выглядело совсем уж глупо, если учесть, что жестче всех в фельетоне досталось именно Вотче.

Даже сам автор, Алексей Рыжов, слыша нелепые оправдания, сердитые наскоки, испытал неловкость и досаду, почувствовал жалость к Рассыхаеву, который не сумел трезво оценить ситуацию и ввергал себя из огня да в полымя.

В этом можно было уже не сомневаться: Есипов, вместо того чтобы остудить пересуды в зале, постучав карандашом по графину с водой, сам вполголоса переговаривался с членами бюро, наклоняясь то вправо, то влево, оборачиваясь к сидящим позади, выслушивая, соглашаясь, возражая. Потом сказал:

— Садитесь, товарищ Рассыхаев. Ваша позиция ясна и в уточнениях, пожалуй, не нуждается... Послушаем Талицу. Товарищ Лятиев.

Лишь здесь, на бюро, Алексей увидел первого секретаря Талицкого райкома партии: он был гораздо моложе Рассыхаева, подтянут, сдержан в движениях, с холодными глазами. И будто бы уловив на расстоянии изучающий взгляд Алеши и его мысли, с того и начал:

— Нашим соседям повезло: они хоть встречались с корреспондентом, имели с ним беседу... А мы такой чести не удостоились. Побывать в Талицком райкоме автор не счел нужным. Знаем, что провел пару дней на караванке да еще, слышали, появлялся в Лозыме — ночевал там в сельской амбулатории... И фельетон свой написал, судя по всему, с чужих слов — отсюда и неточности, которые отметила комиссия, о них говорил товарищ Полушанов...

«Так вот откуда тянется этот сказ — из Талицы... Но какие же все-таки неточности? Какие именно, черт возьми?»

Он в беспокойстве ерзал на стуле.

— Вынужден прервать и вас, товарищ Лятиев, — уже не пряча раздражения, вмешался Есипов. — Вы тоже говорите не по делу. Мы обсуждаем здесь не автора фельетона, а сам фельетон. Не допущенные в нем неточности, а ту критику, которую он содержит... Вот и ответьте: как реагирует Талицкий райком на критику в свой адрес? Признаёте? Без уверток — да или нет?

На лице Лятиева четче обозначились рубленые челюсти.

— Признаём, — выдавил он. — Уже научены: если в критической статье есть хотя бы десять процентов правды...

— Да почему же десять процентов? — взвился с места Алексей Рыжов секундой раньше, чем успел подумать, нужно ли это делать, и теперь стоял на виду у всех в отчужденной тишине, потеряв дыхание от возбуждения и испуга. Но повторил упрямо: — Почему десять процентов? Там все правда — там сто процентов правды!

— Товарищ Рыжов, я вам слова не давал. — Первый секретарь обкома уверенно назвал его фамилию, хотя тоже ни разу до сего случая не выдывал его. Смотрел в упор, и в глазах его отнюдь не читалось снисхождение к пылкому порыву молодости. — Здесь не митинг, не комсомольское собрание, а бюро обкома. Сядьте.

Алексей сник, опустил на стул, приложил ладони к горящим щекам. В виски ощутимо и настойчиво толкался пульс. Уши заложило, и он теперь слышал все дальнейшее невнятно, будто в отдалении, как сквозь стену: еще кто-то выступал, кто-то каялся, а кто-то спорил.

Потом донеслось определенной: «...признать выступление газеты своевременным и правильным... принять меры... за допущенные ошибки... первому секретарю Вотчинского райкома партии Рассыхаеву объявить строгий выговор с предупреждением... первому секретарю

рю Талицкого райкома партии Лятиеву — выговор... начальнику треста Вычегдалесосплав Щепотеву — строго указать... председателю обкома профсоюза работников леса и сплава Кривенко освободить от занимаемой должности...»

Какой такой Щепотев? Что за Кривенко?.. Алешу изумило, что по его фельетону строго наказывают и даже снимают с работы людей, которые в нем не были упомянуты и о которых он сам не имел ни малейшего представления. Но, вероятно, комиссия лучше разобралась, кто в чём виноват, кому за что держать ответ, и дополнила перечень имен — с этим оставалось лишь согласиться.

— Есть замечания по проекту решения? — справился Есипов.

Вскинулась рука.

— Разрешите?

Снова поднялся Питирим Григорьевич Рассыхаев, утирая носовым платком с шеи пот — в зале все же было душно, надыхали.

— Я не собираюсь защищаться, нет... у меня дополнение.

— Какое?

— Вот говорят, что фельетон этот был написан для нашей газеты, для «Северной звезды», но редактор товарищ Улитин почему-то не нашел для него места... вот и получилось, что вынесли сор из избы.

— Что вы предлагаете?

— Я предлагаю Улитину тоже объявить выговор, чтоб не зажимал критику: ее ведь в одном месте зажмешь, а она, как чирей, вон где выскочит... еще видней.

По залу заседаний прокатился негромкий, но сочувственный хохоток.

Однако Алексей услышал, как позади кто-то напроорочил мрачно:

— Нет, Рассыхаеву этот строгач — аванс на трудодни. С таким характером несдобровать мужику... в лучшем случае до осени дотянет, до отчетно-выборной конференции.

И еще Алеша заметил, как крупная голова сидящего впереди Семена Ильича Улитина вдруг начала погружаться, будто в пучину волн, в распад рыхлых и накатистых плеч, вот-вот скроется меж ними, канет, а потом, может быть, еще разок вынырнет, сверкнет мокрой плешью — человек попытается крикнуть, позвать на помощь, но лишь захлебнется, булькнет и уйдет топором ко дну, поминай как звали, амба.

Дмитрий Иванович Есипов, уловив настроение зала, в котором уже спало долгое напряжение, улыбнулся тоже:

— Знаете, товарищи, я на партийной работе давно, но не упомяну случая, чтобы редактора наказывали за то, что он чего-то не напечатал... чаще за напечатанное. — И, посерьезнев, добавил: — Думаю, что предложение товарища Рассыхаева нам принимать не следует. Иначе это будет выглядеть так, словно мы недовольны, что критический материал появился не у нас, а в центральной газете... а мы не то чтобы довольны — критика никому не в удовольствие, но выводы сделали и меры приняли. Будем голосовать. Кто за проект решения?.. Единогласно.

Голова Улитина вынырнула из пучины, из хляби плеч, замаячила опять на плаву как меж двух гребней: теперь была надежда, что человек не утонет, дошлепает до берега, спасется.

Алешу это даже обрадовало: ведь он не хотел топить Улитина, не желал ему зла.

Он лишь хотел, чтобы восторжествовала справедливость — и она восторжествовала.

На улице, когда расходились, гомоня, истомленно разминаясь, кто-то его окликнул:

— Рыжов!

Алексей оглянулся.

Это был Чупров из Печорска, с ним предгорисполкома Лебедев.

— Что, не узнаешь старых знакомых? Возгордился? Ну конечно, именинник нынче...

— Да какой я именинник — до сих пор коленки дрожат, — признался Алеша, пожимая протянутые руки. — Вот вас сегодня действительно можно поздравить.

— А мы и не отказываемся, — подмигнул Чупров. — Ты куда направляешься?

— Домой, на Коммунистическую.

— Ну, значит, по дороге. Или давай зайдем к нам в гостиницу, чайку вместе попьем. Заодно и потолкуем... Петр Никитич, — обратился к Лебедеву, — а ты, если не лень, заскочи в магазин, набери чего надо к чаю.

— Сделаем, — кивнул Лебедев и свернул к брюхастым лабазам, что лепились стена к стене уступами на спуске к пристани.

— Что же ты, Рыжов, тогда мимо нас проехал? — с ехидцей спросил Чупров. — Скучно тебе показалось опять Печорском заниматься, да? Все изведаль, все постиг...

— Это когда — тогда? — не понял Алексей.

— Зимой. Я по газете следил, по статейкам твоим, как ты на север двигался: Спас-Погост, Сосны... ну, думаю, теперь наш черед встречать корреспондента... ан нет: уже объявился в Тундре, нас миновал, проскочил навывлет.

— Я до Тундры еще в Стойбище был.

— Ну? А где же статейка? Не видел ничего.

— Меня Турубанов оттуда выгнал.

— Еще бы: своя голова дорога и ему... Ведь, знаешь, его предшественника в сорок шестом по личному приказу Сталина к стенке поставили за то, что много людей погубил на трассе — мороз, цинга... Но и у Турубанова иногда случаются потери — трасса жуткая, ад крошечный... а свидетель посторонний, да еще с ручкой и блокнотом, ему зачем? Вот и выгнал. Однако дорогу он сдаст в срок.

— Я не знал об этом, — тихо произнес Алексей, перебирая в памяти подробности своего пребывания в Стойбище и запоздало содрогаясь. — Он приглашал меня на открытие дороги.

Они поднялись в гостиничный номер. Чупров усадил его на стул, сам скрылся за дверцей шкафа, но и оттуда поучал:

— А Печорском ты напрасно пренебрег. Я тебе так скажу, Рыжов: не суетись, не мечись по новым местам. Оно хоть и завлекательно, что нынче здесь — завтра там, но будешь одни вершки дергать, а до корешков не докопаешься... Если ты всерьез что-то хочешь понять, старайся в одно место ездить раз за разом — стучи, как дятел, в точку, пока не добьешься!

Против окна за балконной решеткой высилась каланча, по ее смотровой площадке расхаживал пожарный с усами, поглядывая кругом, не горит ли. Алеше показалось, что он заглянул и сюда, в гостиничный номер, увидел его, сидящего на стуле, всмотрелся острее, будто силясь его узнать или даже узнать... но и ему, Алексею, давным-давно был знаком этот усатый пожарник, разгуливавший вокруг башни на свежем воздухе, хорошая работа.

— Я позабыл — это какой этаж? — спросил Алеша.

— Третий, — ответил Иван Михайлович, появляясь перед ним уже не в галифе и кителе, а в просторной сатиновой пижаме, зеленая полоска по коричневой, и усаживаясь на другой стул, подле письменного стола.

Край этого стола был окрошлен вьевшимися в светлое дерево чернильными брызгами (наверное, здесь живали когда-то писучие люди), а тумбы и ящики украшены довоенной славной резьбой: ко-

лосья с налитым зерном и колкой длинной остью, зубчатые тракторные колеса, звезды, серпы и молоты, шестерни, ленты кумача. И такими же привычными знаками была снабжена вся остальная мебель в номере — наличники гардероба, спинки стульев. Все здесь казалось знакомым: эта привольная — хоть женись — кровать с ворсистым одеялом, зеркало в рыжих пятнах по краям... Нет, он знал, что все номера этой единственной в городе и потому безымянной гостиницы обставлены одинаковой мебелью. Равным образом он догадывался, что изо всех окон, глядящих на улицу, видна пожарная каланча, а на ней усатый пожарник. И все же эти стены, эта мебель таили в себе нечто большее, чем обычное сходство, — в них чулось родное.

— Ты что озираешься? — спросил Чупров.

— Да ничего, просто так, — поспешил уверить Алексей.

— Ладно, — кивнул Иван Михайлович и продолжил: — Вот что, Рыжов, покуда мы с тобой одни, хочу сказать кой о чем... Сегодня на бюро твой фельетон признали правильным, насовали выговоров тому, другому, а завтра же отпишут в Москву, в редакцию газеты, что меры приняты, виновные наказаны, мол, так и так, — насчет этого можешь не сомневаться, порядок у нас знают и блюдут... Но тебе лично я советую быть поосторожнее: нос не задирай, не воображай, что сидишь на белом коне, и, главное, не жди, что все так и будут тебе в ножки кланяться, благодарить за этот фельетон... не-ет, братец, совсем наоборот! При первом же удобном случае, едва только представится, тебе шею свернут, как куренку... Вот так!

Чупров сжал оба кулака и, соединив, вертанул в разные стороны.

— За что? — удивился Алексей и помимо воли рассмеялся: очень уж наглядно изобразил Иван Михайлович это дело, сворачиванье шеи куренку, р-раз — и хрустнуло, и все, не кукарекай. — Нет, правда, за что?

— А вот за что. Нынче Рассыхаев на бюро обкома вел себя глупо, болтал невесть что — и поделом схлопотал строгача... но словами он выболтал сокровенные, что вслух не сказывают, а держат на уме, да еще за семью замками: насчет сора из избы... что, дескать, вынес ты сор из избы на всеобщий нюх и обозрение. А у нас этого ой как не любят! — Чупров горестно покачал головой, добавил: — Впрочем, не у нас одних: по-моему, такого и места нет, где любят, нигде не терпят, чтоб сор таскали из избы.

— Но ведь я не только... сор! — пылко возразил Алеша. — Я не только фельетон в Москве напечатал. Был еще очерк про шахтера из Тундры, положительный материал. А сколько информации появилось: о трудовых успехах, о культурной жизни...

Иван Михайлович, наклонясь, тронул его плечо.

— Ну и что? Вот и этого ты сразу не поймешь, Рыжов, потому что здравому человеку это понять невозможно. Ты ведь думаешь, что этим всех порадовал, что все тебя ласкать должны: ну уважил, Алексей батькович, доброхот ты наш, прославил на всю страну... И вовсе нет, представь! У нас тут обычаи свои, стародедовские, хмурые. Испокон веков в лесах дремучих жили, в скитах глухих — не видеть, не слышать, и слава богу — и если даже похвалят нас, то пугаемся, дичимся: а не подвох ли, не ловушка ль?

По сероватой штукатурке потолка змеились две трещины, они тянулись из разных углов — одна пошире, другая поуже — и обе шли в излом, образуя замысловатые углы, дуги, вдруг выпрямлялись по линеечке, петляли снова. Они начинались в разных углах, но сближались постепенно, будто их стягивало неумолимое предопределение, как оно стягивает и заставляет сливаться реки, родившиеся далеко друг от дружки, а они, эти трещины, и впрямь были похожи на две реки, текущие по сумеречным, заснеженным равнинам, и они

в конце концов смыкались у лепной розетки, к которой был подвешен матовый колпак лампы. Вдруг Алеша вспомнил, что ему уже давно знакомы эти трещины...

— Иван Михайлович, а какой это номер? Я имею в виду номер вашего номера. Я не заметил, когда заходил.

— Тридцать шестой. А что?

Алексей улыбнулся: значит, он не ошибся, память не подвела, и чувства не обманули.

— Да ты чему радуешься?

— Я жил когда-то в этом номере. Долго жил.

Чупров опять подмигнул.

— Похоже, что неплохо ты тут жил, коли улыбишься от уха до уха?

— Да, неплохо,— подтвердил Алеша.

Вслед за радостью узнавания явилась та щемящая грусть, что всегда овладевает человеком, вернувшимся в места бывшего обитания, в старые стены, где был он когда-то моложе и счастливей.

Тихая благодать, написанная на лице Алеши, вероятно, передалась и нынешнему постояльцу: он отвел ворот пижамы, повеял им на грудь как опахалом.

— Нет, Рыжов, ты можешь, конечно, и не принимать во внимание того, что я тебе сейчас наговорил. Знаешь, пуганая ворона куста боится, а меня, хоть я и не ворона, тоже, бывало, пугивали... Вдруг напрасны мои опасения. И все на сей раз обойдется тишком да гладью. Соображай сам... Однако заметь — это все заметили,— что Есипов тебя на бюро осадил довольно резко. Правда, ты без спроса вылез, а он характером крут...

Но тут отворилась дверь, вошел Лебедев с кулками и пакетами в руках.

Часу в девятом вечера, сбегая по гостиничной лестнице, Алеша столкнулся в вестибюле с парикмахершей, у которой стригся-брился год назад и после. Она как раз отходила от барьера, помахав рукой дежурной даме в чалме, собственной матери или сестре — он так и не знал до сих пор, в каком родстве они состояли, но в их чертах было отчетливо фамильное сходство, просто одна старше, а другая моложе.

Алексей едва кивнул старшей: они оставались в натянутых отношениях после того случая, когда в его номере загостилась Клара, а дежурная ровно в полночь стала выгонять ее и даже грозилась милицией,— он до сих пор не мог простить ей этого служебного рвения и копейного добронравия.

А младшую он догнал на улице.

— Добрый вечер... Вам не кажется странным, что мы так давно знакомы, но я даже не знаю, как вас зовут, а вы не знаете, как меня зовут?

— Я знаю, как вас зовут,— ответила она.— А меня зовут Лайма.

— Лайма — это какое имя?

— Литовское. У нас в Литве каждая третья девушка — Лайма. Это означает счастье. Так что литовцы напрасно ворчат, что у них мало счастья.

Алеша охотно посмеялся шутке и взял ее под локоток.

— Вы не будете против, если я вас провожу?

— Но вы меня уже провожаете. Я знаю, где вы живете — совсем в другой стороне.

У нее был тот же тягучий акцент, тот же монотонный голос, что и у дежурной прибалтийской дамы, выражающий спокойную определенность, при которой нет — это нет. Но он подумал, что эта определенность может иметь и обнадеживающий оборот, при котором да — это да.

Он увязался за нею не только потому, что так вышло само собой — что он случайно встретил ее в вестибюле гостиницы идущую к двери с маленьким чемоданчиком, какие носят балерины (нужно ли перенять у нее этот чемоданчик или погодить?), а жадный инстинкт молодости не позволял ему смотреть равнодушно, как проходят мимо — и тем более в одиночестве — привлекательные девушки; и не только потому, что он давно уловил в ней соблазн — ее чуть перезрелую крупитчатую пышность, которая сладка в касании и даже пахнет сдобой и ванилью, словно бы из именинной духовки (но это, пожалуй, был совсем другой природы запах: от вежеталей, пудр и кремов, с которыми ей приходилось целый день возиться в парикмахерской); нет-нет, не только потому... а потому, что час назад в гостиничном номере, где теперь живет Чупров, а прежде жил он сам, он вдруг испытал приступ такой тоски, обиды и ревности, что хоть снова бросайся в чащобы, и прячься там, и скули, и вой звериным воем... но разве он бросился, разве выл? Нет, он только хотел, но сдержался.

Знает ли она об этом? Наверное, знает. Уж если она знает, как его зовут, и знает, где он живет, то как ей не знать, что с ним стряслось, — все знают.

Так вот. Он понимал, что единственным верным средством уйти от этой обиды и тоски, от несчастной своей любви может быть только любовь — клин клином вышибают, — другая любовь, пусть не такая уж и пылая, пусть попроще, пусть даже вовсе не любовь, но нужно было обрести хотя бы ее подобие, а для этого надлежало сделать все положенные шаги, одолеть все ступени, исполнить весь ритуал: как вас зовут, не позволите ли вас проводить, можно, я возьму вас под руку, дайте ваш чемоданчик, а знаете, ведь я давно, ну, не прячьте губ, зачем, да не ломайся же, м-м... все по порядку.

Он еще раз оглядел ее искоса и остался доволен. Ее волосы были высоко подняты надо лбом и разломлены надвое, как пшеничная краюха, а на макушке еще умещалась модная шляпка из черной соломки: лестный сарафан надет поверх черной же блузы с пышными буфами на плечах, и это сочетание было броским, дерзким; ее ноги в танкетках с тяжелыми и толстыми подошвами, казалось, должны были шаркать и едва переступать, но эта тяжесть была, вероятно, лишь кажущейся — она шагала в них легко и неслышно... да, подумал Алеша, все эти прибалтийки в какой угодно дыре и при любых обстоятельствах умеют одеться отлично, то есть отличаясь, выделяясь среди других независимо от возраста: что старухи, что девчонки.

— Извините, я давно хотел вас спросить: вы дочка вашей мамы или сестра? Той, которая дежурит в гостинице?

— О да, — серьезно ответила Лайма, — я дочка своей мамы, а сестер у меня нет. Мою маму зовут Рута Бурбулене. И еще у меня есть папа — Бронюс Бурбулис, он сидит дома и скучает без меня и без мамы.

— Значит, вы — Лайма Бурбулис? Или Лайма Бурбулене?

— Нет, я — Лайма Бурбулите.

— Как сложно, — покачал головой Алексей.

— Да, у нас, у литовцев, есть свои сложности, но мы привыкли. Зато сразу понятно, с кем имеешь дело: какая женщина замужем, а какая свободна и на что можно рассчитывать...

— А на что? — спросил он.

Лайма высвободила локоть, остановилась.

— Послушайте, здесь мне надо сворачивать. И если вы решили навести обо мне все справки, то я дам еще одну. Мой отец в этом городе на поселении. Мы с мамой нет, мы просто живем вместе с ним. Так что я действительно свободна во всех смыслах. Но мой

отец — ссыльный... Вы хотите проводить меня дальше, или мы прощаемся на этом углу?

— Я провожу тебя дальше,— сказал Алеша,— давай свой чемоданчик.

— Ну возьми. Я так и думала, что ты смелый парень.

Они свернули направо, и он предположил, что сейчас они выйдут на тракт, ведущий к Слободе, а там лишь приметай да сосчитывай десяти, и подивился тому, как все затевается по новому кругу и следует торным путем, и мысленно похвалил себя за сметливость, за то, что заранее угадал все шаги, которыми предстоит двигаться к цели.

Но Лайма, поведя локтем, заставила его взять еще правей, а там, пробравшись задворками меж трухлявых заборов и мутных канав, они вышли — вдруг, как выходят к морю, — на крутизну, на срез оврага.

Тут был даже не один овраг: за ним просматривались другие, вспоровшие землю глубокими бороздами, будто кто-то прошел здесь с плугом в полдюжины громадных лемехов, искромсал, выворотил почву в отвал да так и бросил пашню, позабыв засеять... Но все вошло само собой: овражье и по склонам и по дну поросло обхватными деревьями, расплавленными густыми кронами, и в их ветвях не то чтоб видны глазу, а скорей были слышны уху скопища вороньих гнезд — такой стоял там неумолчный грай и писк, трепыханье крыльев. От подножий старых тополей и вязов вздымались ярусы подроста, все остальное пространство затянулось чащей отцветшей сирени и черемухи, шиповника и малины, а из-под них упругими и клочкотливыми ключами било разнотравье — впрямь как море, как зеленое море, куда выхлестываются протоки реки и переменчивый ветер гоняет зеленые волны с моря в устье и обратно.

«Как же перебраться через эти реки, через это море? — подумал Алексей, оробев.— Ведь страх какая глубина, какое сильное течение...»

Однако Лайма, уверенно пройдя вперед, вывела его к лестнице, прочертившей склон крутыми уступами, а там потянулся мосток на бревенчатых сваях, которые вонзались в самое дно оврага. Пролеты между сваями были скрипучи и хлипки, они прогибались, пружинили под ногами, хорошо хоть с обеих сторон были перильца — держись,— а сам мосток был узеньким, встречным не разминуться, а попутчикам не пройти рядом, и Алеша плелся за Лаймой, уставясь ей в затылок, опасаясь глянуть вверх, или вниз или в сторону, потому что все вокруг зыбилось и бушевало: над головою раскачивались вершины деревьев, под ногами шумели верхушки деревьев, и сбоку металась на ветру косматые ветки дерев... Голова кружилась, лучше не смотреть.

Наконец пучина осталась позади, мостки кончились, ступеньки лестницы повели их по другому склону в гору.

За кромкой обрыва появились коньки замшелых крыш, венцы бревенчатых черных срубов, показались белые оконницы и взгромоздившиеся под самые окна поленницы дров, утлые баньки да сараюшки, огородные прясла, сквозь которые прослеживалась синева настоящей реки.

— Что это? — спросил Алексей.— Где мы?

— В Париже,— ответила Лайма.

— В Париже?

— Ну да, это Париж. Я здесь живу. Разве ты еще не бывал в Париже?

— Нет,— признался он,— я только слышал, что он есть.

Он лишь понаслышке знал об этом Париже.

Впервые Алеша узнал о нем при таких обстоятельствах. Он был свежей головой, то есть, отоспавшись днем, дежурил в *НОЧЬ-ПОАНОЧЬ*,

читал подписные полосы, выискивая в них опечатки, ошибки, несурности, которые могли невзначай прохлопать сонные корректоры и которые мог не заметить усталый главный редактор. И сразу же в колонке ему бросилось в глаза: «Парижский склад гортопа...» Он схватил оттиск и помчался на третий этаж к Улитину, чтобы тот похвалил его за бдительность и посмеялся вместе с ним над этой чепухой. Но Семен Ильич, сопя и смаргивая, несколько раз перечитал отчеркнутое им «Парижский склад гортопа...», а затем поднял недоуменный взгляд: «Ну и что? Все правильно... есть тут такое предместье, за оврагами, называется Париж».

— Да, я знаю,— объяснил Алексей Лайме.— Но просто удвительно, что я уже целый год живу в Городе-на-Реке, исходил все вдоль и поперек, все кругом изъездил и думал, что уже все знаю, а оказывается, еще есть места, которые я не знаю, например Париж...

— Разве год — это много? — возразила Лайма.— Я живу в этом городе восемь лет. Меня привезли сюда еще маленькой девочкой — ну, не такой уж маленькой, но я еще ходила в школу, тоже здесь, в Париже... А ты знаешь, почему это местечко называется Парижем?

— Нет, не знаю, мне очень интересно,— соврал он, чтобы дать ей рассказать.

А ему самому тогда же, той же ночью, когда он был свежей годовою, все объяснил Семен Ильич Улитин.

Но сейчас ему хотелось услышать, что об этом поведает она, и сравнить обе сказки. потому что он все-таки предполагал, что это сказки, наивные предания, которые имеют хождение в любом захолуственном городе.

— Здесь жили пленные французы — давно, сто лет назад... нет, даже больше — сто сорок лет назад... нет, меньше — сто тридцать пять... в общем это было после Отечественной войны, но не Великой Отечественной, а просто Отечественной, когда победили Наполеона. Тогда взяли в плен много французских офицеров и солдат, сослали их сюда и поселили на этой окраине. Я только не знаю, они сами строили эти дома или их определили на постой, не знаю, а может быть, тех домов уже нет, они развалились или сгорели, а на их месте построили новые дома — ты видишь, они уже тоже старые, скоро и они развалятся. Но эти пленные французы, которые тут жили, назвали местечко Париж... Наверное, они так скучали по своему Парижу, что хотели иметь здесь хоть какой-нибудь Париж. И вот их давно уже нет на свете, а местечко все еще называется Париж. Мой папа говорит, что это навсегда, потому что Париж всегда Париж...

Алексей внимательно слушал ее рассказ, оценивая каждое слово и каждую интонацию ее голоса. Потому что во всем мог быть потаенный смысл. Она рассказывала о ссыльных французах, а ее отец сам был ссыльным. И это, конечно, чревато горечью и горем. Но она рассказывала об этом легко и беззаботно. Вот так, подумал он, любая печальная история по прошествии века теряет свою печаль и делается милым преданием, вызывающим улыбку, как это предание о Париже, что за оврагами.

К тому же он еще держал под сомнением правдивость этой легенды: мало ли чего не выдумают люди, чтобы украсить свой город древностью и знатностью.

Но едва они достигли околицы, он увидел на темных бревнах угловой избы две проржавевшие указующие таблички — «Улица Кутузова» и «Улица Багратиона». И тут он понял, что все это правда, что так оно и было, что здесь жили пленные французы, и место своей ссылки они нарекли Парижем, и название это привилось, но потом, чтобы не забывалось, кто кого победил в той далекой войне,

для памяти и для острастки этим окраинным улочкам дали столь звучные имена.

Тотчас пришло на ум остережение матери: «У этих мест дурная слава, давняя притом...»

И добавилось нынешнее поучение Чупрова: «Тебе лично я советую быть поосторожнее... при первом же удобном случае шею свернут, как куренку... Вот так!»

Его обуял вдруг холодный ужас, что он заехал куда не надо и забрел куда не следует, что он затеял опрометчивое и ненужное знакомство, что он болтал и слушал чего не надо.

Возникло малодушное желание повернуться и дать отсюда стрелкача, тем более что он уже знал дорогу: вниз по лестнице, мостками напрямик, вверх по другой лестнице, а там дворами, закоулком — и привет... маленько отдышаться и топать прямо к дому не оглядываясь, будто ничего и не было. А что было?

— Вот мы и пришли,— сказала Лайма, останавливаясь у дощатой калитки с кованым кольцом.— Я здесь живу.

Он скользнул глазами поверх забора: те же трещиноватые черные изыбные венцы, та же тесовая крыша, забархатевшая зеленым мхом.

— Вы снимаете или купили?

— Нет, это не частный дом. Мы живем здесь по ордеру.

— Ну да,— кивнул Алексей.

Он знал, что в Городе-на-Реке было много подобных изб, ничейных, выморочных, хозяева которых перемерли или съехали бог весть куда, и эти дома отошли в ведение горсовета, в них размещали учреждения, поселяли жильцов.

— Я не зову тебя в гости,— сказала она,— потому что мамы нет дома, а папа не может встретить гостей, если у него нет галстука на шее, а у него сейчас нет, ведь он никого не ждет — знаешь, у него старомодные привычки, но что поделаешь... так что в другой раз, хорошо?

Она улыбнулась, протянула руку за своим чемоданчиком.

И Алеша почувствовал, что внезапный страх, накотивший на него минуту назад, отступает перед другим страхом, владевшим им все последнее время в эти светлые вечера на исходе июня, после того как пароход «Тютчев» увез от него Клару,— страхом одиночества и тоски... это было гораздо мучительней и больней.

Поэтому он без лишних слов притиснул Лайму к доскам калитки так, что они заскрипели, и губами попытался поймать ее губы.

Но она ловко уводила и прятала их, как боксеры уводят и прячут от удара солнечное сплетение.

— Ну что ты... не ломайся,— попросил он.

— Я не ломаюсь,— ответила Лайма.— наоборот, мне нравится, что ты смелый парень. Но неужели ты думаешь, что я буду с тобой целоваться на глазах всего Парижа?

9

Пришел сверху Степан Огузов, матерясь жестоко.

— Что? — спросил Алеша.

— Как это что? У меня — и лес, и нефть, и уголь, и местпром, будь он проклят, работы столько, что успевай вертеться, а тут единственного литсотрудника переводят в другой отдел.

— Кого?

— Да тебя, тебя, кого же еще! — свирепея, закосил глаза на кончик носа Степан. Сел, начал в сердцах расшвыривать папки по столу.

— Но куда?

— В отдел писем, к Ладановой. А у нее, между прочим, есть уже человек, сидит мымра на регистрации, входящие-исходящие. И со всей этой кухни в номер идет от силы строк двести, да и те читать тошно... А я изволь сдавать по полторы тысячи строк — и все равно нехватка вечная. А тут еще забирают литсотрудника...

— Зачем? — не мог прийти в себя от неожиданности Алексей.

— А это ты сам их спроси. Мне от Бубеева уже дано распоряжение, говорит — приказ по редакции, но не познакомил. Я ему прямо: с кем же мне работать? Вот я заведующий, а над кем заведующий? Отвечает: будем думать, а пока что над самим собой покомандуй...

Алексей не стал слушать дальше, ринулся в секретариат на третий этаж, перескакивая через ступеньки.

Вась-Вась был свеж и благодушен, как само утро.

— А-а, мальчик резвый... ну здравствуй, садись.

— Василий Васильевич, — сказал, задыхаясь, Алеша, — что все это значит?

— Прежде всего не паникуй, не драматизируй. Возникла служебная необходимость, а ты на службе. В зарплате не ущемляем, так что и в местком не пожалуешься: не на что, не поймут. Обычное перемещение из отдела в отдел.

— Но почему на письма?

Бубеев укоризненно покачал головой.

— Нельзя, нельзя так, Рыжов. Что за барское высокомерие? Учти, ведь за каждым письмом — человек, притом живой человек, и ты, наверное, про это не раз уже слыхивал... — Вась-Вась переплел руки на груди, выпятив локти, и Алеша понял, что сейчас ему предстоит выслушать очередной урок возвышенного энциклопедизма. — Знаешь, Михаил Иванович Глинка говаривал: музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем...

— Ну, это он загибал для красного словца.

— Не скажи. Он утверждал принцип. В сущности, и мы тут, в редакциях, в печатных органах, сидим лишь для того, чтобы помочь народу, простым людям, выражать свои мысли и чувства, высказывать соображения... А ты думал, что тебя тут держат, чтобы ты солировал в должности штатного кенара, выдавал рулады с присвистом? Э-е нет, ошибаешься, Рыжов. Да и предоставили мы тебе такую возможность сполна, даже с лихвой, пожалуй, коли тебе у нас насвистывать надоело и ты перескочил повыше веткой, чтоб дальше слышали твой свист... А теперь, дружок, становись на молотьбу, помаша целом наравне со всеми, присмотришь, как бьют зерно, понюхай, как пахнут отруби... Кстати, если ты решил заделаться настоящим газетчиком, профессионалом, тебе обязательно нужно пройти через это — работу с письмами трудящихся, постичь премудрость, а иначе ты ноль без палочки.

— В чем же премудрость?

— Прежде всего в том, чтобы задницу приучить к усидчивости, к стулу: там, в отделе писем, не попорхаешь. Во-вторых, привыкай внимательно вчитываться в любые каракули — ведь за ними живой человек, — вникай, находи суть, развивай в себе чувство отбора: вот это нужно для газеты, для печати хотя бы темой, а вот это достаточно направить для принятия мер. Кроме того, научись не только над своей строкой корпеть до седьмого пота, но и над чужой... Все это тебе подробно объяснит Нина Максимовна Ладанова. Она баба умная, терпеливая, стерпит и тебя. Иди к ней на выучку, Рыжов. Иди в народ, то есть в отдел писем.

Алеша сидел отвернувшись, переводя удрученный взгляд с чернильных рек, растекшихся по географической школьной карте промеж рыжих взгорий, на потертые сафьяновые корешки энциклопедии за стеклами книжного шкафа — все это было ему знакомо так дав-

но, будто век миновал с той поры, когда он увидел это впервые, а минул всего лишь год.

— Да ты что приуныл? — сочувственно осклабился Вась-Вась, показав редкие, источенные никотином и камнем зубы. — Думаешь, там скука смертная, у Ладановой? А вот и нет. Там свои заботы, свои хитрости, свои страсти. Взять, к примеру, такой вопрос, как действенность газетных публикаций — ведь все ответы на критику сходятся у нее, у Ладановой. Каждое утро звоню, требую: где «По следам»? Отвечает: «После дам» — зашивается. Ну а если ответ не по существу? А если бюрократическая отписка? Да, брат, действительность — это... Однако меня не слушаешь, воротить рыло, изображаешь на нем скуку, а напрасно. Я еще раз говорю, действительность — это самое важное, ко всем замкам ключик. Вот гляди..

Бубеев взял со стола газету, развернул — и Алеша, покосившись нехотя, заметил, что это не «Северная звезда», а та самая центральная газета, внештатным корреспондентом которой он имел честь быть.

— Вот читаю: «По следам наших выступлений... Редакцией получен ответ за подписью первого секретаря обкома тов. Есипова... Факты, содержащиеся в фельетоне «Ничей хвост», подтвердились, приняты неотложные меры...» Ну а дальше подробности: кому выговор, кому строгий — всем сестрам по серьгам. Вот это действительность, вот это оперативность!

Бубеев продолжал улыбаться от уха до уха, и в его наигранном восторге было коварство.

— А ты еще хнычешь, что тебя ни с того ни с сего закатали в отдел писем... Тоже, брат, действительность, оперативность!

— Что? — Алеша привстал, ошеломленный. — Что вы сказали?

— Ничего, решительно ничего! — замахал руками Вась-Вась, откинув газету; она вздулась, как парашют, наполняясь воздухом, но постепенно ожала, сникла. — Ровно ничего. Только то, что ты слышал.

Алеша, скрежетнув по полу ножками стула, рванулся к двери.

— Вернись! — окликнул его Бубеев.

— Ну что? — превозмогая вспыхнувшую ярость, возвратился к столу Алексей.

— Остынь... Никак ты на меня побежал жаловаться? Неужели? Да я тут при чем? Эх, Рыжов, до чего ты наивен, прямо детский сад... — Вась-Вась покачал головой, понизил голос. — Я-то в чем виноват? Разве в том, что сказал тебе больше чем следовало... Ведь такие вопросы не я решаю, меня и не спросили. Но учти: этот вопрос согласован на всех уровнях, — он ткнул пальцем в небо, — так что... Самого себя вини: вылез ты неосторожно — головка торчала, как у гвоздя, ну ее и пристукнули маленько, поправили, чтоб гладко было. Знаешь, как в энциклопедии: если тебе надо «выпуклость» — смотри «вогнутость»...

Алексей в нетерпении переступал с ноги на ногу — эту сказку он уже знал наизусть.

— Мой тебе совет — не брыкайся, смирись. Чтобы хуже не обернулось. Ведь я тебе добра желаю, поверь... — Вась-Вась заглянул ему в глаза. — Давай все обсудим досконально, не торопясь. Посидим вечером — можно в той же закрытой столовке, где раньше сидели, только теперь она не столовка, а ресторан, ха-ха, называется «Парма», то бишь тайга, лес дремучий, ну учудили названьице... да не в заглавии суть, лишь бы открыто было, а теперь там для всех открыто. Я звякну тебе к концу работы — уже в отдел писем звякну, добро?

— Я занят вечером, — отрезал Алексей.

В приемной редактора сидела Ася: при его появлении она поспешно сунула в ящик лист бумаги с напечатанным текстом в две

строки — так печатают приказы — и пятнами румянца, виноватыми глазами выдала секрет: значит, это и был приказ о нем.

— У себя? — спросил Алеша, кивнув на стеганую дверь.

— Нет. Семен Ильич в типографии. Смотрит номер с машины.

— Ладно. Я и туда дорогу знаю.

Сбежал боковой черной лестницей, ощущая, как с каждым шагом вниз крепчает запах типографской краски. Поплутал в коридорах, впитавших штукатуркой ту же копоть, толкнул дверь — и оказался в цехе, сразу оглох от надсадного гула, от прерывистого грохота.

Наборщики гнули шеи у касс, втыкая буковку к буковке в верстатки, однако рядом уже стрекотали недавно привезенные лино-типы — весело гнали свинцовые строки. На плоскости печатных машин выметывались распластанные бумажные листы и, на мгновение прижавшись к прессу, откидывались навзничь уже тиснутые, обретшие язык и смысл, но пока односторонний — каждому из этих листов предстояло снова побывать в тисках, чтоб заговорили обе стороны, — деревянные рейки сбрасывали в кипу отпечатанные номера.

Улитин стоял у машины, читая разворот.

— А, это ты... — буркнул не здороваясь. Пожаловался с тяжким вздохом: — Вот только начали тираж печатать, а уж полдень, весь график к черту. Ночью приняли сообщение — и тотчас звонок, команда: ставить в номер... так домой и не попал, прилег в кабинете на диване, хотел вздремнуть часок, да какой там сон! И опять на ногах... вот так, на ногах, я, наверное, и сдохну.

Под глазами Семена Ильича отвисли мешки, набрякшие нездоровой серостью.

И злость, которая клокотала в душе Алексея, пока он бежал сюда, на миг уступила место жалости. Он представил себе, как это может случиться: как внезапно подогнутся колени редактора и он не то чтобы рухнет, а медленно осядет на пол, хватаясь руками за воздух, ища вокруг несуществующую опору... Он даже испытал порыв броситься на помощь: сунуть ладонь под затылок, приподнять это грузное, безжизненное тело, пошарить в кармане улитинского пиджака — ведь там должно быть! — и найти патрон спасительных таблеток, разжать ему зубы, втолкнуть под язык...

Впрочем, Семен Ильич покуда еще не падал, стоял на своих двоих, хотя и выглядел неважно.

— Ты уже читал? — спросил он хмуро, подавая газету.

Алеша окинул глазами полосу.

«...руководство Югославской компартии за последнее время проводит в основных вопросах внешней и внутренней политики неправильную линию, представляющую отход от марксизма-ленинизма...»

Он оторвался от текста, поднял на Улитина пораженный и недоумевающий взгляд. Он не поверил своим глазам и надеялся, что сейчас редактор объяснит ему, что произошло недоразумение, которое уже исправлено, однако грохочущая печатная машина продолжала сбрасывать в кипу газету за газетой, повторяя одно и то же, умножая тираж, и Алеша понял, что любая попытка остановить все это, переменить, исправить была бы тщетной.

Улитин, отвернув лицо, смотрел в сторону. Ноздри его шевелились раздраженно, уловив, наверное, резкий запах кислоты, которой невдали травили цинк — делали клише с фотоснимка.

— Как же так? — растерянно вымолвил Алеша.

— А вот так. Вместе боролись плечом к плечу, воевали вместе против общего врага. Делали общее дело, развивали народную демократию — вместе! — а теперь, понимаешь, они откололись вздумали...

Семен Ильич достал из кармана платок, брезгливо вытер им пальцы, исполосованные наоборотной рябью клейких газетных строк, размашисто зашагал к выходу.

Алексей устремился за ним.

— Вот так...— продолжал Улитин на лестнице, дыша надсадно и силпо.— А я, признаться, такого не выношу. Я имею в виду не только это событие, но и другие случаи, вообще... Когда, например, к человеку со всей добротой, со всей душой, а он исподтишка против тебя же козни строит! Нет, я этого не могу постичь, в голове не укладывается...— Семен Ильич постучал кулаком о лоб.

Только сейчас, уловив в этих фразах некое иносказание, ображенное, судя по тону, к нему лично, Алеша опамятовался. Лишь сейчас он вспомнил, зачем понадобилось опрометью мчаться в типографию, а теперь шествовать обратно, выслушивая двусмысленные поучения. Напрягся.

— Если я вас правильно понял...

— Ты меня правильно понял,— обронил Улитин, сворачивая с лестницы в коридор к своему кабинету.

Но Алексей не дал ему уйти от разговора.

Вошел следом, плюхнулся в кресло, не дожидаясь особого приглашения. Снова развернул газету, которая была у него в руке, прочел вслух, выбрав наугад:

— «...сбиваются на путь народнической кулацкой партии в вопросе о руководящей роли рабочего класса...» Ну занесло! С элементарной политграмоты сбились... Однако я в толк не возьму, Семен Ильич, какое это отношение имеет ко мне? Разве я писал или говорил что-нибудь подобное?

— Нет, тако го ты не писал... да и есть тут кому доглядеть, если б даже написать вздумал. Есть тут, у нас, в «Северной звезде», настоящие партийцы, которые не теряют бдительности, которые умеют вправить мозги незрелым юнцам.

— Что вы имеете в виду?

— Скажу сейчас.— Редактор метнул из-под насупленных бровей угрюмый взгляд.— У меня, Рыжов, хорошая память, еще, слава богу, не съел склероз. И я помню, как обещал тебе рекомендацию в партию. Так и сулил: вот придет срок, минет год — и напишу тебе рекомендацию. А вторую, полагал я, даст тебе старый большевик Федор Макарович Коюшев... но он, бедняга, умер, вечная ему память.

— А вы?

— А я куда жив. Но рекомендации тебе не дам, воздержусь. Вот так, Рыжов. Поколебался я в своем доверии. Не оправдал ты моих надежд... Мне сейчас даже вспомнить стыдно, как вел ты себя на бюро обкома — вызывающе, дерзко, подавал реплики с места. Под стать демагогу Рассыхаеву, который — наглец! — требовал, чтобы мне объявили взыскание...— Грудь Семена Ильича опять заходила ходуном.— Нет, ты сам посуди, Рыжов, бывает ли на свете неблагодарность чернее этой!.. Я замечая на пароходе смышленного парнишку, студента, практиканта, сироту без роду, без племени, беру его на работу, терпеливо приучаю к делу, даю заработать, помогаю одеться-обуться, более того — предоставляю квартиру, хотя с жильем сейчас полный зарез, а он... а он не только спасибо не молвит, но и пускается во все тяжкие, начинает халтурить, забрасывает столичные редакции своими очерками да фельетонами, лишь бы зашибить денег... но и это еще куда ни шло, это можно бы и простить, но он...— глаза Улитина выкатились из орбит, налились кровью,— он еще и затевает интриги, роет яму, добивается, чтобы мне — мне, который его приютил и согрел, научил уму-разуму, взлелеял как родного сына,— чтобы мне дали выговор по партийной линии!

На мгновенье Алеше показалось, что все это бред: то ли Семен Ильич забредил с недосыпа и усталости, то ли ему самому мнятся такие бредни — гудит в ушах. Ему почудилось, что все это — все что началось сегодня утром, когда Степан Огузов, ругаясь, явился сверху, а потом он сам, Алексей Рыжов, помчался наверх, в секретариат!

к Бубееву, а потом опять бросился вниз, в типографию, искать Улитина, нашел, и они уже вместе, одолевая марш за маршем, поднялись по лестнице,— что все эти метания вверх-вниз, все эти разговоры, смысл которых был вывернут наизнанку, тиснут наоборот, как липучие строки на ладонях Улитина, что все это происходит не на самом деле, а только снится ему в мучительном и нелепом сне, какие случаются под утро, или же его наяву опять взял морок, закружил голову юлой, так, что все вокруг потеряло свои реальные очертания, смазалось, превратилось в кошмар... но ведь нет: он сейчас не спал и никакого морока не испытывал.

— Семен Ильич,— сказал Алексей, придя в себя,— давайте разберемся спокойно и по порядку. Разве это я предлагал на бюро объявить вам зыскание? Нет. Это предложил Рассыхаев, первый секретарь Вотчинского райкома, о котором я написал фельетон,— вот уж тут не отрекаюсь, правда, написал фельетон именно я, только вы его отказались напечатать... не так ли?

— Ну и что? — Улитин тоже с трудом обретал утерянную было чинность.— Дальше. Задавай свои вопросы, а я потом отвечу на все разом... если, конечно, сочту нужным.

— Хорошо. Теперь о рекомендации в партию. Разве я просил ее у вас? Разве это я завел речь о ней? Нет, я не мог тогда об этом даже заикнуться, потому что работал здесь без году неделю, а партийный устав мне известен... кстати, и сегодня не я затронул эту тему, не я тянул вас за язык, вы сами начали...

— Ну-ну,— Улитин сузил веки, опасные, как щели дота.— Допустим. Что еще?

— Есть еще. Вы только что обмолвились — надеюсь, что это была обмолвка,— насчет сироты без роду, без племени, которого вы облагодетельствовали. Но тут вы что-то напутали, Семен Ильич. Потому что род мой известен: кронштадтский род потомственных военных моряков — и дед и прадед... И племя тоже известно: революционное племя — мой отец участвовал в Октябрьском восстании, бил атамана Краснова, бил Колчака, Петлюру бил... и я тоже из Кронштадта, я родился в Кронштадте, мы — из Кронштадта!

Алексей медленно поднялся, рука его потянулась к вороту рубахи тем известным жестом, после которого пуговицы разлетаются во все стороны словно картечь.

Однако Улитин не испугался, тоже встал, набычил забагровевшее темя.

— Ты, Рыжов, позабыл, что я сам питерский и кое-что о Кронштадте знаю! Всякое там бывало. В семнадцатом кричали «ура», в девятнадцатом — «даешь!», а вот в двадцать первом...

— В двадцать первом мои отец и мать ходили на Кронштадт штурмом. На мятежников, на кулацких сынков, на эсеровскую сволочь... ночью, по льду!

— Ну, это они ходили, а не ты... а ты в ту пору еще под себя ходил, впрочем, тебя еще и на свете-то не было. Так что не кичись своими революционными заслугами, не строй из себя братишку в тельняшке... — Воспаленные бессонницей глаза Улитина надвинулись, постепенно слившись в один красный глаз.— А в тебе самом, сдается мне, добро и зло еще друг на дружку ломаются, будто стенка на стенку, и ты пока не различаешь, где что — где добро, а где зло...

— Не беспокойтесь, различаю. То есть в классовом смысле различаю, еще с детсада научен, не собьете... так что — вот!

Алексей выложил на зеленое сукно письменного стола измятую газету, прихлопнул ладонью страницу, на которой крупным и строгим шрифтом балтика выделялся заголовок ночного сообщения.

Они помолчали, переводя смятенное дыхание и, вероятно, созная оба, сколь много эти газетные столбцы способствовали накалу их разговора.

— Ну ладно, Рыжов...— сказал Семен Ильич, изможденно опускаясь в кресло.— Иди работай. Договорим в следующий раз. А сегодня я устал: за всю ночь, понимаешь, глаз не сомкнул... И вот сейчас опять принесут полосы — завтрашние уже.

— Хорошо, я пойду,— кивнул Алеша.

Но, уже тронув ручку двери, обернулся.

— А куда мне идти? Говорят, вы подписали приказ...

— Да, подписал. Иди в отдел писем, к Ладановой.

— Но почему?

— А по этому поводу митинговать не будем. Приказ есть приказ. Всеми служебными перемещениями сотрудников редакции ведаю я, и мне лучше знать — кого куда. А что, тебе так не по нраву отдел писем? Это очень нужная работа. За каждым письмом — живой человек!

— Это я уже слышал... но ведь и я тоже живой человек!

— Вот и живи. Работай.

Алексей переминался у двери с ноги на ногу, ища возражений, пытаясь возжечь в себе новый пыл негодования, строптивой непокорности. Но он чувствовал уже, что момент безвозвратно упущен, что он напрасно израсходовал весь запал в разговоре, по сути отвлеченном, минующем сам повод конфликта, и он уже догадывался, что Улитин нарочно повел беседу этим окольным путем, заставив его выложиться сполна, иссякнуть, обессилеть, прежде чем речь коснется главного.

Вернулись на ум недавние — всего лишь час назад — едкие намеки Бубеева об усидчивости, насчет того, что у Ладановой не попорхаешь.

— Семен Ильич, вы забыли,— сказал Алексей.— И я чуть было не забыл, что скоро завершение стройки. Помните, вы говорили, что нужно открыть эту тему, эту стройку. Так вот: начальник строительства Турубанов пригласил меня на открытие трассы... Десятого июля, а сегодня шестое. Он разрешил мне написать очерк.

— Ничего, пошлем кого-нибудь другого,— кивнул Улитин, нагибаясь к календарю и делая в нем пометку.— Хорошо, что напомнил. Такое событие, конечно, не упустим.

Алеша ощутил, как пересохло в горле.

— Семен Ильич, но ведь это моя тема... и вообще мне надо ездить, я хочу ездить... понимаете, я и приехал сюда, чтобы ездить. А в отделе писем...

— Свободен, Рыжов,— перебил редактор.— Не задерживаю.

Превозмогая усталость, Семен Ильич еще раз встал с кресла, дотянулся до карты, висевшей позади стола, и наглухо задернул репсовые шторы, как бы давая понять, что все, что отъездился, что представление окончено.

Вечером Алеша привел Лайму.

Хотел уж было тихонько, не тревожа соседей, пропустить ее в свою комнату, но на шаги, на ворочанье ключа выглянула из кухни Серафима — и пришлось соблюсти этикет, представить гостью: вот познакомьтесь, это Лайма.

Степан сидел на табуретке, отдохновенно привалясь к стене, широко раскинув ноги. Перед ним на столе был запотелый алюминиевый жбан литров на пять да горка вяленой рыбы в россыпи белесой чешуи, в сабельках костей, обсосанных с похвальным усердием, в пузырях да кишочках.

— Присаживайтесь, помогайте,— любезно пригласил хозяин.— Я вот на пристани пивка добыл — прямо с парохода, с «Тютчева»,

бочковое, свежее, из Котласа. Один не осилю — пузо лопнет... а у Симчи оно уж в габарите, куда больше? — расхохотался Степан.

У Симчи опять был изрядный живот: пожалуй, что снова на двойню, да еще она уверяла, что всего пока пятый месяц — и по подсчетам выходило, что она понесла с того самого дня, когда в хозмаге купили железную кровать и Степан с Алексеем потащили ее домой в собранном виде, адская тяжесть, да еще в гору — пришлось сделать роздых прямо на улице, поставить ее в снег, но тут Алексея отвлек беседой один прохожий человек, весьма занудный тип, а когда он оглянулся, то увидел, что Степан повалил Симчу на панцирную сетку, а она отбивалась, смеясь взахлеб, кровать же, хоть и железная и новая, вся шаталась и вот-вот грозила развалиться — все это было, конечно, озорством, шуткой, но вроде и вправду, выходило, что с того раза и стряслось.

— Ты что же, Леха, приуныл? — посочувствовал Степан, поднося ему стакан, вспененный выше края. — На, развеселись. Мне и самому все это как серпом по молоту. Но ты, Леха, не дрейфь: нас, фронтовиков, уж коли мы живы остались, теперь голыми руками не возьмешь, не скрутишь — отобьемся... Ну кто он такой, Улитин? Какие у него заслуги? А никаких. Пока мы с тобою кровь проливали, он тут, в затишке, отсиживался, родину любил... Верно я говорю?

Алеша кивнул не переча, хотя его и смутило то обстоятельство, что Степан Огузов обращался к нему как к фронтовику, великодушно причисляя его к сонму проливавших кровь, — и это было не впервые, а всякий раз, когда Степан был хмелен, и сыт, и в добром настроении, — но еще Алеша понимал, что это оттого, что никакого другого собеседника, истинного фронтовика, рядом не оказывалось и Степан рассматривал Алексея Рыжова не как отдельно взятую личность, а обобщенно, в масштабе поколения, и в этом масштабе Рыжов был ему гораздо ближе, чем Улитин.

Кроме того, неприязнь к Улитину в душе самого Алексея была сейчас настолько сильна, что он без особых колебаний соглашался на эти допуски и пренебрегал некоторыми преувеличениями, неточностями, лишь бы чувствовать чью-то поддержку и иметь хоть с кем-нибудь союз против обидчика.

— Ну кто он такой? — продолжал разглагольствовать Степан. — Ему уж, поди, за сорок. Из него песок сыплется. Ему в собес пора занимать очередь — с крыльца, с улицы... А нам с тобою. Леха, только-только за дело браться. Мы и так, гляди, уже при всех постах, при всех ключах — и хоть посты наши маленькие, так ведь и мы не стареньки! — Степан опять расхохотался, довольный тем, что вышло складно.

Но Симче надоели мужицкие разговоры, эти хмельные и выпиренные речи супруга, и она решила уделить внимание госте:

— А вы, Лая, работаете где или дома по хозяйству?

— Я работаю. В парикмахерской при гостинице.

Серафима зорко и цепко разглядывала городскую барышню, которую привел в дом сосед, ее прическу и маникюр, нарядное платье и прозрачные шелковые чулки, ладный чемоданчик, все старалась изучить и перенять, авось сгодится, когда она счастливо разродится, и к ней вернутся красота и стройность, и она станет собой куда краше этой басули.

— Вы укладки делаете? Или это... я забыла слово... перманент?

— Нет, я мужской мастер.

— А детей стричь умеете?

— Умею, да.

Симча всплеснула ладонями в радости.

— А моих Вовку да Кольку не подстрижете? Им уж по два года, а еще ни разу не стрижены, заросли, как бирюки, глаз не видеть.

— С удовольствием,— улыбнулась Лайма.— Приведите их завтра, подстригу.

— А сейчас вы не можете? Чтоб не водить далеко, дом не бросать...— Серафима посмотрела опять на чемоданчик, угадав, что в нем парикмахерша носит инструмент.— Я разбужу. Они смиренные, не будут плакать, отцовской трепки побоятся...

— Ну давайте.

Лайма с едва уловимым вздохом поднялась, открыла чемоданчик, достала машинку и ножницы.

Алексей закручинился: теперь он вдвойне пожалел о том, что им не удалось избежать соседских глаз, проскользнуть незаметно к нему в комнату и запереться изнутри. Ведь он понимал, что Лайма очень устала после работы, настоялась за день над чужими лохмами, а тут опять стриги. Кроме того, он сознавал, что они напрасно тратят драгоценное время на этой кухне, провонявшей пивным кислым духом и рыбьей требухой, выслушивая проповеди хозяина и дошнрые расспросы хозяйки. Они могли бы куда приятней употребить эти минуты, запершись в его комнате,— ведь они еще ни разу не были вместе, и ожидание этого уединения истомило их.

Симча привела из комнаты Вовку да Кольку, ошалело моргающих спросонья, босых, голопузых. Усадила первого на табуретку.

Лайма зажала машинкой, повела от затылка к темени.

— Челочку оставить?

— Да уж оставьте,— умилилась Серафима.

Русые пряди мягко, неслышно и медленно, как снежные хлопья, опадали на пол. Они были по-детски светлее волос Степана и Серафимы, его, Алексея, волос и золотящихся волос Лаймы.

Алеша даже удивился тому, что они собрались тут все такие русые.

— Ничего, я потом венчиком,— сказала Симча.

Степан, долив стаканы вскрай, придвинулся тесней к Алеше.

— Ты, Леха, вообще учти: его бы надо поскрести маленько, Улитина, верхнюю-то шкурку снять с него, с этого Семена Ильича, да поглядеть, что под ней, под этой шкуркой... кто он и откуда.

— Он из Ленинграда. Но уже давно.

— Вот то-то и оно что давно,— подмигнул хитро Степан.— Вот и надо бы прощупать, что там у него, за той давностью, какой корень. А то здесь не больно разборчивы, кто да кто. Как в деревне у нас шутили насчет этого: всяк мордвин Иван Иванович, всяк чуваш Василь Иванович...

Алексей с опаской оглянулся на Лайму — не обидят ли ее такие выражения,— но она вряд ли слышала, уже достригая второго, спустила с табуретки, все.

— Спасибо вам, Лая,— поблагодарила Серафима.

— Хороши сыны, будто подменили! — воскликнул Степан, погладив обе ежастые макушки.— Хоть сейчас в солдаты, да вот рано. Ну, шагом марш в постель...— И, поднявшись во весь рост в своей голубой майке, поиграв блестящими влажными мышцами, пересел поближе к свету.— Ну, теперь меня: под полубокс, виски прямые...

Но Симча огрела его по затылку, не дав договорить, сильно, только зубы клацнули.

— Ах ты кобелина! Что, постом извелся? Мяконького, бабьих ручек захотелось? Вот я тебе сейчас выдам и бокс и полубокс... А ну пошел отсюда за малыши вдогон... пошел, кому велено!

Было даже странно видеть, как огромный мужичища, согнувшись пополам, безропотно и едва ль не на карачках пополз прочь, а Серафима погоняла его к двери затрепинами да пинками, приговаривая

— Бокс тебе, дурень шалый... ишь чего захотелось!

Эта семейная сцена дала возможность Алеше с Лаймой улизнуть из кухни.

Не зажигая света, они набрали впотьмах на тюфячок и повалились на него в нетерпеливой дрожи.

Он гадал, какой она окажется — пылкой, как порох, сгорающей мгновенно и дотла, но так же быстро загорающейся заново, как Клара, или искусной, требовательной, как Лариса Махнач, или же совсем неожиданной и новой, какой он еще не знал, да что там, не все ли равно, ведь дело было даже не в ней, а в нем самом, переполненном благодарной нежностью, которой так щедры к случаю люди, обиженные в своей любви.

Лайма, послушная его рукам, целовала торопливо и вскользь.

Как вдруг они замерли оба: в дверь постучали.

«Кто...» — хотел уж было спросить Алексей, но Лайма зажала ему рот ладонью и, приблизив губы к его уху, шепнула в отчаянье: — Молчи... не открывай.

Они лежали, сплетясь и оцепенев.

Стук повторился, негромкий, но настойчивый.

— Сейчас я спрошу... я скажу... — шепнул Алеша, поднимаясь с тюфячка и оправляя на себе то, что еще оставалось. Прокашлялся. — Сейчас... одну минуту...

Вышел.

В коридоре стояла Серафима, горбатясь спереди большим животом.

— Ну что? — срывающимся голосом спросил он. — Что надо?

— Пускай она уходит, Лая... нечего ей здесь.

— Как это — нечего? — не скрывая раздражения, но тихо, сдавленно возразил Алексей. — Ты же с ней честь честью познакомилась, воблой угощала, детей стричь заставила, попользовалась... а теперь — пусть уходит?

— Пусть уходит, — твердо повторила Симча. — Одно — в дом зайти, в гости, посидеть, как люди, то да се... а другое — ночевать. Ночевать не позволю.

— Но почему?

— Потому. Ночевать — грех, от ночевки вот что бывает. — Она тронула свой живот. — А если Краля вернется — что я ей скажу? С кого будет спрос? С меня: зачем пустила да зачем оставила... Как я оправдаюсь?

— Краля? — задохнулся от злости Алеша. — Да ты знаешь, что твоя Краля...

— Не моя она, а твоя. И знать я ничего не знаю. А этой не разрешу... А коли приспичило — идите вон в черемухи, в овраги.

Алексей, опасаясь, что сейчас не совладеет с собой и сорвется на крик (а это может испугать Лайму), взял Серафиму за локоток и повел ее на кухню, притворил за собою дверь плотней.

— Сима, ты все-таки женщина, и я не могу с тобой обсуждать подобные темы. Позови-ка Степана, я с ним потолкую, я ему объясню... тем более что он насчет всего в курсе.

— Степан дрыхнет, не добудисься... А про что он в курсе, про то и я. Муж да жена — одна сатана. Ну подумаешь, с Кралей вы поссорились — да ничего, помиритесь, как вернется, здесь же и помиритесь под одеялком... а Лаю не пущу, иначе с меня будет спрос.

— Да почему же с тебя? — не вынеся всей этой чуши, взорвался Алексей. — Да кто ты мне вообще? Нянька? Мамка? Ты мне просто соседка — и все. У вас две комнаты, у меня комната. У вас своя жизнь, у меня — своя... По какому праву ты среди ночи стучишься ко мне?

— Вона что! — в свой черед остервенела Симча и подперла кулачками бока, изготоясь к дальнейшим словопрениям. — Значит, просто соседи, у каждого свое... А что ты сюда ежедень разных лахудр водишь — то одну, то другую — это чье? В доме детишки малые,

двое, а скоро еще, а он на детских-то глазах что вытворяет — бардак развел!..

Далеко и приглушенно щелкнул замок.

Он, вздрогнув, бросился из кухни в коридор, подбежал к своей двери, распахнул, нашарил выключатель, зажег свет: комната была пуста, серый тюфячок распластан на полу, а на нем — нет, не как игривый знак и не как обещанье, а скорей как вызов — валялся измятый батистовый платочек с кружевами.

Но чемоданчик Лайма не забыла, унесла с собой, ведь завтра ей с утра пораньше на работу.

А сейчас, в ночи, — он вообразил и ужаснулся — ей предстояло идти домой по затихшим улицам, по темным переулкам, по укачливым мосткам на сваях, среди зарослей, над безднами оврагов, по лестнице, одолевавшей крутизну, — в Париж.

Одеться, догнать? Проводить и вернуться?

Но чутье подсказало Алексею, что этого делать сейчас не следует. Ибо, догнав, он рисковал выслушать от нее такое, после чего все дальнейшие разговоры оказались бы излишними и их следующая встреча могла бы вообще не состояться.

Нет, не нужно, понял он, лучше завтра.

Почувствовал, как за спиной возникла Серафима, заговорила увещающим голоском:

— Ушла? Ну вот и ладно — значит, понятливей тебя.

— Да иди ты... — огрызнулся он.

Лег. Пытаясь уснуть, поднес к ноздрям — как тампон с наркотиком — батистовый платочек, пахнувший сильными духами.

Но где там, сон не шел. И не потому, что распаленное тело не желало и не могло найти покоя. А по той, очевидной причине, что мозги были встревожены словами, сорвавшимися в пылу ссоры с языка Серафимы: «А если Краля вернется — что я ей скажу?.. Ну подумаешь, с Кралей поссорились — ничего, помиритесь...»

Нет, Алексея отнюдь не потрясло само ее предположение о том, что Клара вернется, пожалуй что и вернется: срежется на экзамене, спать надевает ошибок в диктанте или сочинении, по три ошибки в каждом слове, тщетно будет искать себя в списках принятых, загорюет, обозлится, заберет документы, купит билет на поезд, пересядет в Котласе на пароход, еще три дня — и, склонив покаянную голову, пряча ото всех глаза, сойдет на пристань...

Наверное, так и будет, а чему быть, того не миновать. И тут Серафима права в своих предположениях.

Но как же она — неотесанная дура, деревенщина — могла подумать, что он, Алексей Рыжов, захочет мириться с Klarой после всего, что стряслось, после всего, что он узнал и узнали все?

Простить? Да никогда. Ни за что.

Но тотчас его пронзил другой вопрос — внезапный и столь прямой, что от него уже нельзя было уклониться, не дав ответа хотя бы себе самому: так что же его удерживает здесь, в Городе-на-Реке? В городе, куда его занесла нелепая случайность, завело опрометчивое любопытство. В этом городе, где его на первых порах обласкали, чтобы потом уязвить и обидеть побольнее. В городе, из которого он однажды уже утек благополучно — и даже позабыл о его существовании, выкинул его из памяти (с глаз долой — из сердца вон), но опять вернулся, влекомый, как недугом, неизъяснимым и вздорным тяготением...

Что же ему мешает уехать теперь? Что приковывает его к этим недоброй славы местам сейчас, да-да, сейчас, вот именно сейчас?

Крыша над головой, комната, в которой до сих пор нет мебели, эта первая в его жизни собственная комната, — но велико ли обретение, если даже в этой пустой комнате он не вправе чувствовать себя хозяином и ему только что доказали это с предельной ясно-

стью, изгнав отсюда его гостью?.. Так на кой черт ему сдалась эта комната?

Работа... Но и с этой работой, которой он, надо признаться, дорожил и гордился, с этой работой тоже все пошло прахом. Его перевели в отдел писем, обставив это — другим в назидание — с особой и зловещей наглядностью, будто ссылали в монастырь за ослушание и крамолу. И сегодня Улитин демонстративно задернул перед его носом шторы своей карты, тем давая понять, что все, что поездок больше не будет, что ничего ты больше не увидишь, мальчик, кроме штемпелей на почтовых конвертах у Ладановой, вот и посиди на месте, сиди сиднем, сиди, где сидишь.

А еще раньше, когда он вернулся из Вотчи, редактор, обозлясь, позвонил в бухгалтерию и велел вычесть подотчетные деньги из его зарплаты, потому что, добавил язвительно, никаких других заработков у сотрудника Рыжова не предвидится, — так что и здесь не осталось ни надежд, ни соблазнов.

Ну так что же теперь удерживает его в Городе-на-Реке? Почему нынче днем после долгих и бесплодных объяснений с Улитиним он не ушел, хлопнув дверью погромче, так, чтобы с потолка осыпалась штукатурка, и тем доказав, что наплевать, что идите вы туда-то и туда-то, — почему он не хлопнул дверью так же решительно и зло, как только что это сделала Лайма, когда ее вознамерились обидеть?

Почему он валяется сейчас на этом слезавшемся и пыльном тюфячке, вместо того чтобы собирать чемоданы, точнее один чемодан, с которым он сюда приехал?..

Таковы были вопросы, которые он сам себе задал.

И как ни тщился он уйти от ответа, слукавить, обмануть и утешить самого себя, ответ был определен и ясен: да, он ждал здесь Клару, дожидался ее возвращения из Москвы и потому сам не мог покинуть этот город, куда она должна была вернуться.

Но если он ждал ее, то, значит, готов был ей все простить? Все, что произошло, независимо даже от того, произошло или нет, ведь все равно в подобных делах никогда и ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть. И пускай их встреча сорвалась бы с первых же слов на ссору, на брань хуже той, что только что случилась на кухне, перешла во взаимные уличения, в ложь, которой защищаются от лжи, и пусть тут сыграет свою роль доносчицы и ябеды Серафима, пусть тут будет хоть драка с тасканьем за волосы, с пощечинами и плевками в глаза, пусть встревоженные соседи стучатся в стены, пусть милицию зовут, пусть все это разразится грозой небесной, и выплеснется, и отбушует, и отлетит, и сменится обессиленной тишиной — и тогда они помирятся.

Потому что им не прожить друг без друга. Потому что он не мог обойтись без Клары — ведь он любил ее.

И поняв все это, Алексей нашарил в ногах байковое одеяло, натянул его на голову, укрылся и заплакал, уткнув лицо в подушку, сморкаясь в батистовый платочек Лаймы.

(Окончание следует)



МАРК ЛИСЯНСКИЙ



Посвящение

...Как дай вам бог любимой быть другим.

А. Пушкин

Я посвящаю вам стихи,
В них ваша юность не воспета,
В них лишь туманные штрихи
Незавершенного портрета.

В них заштрихованный намек,
И необдуманный мазок
То синей краской, то зеленой,
И неожиданный итог
Моей любви неразделенной.

Но по законам красоты
Вдруг проступают из тумана
Неизгладимые черты
Обожествленного обмана.

И плена сладостнее нет,
И в мире нет искусства тоньше,
Чем неоконченный портрет,
Который кто-нибудь закончит.

После больницы

Березы белые какие!
Как липы стройные легки!
Как четко веточки нагие
На поднебесный холст легли!

Какие призрачные тени
И как прозрачны тополя!
Как пахнет небом предосенним
Уже осенняя земля!

Как шелестят сухие листья
В незатухающем огне
И как великолепны лица
Людей, встречающихся мне!

В чем жизни смысл

Я прожил много лет,
Порой не сплю ночами...
В чем жизни смысл?
В ответ
Иной пожмет плечами.

Прочел за томом том,
 Пора ума набраться.
 В чем жизни смысл?
 А в том,
 Чтоб жизни удивляться.

Еще одно «увы»

Я в жизни, признаться, беспечен,
 Хандра никогда не берет.
 Советами я обеспечен
 На тысячелетье вперед.

Товарищей дальних и близких,
 Друзей, не считая врагов,
 Имею, скажу не без риска,
 На множество лет и веков.

Высокий мой лоб не отмечен
 Заботой о завтрашнем дне.
 Приветам я обеспечен,
 Особенно в праздник, вполне.

Мне дороги эти подарки,
 Обязан я дружбою им.
 Пишу без единой помарки
 Об этом друзьям дорогим.

Не беды ложатся на плечи,
 Ложатся на плечи года.
 Билетами я обеспечен,
 Поверьте, на все поезда.

Судьбу измеряю работой,
 Живу, не склонив головы,
 Но мне не хватает чего-то
 Для полного счастья, увы!

.

Давно я песен не пишу,
 Хотя стихам не изменяю,
 Другими ветрами дышу
 И о другой любви мечтаю.

Иду дорогою иной,
 Во мне иное слово зреет,
 Но слава прежняя со мной,
 А слава тоже ведь стареет.

Ту песню, что была в бою,
 Теперь все реже запеваю.
 Чужие песни я пою,
 Хотя свои не забываю.

А все же я сказать рискну:
 Хочу, пред тем как рухнуть в бездну,
 Сложить еще хотя б одну,
 Одну-единственную песню.

И я молчал

И я молчал, когда расправу
Над ним, над совестью земной,
Презрев заслуженную славу,
Вершили, словно надо мной.

Молчали окна, двери, стены,
Молчал ошеломленный зал,
Когда у края судной сцены,
Как перед бездной, он стоял.

Он возвышался над судьбою,
Поверх барьеров и молвы,
Над всеми нами, над собою
Сияньем белой головы.

В немой кладбищенской печали,
Как будто у своих начал,
Деревья горестно молчали,
Земля и небо. Бог молчал.

Легло на плечи наши бремя,
Его не сбросили года.
Такое было это время,
Такими были мы тогда.

Мое желание

Я так хочу, чтобы меня прочли
Те, кто меня еще не прочитали.
У всех свои заботы и печали,
А я мечтаю, чтоб мои учли.

Надеюсь, не сочтут за тяжкий труд,
Надеюсь, равнодушие нарушу.
Я верю, что не зря они прочтут
Стихи, которым отдаю всю душу.

Всю жизнь незаменимую мою,
Всю правоту отца, всю мудрость деда,
Все то, что мной потеряно в бою,
И все, что мне преподнесла победа.

Все травы и цветы родной земли
И все ее надежды и печали...
Я так хочу, чтобы меня прочли
Те, кто меня еще не прочитали.



ДЖОН АПДАЙК

★

КРОЛИК РАЗБОГАТЕЛ*

Роман

В постели Дженнис говорит:

- Гарри!
- Что? — После того как пробежишься, ощущение такое, точно из тебя вытянули все мускулы и заново их уложили, и сон приходит быстро.
- Я должна тебе кое в чем признаться.
- Ты снова спишь с Чарли.
- Не хами. Нет. Ты не заметил, что «Мустанга» нет, как обычно, перед домом?
- Заметил. Я подумал: как это мило.
- Это Нельсон поставил его сзади, в проулке. Нам, право же, надо как-нибудь почистить в гараже — там столько этих старых велосипедов, которыми никто не пользуется. Да и «фудзи» Мелани по-прежнему там.
- О'кей, прекрасно. Прекрасно, что Нельсон об этом подумал. Послушай, ты что же, собираешься всю ночь разговаривать или как? Я совсем выдохся.
- Он поставил там машину, чтобы ты не увидел переднего крыла.
- Ох нет! Вот сукин сын! Вот сучонок!
- Он, в общем-то, не виноват — тот человек ехал прямо на него, хотя, насколько я понимаю, на улице, по которой ехал Нельсон, горел красный свет.
- О господи!
- По счастью, оба изо всех сил затормозили, так что стукнулись совсем легонько.
- А другой малый пострадал?
- Ну, он сказал, что у него сотрясение мозга, но теперь все так говорят, пока не потолкнут со своим адвокатом.
- А крыло смято?
- Ну, немного вдавлено. Передняя фара светит чуточку вкось. Днем это не имеет значения. В общем-то, это, можно сказать, лишь царапина.
- Стоимостью в пятьсот монет. По крайней мере. Таинственный незнакомец, специалист по раскопчиванию крыльев, нанес нам новый удар.
- Нельсон был просто в ужасе — так боялся тебе сказать. Он взял с меня слово, что и я не скажу, так что, пожалуйста, никаких с ним объяснений.
- Нет? Тогда зачем же ты мне это говоришь? И как я теперь усну? Голова у меня так и гудит. Точно он зажал ее в тиски.
- Я просто не хотела, чтобы ты сам это заметил и устроил сцену. Прощу тебя, Гарри. Положди хотя бы до свадьбы. Ему, право же, очень стыдно.
- Да ни черта подобного — ему это нравится. Зажал мне голову в тиски и знай завинчивает гайки. Испортить твою машину — после того как ты для него так вылаживалась, нечего сказать, хороша благодарность.
- Гарри, он же накануне женитьбы, он просто невменяем.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 9—10.

— Ну а теперь я, черт побери, невменяем. Где моя одежда? Я должен выйти и посмотреть, что там повреждено. Этот фонарик, что на кухне,— в него наконец вставили новые батарейки?

— Н^иаль, что я тебе сказала. Нельсон был прав. Он говорил, что ты не сможешь это вынести.

— Ах, он так сказал?..

— Да успокойся ты. Я сама заполню бланки страховок и займусь всем прочим.

— А кто, ты думаешь, выплачивает эти все растущие проценты по страховке?

— Мы,— говорит она.— Мы оба.

Епископальная церковь святого Иоанна в Маунт-Джадже маленькая: ее ни разу не расширяли; построена она была в 1912 году в стиле того времени — низкая, с крутоскатной крышей из темно-серого камня, привезенного с севера округа, тогда как лютеранская церковь — из местного красного песчаника, а реформистская, рядом с пожарной каланчой,— из кирпича. Плющу дали увить стрельчатые окна церкви святого Иоанна. Внутри темно еще и от скамей и панелей темного ореха, которыми обшиты стены; в простенках между окнами с витражами, изображающими Иисуса Христа в фиолетовых одеждах за разными занятиями,— маленькие дощечки в память об именитых покойниках, щедро жертвовавших на церковь в те дни, когда Маунт-Джадж обещал стать модным пригородом. УАЙТЛОУ. СТОВЕР. ЛЕГГЕТТ. Носители английских фамилий в населенном немцами округе, которые, прослужив тридцать лет церковными старостами и членами приходского совета, отошли в мир иной, чтобы и там задавать тон. Старик Спрингер тоже внес свою толику, но к тому времени, когда он туда отбыл, все простенки были уже заняты.

Хотя свадьба скромная и невеста — дочь рабочего из Огайо, однако со стороны маленькая группка, собравшаяся около четырех часов в этот сентябрьский день 22 числа на паперти у красновато-ржавых дверей, выглядит пестрой и оживленной. Тому или тем, кто проезжал этим субботним днем мимо по пути на рынок или в скобяную лавку, наверняка захотелось быть среди пригласенных. Органист, подхватив свое красное одеяние, нырнул в боковую дверь. У него борodka клинышком. Маленький заскорузлый мужичонка в зеленом комбинезоне — настоящий тролль — дожидается Гарри, чтобы получить за цветы — мамаша Спрингер сказала, что приличия требуют украсить хотя бы алтарь: Фред умер бы, если бы увидел, что Нелли венчают у святого Иоанна, не украсив алтарь. Два букета белых хризантем и перекати-поля обходятся в 38,50 доллара, Кролик расплачивается двумя двадцатками — плохой это признак, когда банки начинают выдавать двадцатки вместо десятков, однако двухдолларовая бумажка пока еще не привилась. Люди суеверны. Вот ведь не собирались устраивать настоящую свадьбу, а во сколько она обходится. Пришлось снять три номера в мотеле «Четыре времени года», что на шоссе 422: один для матери невесты, миссис Лубелл, маленькой испуганной женщины, которая, видно, считает, что надо все время улыбаться, иначе они все на нее накинута; другой номер — для Мелани, которая приехала с миссис Лубелл из Акрона на автобусе, и для Пру, которую временно выселили из ее комнаты, где раньше обитала Мелани, а до нее манекен, и поместили там прибывшую из Невады Мим, хотя Бесси и Дженис совсем не хотели иметь ее в доме, но Гарри настоял: она ведь его единственная сестра и единственная тетка Нельсона; третий номер — для этой пары из Вингхемптона, тети и дяди Пру, которые должны приехать сегодня, но в половине четвертого, когда Гарри, перевозивший гостей в своей «Короне», заехал за двумя молодыми женщинами и матерью Пру, чтобы везти их в церковь, еще не прибыли. Голова у него гудит. Эта мать Пру раздражает его — она так долго удерживала на лице улыбку, что та высохла, точно цветок между страницами книги: она производит впечатление человека другого, чем он, поколения — точно старая газета, которую, наводя порядок в доме, вытащили из комода со дна ящика и пытаются прочесть; должно быть, Пру унаследовала свою внешность от отца. В мотеле мать Пру все время волновалась, что запаздывавшие брат и невестка не поймут записки, оставленной у портье, и распла-

калась, так что улыбка у нее размокла и слиняла. Ящик второсортного шампанского марки «Мумм» ожидает их в кухне на Джозеф-стрит, где они потом ненадолго соберутся все вместе — приемом это не назовешь; Дженис и ее мамаша решили, что закуску надо заказать у внука Грейс Штул, который заодно привезет и свою подружку, чтобы она помогла обслуживать. А кроме того они заказали свадебный торт у одного итальянши на Одиннадцатой улице, который взял за него сто восемьдесят пять американских долларов — это за торт-то... Гарри просто не мог такому поверить. Всякий раз, как дело касается Нельсона, раскошеляйся, папаша.

Гарри стоит некоторое время под высоким ребристым сводом пустой церкви, читает таблички, слышит, как хихикает Манная Каша, приветствуя трех припараженных женщин в боковой комнате, одном из этих скрытых от глаз помещений, где переодевается хор и старосты пересчитывают пожертвования и где хранят вино для причастия, чтобы прислужники не могли его выпить, и вообще готовят весь бредовый спектакль. Шафером был назначен Билли Фоснахт, но он уехал в Тафтс, поэтому их приятель из «Берлоги» по прозвищу Тоший стоит с гвоздикой в петлице, дожидаясь, когда начнут прибывать приглашенные. Почувствовав себя неудобно под взглядом раскосых глаз парня, Кролик выходит на улицу постоять у церковных дверей...

Стоя на свежем воздухе, в этом мирном уголке, он вдруг понимает, что ему придется приветствовать гостей, а они начинают прибывать. Величественный темно-синий «крайслер» мамыши Спрингер подкатывает к церкви, шелестя шинами, и три сидящих в нем старухи хватаются за ручки дверец, стремясь побыстрее выбраться наружу. У Грейс Штул немного сбоку на подбородке бородавка, тем не менее она не забывает демонстрировать ямочки на щеках.

— Могу поклясться, что, кроме Бесси, я тут единственная, кто был и на вашей свадьбе, — сообщает она Гарри на паперти.

— Я не уверен, что был там сам, — говорит он. — И как же я себя вел?

— С большим достоинством. Больно уж высокий муж у Дженис, говорили мы все.

— А все так же хорош. — добавляет Эми Герингер, наиболее приземистая из трех матрон. Лицо ее расцветено румянами и потеками тона, напоминающего оранжевую заправку для салата. Больно ткнув его в живот, она острит: — Даже кое-что прибавил.

— Пытаюсь от этого избавиться, — говорит он, точно обязан ей отчетом. — Почти каждый вечер бегаю. Верно, Бесси?

— Ох, это меня так пугает, — говорит Бесси. — После того, что случилось с Фредом. А ведь у него, вы же знаете, ни унции лишнего веса не было.

— Не пережимай, Гарри, — говорит Уэбб Мэркетт, поднимаясь по ступенькам следом за Синди. — Говорят, если бегать, можно повредить стенки кишечника. Вся кровь ведь приливает к легким.

— Эй, Уэбб, — волнуясь, говорит Гарри. — ты ведь знаком с моей тещей.

— Рад вас видеть, — говорит Уэбб, знакомясь с окружающими. Синди в черном шелковом платье, что делает ее похожей на молодую вдову. Стать бы ей вдовой, господи! Волосы у нее распущены феном, поэтому голова уже не кажется такой маленькой, как у морской выдры, что очень нравится Гарри. Острый глубокий вырез платья скреплен на груди брошью в виде шмеля.

А подружки Бесси настолько заворожены галантным Уэббом, что Гарри вынужден напомнить им:

— Заходите в церковь, там молодой человек проведет вас на ваши места.

— Я хочу сидеть впереди, — говорит Эми Герингер. — чтобы хорошенько разглядеть этого молодого священника, которым прямо бредит Бесси.

— Боюсь, гольф у нас на сегодня пропал, — извиняющимся тоном говорит Гарри Уэббу.

— О-о, — говорит Синди, — Уэбб уже свои восемнадцать забил: он приехал туда в половине девятого.

— А кто играл вместо меня? — ревниво спрашивает Гарри, не разрешая взгляду слишком долго задерживаться на загорелой груди Синди, обнаженной глубоким вырезом... Маленький крестик подтянут повыше, под самую волнующую ямочку между ключицами. Ух, конфетка!

— Тот молодой адъюнкт-профессор был с нами, — признается Уэбб.

Гарри обиделся, но уже надо приветствовать Фоснахтов, которые теснят-ся сзади. Дженис не хотела их приглашать, особенно поскольку они решили не приглашать Гаррисонов, — и так много народу. Но Нельсон хотел, чтобы шафером был Билли Фоснахт, и Гарри понял, что у них нет выбора, хотя Пегги и сильно сдала — правда, женщину, которая когда-то раздевалась перед тобой, всегда окружает ореол, как бы печально в этом все ни кончилось. Какого черта, это же свадьба, и Гарри нагибается и целует Пегги в уголок большого влажного жадного рта, который ему так знаком. На ее расплывшемся лице отражается испуг. Она вскидывает на него глаза, но поскольку они косят, он никогда не знает, на который надо смотреть, чтобы понять ее чувства.

Рука Олли, вялая и костлявая, робко пожимает ему руку — робкий маленький неудачник: и уши стоят торчком, и волосы цвета грязной соломы. Гарри слегка сжимает костяшки, сдавливая ему руку...

А вот и Чарли.

— Пришел на слияние фирм, — шутит Гарри.

Чарли хрюкает, слегка передергивает плечами. Он знает, что этот брак обернется против него. Но есть в нем запас сил, некая защитная философия, которая не дает ему удариться в панику.

— Ты видел подружку невесты? — спрашивает его Гарри, имея в виду Мелани.

— Нет еще.

— Они втроем отправились вчера вечером в Вруэр и, если судить по Нельсону, написали до положения риз. Как тебе нравится такое поведение накануне свадьбы?

Чарли медленно наклоняет голову к плечу — он-де не верит, но из вежливости препираться не станет. Однако удержать степенность ему не удастся — Мим в брючном костюме зеленоватого цвета, с оборочками, подскакивает к нему сзади, обхватывает за талию и не отпускает. Лицо Чарли искажается от испуга, а Мим, чтобы он не догадался, кто это, прижимается лицом к его спине, так что Гарри боится, как бы вся ее косметика не осталась на клетчатом костюме Чарли. Мим теперь в любой час дня или ночи раскрашена точно для выступления на сцене — каждый оттенок краски, каждый локон тщательно продуман, но, право же, все краски и кремы мира косметики не способны сделать упругой кожу, а обводить глаза черным может быть, хорошо для этих зеленых девчонок, что ходят в дискотеку, но когда женщине за сорок, это просто придает ей затравленный вид, глаза таращатся, словно пойманные петлей лассо...

— Господи! — бормочет Чарли, глядя на сцепленные на его груди руки с малиновыми, длинными, как ноги кузнечика, ногтями, но не в состоянии быстро перебраться в уме всех женщин, которых он знает.

Стесняясь за нее, волнуясь за него, Гарри просит:

— Да перестань, Мим.

А она не отпускает; ее раскрашенное, с длинным носом лицо искажено и перекошено от старания удержать Чарли.

— Попался! — говорит она. — Греческий сердцеед. Разыскивается за перевоз несовершеннолетних через границу штата и подтасовку при продаже подержанных машин. Надевай на него кандалы, Гарри.

Вместо этого Гарри берет ее за запястья, чувствуя под пальцами браслеты, которые он боится сломать — на тысячи долларов золота на ее костях, — и разводит ей руки, крепко упершись всем телом в пол, в то время как Чарли, с каждой секундой все больше мрачневший, распрямляется, держась за свое слабое сердце. Мим жилистая, всегда была такой. Как только ее удалось оттянуть наконец от Чарли, она тотчас принимается охорашиваться, поправляет прическу, костюм, укладывает на место каждый волосок и каждую оборочку.

— Решил, что это оборотень на тебя напал, да, Чарли? — смеется она.

— Не подержанных, а ранее принадлежавших кому-то, — поправляет ее Чарли, одергивая рукава пиджака, чтобы привести себя в пристойный вид. — Теперь никто их не называет подержанными.

— У нас на Западе мы называем их развалюхами.

— Ш-ш-ш,— молит ее Гарри.— Там, внутри, могут услышать. Свадьба ведь вот-вот начнется.

Все еще возбужденная борьбой с Чарли, Мим решает поддразнить брата, ставшего таким ревнителем приличий, обвивает руками его шею и крепко прижимает к себе. Оборочки и складочки на ее нарядном костюме трещат, придавленные его грудью...

Тем временем Чарли ускользает в церковь. Закрытые веки Мим блестят на солнце точно жирные следы столкнувшихся машин — Гарри часто попадают на шоссе темные клубки резины и покореженный металл, отмечающие то место, где с кем-то вдруг случилось что-то невообразимое. И тем не менее дневной поток транспорта продолжает течь... Гарри видит, как блестят веки Мим — будто спинки японских жуков, которые обычно собирались по несколько штук на больших пожухлых листьях виноградной лозы за домом Болджеров. Видит он и то, как вытянулись мочки ее ушей под тяжестью серег и как дрожат ее оборочки от прерывистого дыхания, как она с трудом переводит дух после своих дурачеств. Он видит, что разгульная жизнь и ночные бдения уже превращают ее в жалкую старуху, когда глядишь на такую женщину, и не веришь, что ее когда-либо могли любить,— спасает Мим лишь хороший, как у мамы, костюм лица. Гарри медлит, все еще не решаясь войти в церковь. Городок спускается от нее вниз, словно лестница, широкими ступенями крыш и стен, этакая рухлядь, где умерло уже столько американцев.

Он слышит, как открылась боковая дверь, куда нырнул органист, и заглядывает за угол — а вдруг это Дженис разыскивает его. Но из церкви выходит Нельсон, Нельсон в своей кремовой, купленной к свадьбе тройке с зауженной талией и широкими лацканами; кажется, что костюм ему велик, возможно, потому, что брюки почти совсем закрывают задники его туфель.

Всякий раз как Гарри неожиданно видит сына, ему становится стыдно. Он уже раскрывает рот, чтобы окликнуть мальчишку, но тот не смотрит в его сторону, он словно нюхает воздух, смотрит на траву и вниз, на дома Маунт-Джалжа, а потом в другую сторону — вверх, на небо у гребня горы. «Беги!» — хочется крикнуть Гарри, но ни единого звука не слетает с его губ, он лишь сильнее чувствует резкий запах духов Мим, когда втягивает в себя воздух. А малыш, не зная, что его видели, тихонько закрывает за собой дверь.

За распахнутыми красновато-ржавыми дверями церковь погружается в тишину, готовясь к вековечному действию. И мир тогда расколется на тот, где небольшая группа людей будет праздновать, и на весь остальной, широкий субботний мир счастливых, мир будней, занятый повседневным трудом. Кролик с детства не любил церемоний. Он берет Мим за локоть, чтобы вести ее в церковь, и тут поверх ее стеклянню-застывших под пленкой лака взбитых волос видит, как грязный, старый «форд-универсал» с низкой посадкой и хромированным багажником на крыше, надстроенным грубо сколоченными зелеными досками, медленно едет по улице. Гарри не успевает разглядеть пассажиров, лишь замечает толстое злое лицо в заднем окне. Толстое, мужеподобное лицо, однако лицо женщины.

— Что случилось? — спрашивает Мим.

— Не знаю. Ничего.

— У тебя такой вид, точно ты увидел привидение.

— Волнуюсь я за малыша. Вот ты — как ты ко всему этому относишься?

— Я? Тетушка Мин? На мой взгляд, все в порядке. Цыпка возьмет бразды правления в свои руки.

— А это хорошо?

— На какое-то время. Ты не должен вмешиваться, Гарри. У мальчика своя жизнь, а у тебя — своя.

— Вот и я все время себе это твержу. Но я словно с чем-то не сладил.

Они входят в церковь. Далеко впереди маячит жалкая горстка голов. Тайнственный раскосый Тоший — галантно, точно ему за это платят, — ведет Мим по проходу ко второму ряду и изящным вкрадчивым жестом сначала указывает Гарри его место рядом с Дженис. Оно свободно. По другую сторону Дженис сидит мать невесты. Миссис Лубелл какая-то вся блеклая: она, как и дочь, рыжая,

но от частого мытья волосы у нее утратили яркость, лежат бесцветными колечками, да и ростом она не вышла — не то что Пру, — и нет у нее этой приятной глазу стройности... Мим посадили в один ряд с мамашей Спрингер и ее старыми курицами. Ставрос сидит с Мэркеттами в третьем ряду — он хоть может заглядывать Синди в вырез платья, когда ему станет скучно... Словно нарочно эти разгильдяи Фоснахты уселись — а может быть, их посадили — через проход, где должны были бы сидеть родственники невесты, явись они в достаточном количестве, и сейчас шепотом препираются: Пегги отчаянно шипит, а Олли, стойчески глядя перед собой, что-то буркает ей в ответ. Органист пробегает пальцами по клавишам, исполняя какую-то фугу, чтобы дать всем возможность покашлять и вытянуть ноги... Слева от алтаря в стене открывается одна из больших панелей с закругленным верхом — словно потайная дверь в фильме ужасов, — и оттуда выходит Арчи Кэмпбелл в черной сутане и белом стихаре...

За ним следует Нельсон, свесив голову, не глядя ни на кого.

Тощий скользит по проходу, гибкий, как кот, и становится рядом с ним. В свободное от работы время он, наверно, занимается грабежами. Он на добрых шесть дюймов выше Нельсона. У обоих короткая стрижка под панков. На затылке у Нельсона хохолок, так хорошо знакомый Гарри, что у него вдруг свербит в горле, словно туда что-то попало.

Злобный шепот Пегги наконец замирает. Орган все это время безмолствовал. Приподняв пухлые руки, Манная Каша просит их всех встать. Под этот шорох Мелани выводит Пру из боковой комнаты с другой стороны... Беременность, о которой все догадываются, лишь подчеркивает ее красоту. На ней длинное, до щиколоток креповое платье цвета овса — по словам мамы Спрингер, а по словам Дженис и Мелани — цвета шампанского, с коричневым поясом, который решили не надевать, иначе ей пришлось бы слишком высоко его завязывать. Должно быть, это Мелани сплела веночек из полевых цветов, уже тронутых увяданием, который словно корона украшает голову невесты. У нее нет ни шлейфа, ни фаты — ничто не прикрывает ее, кроме природной гордости. Опущенное лицо Пру с поджатыми губами горит; ее морковно-красные волосы гладко зачесаны назад, обнажая нежные раковины ушей с продетыми в них крошечными золотыми колечками; глаза, когда она поднимает их на Нельсона, а потом на священника, излучают зеленый свет. Гарри достаточно было бы протянуть руку, чтобы ее задержать, но она проходит мимо, не глядя на него. Мелани же смеющимися глазами смотрит на старших; в длинных, с красными костяшками пальцах Пру дрожит букетик белых цветов. Вот она остановилась перед священником торжественно серьезная и величественно медлительная — женщина, которая несет в чреве дитя.

Манная Каша обращается к ним — «дорогие брачующиеся». Голос у этого человека звучит как труба — Гарри заметил это еще дома, но здесь, в почти пустой церкви, эхом отдаваясь от балясин орехового дерева и дощечек с именами усопших и от уходящих ввысь изогнутых стропил, он звучит под большим центральным окном с изображением Христа, отбывающего на небо со стартовой площадки в виде группы апостолов в одеяниях пастельных тонов, — вдвое сильнее, богаче, с какой-то мягкой грустью, которой Кролик раньше в нем не замечал, сплачивая прихожан в единую паству, заглушая опасения, что эта церемония — всего лишь фарс. Можно сколько угодно смеяться над священниками, но есть у них слова, которые нам так нужны, слова, изреченные теми, кого уже нет... Гарри слышит сзади легкое покряхтыванье: мамаша Спрингер устала слишком долго стоять. По другую сторону Дженис миссис Лубелл достала из сумочки грязный на вид платок и прикладывает его к лицу. А Дженис улыбается...

Голос Манной Каши, звеня, возносится к стропилам:

— Если кто-то из вас может привести вескую причину, мешающую этой паре сочетаться законным браком, — говорите сейчас, а потом уже не нарушайте мира.

Мир. Скрипнула скамья. Это пара из Бингхемптона. Мертвый Фред Спрингер. Рут. Кролик борется с дурацким желанием закричать. В горле у него саднит...

Теперь спрашивают Пру. Тонюсеньким голоском она отвечает — да.

Теперь вопрос к Нельсону, и у его отца пропадает желание закричать, разыграть из себя эдакого злого клоуна — у него начинает щекотать в носу, в двух маленьких протоках что-то набухает.

— Утверди обручение их в вере и единомыслии и истине и любви... оставит человек отца и мать и прилепится к жене.

Нельсон не так звучно, как Манная Каша, и не так жалобно, как Пру, говорит — да...

Теперь Нельсон и девчонка стоят молча, в то время как остальные быстро листают пухлые красные новенькие молитвенники, отыскивая по названию и номеру нужный псалом, а Манная Каша гремит: «Жена... плодоносящая лоза» — перекрывая хор разрозненных голосов, среди которых не слышно голоса Кролика, так как он плачет, плачет, заливая слова, вымывая страницу, которая становится такой же белой и чистой, как тонкая сзади шея несчастного, стоящего мяча Нельсона. Дженис с веселым изумлением смотрит на мужа из-под своей белой шляпы, а миссис Лубелл с грустной улыбкой женщины, которая приходит прибираться, передает ему свой грязный носовой платок. Он трясет головой — нет, он же крупный мужчина, для него такой платок мал; потом все-таки берет его, пытаясь остановить хлынувшие потоком слезы...

На улице, когда все уже завершено, и на пальцы надеты кольца, и все клятвы произнесены дрожащими молодыми голосами под пестрым, как пасхальное яйцо, взлетом Христа в космос, и молитва господу богу вознесена, и бледная пара, обменявшись положенным поцелуем (бедняга Нелли, что бы ему вырасти еще хоть на дюйм) и, теперь уже по всем правилам таинства, став частицей их общей плоти, их племени, поворачивается к ним лицом под нездоровым послеполуденным небом, в котором ветер, дышащий вечером, нагнал облака, нелепые слезы длинными полосами высыхают на лице Гарри, и его уже снова обнимает Мим, обнимает как сестра, и перед ним встают все семейные горести, какие они пережили с той поры, когда он держал ее крошечную ручонку: будущее сумрачной громадой навалилось на них, его единственный отпрыск женился, а Мим скорей всего никогда не узнает этого повседневного бремени — тощая, похрустывающая сейчас в его объятиях, она так и останется старой девой: ведь и женщина легкомысленная может остаться старой девой; подумать, чего только ей не пришлось вытерпеть за эти годы, его маленькой сестренке, которая по его примеру плачет сейчас здесь, на воздухе, где слезы быстро высыхают, а вокруг мелькают улыбки вышедших из церкви, словно бабочки, которые рождаются, чтобы прожить один день.

Ах, этот день, этот праздник, в который они превратили прозаичную субботу, последний день лета. А какую уйму горячего они переводят, когда вереница машин спускается под гору по улочкам городка к дому мамы Спрингер...

— Отчего ты так расплакался? — спрашивает его Дженис. Она сняла шляпу и сейчас причесывает челку, глядя в зеркальце заднего обзора.

— Не знаю. От всего. От того, как выглядел Нелли со спины...

Она говорит:

— Если ты такой слезливый, мог бы не чинить ему препятствий в магазине.

— Да я не чиню. Ему же плевать на магазин — он просто хочет болтаться тут при тебе и твоей матушке, чтобы вы квохтали вокруг него, а легче всего устроить себе такую жизнь, если топтаться в магазине. Знаешь, во сколько эта его причуда со спортивными машинами обошлась фирме? Догадайся.

— Он говорит, ты так его расстроил, что он просто рехнулся. Он говорит, ты нарочно его завел.

— Четыре с половиной тысячи монет — вот сколько стоили эти дерьмовые коробки. Да плюс еще запасные части, которые Мэнни пришлось заказать, да стоимость гаража, где они простоят, пока их будут чинить, — это еще добавь тысячу.

— Нельсон сказал, что «Триумф» продали тут же.

— Это была счастливая случайность. Теперь ведь «Триумфов» больше не выпускают.

— Он говорит, «тоёты» исчерпали свой рынок. По всему восточному побережью теперь больше покупают «дацуны» и «хонды».

— Вот видишь, потому-то мы с Чарли и не хотим брать парня в магазин. Все не по нем.

— Разве Чарли сказал, что не хочет видеть Нельсона в магазине?

— Ну, не такими словами. Слишком он славный малый.

— Вот уж никогда не замечала, чтобы он был славным малым. Славным в этом смысле. Я спрошу его у нас дома.

— Не смей нападать на беднягу Чарли потому, что он переключился на Мелани. Я вообще не помню, чтобы он говорил что-нибудь о Нельсоне.

— Переключился?! Гарри, да ведь с тех пор прошло десять лет. Перестань ты жить в прошлом. Если Чарли угодно выставлять себя в глупом свете, гоняясь за двадцатилетней девчонкой, мне-то что? Когда ты провел черту под отношениями с кем-то, у тебя остаются к этому человеку лишь хорошие чувства...

Его уязвило то, что она считает, будто он живет в прошлом. Почему именно он разревелся на свадьбе? Мистер Славный малый. Мистер Ручной малый. А, пошли они к черту.

— Но Чарли по крайней мере увливает от женитьбы, а значит, он не такой болван, как Нельсон, — изрекает он и включает радио, чтобы покончить с разговором. Половина пятого, передают новости: землетрясение на Гавайях, двух американских бизнесменов выкрали в Сальвадоре, советские танки на улицах Кабула после прошедшей в воскресенье в Афганистане непонятной смены правительства. В Мексике подписано соглашение с США о поставке природного газа, что может надолго покончить с нехваткой энергии. В Калифорнии за десять дней пожарами уничтожено больше акров леса, чем за все время с 1970 года. В Филадельфии магнат-издатель Уолтер Анненберг пожертвовал пятьдесят тысяч долларов епархии католического архиепископа, желая отчасти покрыть расходы на строительство возвышения, с которого папа Иоанн Павел II 3 октября будет служить мессу, хотя многие считают это расточительством. Анненберг торжественно объявил диктор, — еврей.

— Зачем они нам об этом сообщают? — спрашивает Дженис.

Господи, до чего же она все-таки тупа. Эта мысль его успокаивает. Он говорит ей:

— Да затем, чтобы мы, так называемые христиане, чувствовали себя мерзавцами из-за нашего жмотства — жалко денег на возвышение для папы.

— Должна сказать, — говорит Дженис, — мне действительно кажется расточительством строить такую штуку для одного только раза.

— Такова жизнь, — говорит Гарри, припарковывая машину к тротуару на Джозеф-стрит. Перед домом № 89 столько машин, что ему приходится остановиться за полквартала оттуда, перед домом, где живут стриженные женщины. Одна из них, еще довольно молодая, здоровенная баба в купленной на распродаже армейской рабочей куртке, как раз втаскивает на крыльцо большую розовую бобину изоляционной ленты с боковинами из станиоля.

— У меня сегодня сын женился! — неожиданно кричит ей Гарри.

Стриженная соседка растерянно моргает и кричит в ответ:

— Счастья ей!

— Ему!

— Я хочу сказать — невесте!

— О'кей, я ей передам!

Лицо женщины с узкими, как у фигуры индейца над табачной лавкой, глазами слегка смягчается: она видит Дженис, вылезавшую с другой стороны машины, и, решив пообщаться, кричит ей:

— Джен, а вы как к этому относитесь?

Дженис так долго раскачивается с ответом, что Гарри отвечает за нее:

— Она на седьмом небе. Разве может быть иначе?

Одного он не в состоянии понять — не того, почему эти стриженные его не любят, а почему он хочет, чтоб они его любили, почему один стук их молотков вдали оскорбляет его, словно его от чего-то отсекли.

...В гостинной уже толпится народ, а раскрасневшаяся толстушка в форме официантки обносит гостей закусками, которые стоят целое состояние, — какие-

то наспех сляпаные штуковины, что-то вроде печенья с расплавленным сыром, украшенного петрушкой; Гарри устремляется сквозь толпу, расставив по старой баскетбольной привычке, локти на случай, если кто-то налетит на него, чтобы принести с кухни шампанское. Бутылки «Мумм» по двенадцать долларов каждая — даже при том, что они покупали ящиком, — заполняют всю вторую полку в холодильнике, красиво уложенные валиком — блестящее серебряное горлышко к толстому стеклянному донышку... Внук Грейс Штул оказывается здоровенным парнем — не меньше двухсот пятидесяти фунтов весом — с пышной пиратской бородой; на сковороде у него жарятся разные штуки-дрючки, а в духовке — что-то, завернутое в бекон...

Шум в гостиной все нарастает, входная дверь то и дело хлопает. Вслед за Мим и мамашей вваливаются Ставрос и Мэркетты, и все начинают трещать как сороки, лишь только хлопают первые пробки... Наполняя бокалы, Гарри вспоминает о золотых монетах, сохраняющих свою ценность на протяжении веков, и в душе его словно приподнимается трап, выпуская печаль. Какого черта, мы же все вместе летим по желобу вниз. А в гостиной, стоя перед буфетом, мамаша Спрингер взволнованно произносит заранее приготовленный маленький тост...

Все кричат «ура» и пьют — а кое-кто уже успел выпить...

Гарри откупоривает новую бутылку и решает напиток. Это печенье с расплавленным сыром не так уж и плохо — надо только успеть донести его до рта, пока оно не раскрошилось. А у маленькой толстушки — приятельницы внука Грейс Штул — потрясающая грудь... Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как он лежал в своей комнате без сна, взбудораженный появлением в доме Пру Лубелл, ныне Терезы Энгстром. Гарри обнаруживает, что стоит рядом с ее мамашей. Он спрашивает ее:

— Вы когда-нибудь раньше уже бывали в этой части света?

— Только проездом, — произносит она тонюсеньким голоском, так что ему приходится нагнуться, как к умирающему на смертном одре, чтобы услышать. А как тихо произносила Пру слова клятвы во время венчания! — Моя родня — из Чикаго.

— Вы можете гордиться своей дочкой, — заявляет он ей. — Мы ее уже полюбили. — Ему самому кажется, что он произнес это совсем как она: жизнь — это и впрямь игра во взрослых.

— Тереза старается вести себя правильно, — говорит ее мать. — Но это было ей всегда нелегко.

— Вот как?

— Она пошла в родню отца. Понимаете, всегда все доводит до крайностей.

— В самом деле?

— О да. Упрямая. Не смеешь ничего сказать против.

Глаза у нее расширяются. А у Гарри такое чувство, точно его с этой женщиной поставили делать бумажные цепи, а клей дали негодный, и звенья все время распадаются. Нелегко тут вести разговор: ничего не слышно...

— Мне очень жаль, что ваш муж не мог приехать, — говорит Гарри.

— Вы бы не жалели, если б знали его, — спокойно отвечает миссис Лубелл и покачивает пластмассовым бокалом, как бы показывая, что он пуст.

— Разрешите наполнить. — Гарри вдруг с ужасом осознает, что она же его ровесница — хоть она и выглядит старухой, ей столько же лет, сколько и ему... Он спешит на кухню, чтобы проверить, как обстоит дело с шампанским, и обнаруживает там Нельсона и Мелани, откупоривающих бутылки. Кухонный стол завален маленькими проволочными клетками, в которые заключена каждая пробка.

— Пап, может ведь не хватить, — нудит Нельсон.

Ну и парочка.

— А почему бы вам, молодежи, не перейти на молоко? — предлагает он, отбирая у парня бутылку. Тяжелую, зеленую и холодную, как монеты. С гравированной этикеткой. Его бедный покойный папка никогда в жизни не пил такой шипучки. Семьдесят лет одно только пиво да ржавую воду. Он говорит Мелани:

— Этот твой шикарный велосипед все еще у нас в гараже.

— О, я знаю, — говорит она, глядя на него невинными глазами. — Если я увезу его в Кент, у меня его непременно украдут. — Ее карие навькате глаза ничем не показывают, что она заметила его грубость, объясняемую тем, что он считает, она его предала.

Он говорит ей:

— Надо бы тебе пойти поздороваться с Чарли.

— О, мы уже здоровались. — Она что, уехала из номера в мотеле, который он оплачивает, и провела ночь у Чарли? Что-то Гарри это непонятно. А Мелани, словно желая все загладить, говорит: — Я скажу Пру, что она может пользоваться велосипедом, если захочет. Это прекрасная тренировка для мускулов.

Каких мускулов? Его место рядом с матерью невесты пусто — ни у кого не достало доброты заняться ею. И он, с готовностью наполняя протянутый ею бокал, говорит:

— Спасибо за носовой платок. Там, в церкви.

— Тяжело это, должно быть, — говорит она, поднимая на него теперь уже не такие испуганные глаза, — когда всего один ребенок.

Вовсе не один, чуть не сообщает он ей: видно, здорово он перебрал. Впервые, есть мертвая сестренка, похороненная там, высоко на холме, а потом — эта длинноногая девчонка, что бродит по полям и лугам к югу от Гэлили. Кого она ему напоминает, эта миссис Лубелл, когда она вот так кокетливо приподнимает голову, глядя на него? Тельму Гаррисон у бассейна. Пожалуй, следовало бы пригласить Гаррисонов, но тогда мог бы обидеться Вадди Инглфингер. Да и Ронни вел бы себя агрессивно. Органист с бородкой клинышком (его-то кто пригласил?) присоединился к Манной Каше и Тоцему, и они веселятся вовсю, но священник в какой-то момент все же вспоминает о своих обязанностях по отношению к остальным. Он подходит к Гарри и мамаше Пру — настоящий акт христианского милосердия.

— Что ж, — обращается к нему Гарри, — что сделано, того не переделаешь, верно?..

Преподобный Кэмпбелл обнажает в угодливой улыбке мелкий частокол потемневших от табака зубов.

— Невеста выглядела очаровательно, — говорит он миссис Лубелл.

— Ростом она пошла в родню отца, — говорит она. — И волосы прямые — тоже от них. Мои от природы вьются, а у Фрэнка стоят торчком — он никогда не может их уложить. Тереза, конечно, не такая упрямая, она все-таки де-вушка.

— Совершенно очаровательная, — произносит Манная Каша, и улыбка его кажется словно приклеенной...

Кролик говорит:

— Вот только что в машине мы слышали, что Анненберг в Филадельфии дал католикам пятьдесят тысяч на возвышение для папы, чтобы заткнуть рот защитникам гражданских свобод.

Манная Каша фыркает.

— А вы знаете, какая для него реклама эти пятьдесят тысяч? Это же чистая выгода.

Тощий и органист, видно, говорят об одежде, судя по тому, как они шупают рубашки друг друга. Если Гарри придется разговаривать с органистом, он спросит, почему тот не сыграл «Гряди, гряди, голубица».

Миссис Лубелл говорит:

— Они хотели, чтобы папа приехал в Кливленд, но не может же он побывать всюду.

— Я слышал, он собирается поехать на какую-то ферму, в полную глушь, — говорит Гарри.

Манная Каша дотрагивается до руки матери невесты и склоняет к ней голову, словно желая показать Гарри свою лысину.

— Мистер Анненберг — бывший наш посол при английском дворе. Рассказывают, что когда он вручал свои верительные грамоты королеве, она протянула ему руку для поцелуя, а он пожал ее и сказал: «Как живете-можете, королева?»

Ух как он грохнул. Миссис Лубелл тоже так и залилась, даже взвизгнула и, устыдившись, быстро прикрыла костяшками пальцев рот. Манная Каша в восторге и вторит ей громоподобными раскатами — точно хохочет могучий широкоплечий старик. Ну, если они собираются так дальше продолжать, считает Кролик, он может их оставить и, воспользовавшись Манной Кашей как багром, отталкивается от них...

А мамаша Спрингер зажала Чарли у буфета: лицо у нее налилось и побагровело, точно виноградина, от усилий, каких ей стоит вталкивать ему в ухо неслышные отсюда слова, а Чарли вежливо склонил к ней аккуратно причесанную голову, когда-то крупную, как у барана, а теперь словно усохшую и ставшую похожей на голову старой козы, и усердно кивает, точно клюющий зерно петух... Мим сидит на диване с Грейс Штул и с другой старой курицей, Эми, — бог ты мой, какое эти двое устроили себе развлечение, вполголоса рассказывая Мим всякие истории из ее детства... Нельсон, Мелани и эта деревенщина, внук Грейс Штул, все еще торчат на кухне, а его приятельнице, видимо, надоело обносить гостей штучками-дрючками на хитроумной подставке, сохраняющей тепло, и блюдечком с кетчупом, она решила, что хватит, и присоединилась к ним; у них там маленький переносной телевизор «Сони», по которому Дженис, готовя ужин, смотрит иногда старые фильмы с Кэрол Бэрнетт, и сейчас, судя по звукам — крики, гремит оркестр, — эта никчемная пьяная молодежь включила передачу об игре между командами Пенсильвании и Небраски. А Пру в своем подвенечном платье цвета шампанского, уже без веночка на голове, стоит одна у трехногой лампы и разглядывает тяжелый зеленый стеклянный шар машины Спрингер с запечатанным внутри пузырьком воздуха, снова и снова поворачивая его под тусклым светом в своих длинных красных пальцах, на которых теперь поблескивает обручальное кольцо...

Возможно, Пру из-за своей уже заметной беременности стесняется пройти сквозь толпу и присоединиться к своему поколению на кухне. Гарри подходит к ней, нагибается и целует, пока она не успела воспротивиться, в гладкую теплую щеку: шампанское многое облегчает.

— Разве не положено поцеловать невесту? — говорит он ей.

Она поворачивается к нему и награждает этой своей нерешительной и вдруг освещающей все лицо улыбкой, от которой уголок рта ползет вверх. Глаза ее стали еще зеленее от стекляшки, этого странного блестящего яйца, которым Гарри не раз хотелось шмякнуть Дженис по голове.

— Конечно, — говорит она. Из яйца, прижатого к ее животу, из самого его центра — там, где пузырек воздуха, — исходит бледное острие света.

Гарри чувствует, что краешком глаза она заметила его приближение и ждала, застыв, как почувший опасность олень. Конечно, ей страшно среди всех этих чужих людей — теперь, когда судьбу ее уже решил свадебный обряд, и Кролик хочет приободрить свою невестку:

— Ты наверняка совсем вымоталась. Не тянет поспать? Помню, Дженис ужасно спать хотела.

— Я как-то странно себя чувствую, — соглашается Пру и обеими руками ставит зеленый стеклянный шар на круглый столик, который деревянным листом окружает ножку напольной лампы. И вдруг спрашивает: — Как вы думаете, я сделаю Нельсона счастливым?

— Конечно. Мы как-то с малым долго об этом говорили. Он очень высококого мнения о тебе.

— Он не считает, что попал в западню?

— Ну, откровенно говоря, как раз это меня и интересовало, потому что я на его месте мог бы именно так себя чувствовать. Но, ей-богу, Тереза, его это, похоже, не волнует. У него с самого детства было развито чувство справедливости, и в данном случае он, видимо, считает, что так будет справедливо. Слушай. Не мучь ты себя. Единственное, что сейчас волнует Нельсона, это его старик.

— Он очень высокого мнения о вас, — говорит она еле слышно, словно боясь показаться дерзкой.

Гарри хрюкает: он любит, когда женщины дерзят ему, а малейший признак живости в Пру только радует его.

— Все устроится, — обещает он ей, но Тереза по-прежнему вся во власти страха, который того и гляди передастся ему. Когда молодая женщина, осмелев, широко улыбается, видно, что ей следовало надеть на зубы шины, но никто в свое время об этом не позаботился.

Вкус шампанского снова напоминает Гарри об отце. Пиво, и ржавая вода, и грибной суп из консервов.

— Постарайся развлечься, — говорит он Пру и идет через набитую людьми комнату мимо шумной группы Мэркеттов, Фоснахтов и Дженис к дивану, где между двумя старухами сидит Мим. — Вы что, развращаете мою сестричку? — спрашивает он, обращаясь к Эми Герингер.

Грейс Штул смеется, а Эми трепыхается, пытается встать с дивана.

— Не вставайте из-за меня, — говорит ей Кролик. — Я подошел, просто чтобы посмотреть, не требуется ли кому чего.

— То, что мне требуется, — буркает Эми, продолжая елозить по дивану, так что он вынужден помочь ей встать, — я должна сделать сама.

— Что же это? — спрашивает он.

Она смотрит на него несколько остекленелым взглядом — совсем как Мелани, когда он посоветовал ей пить молоко.

— Зов природы, — отвечает Эми, — если можно так выразиться.

Грейс Штул в свою очередь протягивает ему руку, и когда он берет ее, чтобы поднять старуху с дивана, у него такое ощущение, точно он держит мешок из тончайшего пергамента, полный обкатанных камушков и почему-то теплый.

— Пора, пожалуй, прощаться с Бесси, — говорит она.

— Вон она там — заговорила до полусмерти Чарли Ставрса, — подсказывает ей Гарри.

— Да, и скорей всего уже наболтала лишку. — Похоже, старуха знает, о чем там речь, — или, может, ему это показалось? Он устало опускается на диван рядом с Мим.

— Так, — говорит она.

— Следующей выдавать замуж я буду тебя, — говорит он.

— Мне, собственно, время от времени предлагали.

— Ну и что ты отвечала?

— В мои годы слишком это хлопотно.

— А со здоровьем у тебя в порядке?

— Я все делаю, чтоб было в порядке. Больше не курю, заметил?

— А как насчет того, что ты сидишь допоздна и смотришь по телевизору Старые Голубые Глаза? Я, кстати, знал, что его звали Старые Голубые Глаза. Не знал только, чьи это голубые глаза, я думал, может, кто-то новый объявился с таким же прозвищем.

Когда он позвонил ей по междугородному телефону, чтобы пригласить на свадьбу, она сказала, что условилась с одним очень дорогим ей человеком посмотреть Старые Голубые Глаза, и он спросил: «Чьи старые голубые глаза?» Она сказала: «Так звали Синатру, дурачок. Где ты был всю жизнь?» И он ответил: «Ты прекрасно знаешь, где я был, — здесь». И она сказала: «Угу, оно и видно». Господи, до чего же он любит Мим: в общем, никто не понимает тебя так, как твои родные.

Мим говорит:

— Поспать можно и днем. Так или иначе, я с этой дорожки сошла — теперь я деловая женщина. — И, движением руки указав в другой конец комнаты, спрашивает: — Что это Бесси такое затеяла — решила помешать мне поговорить с Чарли? Она уже целый час его держит.

— Понятия не имею, что происходит.

— И никогда не имел. За это все мы тебя и любим.

— Прекрати. Эй, а как тебе нравится новая Дженис?

— А что в ней нового?

— Неужели не видишь? Она стала куда увереннее в себе. В большей мере женщина.

— Твердая, как орех, Гарри, всегда такой была и будет. А ты всегда ее жалел. Вот уж напрасно.

— Скучаю я по папке, — неожиданно объявляет он.

— А ты все больше и больше становишься похож на него. Особенно в профиле.

— У него никогда не было такого живота, как у меня.

— У него не было и зубов, чтобы так обжираться, как ты.

— А ты заметила, что эта Пру чем-то на него похожа? И руки у нее крупные, красные, как у мамы. Я хочу сказать, она больше похожа на Энгстромов, чем Нельсон.

— Вы, мужики, любите хватких женщин. Я думала, что такие номера уже не проходят, а у нее вот прошел.

Он кивает, а сам представляет себе, как она накладывает беззубый профиль отца на его профиль.

— Да она до смерти перепугана.

— А ты-то как? — спрашивает Мим. — Что ты подельываешь, чем радуешь свою душу?

— Играю в гольф.

— И по-прежнему развлекаешься с Дженис?

— Иногда.

— Да, из вас вышла настоящая пара. Мы с мамой считали, что вы больше полугода не протянете — ведь она же тебя просто поймала.

— Может, я сам поймался. Ну а ты? Как там у вас с денежками, в Лас-Вегасе? У тебя действительно своя парикмахерская, или ты всего лишь подставное лицо у больших воротил?

— Мне принадлежит тридцать пять процентов капитала. Столько я получила за то, чтобы быть подставным лицом.

Он снова кивает.

— Звучит знакомо.

— А у тебя еще кто-нибудь есть? Можешь мне сказать — я ведь завтра буду уже в самолете. Как насчет этой толстозадой с раскосыми глазами?

— Не-а... Мим, — говорит он, вспыхнув, — ну и язычок. — И только хочешь сказать ей, как он ее любит, но тут у входной двери возникает сутолока.

Тощий и органист вместе выходят из комнаты и сталкиваются в дверях с невзрачно одетой парой, которая уже некоторое время тщетно звонила в неработающий звонок. По внешнему виду они похожи на разносчиков, торгующих энциклопедиями — правда, те обычно работают в одиночку, — или на «свидетелей Иеговы», которые ходят по домам, вот только вместо «Уотчтауэра» в руках у них большой пакет со свадебным подарком, завернутым в серебряную бумагу. Это родственники из Бингхемптона. Они не там свернули с Северо-восточного шоссе и заблудились в Западной Филадельфии. Женщина, очутившись наконец под крышей, плачет от облегчения и усталости.

— Квартал за кварталом — и сплошь черные, — говорит мужчина, рассказывая о своих злоключениях: он все не может прийти в себя от изумления.

— О-о! — восклицает Пру с другого конца комнаты. — Дядя Роб! — И бросается к нему в объятия, наконец почувствовав себя дома.

Мамаша Спрингер предоставила домик в Поконах в распоряжение молодых — пусть попользуются в медовый месяц последними золотыми неделями тепла, правда, березы уже начинают желтеть, а лодки и байдарки вытащены на сушу. Парень ничего этого не заметит — им повезет, если он не подожжет дом, отравляя себе мозги и гены марихуаной. Но Гарри это не касается. Теперь, когда Нельсон женат, в сознании Гарри словно захлопнулась дверь, наконец он выплатил долг, и мысли его снова возвращаются к той ферме к югу отсюда, где другое его дитя, наверное, ходит, ходит и ждет, когда начнется настоящая жизнь.

Как-то вечером, когда по телевизору нет ничего для мамы интересного, она созывает небольшое совещание в гостиной, кладет ноги, обмотанные бинтами телесного цвета (нововведение, прописанное ее доктором...), на скамеечку, а вольтеровское кресло предоставляет единственному в доме мужчине. Дженис садится на диван с положенным после ужина глоточком какой-то белой, густой, как крем, отравы — ликера из кокосового молока, который ребята принесли в

дом, — рядом с матерью она выглядит совсем девчонкой, особенно когда сидит вот так, подобрав под себя ноги. А ноги красивые, крепкие...

Мамаша Спрингер объявляет:

— Мы должны сейчас решить, как быть с Нельсоном.

— Отослать его назад в колледж, — говорит Гарри. — У нее там есть квартирка — вот пусть оба там и живут.

— Он не хочет уезжать, — уже не впервые заявляет Дженис.

— А почему, черт подери? — спрашивает Гарри: вопрос этот все еще волнует его, хотя он и знает, что карта его бита.

— Ох, Гарри, — устало говорит Дженис, — этого никто не знает. Ты ведь не ходил в колледж, так почему же он должен?

— Это, конечно, объяснение. Посмотри на меня. Я не хочу, чтобы он повторил мою жизнь. Достаточно того, что я так живу.

— Милый, я же говорила с его точки зрения, я вовсе не хочу спорить с тобой. Конечно, мы с мамой предпочли бы, чтобы он окончил Кент и не связывался с этой секретаршей. Но вышло иначе.

— Не может он жениться и вернуться в колледж, точно ничего не произошло, — заявляет Бесси. — Она ведь работала, все ее знают, и я думаю, в этом для него камень преткновения. Он должен работать.

— Отлично! — говорит Гарри, получая удовольствие от своего упрямства: пусть женщины конструктивно думают. — Может, его тесть найдет ему работу в Акроне.

— Ты же видел ее мать, — говорит мамаша Спрингер. — Никакой помощи с этой стороны ждать не приходится.

— Зато дядя Роб — ух какой пробивной малый. Что он там делает, на обувной фабрике? Протыкает дырки для шнурков?

— Гарри! — Дженис, подражая матери, говорит размеренно, решительно. — Нельсон должен работать в магазине.

— О господи! Почему? Почему? У нас же огромная страна. В ней есть старые заводы, новые заводы, фермы, магазины — почему это ленивое отродье не может добыть себе работу в одном из них? Ни разу за все эти годы, когда он летом приезжал из Кента, он не пытался найти себе работу. Последний раз он работал в четырнадцать лет, когда ему понадобились деньги на пластинки, и он подраядился разносить газеты.

Дженис говорит:

— Он ведь каждое лето выезжал на месяц в Поконы, а значит, ничем серьезно заняться не мог — он сам на это жаловался. Ну а кроме того, он все-таки кое-что делал. Он там сидел с детьми и помогал тому учителю строить дом с панелями, нагревающимися от солнца, и погребом, набитым камнями, чтобы сохранять тепло.

— Ну и почему же теперь ему снова чем-то таким не заняться? В этом будущем, а не в продаже машин. Автомобили отжили свой век. Пир окончен. Лет через двадцать у нас будет сплошь общественный транспорт. Даже, может быть, через десять. Почему бы ему не походить вечером на курсы и не научиться работать на компьютере? Если посмотреть на колонки «Требуется...», так там сплошь — программисты на компьютерах и инженеры по электронике. Помнишь, как Нельсон разобрал систему на части и даже вывел динамики на веранду? Он ведь умел все это — что же произошло с тех пор?

— А произошло то, что он стал взрослым, — говорит Дженис и, приканчивая свой кокосовый ликер, запрокидывает голову так, что на горле видны светлые полоски, которые, когда она держит голову нормально, превращаются в складочки. Языком она выбирает капельки со дна рюмки. Теперь, когда Нельсон и Пру — часть семьи, Дженис пьет, уже почти не стесняясь, они все вместе сидят, накачиваясь до одурения, в ожидании, когда по телевизору выступит Джонни Карсон¹ или покажут хронику «В субботу вечером»; она снова стала курить больше пачки в день, хотя Гарри и уговаривает ее бросить. Сейчас она говорит с ним так, точно он стихийное бедствие, которое надо перетерпеть.

А он все больше распаляется.

¹ Известный сатирик, ведущий часовую передачу на американском телевидении.

— Я же предлагал ему поступить в отдел ремонта — там всегда найдется чем занять лишнюю пару рук, и Мэнни мигом натаскал бы его, сделал бы полноценным механиком. А вы знаете, сколько сейчас механики заколачивают за час? По семь монет, мне же они обходятся свыше восьми со всеми этими добавками. А когда они осваивают дело и работают быстрее положенного, то получают премиальные. Наши лучшие работники приносят домой больше пятнадцати тысяч в год, а двое из них ненамного старше Нельсона.

— Нельсон, как и ты, — говорит Дженнис, — не желает возиться в грязи.

— Самые счастливые дни моей жизни, — лжет он, — были, когда я работал руками.

— Нелегкое это дело — старость, — признается мамаша Спрингер, — да еще когда ты вдова. Что бы я ни делала, я сначала молюсь, а потом спрашиваю себя: «А как бы хотел Фред, чтобы я поступила?» И вот тут я абсолютно уверена: он хотел бы, чтобы наш маленький Нелли пошел работать в магазин, раз мальчику так хочется. Многие молодые люди нынче не взялись бы за такую работу — слишком у них тонкая кожа, чтобы быть продавцом, да и не такая это завидная работа, разве что на взгляд тех, кто для начала целый день ходил за хвостом лошади, как люди моего поколения.

— Бесси, — взрывается Кролик, — у каждого поколения свои проблемы... Давайте посмотрим фактам в лицо. Сколько вы собираетесь платить Нельсону? Какое жалованье, какие комиссионные? Вы же знаете предел доходов торговца. Три процента, три жалких процентика, да и те урезаются множеством новшеств, за которые ты не можешь взять с покупателя: на «тоёты» ведь установлены твердые цены. Повышение цен на нефть все уносит: за те пять лет, что я возглавляю дело, стоимость отопления возросла вдвое, плата за электричество взлетела вверх, стоимость доставки тоже плюс социальное обеспечение, которое все растет, и взносы на безработных, которые надо платить, чтобы лодырям в нашей стране не пришлось расставаться со своими яхтами — ведь половина молодежи у нас работает ровно столько, чтобы можно было получить пособие по безработице; а проценты за хранение товара — это же уму непостижимо. У нас совсем как было в веймарской Германии: сбережения точно в трубу вылетают; все считают, скоро наступит такое снижение спроса, что волосы дыбом встанут. Экономика убита, мамаша, нам ее не оживить — у нас нет дисциплинированности япошек и немцев, а вы еще хотите, чтобы я взвалил на плечи фирмы мертвый груз, каким, к сожалению, является мой сын.

— Отвечаю на твой вопрос, — говорит мамаша, передвигая большую ногу по скамеечке и слегка покряхтывая. — Минимальное жалованье мы ему установим в три доллара десять центов за час, так что если он будет работать по сорок часов в неделю, ты должен будешь платить ему в неделю сто двадцать пять долларов и, кроме того, премиальные из обычного расчета — сейчас это, кажется, что-то около двадцати процентов от общей прибыли, а если продано больше определенного минимума, то и двадцать пять? Я знаю, раньше платили пять процентов от общей суммы проданного, но Фред говорил, что с иностранными марками так почему-то не получается.

— Бесси, при всем моем уважении и любви к вам, вы сумасшедшая. Вы собираетесь для начала платить Нельсону пятьсот долларов в месяц да еще сверх того комиссионные, так что домой он будет приносить по тысяче в месяц, а фирме принесет дохода тысячи две с половиной. Такую сумму Нельсон мог бы получать, если бы продавал — с учетом соотношения между новыми и подержанными машинами — от семи до десяти машин в месяц, а наше предприятие на круг больше двадцати пяти машин в месяц не реализует!

— Ну, может, с Нельсоном вы будете реализовывать больше, — говорит мамаша.

— Фантазерка, — говорит ей Гарри. — Детройт наконец оснастил свои заводы, чтобы выпускать сборные малолитражки по центу за дюжину, к тому же вот-вот введут более жесткий налог на импорт. Так что двадцать пять машин в месяц — это оптимально, кланюсь богом.

— Людям, которые помнят Фреда, приятно будет видеть в магазине Нельсона, — не отстывает она...

— А как быть с Джейком и Руди?! — восклицает он. — Да если малый продаст хотя бы пять машин, это уже ущемит Джейка и Руди! Послушайте, если вы хотите знать, кто ваши преданные работники, — это Джейк и Руди... Таких ребят не выставляют за дверь.

— Я, в общем-то, думала не о Джейке и Руди, — говорит мамаша Спрингер, насупая и положив ногу на ногу. — А сколько зарабатывает Чарли?

— Ох нет, только не это. Мы ведь об этом уже говорили. Если Чарли уйдет, то и я уйду.

— Просто для моего сведения.

— Что ж, Чарли зарабатывает около трехсот пятидесяти в неделю... на круг, вместе с премиальными, свыше двадцати тысяч в год.

— Ну что ж, — изрекает мамаша Спрингер, снова перекаладывая большую ногу, — значит, ты сэкономишь, если возьмешь вместо него Нельсона. Он так интересуется подержанными машинами, а ведь как раз этим и занимается Чарли, верно?

— Бесси, я просто ушам своим не верю. Дженис, да поговори ты с ней насчет Чарли.

— Мы уже говорили, Гарри. Слишком много ты взбиваешь вокруг этого пены. Мама говорила со мной, и я подумала, что Чарли будет, пожалуй, даже полезно переменить работу. Она разговаривала и с Чарли, и он согласен.

Гарри не может этому поверить.

— Когда вы говорили с Чарли?

— На свадьбе, — признается мамаша Спрингер. — Я видела, как ты поглядывал на нас.

— Бог ты мой, и что же вы ему сказали?..

Она говорит:

— Я спросила его насчет здоровья.

— Мы так волнуемся по поводу здоровья Чарли, можно подумать, что ему пора инвалидную коляску покупать.

— Дженис говорила мне, что уже десять лет назад он принимал нитроглицерин. А ему было тогда всего лет тридцать — куда же это годится?

— Ладно, но что он-то сказал насчет своего здоровья?

— Мол, сносно, — отвечает мамаша Спрингер... — Дженис вот утверждает, ты сам жаловался, что он не тянет — сидит сторбившись за своим столом и перебирает бумажки, вместо того чтобы предоставить это Милдред.

— Я в самом деле такое говорил? — Гарри смотрит на предательницу Дженис.

Она нетерпеливо стряхивает пепел с сигареты в пепельницу.

— Не один раз, — говорит она.

— Но ведь не затем, чтобы твоя матушка гнала парня с работы.

— Я ни разу не сказала «гнать», — говорит мамаша Спрингер. — Фред никогда бы не выгнал Чарли — разве что он слишком напозволял бы себе в личной жизни.

— Ну, нынче для этого нужно очень далеко зайти, — говорит Гарри, возмущаясь тем, что в этом все и дело.

Мамаша Спрингер с трудом перекатывает свои тела по дивану.

— Ну, должна сказать, эта погоня за девчонкой до самого Огайо...

— Он и во Флориду ее возил, — говорит Гарри, так что обе женщины мгновенно выпучивают на него свои черные глаза-пуговицы. А ведь это правда, вся эта история действительно непомерно раздражает его: сам-то он не вспылал ведь к Мелани, да и везти ее ему было бы некуда.

— Мы беседовали о Флориде, — говорит мамаша Спрингер. — Я спросила Чарли, не стоит ли ему перебраться туда — ведь зима наступает. Зять Эми Герингер, который работал на асбестовом заводе в Нью-Джерси, пока там не началась паника, вышел на пенсию с компенсацией и уехал во Флориду, а ему и пятидесяти нет. Она говорит, он сказал ей, что туда понаехала сейчас уйма молодежи, спасаясь от энергетического кризиса, и сейчас там живут вовсе не одни старики, как говорится во всех этих анекдотах, ну и работу, конечно, там тоже можно найти. Чарли малый умный. Фред с самого начала это понял.

— Мамаша, у него на руках мать. Старая гречанка, которая не говорит по-английски и едва ли когда выезжала за пределы Бруэра.

— Ну что ж, может, пора ей и выехать. Люди, знаешь ли, думают, что нас, стариков, домкратом с места не сдвинешь, а вот сестра Грейс Штул — она, заметь, старше ее и похоронила двух мужей у нас в округе — отправилась навестить сына в Феникс, и так ей там понравилось, что она купила себе маленькую кооперативную квартиру и, по словам Грейс, даже место на кладбище — значит, перебралась туда насовсем.

— Чарли — это не ты, Гарри, — вставляет Дженис. — Он не боится перемен.

Он мог бы взять сейчас это зеленое стеклянное яйцо, шагнуть к дивану и изо всей силы шмякнуть им по ее тупой башке. Вместо этого, не обращая внимания на ее слова, он говорит мамаше:

— Я до сих пор так и не слышал, что же вы все-таки сказали Чарли и что он сказал вам.

— О, мы занимались воспоминаниями. Разговаривали о тех временах, когда Фред был еще жив, и оба пришли к мнению, что Фред хотел бы, чтобы у Нелли было место в магазине. Он всегда горой стоял за родных, Фред, даже когда родные подводили его.

Должно быть, намекает на него, думает Кролик. А он этого маленького пронырливого торгаша никогда не подводил, такого греха у него на совести нет.

— Чарли понимает, что такое семья, — вставляет Дженис этаким мягким, женственным голосом, к которому Гарри никак не может привыкнуть, да он и звучит сейчас деланно. — Все время, пока я, ну, вы понимаете, встречалась с ним, он был абсолютно готов в любую минуту отступить в сторону и позволить мне вернуться.

Говорить о любовнике в присутствии собственной матери! Да, быстро мир катится вниз.

— Ну и вот, — со вздохом продолжает мамаша Спрингер: она уже от всего этого устала, ноги у нее по-прежнему болят, словом, старикам необходимо уединение, — мы пытались понять, как хотел бы Фред, чтобы все устроилось, и пришли к выводу, что Чарли уйдет в отпуск на полгода с половинной оплатой, а к тому времени мы увидим, что получается у Нелли. Если за это время Чарли предложат в другом месте работу, он волен принять предложение, и тогда мы выдадим ему жалованье за два месяца в качестве вознаграждения и, кроме того, рождественскую премию за семьдесят девятый год. Обо всем этом мы договорились не только на свадьбе — я ездила сегодня в магазин, пока ты играл в гольф...

— Тихой сапой, — говорит он, — а я-то считал, что вы из-за движения боитесь теперь водить «крайслер» по Бруэру.

— Меня возила Дженис.

— Ага. — Он спрашивает жену: — И как понравилась Чарли твоя роль в этой благородной миссии?

— Он был очень мил. Ведь все решали они с мамой. Но он понимает, что Нельсон — наш сын. Чего ты, кажется, не понимаешь.

— Да нет, нет, понимаю, в том-то вся и беда, — говорит ей Гарри. И обращаясь к старухе Спрингер: — Значит, вы готовы заплатить не одну тысячу Чарли, чтобы дать Нельсону работу, которую он скорее всего не сможет выполнять. Где же тут экономия для фирмы? И потом, без Чарли мы потеряем покупателей: я знаю в городе вдвое меньше народу, чем он. При этом не только среди греков. Поскольку он человек одинокий, он ходит по барам, а там-то и завязываются знакомства.

— Что ж, может быть. — Мамаша Спрингер поднимается на ноги и осторожно топает то одной, то другой ногой по ковру, проверяя, не затекли ли они. — Может, это и ошибка, но в нашей жизни нельзя вечно бояться ошибок. Мне никогда не нравилось то, что Чарли не женился. Это тревожило и Фреда, я знаю. Ну а теперь мне пора наверх смотреть моих красоток сыщиц...

— А у меня что же, нет права голоса? — чуть ли не кричит Гарри не в силах сразу же выбраться из глубокого кресла. — Я голосую против. Я не желаю, чтобы мне на голову сажали Нельсона.

— Что ж,— говорит мамаша и делает долгую паузу; за это время Гарри успевает понять, какая она большая, какая широкая, если смотреть снизу,— будто ствол дерева, на который глядишь-глядишь и вдруг думаешь, сколько же из него выйдет зубочисток, а все эти завтраки, обеды и ужины, если их помножить на дни, сколько их отправлено в эту утробу, а эти могучие, тяжело раскачивающиеся бедра, а испещренные печеночными пятнами руки.— Как я понимаю, Фред в своем завещании оставил магазин мне и Дженис, а мы, по-моему, единого мнения.

— В любом случае, Гарри, двое против троих,— говорит Дженис с обезоруживающей улыбкой.

— А пошли вы к черту,— говорит он.— Пошел он к черту, этот «Спрингер моторс». Видно, если я не сложу лапки, вы обе проголосуете за то, чтоб и меня вышвырнуть.

Они этого не отрицают. Мамаша, с трудом передвигая ногами, поднимается по лестнице, а Дженис с рассеянным видом, который появляется у нее в конце дня, когда начинает сказываться все выпитое, поднимается на ноги и достоверно сообщает ему:

— А знаешь, мама считала, что ты примешь это хуже. Не принести чего-нибудь с кухни? От этого кокосового ликера просто не оторваться.

1 октября приходится на понедельник. Осень начинает поворачиваться своей малоприятной стороной: из низких облаков, точно из выложенных в ряд продраных матрасов, сеется серый дождь, сбивая один за другим листья с деревьев. Старый одинокий клен, что стоит за Придорожной кухней через шоссе 111, почти совсем оголился — только нижние ветки висят, будто подстриженные скобкой волосы монаха. В такой день не жди покупателей — Гарри и Чарли стоят у витрин и смотрят сквозь зеркальное стекло на улицу, а над ними плакаты, на которых теперь начертано: СКОРО — СОВСЕМ НОВЫЕ «КОРОЛЛЫ». Новый мотор на 1,8 литра. Новое аэродинамическое устройство. Алюминиевые колеса на моделях «СР-5». Съёмная противосолнечно-противолунная крыша. Пользуются самым большим спросом в мире!..

— Ну вот.— произносит Гарри, прочистив горло,— «Филлисы» с треском вылетели из списка команд...

— Я болел за «Экспо»,— говорит Чарли...

Гарри становится легче оттого, что Чарли разговаривает. Он был почти уверен, что тот совсем раздавлен...

На стекле появляются капли, растут и потом начинают сбегать вниз — упорно, оставляя за собой полоски. Вот так же и он плакал. С самого раннего детства, когда сознание его еще только пробуждалось. Гарри любил стоять возле радиаторов в старом, разделенном пополам доме на Джексон-руд и смотреть в окно на дождь: ты всего в нескольких дюймах от стекла — и сухой, а по ту сторону был бы мокрый.

— Интересно, пойдет ли дождь, когда будет выступать папа.— Папа сегодня днем прилетает в Бостон.

— Никогда в жизни. Он взмахнет руками, и небо наполнится певчими птицами. Певчими птицами и конским дерьмом.

Хоть Гарри и не католик, но это коробит его — да, Чарли сегодня кусается.

— Ты видел эти голпы по телевидению? Ирландцы просто рехнулись. Сказали, что в одном месте их собралось больше миллиона.

— Тупицы они, эти мики²,— говорит Чарли и отворачивается от окна.

Но Гарри не может дать ему уйти. Он говорит:

— А вчера вечером отдали назад Панамский канал.

— Угу. Меня просто тошнит от того, что происходит. Грустно у нас стало жить — отовсюду нас выталкивают.

— Ты же хотел, чтобы мы ушли из Вьетнама.

— Это тоже была грустная история.

— Послушай!

² Так презрительно называют ирландцев.

— Да?

— Я слышал, у тебя была беседа с мамашей Спрингер.

— Последняя из целой серии. Вот в ней нет ничего грустного. Старуха — кремень.

— Куда же ты предполагаешь двинуться? Нельсон и Пру в пятницу возвращаются из Покон.

— Да пока никуда. Похожу в кино. Пооколачиваюсь по барам.

— А что, если поехать во Флориду — ты ведь все время говоришь про Флориду.

— Да что ты! Я же не могу предложить моей старушке перебраться туда. Что она там будет делать — тасовать карты?

— По-моему, ты говорил, что у тебя теперь появилась двоюродная сестра, которая может о ней заботиться.

— Глория. Не знаю, что-то там намечается. Они с мужем, возможно, снова сойдутся. Ему не нравится по утрам самому готовить себе яичницу.

— О-о. Извини.— Некоторое время Гарри молчит.— Извини за все.

Чарли передергивает плечами.

— А ты-то что тут можешь сделать?

Именно это Гарри и хотелось услышать — чувство облегчения затопляет его, словно вдруг включили яркий свет. Когда лучше себя чувствуешь, то и видишь лучше: он вдруг видит в кустах за окном все эти клочки бумаги, пакеты и стаканчики, которые принесло ветром через шоссе от Придорожной кухни,— теперь они лежат и мокнут под дождем. Он говорит:

— Я бы сам мог уйти.

— Это глупо, чемпион. Что ты станешь делать? Я — я могу торговать где угодно, за меня не волнуйся. Ко мне уже подкатывались. Новости в нашем деле распространяются быстро. В нашем бизнесе люди пуганые.

— Я сказал ей: «Мамаша, Чарли — это душа «Спрингер моторс». Половина клиентов приходят к нам благодаря ему. Больше половины».

— Спасибо, что замолвил за меня словечко. Но, знаешь, всему наступает конец.

— Наверное.— Но не для Гарри Энгстрема. Никогда, никогда.

— А как Джен? Что она сказала, когда возникла идея выставить меня за дверь?

Нелегкий вопросец.

— Не так уж много. Ты же знаешь, ей не выстоять против старухи — у нее это никогда не получалось.

— Если хочешь знать, сгубила меня, по-моему, эта поездка с Мелани. Обе спрингерские дамы сразу охладели ко мне.

— Ты думаешь, что до сих пор не безразличен Дженис?

— Человек никогда не становится совсем тебе безразличным, чемпион... Если он когда-то был тебе дорог, то не будет безразличен никогда. Вот так глупо мы устроены.

У Кролика его слова вызывают определенные ассоциации: камень, вылетевший в космос, тоже крутится вечно. Кролика интересует космос, и он каждый день выискивает в газетах хоть что-нибудь об этих гигантских квазарах где-то на краю вселенной, а в воскресном приложении изучает новые увеличенные фотографии Юпитера в надежде найти что-то, упущенное учеными,— бог ведь еще не сказал насчет него последнего слова. В вакууме души любовь падает, падает, но так и не достигает дна. Дженис приревновала Чарли: чувство зарождается в нас, и мы не хотим с ним расставаться; прошло уже двадцать лет с тех пор, как он спал с Рут, но всякий раз, когда в каком-нибудь магазине в центре городка или на Уайзер-стрит он видит сзади женщину с рыжеватыми волосами, небрежно собранными в пучок так, что выбивается несколько прядей, сердце его подскакивает. А Нельсон — он же был тогда совсем еще мальчишкой, но человек никогда не бывает слишком молод для любви,— Нельсон был влюблен в Джилл, и если подумать, то у Пру тот же тип, очень похожа на хиппи: прямые длинные волосы так же болтаются по спине, и это тупое сонное лицо, так что хочется ущипнуть ее, чтобы вывести из этого состояния, хотя, ко-

нечно, Джилл была классом выше, она не была дочкой акронского паропроводчика. Гарри говорит Чарли:

— Ну, по крайней мере теперь ты сможешь время от времени удирать в Огайо.

Чарли говорит:

— Там ничего меня не ждет. Мелани мне больше как дочь. Она, знаешь ли, неглупа. Послушал бы ты, как она рассуждает насчет трансцендентальной медитации... Она хочет учиться дальше и защитить докторскую, если ей удастся выудить деньги из своего папаша. А он на Западном побережье гоняется за индейскими девчонками.

От одного берега до другого, думает Кролик, вся страна — сплошное увеселительное заведение...

— И все же, — говорит он Чарли, — хотелось бы мне иметь такую свободу, как у тебя.

— А у тебя она есть, эта свобода, только ты ею не пользуешься. Ну зачем вы с Джен живете в этом облезлом, старом сарае вместе с ее мамашей? Это плохо для Джен — никак она не станет взрослой.

Облезлом? Вот уж никогда Гарри не считал дом Спрингеров облезлым; старомодным — пожалуй, но с просторными комнатами, где полно было самых дорогих новшеств, — во всяком случае, таким он увидел этот дом впервые, когда начал ухаживать за Дженис в то лето, что они вместе работали у «Кролла». Все выглядело новеньким и пахло свежестью, а в комнате рядом с гостиной стоял длинный чугунный стол с тропическими растениями, этаким уголок собственных джунглей — ему это представлялось верхом роскоши. Теперь стол стоит пустой и на паркете видны ржавые пятна, оставшиеся от капавшей с него воды. Гарри приходит на память, что и серый диван, и обои, и акварели не меняли с той поры, когда он заезжал за Джен и увозил ее на ночь, которую они бурно проводили на заднем сиденье папкиной старой «де-сото»; да, вполне возможно, что дом действительно выглядит облезлым. У мамы уже нет былой энергии, а что она делает со своими деньгами, никому не известно. Во всяком случае, новую мебель не покупает. А теперь еще наступила осень и лесной бук, что растет у окна их спальни, стал ронять свои орешки — маленькие треугольные семенные коробочки раскалываются, и под их треск и шуршанье совсем нелегко спать. Эта комната никогда не отличалась удобством.

— Значит, никак не станет взрослой, да?

— Кстати, о детях, — перебивает его Чарли, — помнишь тех двоих, что приезжали к нам в начале лета, ты еще так завелся при виде девчонки? Так вот парень — не могу вспомнить его имя — снова явился к нам в субботу, когда ты играл в гольф.

— Нунмейхер.

— Правильно. Так он купил ту оранжевую «Короллу-универсал» со стандартной трансмиссией. Старую машину продавать не стал, а к нам скоро придут новые модели, так что я сбросил ему две сотни. Я считал, что ты будешь доволен, если я отнесусь к нему получше.

— Правильно. А девчонка была с ним?

— Я что-то не видел.

— И он не захотел продавать свой «кантри сквайр»?

— Ты же знаешь этих фермеров — они любят держать всякий хлам у себя на дворе. Наверное, подключил машину к ленточной пиле.

— О господи, — произносит Гарри. — Значит, Джейми купил оранжевую «Короллу».

— Ну, видишь ли, не такое уж это и чудо. Я спросил его, почему он так долго ждал, а он сказал, что решил: если подождать до осени, то машины семьдесят девятого года немного упадут в цене. И доллар будет стоить меньше. Да, как известно, и иена тоже.

— Когда же он ее забирает?

— Он сказал — завтра около полудня...

— Черт! Я в это время как раз буду в «Ротари».

— Девчонки не было с ним, так не все ли тебе равно? Ты вот обо мне говоришь, а она ведь моложе Мелани. Этой девчонке лет шестнадцать-семнадцать.

— Должно быть девятнадцать,— говорит Кролик.— Но ты прав. Мне все равно.

Струи дождя, барабанившего вокруг, словно на ниточках приподнимают его сердце — у него, как и у Чарли, есть выбор.

Во вторник после «Ротари», когда в крови Гарри еще бродит алкоголь, он возвращается в магазин и обнаруживает, что оранжевая «Королла» исчезла,— от счастья у него все плывет перед глазами: господь бог послал ему из космоса поцелуй. Около четырех тридцати, когда Руди работает в торговом зале, а Чарли уехал в Алленвилл, чтобы попытаться сбить несколько подержанных машин оптовому торговцу и немного подправить бухгалтерию, перед тем как сдать дела Нельсону, Гарри выскальзывает из своего кабинета, проходит по коридору, затем через мастерскую, где ребята Мэнни все еще бьют по металлу, только голоса их звучат громче, по мере того как приближается блаженный момент окончания работы, и через заднюю дверь, стараясь не запачкать манжеты о задвижку, выбирается на воздух. Рай земной! На этой ничейной земле по-прежнему стоит «Меркури» со вдавленным левым боком, крылом и решеткой и ждет решения своей участи. Оказалось, что Чарли сумел сбегать отремонтированный «Ройял» за три тысячи шестьсот молодому доктору из Ройерсфорда, притом даже не обычному доктору, а одному из этих гомеопатов или новомодных специалистов, которые приходят к больному корью и говорят, что надо есть морковку или три часа в день мычать на определенной ноте, но, видно, он все-таки прилично зарабатывает, раз схватил эту старую машину; он сказал, что у одного парня, которым он восхищался в колледже, был «Ройял», а ему всегда хотелось иметь машину такого цвета — пурпурно-красную, как лак для ногтей. Гарри втискивается в свою «Корону» цвета перестоявшего томатного супа, мягко выводит ее со стоянки и направляется по шоссе 111 от Бруэра в сторону Гэлили. Когда «Спрингер моторс» остался далеко позади, он включает радио, и такой грохот электроинструментов несется из стереодинамиков, что Гарри боится, как бы их не разорвало... Он возвращается мыслями назад, к завтраку в «Ротари»... Любопытная вещь насчет этих членов «Ротари»: если ты знал их детьми, то и сейчас невольно видишь в них тех же детей, только располневших, облысевших, разбогатевших,— так под смокингами из плотной бумаги просматриваются на школьном спектакле мальчишки. Ну как можно после этого уважать мир, когда видишь, что в нем правят дети, ставшие стариками?..

Дома из песчаника. Рекламный щит, указывающий на природную пещеру. Интересно, думает он, неужели туда кто-нибудь еще ходит — мода на природные пещеры, как и на водопады, осталась ведь в прошлом. Мужчины тогда носили соломенные шляпы. А женщины не показывали даже шиколоток. Чудеса природы. Эта разбитная девка-дикторша (он какое-то время не слышал ее, думал, может, ее уволили — слишком уж наглая или забеременела) говорит, что папа выступил в ООН и по пути на стадион «Янки» остановится в Гарлеме. Гарри видел вчера вечером по телевизору этого задиристого петуха, который стоял в Бостоне под проливным дождем в своих белых одеждах; воспитательно говорит по-английски — это, кажется, его седьмой язык,— а кто был тот истукан, что держал над ним зонтик? Какой-то ватиканский деятель, но Пру, как выяснилось, знала не больше его; какой в таком случае прок от того, что ты выросла в католической семье? В Европе золото сегодня еще подскочило — четыреста сорок четыре доллара за унцию,— а доллар снова упал. Станция замирает и снова возвращается к жизни, едва дорога поворачивает среди холмистых полей. Гарри подсчитывает: золото подскочило больше чем на восемьдесят долларов меньше чем за три недели, восемьдесят помножить на тридцать — это будет две тысячи четыреста, да, когда человек богат, то, как говорил папка, он становится только богаче. На некоторых полях кукуруза стоит высокая, на других — лишь короткая щетина стерни. Гарри медленно едет по уродливому, вытянувшемуся цепочкой городку Гэлили, высматривая оранжевую «Короллу». На этот раз спрашивать дорогу на почте уже не нужно. Овощной киоск в связи с окончанием сезона закрыт. На пруду несколько гусей — он не помнит, чтобы они раньше там были: видно, уже начался перелет... Он выключает радио. БЛЭНКЕНБИЛЛЕР. МУТ. БАЙЕР. Он останавливает машину на той же обо-

чине — широкой полосе красной глинистой земли. Сердце у него колотится, руки распухли и онемели от долгого лежания на рулевом колесе. Он выключает зажигание, упершись телом в подушки сиденья. Он же ничего противозаконного не делает. Вылезши из машины, он замечает, что в воздухе больше не разит свинарником — ветер дует с другой стороны — и не гудят насекомые. Они погибли — миллионы их исчезли. Тишину пререзает далекий взвизг и вой цепной пилы... Лес виднеется в полумиле и едва ли может принадлежать ферме Байеров. Гарри вступает на их территорию. Живая изгородь, скрывшая каменную ограду, сейчас уже не такая пышная и не может служить ему укрытием. Прохладный ветерок шелестит спутанными листьями черной камеди и дикой вишни и лижет его руки. Листья сумаха стали темно-красные, некоторые — лишь наполовину, точно их не взяла краска. Медленно, шаг за шагом продвигаясь по старому фруктовому саду, он то и дело наступает на яблоки, валяющиеся в высокой траве. Только бы не подвернуть ногу, а то будешь тут лежать и гнить, как эти яблоки. Бедные деревья: столько произвести любимых червями плодов — и все напрасно. А может быть, и не напрасно, с их точки зрения: ведь они делали все то же самое, когда людей еще не было на земле. Странная мысль. Теперь Гарри видит в низине ферму, зеленую дверь, ванночку для птиц на голубом столбе. Из трубы идет дым — до Гарри долетает вызывающий ностальгию запах горящего дерева. Так близко; он останавливается за умирающей яблоней с разветвлением как раз на уровне его головы. В бархатистом красноватом дупле копошатся муравьи — сталкиваются носами, рассказывают друг другу новости, спешат дальше. Ствол дерева распахнут, точно незастегнутое пальто, но жизненные соки продолжают бежать вверх по его шершавой коре к маленьким круглым листочкам, которые подрагивают там, где веточки молодые и гладкие. Пространство углубляется не только перед глазами Гарри, но и вокруг — даже земля тому не препятствие, — и у Гарри мелькает недоуменная мысль, что же он тут делает в своем хорошем бежевом костюме: ведь любой фермер, который случайно пройдет сзади по полю с ружьем, может выстрелить ему в спину, а его лицо в развилке дерева, если кто-то случайно взглянет из дома вверх, можно принять за консервную банку, прибитую вместо мишени, — это он-то, у которого есть кабинет с его именем на двери и визитные карточки со словами **ГЛАВНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ**; он, который всего два-три дня тому назад принимал других мужчин в таких же хороших костюмах на столь дорого обошедшейся ему и чреватой немалыми осложнениями свадьбе сына, органист еще ушел потом с этим Тошчим, а эта пара приехала так поздно, что он подумал, уж не из «Свидетелей ли Иеговы» они, — Гарри недоумевает и в течение нескольких панических секунд не может сам себе это объяснить, разве что, стоя здесь, на воздухе, где никто не знает его имени, он чувствует, что живет полной жизнью. Потом вспоминает: он же надеется взглянуть на свою дочь. А что, если он соберется с духом, спустится туда, вниз, постучит в зеленую, глубоко всаженную в каменные стены дверь, и девчонка ему откроет? В это время года она будет в джинсах и майке или в свитере. Волосы у нее будут менее растрепанные и влажные, чем летом, — может быть, зачесаны назад и перетянуты резинкой. Ее широко расставленные глаза будут точно маленькие голубые зеркала.

Привет! Ты меня не помнишь...

Конечно, помню. Вы — торговец машинами.

Думаю, что не только это.

То есть?

Твою маму, случайно, зовут не Рут Байер?

Ну... да.

А она никогда не говорила тебе о твоём отце?

Мой отец умер. Он держал автобусы для городской школы.

Это был не твой отец. Я — твой отец.

И глаза на широком бледном лице, в котором он узнал себя, уставятся на него со злостью, недоверием, опасением. И если он все-таки сумеет заставить ее поверить его словам, она будет зла на него за то, что он отнял у нее ту жизнь, какой она жила, и дал взамен ту, какой она никогда жить не будет. Он видит,

что урожай на этих полях, где, возможно, взошло его семя, не для него, но если он все же схватит этот плод, ему есть куда бежать. Однако он продолжает стоять в своем мятом легнем костюме (давно пора отдать его в чистку и потом повесить в большой пластиковый мешок до будущего апреля), замороженный этой застывшей, если не считать дымка, картиной внизу. Сердце его без устали бьет тревогу — слишком он далеко зашел. Жизнь идет, и по обе стороны ее тянутся пространства, куда ты никогда не ступаешь; вместе с поворотом земного шара настанет день — и довольно скоро, — когда ты будешь лежать в той земле, на которой сейчас стоишь, мертвый, как эта мошकारа, гудения которой он больше не слышит, а трава будет по-прежнему расти, неумная и ко всему слепая.

Его успокоившееся было сердце подпрыгивает от хруста, раздавшегося позади во фруктовом саду. Он уже поднял руки и приготовил первую фразу, чтобы объяснить свое присутствие, как вдруг увидел, что позади него не человек, а собака, старый колли, один глаз у него красный и шерсть вся в катышках. Кролик вообще побаивается собак и знает, что колли — псы особо нервные и склонные нападать на человека... Пес стоит на расстоянии длинного броска, склонив набок голову; волосы у него за ушами вздыбились, он вот-вот залает.

— Привет! — хриплым шепотом произносит Гарри, чтобы не услышали в доме.

Колли резче склоняет набок свою узкую голову, словно чтобы не перенапрягать больной глаз, и длинные белые волосы, нагрудником окружающие его шею, шевелятся, приглаженные ветром.

— Ты хорошая собака? — спрашивает Гарри. А сам мысленно прикидывает расстояние до машины: вот он сейчас побежит, собака в два счета настигнет его, рванет за брюки, обнажив желтые зубы, — собаки обычно приподнимают свою черную расщепленную верхнюю губу и в ярости обнажают мелкие передние зубы; он чувствует, как его щиколотку зажимает двумя шестеренками, и падает, вскидывая руки в тщетной попытке уберечь лицо.

Но в сплюсненной голове собаки уже созрело решение. Она осторожно машет опущенным хвостом и с этой жуткой, бесшумной легкостью четвероногих летит к нему прыжками сквозь высокую траву. Она обнюхивает колени Гарри и прижимается к его ногам, подставляя шею, чтоб ее почесали, что Гарри и делает, шепотом твердя:

— Славный мальчик, хорошая девочка, откуда у тебя такие катыши, плохие катыши?

Только не дай им почувствовать твой страх. Когда вот так встречаешь собаку, разгуливающую без ошейника, как медведь, уже точно знаешь, что находишься за городом.

Вдалеке хлопает дверца машины. Звук эхом отдается от стены сарая, так что Гарри в первую минуту смотрит не в ту сторону. Затем в развилке яблони, внизу, под склоном, примерно на расстоянии шести клюшек видит оранжевую «Короллу» на пустой площадке между домом и гаражом, за которым стоит желтый остов школьного автобуса.

Значит, надежда не обманула его, но мысли по-прежнему почти всецело заняты этим комком мускулов и зубов у его колен — как удержать пса, чтобы он не залаял, как удержать его, чтобы не укусил?

Собака тоже услышала, как хлопнула дверца машины, и, прижав уши, со скоростью ракеты устремилась вниз по саду. Она поднимает вокруг «Короллы» лай, отчаянный, но летающий с опозданием из-за эха и большого расстояния. Улучив момент, Гарри перебегает к соседнему дереву, дальше от дома. Оттуда он видит, как из машины вылезает длинноногий Джейми, уже не в грязных бумажных штанах, а в розовых расклешенных брюках и красной рубашке со стойкой. Колли прыгает вокруг, приветствуя его, извиняясь, что облаял незнакомую машину. Протяжный говор парня разносится по саду — он сюсюкает с собакой, но слов не разобрать. Кролик на секунду опускает взгляд и видит, как на земле две осы заползают в гнилое яблоко. Когда он снова поднимает глаза, девчонка, та самая девчонка с круглым бледным лицом — ее ни с кем не спутаешь, — только волосы у нее подстрижены короче, чем в июне, вылезает из «Короллы» со стороны пассажира и, присев на корточки, принимается возиться с собакой. Она отворачивает лицо, чтобы собака не тыкалась в него мордой, и смотрит

вверх, как раз туда, откуда, замерев, наблюдает за ней Гарри. Когда она поднимается на ноги, он видит, что она приделась — на ней темно-коричневая юбка и рыжий свитер, короткий пиджак в клеточку делает квадратными ее плечи, так что она выглядит бойкой студенткой, горожанкою. Однако движется она, когда делает два-три шага к дому, с ленивой медлительностью. Она громко зовет кого-то. Они с парнем оба стоят, повернув молодые лица к дому, и Кролик, воспользовавшись моментом, перебегает подальше, прячась на этот раз за еще более тонкое деревцо. Зато теперь он ближе к живой изгороди и, возможно, благодаря светлому костюму менее заметен на фоне просвечивающих кусочков неба.

Внизу, в лощине, возгласы привета и радости, эхом отдаваясь от оштукатуренных и шлаковых стен, звучат почему-то грустно. Легонько хлопает дверь, и из дома появляется толстая пожилая женщина — она так осторожно движется, неся свою тяжесть, что колли подталкивает ее, крутится возле ее ног. Вполне возможно, именно эту женщину Гарри мельком и видел в старом «универсале», когда машина проезжала мимо церкви в день свадьбы, но это не может быть Рут — у той волосы были мягкие, летучим огненным ореолом окружавшие голову, а у этой они черной с проседью шапкой плотно лежат на голове, и сама она такая огромная, такие у нее просторные одежды, что с расстояния кажется, будто на ней парус. Эта особа в брюках и рубашке подходит вперевалку полюбоваться новой машиной. Никаких поцелуев, однако по тому, как все трое общаются друг с другом, видно, что это люди близкие. До Гарри доносятся их голоса, но слов не разобрать.

Мальчишка показывает «универсал». Девчонка похлопывает пожилую женщину по плечу, подначивает — давай, мол, залезай. Затем они вытаскивают из машины два больших бумажных пакета — продукты, — а колли, которому все это надоело, поднимает голову и поворачивает нос в ту сторону, где с сильно бьющимся сердцем неподвижно стоит Гарри...

Пес вдруг принимается лаять и мчится по саду к Гарри — Гарри ничего не остается, как повернуться и бежать. Возможно, ему удастся продрасться сквозь живую изгородь до того, как те люди поднимут глаза и увидят его. Два женских голоса окликают собаку: «Фритци! Фритци!» Ветки царапают Гарри руки; шаткие камни в старой стене качаются, он чуть не падает и обдирает туфлю. Теперь он уже бежит сломя голову. Красная земля, исчерченная колесами трактора, мелькает у него под ногами. Однако пес — Гарри, оглянувшись, видит это — настигнет его, прежде чем он добежит до машины: оглаженный током стремительно прорезаемого воздуха, пес уже пролетел сквозь живую изгородь и мчится вдоль поля с кукурузной стерней. О господи! Кролик останавливается, закрывает локтями лицо и ждет. Отсюда дома не видно — он внизу, за пригорком, — и Кролик наедине со зверем. Он слышит по стуку когтей, что пес пронесся мимо, и лай затихает, переходя в урчанье. Гарри чувствует, как пес обнюхивает ему брюки, затем прижимается к ногам. Значит, он вовсе не намерен повалить его, просто хочет загнать назад, прибить к саду.

— Славная Фритци, — говорит Гарри. — Хорошая Фритци! Пойдем к моей машине. Давай пошли вместе. — Осторожно, шаг за шагом он преодолевает большое расстояние, отделяющее его от обочины, и пес все это время трется о его ноги, обнюхивает. Время от времени снизу, от невидимого отсюда дома, все еще доносятся окрики; колли неуверенно машет хвостом, шлепая Гарри по икрам; задранная вверх сплюснутая голова вопрошает красным больным глазом. Гарри подтягивает руки повыше, к лацканам. Грязные желтые мокрые зубы точно терка могут ободрать ему пальцы. Он говорит Фритци: «Ты красивая девочка, замечательная девочка» — и осторожно обходит сзади «Корону». Пила по-прежнему звенит. Гарри открывает дверцу со стороны водителя и втискивается на сиденье. Дверца захлопнута. Колли с озадаченным видом стоит на обочине красной земли, поросшей травой: вот он и загнал свою овцу. Гарри выуживает из кармана ключ от машины, мотор оживает. Сердце у него все еще стучит. Он перегибается к окну со стороны пассажира и царапает ногтями по стеклу.

— Эй, Фритци! — кричит он и царапает по стеклу, пока собака не заливается лаем... Хохоча, Кролик включает сцепление и дает деру, а в груди его

бултыхается что-то хрупкое и переливчатое, как большой мыльный пузырь. Пусть лопнет. Ни разу еще Гарри не был так близок к тому, чтобы взорваться, если не считать того случая, когда Нельсон расколошматил спортивные машины.

Уэбб Мэркетт — человек домовитый: у него в погребе полно дорогих электроинструментов, и он подписывается на такие журналы, как «Искусная работа по дереву» и «Сделай сам». В каждом уголке этой крепости в колониальном стиле, которую они с Синди делят вот уже семь лет, полно всяких вещиц ручной работы — обточенные, покрашенные, полированные полки, шкафчики, вращающиеся этажерки со множеством отделений, замысловатые, как раковина, — все это говорит о прилежании и любви хозяина к дому... Предыдущие браки Уэбба оставили свой след лишь в виде цветных фотографий в большой, длинной, утопленной гостиной. Бывая в доме Уэбба, Гарри не раз исподволь высматривал его предыдущих жен, но на снимках остались лишь обезглавленные или ополовиненные рамкой или соседней фотографией женщины да тут и там чья-то взрослая рука или плечо поверх детских головок, лица же исчезнувших хозяек недолговечного семейного очага не сохранились.

Когда Уэбб и Синди принимают гостей, скрытые динамики наполняют комнаты нижнего этажа сладкозвучным пением скрипок и безликими аранжировками, мелодиями из старых шоу или облегченными вариантами классического рока — без голоса, без перерыва звуки плывут, вызывая у Гарри зубную боль. Позади бара из красного дерева, который Уэбб раздобыл, когда сносили таверну при гостинице для фермеров в Бруэре, и установил вместе с окружающим его медным обручем в углу своей гостиной, он соорудил нечто вроде алтаря богу вина — за двумя высокими дверцами с закругленным верхом скрыты полки, выезжающие на шарнирах и уставленные не только элементарными напитками — виски, джином и водкой, но и экзотическими — ромом, текильей и саке, а также всеми видами добавок от горьковатых тоников до «Старинной смеси» в виде порошка в маленьких пакетиках. При баре есть свой небольшой встроенный холодильник. Хотя Гарри и восхищается Уэббом, но когда у него будет свой дом, он считает, что обойдется без этой писклявой музыки и такой сложной конструкции для хранения спиртного.

А вот ванная приводит его в восторг своими небольшими эмалированными мыльницами, в которых лежат розовые бутоны мыла, пушистым голубым чехлом на стульчаке и слепяще ярким зеркалом, окруженным голыми лампочками, точно в актерской уборной. Все здесь если не сверкает, то радует глаз или обоняние. Туалетная бумага очень мягкая, с рисунками из старых комиксов, на каждом куске своя картинка... А на полотенцах крупные буквы У, М и Л (начальная буква имени Лусинда) переплетены в такую выпуклую монограмму, что ему страшно даже подумать, как Синди может разодрать себе кожу, если в забывчивости начнет слишком крепко растираться. Но Гарри сомневается, чтобы Мэркетты или их бледненькие, хилые на вид детишки когда-либо пользовались этой ванной на нижнем этаже, — скорее всего она предназначена для гостей... В зеркале, слишком безжалостном в своей яркости, глаза его кажутся почти белыми, точно комочки инея, которые покрывают поверхность машины по утрам, а губы синими: он пьян. Он выпил два коктейля с текильей до ужина, за столом — галло-шабли, сколько успел заглотать, а после — полторы рюмки коньяка... Помимо него и Дженис, Мэркетты пригласили еще Гаррисонов и — для обновления компании — этих придурков Фоснахтов, с которыми они познакомились на свадьбе Нельсона всего две недели тому назад. Гарри думает, что Мэркетты не знают о его связи с Пегги много лет назад, когда у Олли случилась очередная неприятность, а может быть, и знают: люди знают куда больше, чем ты думаешь, и, как выясняется, это не так уж важно. Взять, к примеру, что люди каждую неделю читают в журнале «Пипл»³, а телевизор — ты же смотришь его, хоть и знаешь, что все актеры — наркоманы и бабники. У Гарри так и чешутся руки заглянуть в аптечку рядом с рамкой из электрических лампочек, и он ждет, чтобы из гостиной долетел взрыв смеха пьяной компании, который заглушил бы щелчок, а он может раздаться, когда Гарри откроет зеркальную дверцу. Щелк. А шкафчик-то битком набит — вот уж чего Гарри никак не предполагал: тол-

³ Журнал, где публикуется хроника жизни знаменитостей.

стые банки матового стекла с кремами для кожи, и мягкие, телесного цвета пластиковые бутылочки с лосьонами, и коричневые тубики с лосьонами для загара, и парепектолин от поноса, и деброкс, чтобы чистить уши от серы, и ментоловый хлорасептик, и полоскание, именуемое «Сепакол», и разные типы аспирина, и тилонол от изжоги, и большая белая, как мел, бутылка жидкого маалокса⁴. Интересно, думает Гарри, кому из Мэркеттов нужен маалокс — у обоих всегда такой спокойный, умиротворенный вид.. А что это за янтарные бутылочки с таблетками, где на этикетках бледно-голубыми печатными буквами значится: «Лу-синде Р. Мэркетт»? Белые таблетки, летально крошечные. Надо было ему захватить с собой очки. Гарри так и подмывает снять одну из этих бутылочек с полки в надежде выяснить, какая болезнь нашла дорогу в это пухлое и гибкое, такое аппетитное тело, но боязнь оставить отпечатки пальцев вынуждает его воздержаться. В аптечках, как он видит при этом ярком свете, есть что-то трагическое, и он тихо прикрывает дверцу, чтобы никто не услышал щелчка. Затем возвращается в гостиную.

Они громко обсуждают визит папы.

— А вы слышали, — кричит Пегги Фоснахт, — что он сказал вчера в Чикаго по поводу секса? — За годы, прошедшие со времени их связи, она стала держаться свободнее, не носит больше темные очки, чтобы скрыть косоглазие, и стала небрежнее во внешности и в высказываниях, словно из чувства протеста она превратилась в героиню современной прессы, вечно бунтующую против чего-то. — Он заявил: все внебрачные связи порочны. И не только если ты замужем, но и до замужества тоже. Да что этот человек знает? Он же ничего не знает о жизни, жизни, какой живут люди.

Уэбб Мэркетт, стараясь утихомирить свою гостью, мягко произносит:

— А мне понравилось то, что несколько лет тому назад сказал Эрл Батц: «Кто не играет в игры, тот и правил не устанавливает».

На Уэббе тонкий коричневый свитер под толстым серым пуловером грубой вязки, в котором, по мнению Кролика, Уэбб напоминает скандинавского рыбака... Гарри и Ронни пришли в костюмах; Олли же достаточно поднатерел в таких делах и знает, что теперь даже в субботу вечером никто не надевает костюм. Он явился в обтягивающих линялых джинсах и вышитой рубашке, отчего выглядит ковбоем, слишком, правда, низкорослым, чтобы скакать по прериям.

— «Кто не играет в игры!» — взрывается Пегги Фоснахт. — Хорошенькие игры, посмотрим, что бы вы сказали, если бы были беременной матерью многодетного семейства, жили в трущобе и не могли законно сделать себе аборт.

Кролик говорит ей: «Уэбб вполне согласен с тобой», но она не слушает его, продолжая трещать, раскрасневшаяся от вина и такого высокого общества, волосье ее обмякли, как конфеты, тающие на солнце.

— Кто-нибудь, кроме меня, смотрел — а я просто не могу не смотреть, такая меня разбирает злость, — какой спектакль папа устроил в Филадельфии: он там категорически высказался против женщин-священников. И улыбался — вот что меня доконало, — улыбался, неся весь этот сексистский вздор насчет того, что священнический сан могут носить только мужчины: так-де постановила церковь и так решил господь бог и прочее, — а сам весь лучился. И все так мягко — это, наверное, больше всего меня раздражает; люди вроде Никсона или Гитлера те по крайней мере хоть неистовствовали...

Дженис — а она знает Пегги нескончаемое множество лет — делает попытку вывести ее из этого состояния и говорит:

— А мне, Пегги, понравилось сегодня — не знаю, видела ли ты это, — как он вышел к балюстраде собора в Вашингтоне, перед тем как ехать в Белый дом, вышел к этой толпе, которая кричала: «Хотим видеть папу, хотим видеть папу!» — помахал рукой и крикнул: «Иоанн Павел Второй, он хочет видеть тебя!» В самом деле.

«В самом деле» было добавлено, потому что мужчины рассмеялись: они не смотрели эту передачу. Трое из них провели весь день на полях «Летящего орла»...

⁴ Лекарство, принимаемое при язве желудка.

— Я была бы рада увидеть в этом что-то забавное, — говорит Пегги, повышая голос, чтобы заглушить смех, — но для меня эти проблемы, которые он походя закрывает, слишком, черт побери, серьезны.

Неожиданно в разговор включается Синди Мэркетт:

— Что вас так оскорбляет, Пегги, вы же не католичка и не обязаны его слушать!

Вслед за ее словами наступает тишина, так как все, кроме Фоснахтов, знают, что сама Синди была рьяной католичкой, пока не вышла замуж за Уэбба. До Пегги сейчас это дошло, но, точно белая телка, мчащаяся вперед, она уже не может свернуть.

— Вы что, католичка? — напрямик спрашивает она.

Синди вздергивает подбородок — она не привыкла быть в центре внимания, она же в их компании играет роль младенца.

— Я воспитана в католической вере, — говорит она.

— Моя невестка, оказывается, тоже, — вставляет Гарри. Его забавляет эта мысль, что теперь у него есть невестка, новое приобретение, пополняющее его богатство. А кроме того, он надеется переключить разговор. Терпеть он не может, когда женщины сорятся, — ему бы очень хотелось отвлечь внимание двух женщин от этой темы. Синди выходит из бассейна словно влажная мечта, а Пегги по доброте своей даже пустила его к себе в постель, когда ему было худо.

Но ни ту, ни другую уже не отвлечь.

— Когда я вышла замуж за разведенного, — ровным тоном поясняет Синди другой женщине, — я больше не могла принимать участие. Но я по-прежнему время от времени хожу к мессе. Я по-прежнему верю. — Голос ее при этом смягчается: она же здесь хозяйка, хоть и моложе всех.

— А вы пользуетесь средствами против беременности? — спрашивает Пегги...

Синди медлит с ответом. Она может, как девчонка, хихикнуть и ускользнуть от ответа или может промолчать с видом оскорбленного достоинства. И вот со скромнейшей улыбкой, указывающей на оскорбленное достоинство, она говорит:

— Я не уверена, что это вас как-то касается.

— И папы тоже — к тому-то я и веду! — победоносно объявляет Пегги, но даже и она, видно, чувствует, что битва затихает. Больше ее сюда не пригласят.

Уэбб, неизменный джентльмен, присев на подлокотник кресла, откуда ведет наступление на папу громоздкая Пегги, нагибается к своей гостье так, чтобы слышала только она, и говорит:

— Насколько я понимаю, Синди считает, что Иоанн Павел излагает свои доктрины для католиков, а всем американцам выказывает благорасположение.

— По мне, так он свое благорасположение вместе со своими доктринами может держать при себе, — заявляет Пегги: она и хотела бы сдержаться, но не в силах совладать с собой... — Извините, — добавляет она, — я слишком разболталась.

— Ну мы же в Америке, — говорит Гарри, приходя ей на помощь. — Будем считать, что никто в этом споре не победил. Сегодня я расстался со своим единственным в жизни другом — Чарли Ставросом.

Дженис говорит: «Ох, Гарри!» — но никто не поддерживает этой темы. Собственно, мужчины могли бы сказать, что они-то думали — это они его друзья.

Уэбб Мэркетт склоняет голову набок и, движением бровей указывая на Ронни и Олли, спрашивает:

— Кто-нибудь из вас видел в сегодняшней газете, где Никсон наконец купил себе дом? На Манхэттене, рядом с Дэвидом Рокфеллером. Я не большой поклонник этого ловкача Никсона, но должен сказать: когда его не пускали ни в один многоквартирный дом в большом городе, я счел это позором для нашей конституции.

— Точно он нигер, — говорит Ронни.

— Ну а как бы вам понравилось, — не может не сказать свое слово Пегги, — если бы свора полицейских в штатском проверяла вашу сумку всякий раз, как вы возвращаетесь из лавки?..

— Я тут на днях, — объявляет Гарри, — слышал в «Ротари» презабавную

историю о Киссинджере. По-моему, Уэбб, тебя там не было. В самолете, терпящем аварию, летят пятеро: священник, хиппи, полицейский, еще какой-то тип и Генри Киссинджер. А парашютов всего четыре.

Ронни говорит:

— И в конце хиппи поворачивается к священнику и говорит: «Не волнуйтесь, святой отец. Самый ловкий человек в мире только что прыгнул с моим рюкзаком». Все знают этот анекдот. Кстати, мы с Тельмой гадали: ты вот это видел? — И он протягивает Гарри вырезку из газеты — кусок статьи Энн Лэндерс, опубликованной в бруэрском «Стэндарде», весьма уважаемой газете, не чета «Вэт». Второй абзац отчеркнут тонкой шариковой ручкой. — Прочти вслух, — требует Ронни.

Гарри не нравится, когда всякие потные плешаки вроде Гаррисона командуют им, он же приехал приятно провести время с Мэркеттами, но все взгляды устремлены на него, а кроме того, это хоть отвлечет их от разговора о папе. Он объясняет — прежде всего Фоснахтам, поскольку Мэркетты, видно, уже в курсе дела:

— Это письмо, которое кто-то прислал Энн Лэндерс. В первом абзаце говорится об одном малом, которому впился в живот его любимец питон, да так, что не оторвешь, а когда явились медики из парашютно-десантных войск, этот малый заорал на них и сказал, чтоб они убирались из его квартиры — он-де не позволит трогать его змею. — Раздается легкий смех, к которому присоединяются и несколько озадаченные Фоснахты. — Следующий абзац гласит:

Вторая новость: один вашингтонский врач в загородном клубе нанес клюшкой смертельный удар канадскому гусю у 16-й лунки на поле для гольфа. (Гусь крикнул как раз, когда врач занес клюшку для удара.) Мы напечатали эти два письма, чтобы показать, что правда бывает удивительнее вымысла.

Прочитав заметку вслух, Гарри поясняет Фоснахтам:

— Они суют мне в нос эту историю, потому что летом я слышал об аналогичном случае по радио и когда принялся рассказывать им в клубе, они не стали даже слушать: никто мне не поверил. Так вот доказательство, что я ничего не сочинил.

— Да не в этом дело, чемпион, — говорит Ронни Гаррисон.

— Дело, Гарри, в том, — говорит Тельма, — что все было иначе. Ты говорил, что врач был из Балтимора, а здесь сказано, что он из Вашингтона. Ты говорил, что мяч попал в гуся случайно и потом врач из милосердия прикончил его.

Уэбб говорит:

— Помнишь: «Прикончил из милосердия или совершил гнуснейшее убийство?» Это меня тогда страшно расстроило.

— Что-то незаметно было, — говорит Гарри, довольный, однаю, тем, что история подтвердилась.

— Значит, по мнению Энн Лэндерс, это все-таки было гнуснейшее убийство, — говорит Тельма.

— А не все ли равно? — из злобредности говорит Ронни. Значит, идея вырезать статью принадлежала Тельме. Она же и отчеркнула ее шариковой ручкой.

Дженис слушала все это мрачная, с остекленевшими глазами, какие бывают у нее, когда она основательно напьется. Они с Уэббом пробовали ирландский ликер под названием «Гринсливз», который только недавно стали импортировать.

— Нет, не все равно, если гусь крикнул, — говорит она.

Олли Фоснахт говорит:

— Я не могу поверить, чтобы крик гуся мог повлиять на удар.

Все игроки в гольф заверяют его, что мог...

— Эй, Уэбб, — говорит Ронни, — как это у тебя тут нет пива?

— Есть пиво, есть пиво — «Миллер лайт» и «Хайнекен». Кому чего принести?

Уэбб что-то нервничает, и Кролик опасается, что вечеринке может прийти конец. Ему не хватает — вот бы никогда не подумал — Бадди Инглфингера, и он представляет себе, что сказал бы Бадди, будь он здесь.

— Кстати, о мертвых гусах, — говорит Гарри, — я на днях вычитал в газете высказывание какого-то антрополога или кого-то в этом роде о том, что к двухтысячному году одна четверть всех животных, существующих на земле, вымрет.

— Ох, не надо, — громко вырывается у Пегги Фоснахт, и ее так передергивает, что даже жир трясется на толстых руках. На ней платье с не по сезону короткими рукавами. — Только не говорите о двухтысячном годе — при одной мысли об этом у меня мурашки.

Никто не спрашивает почему.

Наконец Кролик произносит:

— Почему? Ты же будешь еще жива.

— Нет, не буду, — отрезает она, явно намереваясь даже по этому поводу затеять спор.

Красные пятна все еще покрывают горло и грудь разгоряченной спором Синди; маленький золотой крестик виднеется в прорези расстегнутого на две пуговицы или не завязанного арабского одеяния, ее запястья выглядят по-детски хрупкими в широких рукавах, голые ноги в сандалиях из тонких золотых ремешков виднеются из-под расшитого подола. Воспользовавшись тем, что Уэбб принимает заказы на напитки, а Дженис, пошатываясь, отправляется в ванную, Гарри подходит к молодой хозяйке и садится рядом с ней на стул.

— А знаешь, — говорит он, — по-моему, папа большой молодец. Умеет пользоваться телевидением.

Синди говорит, резко мотнув головой. точно ее кто-то ужалил:

— Мне тоже не нравится многое из того, что он говорит, но он же вынужден где-то установить границу. Это его обязанность.

— Бойся он, — высказывает предположение Кролик. — Как и все вокруг.

Она смотрит на него — в разрезе ее глаз, как сказала Мим, есть что-то китайское, а припухлости под нижними веками создают впечатление, будто ее избили или у нее септическая лихорадка: она подмигивает, даже когда говорит вполне серьезно; здесь, посреди комнаты, вдали от света, зрачки ее кажутся огромными.

— Ох, я не могу так думать о нем, хотя, возможно, ты и прав. Слишком много во мне еще от приходской школы. — Коричневый ободок вокруг ее зрачков цвета мягкого шоколада: ни искорки, ни огня. — Уэбб так бережно ко мне относится: он на меня не нажимает... Ты же знаешь, у него пятеро детей от двух других жен, и они обе вечно тянут из него деньги. Ни та, ни другая не вышли замуж, хотя живут не одни; вот это я бы назвала аморальным — так пить кровь из него...

— ...Конечно, ты же еще совсем ребенок, — говорит он ей.

Синди спокойно искоса смотрит на него и весьма категорично произносит:

— Уже нет, Гарри. В апреле мне будет тридцать.

Двадцать девять... значит, ей было двадцать два, когда она стала спать с Уэббом — вот хитрый старый козел; Гарри представляет себе ее тело, смуглое, с шелковистыми скатами и валиками жира под свободной шершавой хламидой, с потаенными закоулками, которые так приятно гладить, — телу ведь надо дышать в эту тропическую жару; под стать ее одеянию и золотые ремешки на ногах, и браслеты на запястьях, еще тонких и округлых, как у ребенка, без вен. От желания у него пересыхает во рту. Он поднимается долить себе коньяку, но, пошатнувшись, задевает коленом громоздкое квадратное кресло Пегги Фоснахт. Ее уже в нем нет — накинув на плечи старомодное уныло-зеленое суконное пальто, Пегги стоит на вершине приступки, ведущей из гостиной. И смотрит на них сверху вниз, словно ее вознесли над ними и сейчас умчат прочь.

А Олли продолжает сидеть за столиком с кафельной крышкой в ожидании пива, которое обещал принести Уэбб, не обращая внимания на то, что жена уходит. Ронни Гаррисон, совсем пьяный — губы мокрые, длинная прядь волос, которую он обычно зачесывает на лысину, висит запятой, — спрашивает Олли:

— Как идет торговля музыкой? Я слышал, увлечение гитарой сошло на нет вместе с революционным духом.

— Теперь перешли на флейты — чудеса да и только. Не одни девушки, но и парни, которые играют в джазе. Особенно много негритосов. Один зашел тут ко мне — хотел купить флейту из платины ко дню рождения дочки, ей исполняется восемнадцать лет, говорит, читал, что у какого-то француза была такая. Я сказал: «Милый, вы сумасшедший. Я даже представить себе не могу, сколько такая флейта может стоить». А он сказал: «Да плевал я, милый» — и вытащил пачку денег, наверно, в дюйм толщиной, и всё — сотенные. Во всяком случае, сверху были сотенные.

Прощупывать дальше настроение Синди сейчас, пожалуй, не стоит; Гарри тяжело опускается на диван и присоединяется к мужской беседе.

— Вроде этих ключок для гольфа с золотыми наконечниками, которые были в моде несколько лет назад. Вот уж они-то, пари держу, выросли в цене.

На него, как и на Пегги, никто не обращает внимания. Гаррисон жмет всюю. Ох уж эти страховые агенты — придвинет голову к твоему уху и ну долбить, пока ты либо не накричишь на него, либо не скажешь: конечно, застрахуйте меня еще на пятьдесят тысяч.

Гаррисон говорит Олли:

— А как насчет электроинструментов? Этот парень, что выступает по телевизору, он играет даже на электроскрипке. Должно быть, такая немало стоит.

— Целое состояние, — говорит Олли, с благодарностью глядя на Уэбба, который ставит перед ним на светлый квадратик столика стакан с пивом «Хайнекен». — Одни динамики стоят тысячи, — говорит он, радуясь возможности поговорить, радуясь возможности оперировать большими цифрами. Бедный простофиля, ведь всем известно, что он главным образом торгует пластинками, от которых балдеют тринадцатилетние подростки. Как это Нельсон говорил? Не музыка, а сопли-вопли. Нельсон в свое время серьезно занимался гитарой — у него была та, которую он вынес из пожара, потом другая, отделанная перламутром, которую они ему подарили, но после того как он окончил школу и получил водительские права, из его комнаты не слышно гитары.

Ронни склоняет голову набок и делает заход с другой стороны.

— Вы знаете, я занимаюсь с клиентами Скуилкиллской страховой компании, и вот мой босс говорит тут мне на днях: «Рон, ты стоил нашей компании в прошлом году восемь тысяч семьсот». Это не жалованье, это добавки. Взносы в фонд пенсии, страхование здоровья, доленое участие. А как у вас обстоит с этим дело? В наше время и в наш век, если хозяин не обеспечивает тебя страховкой и пенсией, ты в пиковом положении. Люди на это рассчитывают и без этого выкладываться не будут.

Олли говорит:

— Ну, я в известном смысле сам себе хозяин. Я и мои партнеры...

— А сколько у вас иждивенцев?

— Двое, если считать жену. Мой сын Билли окончил колледж и сейчас изучает в Массачусетсе зубоорачебное дело.

Ронни присвистывает.

— Ух ты, ну и умен! Ограничил себя одним отпрыском. Я вот посадил себе на шею целых троих и только последние два-три года почувствовал, что твердо стою на земле. Старший мальчик, Алекс, занялся электроникой, а среднего, Джорджи, с самого начала пришлось поместить в специальную школу. Дислексия. Я никогда об этой болезни не слышал, но теперь, прямо скажем, наслышан. Ни черта не может понять из написанного, а по разговору никогда этого не подумаешь. Так язык подвешен, что в один миг меня обставит, а вот понять ничего не может. Хочет быть художником, бог ты мой! На этом же не заработаешь, Олли, ты это знаешь лучше меня. Даже когда у тебя один ребенок, все равно не хочется, чтобы он голодал, если с тобой или с твоей женошкой вдруг что случится. В наши дни и в наше время, если у человека жизнь не застрахована на сто — сто пятьдесят тысяч, он просто не реалист. Да одни приличные похороны стоят четыре—пять косых.

— М-да, ну...

— Ты куришь?

— Случается.

— Хм. Что ж, дай-ка я назову тебе доктора, который тебя хорошенько обследует.

Олли говорит:

— По-моему, жена собралась уходить.

— Не вкручивай мне, Фостер.

— Фоснахт.

— Не вкручивай. Сегодня же субботний вечер, милый. У тебя что, шило в зад, что ли?

— Да нет, просто моя жена... ей завтра утром надо идти на какое-то собрание против атомных испытаний в универсалистской церкви.

— Ничего удивительного в таком случае, что она так окрысилась на папу...

Гарри говорит:

— Прекрати, Рон. Олли хочет уйти.

— Ну, собственно, не я, а Пегги...

— Иди! Иди с миром, милый. — Ронни поднимается и пухлой рукой делает знак креста. — Бог да хранит Америку, — произносит он с сильным иностранным акцентом так громко, что Пегги, разговаривающая с Мэркеттами, чтобы немного заглядеть свою неловкость, оборачивается. Она тоже ходила в одну школу с Ронни и знает, какой он гнусный остолоп.

— Господи, Ронни, — говорит ему Кролик, после того как Фоснахты ушли. — Зачем надо было все это городить!

— А-а, — произносит Ронни. — Мне хотелось посмотреть, сколько дерьма он может съесть.

— Собственно, я и сам никогда его не жаловал, — признается Гарри. — Он так плохо обращается со старушкой Пегги.

Дженис, советовавшаяся с Тельмой Гаррисон по поводу чего-то, одному богу известно чего — может быть, их паршивых детей, — услышав это, поворачивается и поясняет Ронни:

— Гарри спал с ней много лет назад, поэтому он не терпит Олли. — Ничто так не растревает старые раны, как спиртное.

Ронни хохочет, чтобы привлечь всеобщее внимание, и хлопает Гарри по колену.

— Ты спал с этой толстой косоглазой хрюшкой?

Кролик мысленно видит тяжелое стеклянное яйцо с запечатанным в нем пузырьком воздуха, что лежит в гостиной мамы Спрингер, ощущает его гладкую поверхность в своей руке и представляет себе, как он разворачивается, шмякает им по упрямой тупой башке Дженис и тем же ударом проламывает розовую башку Гаррисона.

— В то время это меня вполне устраивало, — признается он и вытягивает ноги поудобнее, готовясь просидеть так весь вечер.

После того как Фоснахты уехали, в комнате словно стало легче дышать. Синди, хихикая, говорит что-то Уэббу, прильнув к его толстому серому свитеру в своей свободной арабской хламиде, — ну прямо влюбленная пара, позирующая для рекламы отдыха за границей.

— А Дженис в ту пору сбежала к этому паршивому греку Чарли Ставро-су, — объявляет Гарри всем, кто готов его слушать.

— О'кей, о'кей, — говорит Ронни, — можешь нам об этом не рассказывать. Мы все это слышали, это история с бородой.

— А не с бородой, лысый ты хам, то, что я сегодня распрощался с Чарли: Дженис и ее матушка выставили его из «Спрингер моторс».

— Гарри нравится так это изображать, — говорит Дженис, — но Чарли и сам этого хотел.

Ронни не настолько одурел, чтобы не понять что к чему. Он склоняет набок голову и смотрит на Дженис — Гарри видны только его пушистые белокурые ресницы.

— Ты уволила своего бывшего дружка? — спрашивает он ее.

— И все ради того, — развивает дальше мысль Гарри, — чтобы мой неприкаянный сынок, который не желает кончать колледж, хотя учиться ему ос-

талось всего один год, мог занять это место, для которого у него не больше данных, чем, чем...

— Чем было у Гарри, — доканчивает за него Дженис (в былые дни она никогда не сумела бы так быстро дать сдачи) и хихикает.

Гарри тоже смеется — еще прежде Ронни. До этого толстокожего не сразу все доходит.

— Вот это мне нравится, — хриплым голосом произносит Уэбб Мэркетт с высоты своего роста. — Старые друзья. — Они с Синди стоят рядом словно сопредседатели их кружка, в то время как стрелки часов уже близятся к полуночи. — Что кому принести? Еще пива? А как насчет чего-нибудь покрепче? Виски? Ирландского?

Груди Синди приподнимают этот кафтан, или бурнус, или что там на ней надето, точно углы палатки. Молчание пустыни. Молодой месяц. Пора спать верблюдам.

— Та-ак, — произносит Уэбб с таким удовольствием, что ясно: сказывается действие «Гринсливза», — и что же мы думаем о Фоснахтах?

— Не проходят, — говорит Тельма.

Гарри даже вздрагивает, услышав звук ее голоса, так тихо она все время сидела. Если закрыть глаза и на время ослепнуть, у Тельмы приятнейший голос. Ему становится грустно и легко теперь, когда пришельцы из жалкого мира, что лежит за пределами «Летящего орла», выворены.

— Олли от рождения тупица, — говорит он, — но она не была такой пустомелей. Верно, Дженис?

Дженис осторожничает, не желая нападать на старую приятельницу.

— У нее всегда была к этому склонность, — говорит она, — Пегги ведь никогда не считала себя привлекательной, в этом все и дело.

— А ты себя считала? — не без осуждения говорит Гарри.

Она смотрит, не вполне поняв его, лицо ее блестит, словно обрызганное из распылителя.

— Конечно, считала, — галантно вмешивается Уэбб. — Дженис действительно привлекательная женщина. — И, обойдя сзади ее кресло, кладет руки ей на плечи, под самую шею, так что она приподнимает плечи.

Синди говорит:

— Когда перед уходом она болтала со мной и с Уэббом, она показалась мне куда приятнее. Она сказала, что ее иногда просто заносит.

Ронни говорит:

— По-моему, Гарри и Дженис часто видятся с ними. Я бы выпил пивка, раз уж ты на ногах, Уэбб.

— Ничего подобного. Просто Нельсон дружит с этим их противным сыном Билли, и потому они попали на свадьбу. Уэбб, ты не мог бы принести два пива?

— А как Нельсон? — спрашивает у Гарри Тельма, понизив голос, чтобы слышал ее только он. — Он давал о себе знать с тех пор, как женился?

— Пришла открытка. Дженис раза два говорила с ними по телефону. По ее мнению, они там скучают.

— Не по моему мнению, — прерывает его Дженис. — Он мне сам сказал, что они скучают.

— Если ты спал с женщиной до свадьбы, — высказывает свое мнение Ронни, — медовый месяц, наверно, сплошная нудота. Спасибо, Уэбб.

Дженис говорит:

— Он сказал, что в домике холодно.

— Видно, поленились принести дров со двора, — говорит Гарри. — Угу, спасибо...

— Гарри, я же сказала, что они целый день топят печку.

— И сожгут все запасы дров — пусть другие снова колют. Весь в мамочку пошел.

Тельма, очевидно, устав от препирательств Энгстромов, произносит громко, запрокинув назад голову и выставив на всеобщее обозрение поразительно длинную желтую шею.

— Кстати, о холоде, Уэбб. Вы с Синди куда-нибудь собираетесь этой зимой?

Они обычно ездят на какой-то остров в Карибском море. Гаррисоны много лет назад ездили с ними. А Гарри и Дженис — никогда.

Уэбб как раз обходит сзади кресло Тельмы, неся кому-то стакан.

— Мы обсуждали это, — говорит он Тельме.

От пива, выпитого после коньяка, все словно в дымке, и кажется, что между Тельмой, которая сидит, запрокинув голову, и склонившимся к ней, тихо что-то говорящим Уэббом происходит какой-то сговор. Давние друзья, думает Гарри. Все складывается воедино, как кусочки головоломки. Уэбб нагибается ниже и через плечо Тельмы ставит перед ней на темный квадрат столика высокий стакан с виски, сильно разбавленным содовой.

— Мне бы хотелось поехать, — продолжает он, — куда-нибудь, где есть поле для гольфа...

— Поехали все вместе! — предлагает Гарри. — Мой парень в понедельник принимает магазин, давайте уедем к черту отсюда.

— Гарри, — говорит Дженис, — зачем ты так: никакой магазин он не принимает. Уэбб и Ронни потрясены — как ты можешь так говорить о своем сыне?

— Нисколько они не потрясены. Их детки тоже живьем их сжирают. Я хочу этой зимой поехать на Карибское море и поиграть в гольф. Давайте дернем. Предложим Бадди Инглфингеру быть четвертым Я ненавижу здешнюю зиму — ни снега, ни на коньках покататься, просто месяц за месяцем скука и холод. Когда я был мальчишкой, снег лежал всю зиму — куда он весь девался?

— В семьдесят восьмом снегу у нас было хоть отбавляй, — замечает Уэбб.

— Гарри, нам, пожалуй, пора домой, — говорит Дженис. Рот ее превратился в щель, лоб под челкой блестит.

— Я не хочу домой. Хочу на Карибские острова. Но сначала я хочу в ванную. В ванную, домой и на Карибские острова — в таком порядке. — Интересно, мелькает у него мысль, такие жены, как у него, когда-нибудь умирают своей смертью? Такие вот смуглые жилистые бабы — да никогда: достаточно посмотреть на ее матушку, которая все еще командует. Похоронила бедного старика Фреда и хоть бы хны.

Синди говорит:

— Гарри, уборная на нижнем этаже засорилась — Уэбб только что заметил. Кто-то, видно, спустил слишком много туалетной бумаги.

— Пегги, кто же еще? — говорит Гарри, встает и никак не может понять, почему ковер, лежащий на полу от стены до стены, вздыбился посредине, точно палуба корабля. — Сначала нападает на папу, а потом забывает канализацию.

— Пойди в ванную, что возле нашей спальни, — говорит ему Уэбб. — Поднимись по лестнице, поверни налево и пройди мимо двух стальных шкафов.

— ...вытирая слезы... — выходя из комнаты, слышит Кролик сухой деловитый голос Тельмы Гаррисон.

Вверх по двум застланым бобриком ступенькам — голова его плывет где-то высоко над ногами. Потом через холл и вверх по лестнице, застланной бобриком уже другого цвета, грязновато-зеленоватого, более изношенным. — здесь явно более старая часть дома... Голоса внизу затихают. Уэбб сказал: повернуть налево. Дверцы шкафов. Гарри останавливается и заглядывает внутрь. Женская одежда, разноцветная, пахнущая Синди... Он находит ванную. Все лампочки в ней горят. Какая растрата энергии! Большой корабль, именуемый Америкой, идет ко дну, пылая всеми огнями. Эта ванная меньше той, что внизу, и темнее по тону: кафель на стенах, и обои, и коврики, и полотенца, и цветные фаянсовые приспособления — все коричневое с примесью оранжевого. Он расстегивает брюки и наполняет одно из ярких вместилищ золотистой жидкостью. Точно дождь золотых монет. Они с Дженис вынули свои круггерранды из ящика тумбочки у кровати, отправились вместе в центр города, в Кредитный банк Бруэра, и поставили маленькие цилиндрики с голубыми, напоминающими туалетные сиденья крышечками в крепкий длинный ящик-сейф, а потом в ознаменование этого события выпили за обедом в «Блинном доме», и он поехал к себе в магазин... Гарри смотрит на свое отражение в этом менее ярком зеркале. по обе стороны которого установлены флюоресцентные трубки, и видит, что губы у него менее синие, — значит, он трезвеет и скоро можно будет ехать домой... Он пригибается ближе к

зеркалу, так, что лицо оказывается в тени, а зрачки расширяются, и вглядывается, пытаюсь понять, есть ли у него душа. Он всегда считал, что именно это стремятся выяснить глазные врачи, когда направляют тебе в глаз маленький горячий лучик света. Что они там видели, они ни разу ему не сказали. А он не видит ничего, кроме черноты, слегка расплывающейся, потому что глаза у него уже не молодые.

Он моет руки... И не вытирает их, не желая дотрагиваться до полотенца, которым пользовался Уэбб. Он ведь видел это длинное желтое тело в гардеробной «Летающего орла». У малого вся спина и плечи в родинках — скорее всего они не заразные, но все же.

Идти вниз с мокрыми руками нельзя. Это дерьмо Гаррисон непременно отпустит какую-нибудь острогу... Кролик топчется в холле, прислушиваясь к доносящемуся снизу шуму, бессловесному гулу голосов — им весело и без него; голоса женщин звучат четче, у них свой ритм, точно вхолостую работает изношенный мотор, — песня эта звучит так отчетливо, что, кажется, сейчас услышишь слова. Холл здесь затянута не зеленоватым, а тускло-сливовым бобриком, и шагая по нему, Гарри подходит к порогу спальни Мэркеттов. Вот здесь оно и происходит. У Гарри образуется пустота в желудке, его начинает подташнивать при одной мысли о том, какой счастливец этот Уэбб. Прямо-таки обидно, где же справедливость, почему Уэббу так повезло — не только в том, что у него молодая жена, но и в том, что за стеной у него нет старухи Спрингер. А где же у Мэркеттов дети? Гарри поворачивает голову и видит в дальнем конце сливового бобрика закрытую белую дверь. Там Спят Он в безопасности. Бобриск заглушает его шаги, и он тихо, как привидение, вступает по нему в спальню. Пещера — вход запрещен. При виде чьей-то туманной фигуры у него екает сердце: мужчина в синих брюках и мятой белой рубашке с засученными рукавами и распущенным галстуком, излишне дородный и грозный наблюдает за ним. Господи! Это же он сам, это свое отражение во весь рост он видит в большом зеркале между двумя одинаковыми бюро из некрашеного дерева — в нем словно сквозит слой пудры проступает зернистый рисунок... Гарри редко видит себя вот так, с головы до ног, разве что когда покупает костюм у «Кролля», или у этого портного на Сосновой улице. Но там ты стоишь среди трех зеркал и нет этого страшноватого пространства вокруг, когда между тобой и зеркалом почти половина комнаты. Вид у него неопрятного уголовника — ни дать ни взять вор, слишком разжиревший для такой работы.

Удвоенная зеркалом тихая комната хранит очень мало следов живого присутствия Мэркеттов. На окнах — занавеси из толстой, в красную полосу материи, точно пышные штаны гигантского клоуна, а кроме того жалюзи, не пропускающие света, — он все время просит Дженис приобрести такие: теперь, когда листья облетают, свет бьет сквозь ветви лесного бука прямо ему в лицо в семь утра; он же зарабатывает почти пятьдесят тысяч в год, а вот как вынужден жить, никогда они с Дженис толком не устроятся. Дальнее окно спальни со спущенными для сна жалюзи, должно быть, выходит на бассейн и на вытянувшиеся в ряд деревья, которые тут отделяют друг от друга дома, но Гарри не хочет далеко проникать в комнату: он и так уже злоупотребил гостеприимством. Руки у него высохли, пора спускаться вниз. Он стоит у края кровати — ее безликая поверхность начинается где-то ниже его колен: атласное, персикового цвета покрывало наспех подоткнуто, и Гарри вдруг делает шаг к закругленной тумбочке кленового дерева и тихонько вытягивает ящик. Собственно, он был уже приоткрыт... В глубине Гарри обнаруживает несколько моментальных снимков, сделанных «Полароидом»... Он берет пачечку, переворачивает и изучает снимки один за другим. На всех изображена Синди, обнаженная. И рядом — Уэбб... Снимков восемь, а такой аппарат заряжается на десять...

Шум внизу затихает — возможно, они прислушиваются к тому, что происходит наверху, не понимая, что могло с ним случиться. Гарри кладет снимки назад в ящик изображенном вниз, черной оборотной стороной вверх и старательно задвигает ящик так, чтоб он был слегка приоткрыт. В комнате ничто больше не тронут — его изображение в зеркале тут же сотрется. Останется лишь возбуждение, вызванное фотографиями. Не может он в таком состоянии идти вниз, и он старается прогнать из мыслей обнаженную Синди... Старается думать о других тайнах, чтобы перекрыть мысль об увиденном. Думать о своей

дочери. О своем золоте. О сыне, возвращающемся завтра из Покон, чтобы потребовать себе место в магазине. Вот это помогло: образ Синди тускнеет. Раздумывая о мрачном Нельсоне, Гарри идет в ванную и открывает кран, точно собирается мыть руки, — на всякий случай. если кто-то внизу прислушивается...

Когда он сходит по лестнице, к нему возвращается это ощущение, будто голова его болтается на шестифутовой веревке, привязанной к его большим туфлям. Компания в длинной гостиной сидит теперь тесным кружком вокруг столика с кафельной крышкой. Ему вроде бы и сесть негде. Ронни Гаррисон поднимает на него взгляд.

— Ну и ну, чем же это ты там занимался?

— Я что-то не очень хорошо себя чувствую, — с достоинством отвечает Кролик.

— У тебя глаза красные, — говорит Дженис. — Ты что, снова плакал?

Но они слишком чем-то увлечены, чтобы долго его поддразнивать. А Синди — та даже не обернулась. Шея у нее сзади толстая и загорелая, гладкая и бесчувственная. Шагая к ним по пружинящему бесконечному светлому ковру, Гарри на секунду приостанавливается перед камином, заметив то, чего не заметил раньше: два снимка, сделанных «Полароидом», выставленных на каминной доске, на обоих детишки Мэркеттов — пятилетний мальчик в чрезмерно для него большой бейсбольной рукавице стоит с грустным видом на их выложенном кирпичом дворике, и трехлетняя девочка, снятая этим ярким, подернутым легкой дымкой летним днем, перед тем как ее родители отправились соснуть, с покорной и глупой полуулыбкой глядит, прищурясь, прямо на источник света. Это и есть те две фотографии, которых не хватает в пачке.

— Эй, Гарри, как насчет второй недели января? — кричит ему Ронни.

Значит, они обсуждали поездку на Карибские острова, и женщин эта перспектива соблазняет не меньше, чем мужчин.

Уже во втором часу ночи Гарри и Дженис едут домой. Бруэр-Хейтс, поселок, где каждый участок — величиной с два акра, расположен недалеко от шоссе, ведущего к Мэйден-Спрингс, минутах в двадцати от Маунт-Джаджа. Дорога плавными петлями спускается вниз — строители оставили здесь деревья, и когда шесть часов тому назад Гарри и Дженис ехали по этой дороге, каждый дом среди не тронутых бульдозерами лесов горел, напоминая витрины на фасаде длинного серого универсального магазина. Сейчас все дома, кроме дома Мэркеттов, стоят темные. Осенний ветер срывает с деревьев мертвые листья, и они, крутясь в свете фар сыплются каскадом, точно их вытряхивают из больших корзин. Времена года настигают тебя. В небе появляются просветы, деревья поднимаются выше. Гарри ничего не приходит на ум — он молчит, сосредоточенно ведя машину по этим извилистым улочкам именуемым аллеями и бульварами. Звезды, поблескивающие сквозь голые верхушки деревьев в Бруэр-Хейтс, меркнут перед яркими фонарями, заливающими светом шоссе на Мэйден-Спрингс, Дженис затягивается сигаретой — краешком глаза Гарри видит, как огонек разрастается и затухает. Она прочищает горло и говорит:

— Мне, наверное, следовало решительнее выступить в защиту Пегги — как-никак она старая приятельница. Но мне казалось, она говорила что-то совсем не к месту.

— Слишком сильно сказывается на ней борьба за эмансипацию женщин.

— Может быть, слишком сильно сказывается Олли. Я знаю, она не оставила мыслей о разводе.

— А ты не рада, что у нас все это позади?

Он говорит это из озорства, чтобы посмотреть, будет ли она отрицать, но она просто отвечает:

— Да.

Он молчит. Язык у него словно присох. Вот сейчас Уэбб раздевает Синди или она его...

Дженис говорит ему:

— Твоя идея поехать всем вместе пустила корни.

— Будет здорово.

— Вам, мужчинам, да: вы играете в гольф. А что мы целый день будем делать?

— Лежать на солнце. Что-нибудь там будет. Наверняка там есть теннисные корты. — Эта поездка дорога ему, он говорит о ней осторожно.

Дженис снова затягивается сигаретой.

— Сейчас всё твердят, что долгое лежание на солнце приводит к раку.

— Не более, чем курение.

— Тельме вообще нельзя находиться на солнце — это может быть для нее смертельно, так она мне сказала. Удивляюсь, почему ей взбрело в голову ехать.

— Может быть. утром она и раздумает. Я вообще не представляю себе, откуда у Гаррисона на это средства — при том, что их парень в школе для дефективных детей.

— А у нас откуда? Мы себе можем это позволить? После того как потрагивались на золото.

— Лапочка, конечно. Золото, поднявшись в цене, уже принесло нам больше, чем будет стоить поездка. Мы такие ленивые — нам уже много лет назад следовало начать путешествовать.

— Тебе же никогда никуда не хотелось ехать вдвоем со мной.

— Конечно, хотелось. Просто мы не решались. И потом, у нас ведь были Поконы, куда мы ездили.

— Я вот еще о чем думаю: это ведь значит, придется оставить Нельсона и Пру в самое такое время.

— Забудь об этом. Она так держится за Нельсона, что продержится и с ребенком до конца января. До Валентинова дня.

— Как-то это подлово выглядит, — говорит Дженис. — И потом — оставить Нельсона в магазине одного, взвалив на него такую ответственность.

— Он же этого хотел, вот и получил. Ну что может случиться? Джейк и Руди будут под боком. Мэнни будет заниматься своим делом.

Сигарета еще раз вспыхивает, затем Дженис — и это всегда так раздражает Гарри — неуклюже тычет в пепельницу сигаретой, в клочья раздирая ее. Гарри терпеть не может, когда пепельница в «Короне» забита окурками: от нее потом, даже когда их выбросишь, долго пахнет. Дженис вздыхает.

— Почему-то мне хочется поехать с тобой вдвоем, если уж ехать.

— Мы же там ничего не знаем. А Уэбб знает. Он там уже бывал, по-моему, он стал ездить туда задолго до Синди, еще с другими женами.

— Я не против Уэбба, — признается она. — Он славный. Но, сказать по правде, я вполне обошлась бы без Гаррисонов.

— А мне казалось, ты равнодушна к Ронни.

— Это ты к нему равнодушен.

— Я его терпеть не могу. — говорит Кролик.

— Он тебе нравится этой своей вульгарностью. Он напоминает тебе те дни, когда ты играл в баскетбол. Да и дело не только в нем. Меня беспокоит Тельма.

— Почему? Она же мышка.

— По-моему, она очень равнодушна к тебе.

— Вот уж никогда не замечал. С чего бы это? — Только не касайся Синди, иначе он выдаст себя...

С неожиданной сухостью Дженис вдруг произносит

— Не знаю, на что ты рассчитываешь, но слишком резвиться там мы не будем. Чересчур мы старые. Гарри.

Высоко посаженные яркие фары какого-то пикапа ослепляют его сзади, затем под аккомпанемент подтрунивающих мальчишеских голосов пикап с грохотом пронесется мимо.

— Пьянчуги разгулялись, — говорит он, чтобы переменить тему.

— Кстати, что ты так долго делал там, в ванной? — спрашивает она.

— Ждал, пока кое-что произойдет, — поджав губы, отвечает он.

— О-о! Тебя вырвало?

— Мне казалось, что вот-вот. Все этот коньяк. Потому я дальше и перешел на пиво.

Синди настолько прочно овладела его мыслями, что он просто понять не может, почему Дженис не упоминает о ней — наверное, нарочно...

Но мысли ее уже перешли на другое, и когда они мчатся сквозь исчерченные ветвями конусы света по Уилбер-стрит, она громко произносит:

— Бедный Нельсон. Он выглядел до того юным, верно, когда шел рядом с невестой?

Этот городок они так хорошо знают — каждую обочину, каждую водоразборную колонку, где какой почтовый ящик висит. Он выступает перед ними, точно вдруг сдергивают вуаль, — дома стоят темные, фары Кролика светят низко.

— М-да, — соглашается он. — Иной раз удивляешься, — слышит он свои слова, — сколько ненужных сложностей ты для парня сам создал.

— Мы сделали что могли, — говорит Дженис снова решительно, совсем как ее мать. — мы же не боги.

— Никто не бог, — говорит Кролик и сам пугается собственных слов.

IV

Заложники взяты. Нельсон работает в «Спрингер моторс» уже пять недель. Тереза — на восьмом месяце и огромная, как дом, этаким дом в бабулином доме, где она бродит с унылым видом в специальных брюках для беременных и в старых папиных рубашках, которые он ей отдал. Когда она выходит из ванной в верхний холл, она загораживает там весь свет, а когда пытается помочь на кухне разбивает блюдо. Их ведь теперь пятеро, так что приходится брать хороший фарфор который бабуля держит в буфете, и блюдо, разбитое Пру, как раз из сервиза. Хотя бабуля почти ничего не говорит, шея у нее покрывается пятнами — сразу видно, как это для нее важно: такого рода вещи очень важны для старых людей — она ведь без конца говорит об этих блюдах, которые они с Фредом купили пятьдесят лет назад у «Кролла», когда по Уайзер-стрит еще каждые семь минут пробегали трамваи и в Бруэре кипела жизнь.

Чего Нельсон не выносит, так это того, что Пру стала рыгать. А потом она спит теперь на спине, потому что спать на животе не может, и оттого храпит. Храп у нее негромкий, но хриплый и прерывистый, и когда Нельсон лежит без сна в этой комнате, выходящей окнами на фасад, где свет фонарей скрадывают жалюзи, а по улице мчатся свободные, как ветер, машины, это невольно действует ему на нервы. Нельсон скучает по своей тихой комнате в глубине дома. А может думает он, у Пру что-то не в порядке с носовой перегородкой. До женитьбы он как-то не замечал, что ноздри у нее чуточку разные — одна больше похожа на слезу чем другая, точно там, в Акроне, когда хрющи у нее были еще мягкие, кто-то сдвинул на сторону ее тонкий, остренький, усыпанный веснушками нос. Ну а к тому же ее теперь все время тянет лечь пораньше, сразу после ужина, когда на улице самое оживленное движение, и Нельсона так и подмывает удрать из дому — съездить в «Берлогу» проглотить стаканчик-другой пивка или хотя бы в супермаркет на шоссе 422 посмотреть на новые лица, а то ведь замучит клаустрофобия, если целый день торчишь в магазине, стараясь объехать папаню, а потом возвращаешься домой и снова только и думаешь о том, как бы его объехать, а он рассказывает, чуть не упиравшись своей большой башкой в потолок, и этим своим дурацким голосом знай читает по любому поводу наставления унижает Нельсона, нервно так рассматривает на него грустными глазами и легким смешком спрашивает, если сказал что-то смешное: «Это я так сказал?» Вся папашина беда в том что он слишком давно живет в гареме — мама и бабуля ради него в лепешку расшибаются. С любым мужчиной, который появляется в доме — кроме Чарли, умирающего прямо на глазах, да этих остолопов, с которыми папаша играет в гольф, — он ведет себя прервно. Никто в мире кроме него, Нельсона, кажется, не понимает, какой мерзкий тип Гарри К. Энглстром, и это Нельсону до того тяжело, что иной раз кричать хочется его отец входит в комнату — большущий, уверенный в себе и ловкий, а ведь на самом-то деле он — убийца, уже двое покойников на его счету и на очереди — собственный сын, которого он охотно прикончил бы, если бы придумал, как это сделать и не попортить себе репутацию. А папаша нынче очень заботится о своей репутации, тогда как раньше ему было наплевать, и это как раз и восхищало в нем: ему было все равно, что думали о нем соседи, когда он, например, взял к себе Скитера, у него была эта сумасшедшая, необъяснимая вера в себя, оставшаяся от тех дней, когда он играл в баскетбол и был

всеобщим любимцем, и мог при случае сказать: «А пошли вы!..» Эта искра погасла, и теперь рядом с Нельсоном большой мертвец. Он пытается объяснить это Пру, и она слушает, но не понимает.

В Кенте, тоненькая и стройная, она ходила быстро, гордо неся голову с поразительными, морковного цвета волосами, стянутыми в пучок или лежавшими у нее на спине точно отутюженные. Когда он, студент, отправлялся на свидание с ней в новую часть Рокуэлла часам к пяти, он чувствовал себя точно рыба, вынутая из воды, и одновременно словно бы выросстал в собственных глазах от сознания, что вот сейчас увезет эту работающую женщину, которая на год старше его, от ее машинок, и картотек, и холодного яркого света; административные помещения казались ему чем-то вроде небес, где вершатся настоящие дела, а под ними по лабиринтам аудиторий изо дня в день, точно червь, ползает он. Пру не принадлежала к числу показных всезнаек. Она не сыпала именами модных мертвечов, а могла говорить лишь о событиях сегодняшнего дня: о фильмах и пластинках, да что показывают по телевизору, да о ежедневных скандалах на работе — кого довели до слез да к кому приставал один из деканов. Секретарша, работавшая с Пру, жила со своим начальником, хотя он не так уж ей и нравился, просто ей было наплевать и на свою жизнь и на свое тело, и мысль, что так могло быть и с Пру, приятно щекотала самолюбие Нельсона. — в Пенсильвании люди чувствуют себя скованно, а здесь они немного расслабляются и плывут по течению. Приятно щекотало его самолюбие и то, как Пру небрежно и решительно — кому-де какое дело? — шагала рядом с ним, распространяя запах духов и еще чего-то теплого, под этими деревьями, которыми так гордятся в Кенте, — деревьями да еще гимнастическими залами в студенческом комплексе, а также тем, что в студенческом городке самая разветвленная в мире автобусная сеть; нагромождают все это дерьмо в надежде заставить людей забыть, как 4 мая 1970 года гвардейцы стреляли в студентов с горы Блэнкнетт — единственное, чем может гордиться государственный университет Кент. Правда, Нельсон считал, что всех этих подонков следовало перестрелять. Когда в 1977 году началась заваруха по поводу палаточного городка, Нельсон оставался в общежитии. Он тогда еще не был знаком с Пру. Она позже расскажет ему в одном из баров на Прибрежной улице жуткие истории из своего детства — о побоях и вспышках гнева и непонятных долгих отсутствиях отца, а потом о похождениях сестер, которые, повзрослев, начали буквально разносить дом. Его рассказы бледнели по сравнению с этим. Благодаря Пру он стал считать, что ему повезло в жизни. Со многими студентками, включая Мелани, он чувствовал себя посмешищем, они всегда оставляли его далеко позади в игре, в которую ему вовсе не хотелось играть, а с этой секретаршей Пру Лубелл он посмешищем себя не чувствовал. Они одинаково смотрели на многое, на главное. Они знали, что в основе своей мир жесток, никакой отец не защитит тебя, ты один должен вести борьбу, чего не сознавали эти ребята, раскатывающие на лошаадках, готовясь к спортивным состязаниям, или разыгрывающие из себя радикалов, или горланящие на собраниях, или ушедшие с головой в свои дела. И то, что Нельсон понимал, какая это ерунда, делало его в глазах Пру человеком серьезным. Сидя с ней за фанерным столиком в разделенном перегородками баре того типа, что посещают рабочие в северном Акроне, — они приезжали туда на машине Пру, у нее ведь была своя машина, разъеденный солью старенький «плимут» с оторванным передним крылом, которое хлопало, как флаг на ветру (и это ему в ней тоже нравилось — то, что она ездила на таком уродливом, старом драндулете и приобрела его на заработанные деньги), — Нельсон чувствовал, что выглядит в ее глазах совсем неплохо. Она понимала, что с точки зрения общественного положения он стоит на ступеньку выше ее. А с точки зрения здешней среды, местной географии она выше. У нее не только была машина, но и квартира, маленькая, но своя, с плитой, на которой она готовила себе обеды, и с запасами спиртного — она ставила на проигрыватель пластинку и наливала ему. С самой первой их встречи, кроме тех случаев, когда они проводили время с Мелани и ее чокнутыми приятелями, Пру привозила его к себе домой в этот городок, именуемый Стоу, считая без всякого жеманства, что их обоих прежде всего интересует постель... Его неизменная благодарность — в то время как любой другой принял бы это как должное — прибавляла ему добродетелей в ее

глазах, и она так к нему привязалась, что уже не могла расстаться с этой драгоценностью — никогда.

А теперь она сидит все дни напролет и смотрит с бабулей, а иногда и с мамой всякие слюнявые фильмы — «В поисках завтра» по каналу десять, потом «Дни нашей жизни» по каналу три и снова канал десять — «Вместе с поворотом земного шара», а потом канал шесть — «У человека всего одна жизнь» и снова канал десять — «Путеводный свет»; Нельсон знает всю их программу с той поры, когда его еще не подпускали к работе в магазине. Теперь Пру рыгает, потому что из-за ребенка у нее сместилось что-то внутри, и вечно все роняет, и говорит, что отец у Нельсона на редкость милый.

Нельсон рассказал ей про Бекки. Рассказал про Джилл. Пру в ответ на все это заметила лишь:

— Но это же было давно.

— Только не для меня. Для него — да. Он забыл, этаким дерьмак, по всему видно, что забыл. Забыл и как вел себя с нами. Что он говорил с мамой — уму непостижимо, а ведь я, наверное, и половины не знаю. Он такой самодовольный, такой убогоблаженный — вот что меня бесит. Если бы мне удалось хоть один разок заставить его увидеть, какое он дерьмо, может, я б и успокоился.

— А что бы это дало, Нельсон? Я хочу сказать, твой отец не идеал, а кто идеал? Он хоть вечерами сидит дома — мой этого никогда не делал.

— Пороху не хватает, потому и сидит. Думаешь, ему не хотелось бы каждую ночь шляться по бабам? Достаточно вспомнить, как он смотрел на Мелани. Совсе не великая любовь к маме удерживает его, уж ты мне поверь. Все дело в магазине. Хлыст-то теперь у мамы в руках — вот почему, а не из-за нее самой.

— Да что ты, милый! По тому, что я вижу, твои родители очень любят друг друга. Если люди столько времени прожили вместе, значит, их что-то связывает.

Нельсону противно даже думать об этом...

Они с Пру лежат на старой, шаткой кровати, которую он делил с Мелани. Он думает о Мелани — она не беременна, свободна, наслаждается жизнью в Кенте, раскатывает по студенческому городку на автобусах, слушает лекции по восточной религии. Пру спит рядом с ним мертвым сном в старой папиной рубашке, застегнутой на груди и расстегнутой на животе. Нельсон предлагал ей свои рубашки — теперь, когда он ходит на работу, он вынужден покупать себе рубашки, — но она сказала, что они слишком маленькие и узкие. В комнате жарко. Прямо под ними расположена печь, и от нее идет тепло — ничего не поделаешь: на дворе середина ноября, а они по-прежнему спят под простыней. Он лежит с раскрытыми глазами и еще долго не заснет, взволнованный истекшим днем. Приятели Билли атакуют его, подстрекая покупать спортивные машины, и хотя «Дельту» ведь продали этому доктору за три тысячи шестьсот долларов, папаша все твердит и твердит — и Мэнни поддерживает его, — что если вычсть положенную сумму из страховки и прибавить к этому стоимость стоянки машины в гараже, они на этом, в общем-то, ничего не заработали.

Что же до «Меркури»... Мэнни считает, что починка машины будет стоить на четвереста или пятьсот долларов дороже продажной цены, а продать эту машину по более высокой цене, чем значится в справочнике, они не могут; когда же он спросил Мэнни, неужели кто-нибудь из механиков не может поработать над ней в свободное время, тот напыжился так, что угри на носу, казалось, сейчас выскочат, и торжественно объявил: «Ты что, малый, откуда же у них свободное время, они приходят сюда зарабатывать, чтобы дома был хлеб с маслом». подразумевая, что Нельсону, сынку богатого папаша, на пропитание зарабатывать не надо. И не потому, что отец ему потакает, нет, — он стоит в сторонке и наслаждается, глядя на то, как учат сына. Нельсон же учится только одному: он видит, что каждый лишь стремится положить в карман свою кучку долларов и ни у кого нет времени посмотреть на вещи шире. Ничего, он им покажет, когда продаст этот «Меркури» за четыре пятьсот, а то и больше: он знает немало ребят в «Берлоге», для которых выложить такие деньги — тьфу. Из-за этой истории с заложниками в Иране цены на бензин подскочат еще выше, но это пройдет — не посмеют так долго их там держать, этих заложников.

Папаша все твердит, что пока машина значится в инвентарной ведомости, они теряют на этом ежедневно от трех до пяти долларов, но Нельсон никак не может понять почему: она же стоит в магазине, который им уже принадлежит, фирма даже, как он это обнаружил, сама себе выплачивает аренду, надувая правительство.

Пру всхрипывает рядом с ним — голова ее лежит на двух подушках, живот поблескивает, гочно этакий гриб дождевик что встречаются в лесу на гнилом пне. Внизу папа и мама смеются над чем-то — последнее время они постоянно под парами, хуже молодых ребят, и стали чаще выезжать с этими своими вшивыми друзьями, — у ребят хоть есть оправдание, что им делать больше нечего... В лунном свете пупок Пру отбрасывает крошечную тень, он словно проклюнулся изнутри, — Нельсон никогда раньше не видел голую беременную женщину и не представлял себе, как это ужасно...

Издredка они с Пру все же выбираются из дому. У них есть друзья. Билли Фоснахт уехал в университет Тафтса, но в «Берлоге» по-прежнему собирается молодежь — ребята и разные шалопаи из окрестностей Бруэра, застрявшие здесь и работающие на новых электронных предприятиях, или в никому не нужных государственных учреждениях, или в магазинах, какие еще остались в центре: ведь теперь, чтобы пройти к «Кролла», где мама познакомилась с папой в доисторические времена, надо пересечь лес, где раньше был Уайзер-сквер, а когда входилшь в магазин, словно попадаешь на пустынную палубу боевого корабля сразу после того, как япошки разбомбили Пирл-Харбор, — лишь две-три перепуганные продавщицы стоят за прилавками, скрытые до половины табличками с надписью «Распродажа». Мама работала в секции соленых орешков и кондитерских изделий — теперь такой больше нет: по всей вероятности, после того как она просуществовала тридцать лет и за это время шесть человек умерло от глистов, было решено, что продажа таких товаров у «Кролла» не отвечает санитарным нормам. Но ведь если бы там не продавали орешки, то не было бы и Нельсона или был бы кто-то другой, а это уж никак не укладывается у него в голове. Он и Пру даже не знают как зовут многих их друзей — какие-то странные имена, точно клички, — но если ты часто заглядываешь в «Берлогу», тебя начинают приглашать на вечеринки. Живут они в этих новых кооперативах со стенами из крашенных, грубо сколоченных досок и островерхими крышами, или в домиках для лыжников, построенных на склоне горы Пемаквид, близ «Летящего орла», или в этих городских особняках, кирпичных, крытых черепицей, со множеством чугунных украшений и печных труб, которые фабриканты понастроили в свое время в северной части Янгквиста или за железнодорожными депо, а теперь их разбили на квартиры, если не превратили в частные лечебницы, или помещения для таких приятных заведений, как магазины кожаных изделий и мастерские по изготовлению рамок, а также студии молодых архитекторов, строящих дома, обогреваемые солнечными панелями, чтобы экономить энергию, или конторы молодых юристов, умело сочетающих пышные гривы и бандитские усики с деловым костюмом и деловой хваткой, позволяющей обдирать молодых клиентов, беря с них по триста долларов независимо от того, идет речь о разводе или о том, чтобы избежать решетки. В этих местах возникли магазины натуральных продуктов, и этикие маленькие, вытянутые в длину ресторанчики в полуподвалах с вегетарианской и еврейской кухней и с блюдами, приготовленными из естественно выращенных продуктов, и книжные магазинчики под вывесками вроде «Карманные издания Кармы», и маленькие лавочки, увешанные изделиями из макраме и батика, и мексиканскими расшитыми свадебными рубашками, и индийскими шелками, и летними шляпами, какие носят разные бездельники, при этом вид у них такой, будто им срезали ту часть головы, где находятся мозги. В бывших механических мастерских со стенами из шлакобетона теперь продают части для некрашеной сборной мебели, которую покупают те, что живут коммунарами.

Квартира, которую Тоший делит с Джейсоном и Пэм — Нельсон знает их по «Берлоге», — находится на третьем этаже высокого старого дома в верхней части бульвара Акаций... Большой эркер из трех четырехстворчатых окон выходит на вымерший центр города; там, где когда-то возвышались вычерченные неонем огромный сапог, земляной орех, цилиндр и большущий подсолнечник,

образуя гирлянду из светящихся реклам над Уайзер-сквером, сейчас лишь прожекторы Кредитного банка Бруэра освещают собственный гранитный фасад, который служит метой центра города, — четыре больших колонны точно четыре белых пальца, торчащих из жирного черного пирога, и темное пятно деревьев, посаженных в так называемом торговом центре. Отсюда стандартные желтые фонари разбегаются во все стороны вдоль городских улиц, такая паутина линий расходится вниз, к извилам реки, и тянется дальше, в пригороды, озаряя небо до самого горизонта, поглощенного горами, сливающимися с ночными тучами. В эркере у Тощего поверху идут цветные стекла — пурпурные, янтарные и молочно-зеленые кусочки образуют примитивные цветы; эти витражи вместе с соленым печеньем составляют гордость Бруэра. Их сохранили, а вот старый дубовый паркет накрыли дешевым мохнатым бобриком от стены до стены в красноватых крапинках, напоминающих стручки перца, и просторные комнаты наспех разделили перегородками из сухой штукатурки. Высокие потолки опустили — для тепла — и выложили белыми панелями из чего-то вроде перфорированного дерева. Нельсон сидит на полу, откинув голову, зажав между лодыжками банку холодного пива; он уже выкурил с Пру две закрутки, и червоточины в потолке словно хотят ему что-то сказать — есть на потолке такое место, где они кажутся живыми и угрожающе лезут тебе в глаза, совсем как черные поры на носу Мэнни тут на днях; потом они тускнеют, и оживают другие, точно по потолку передвигается, неся с собой заряд энергии, прозрачная медуза и вселяет в них жизнь... На этих вечеринках кто-то всегда торчит в ванной — либо его рвет, либо он колется, либо назююкивается, — и Нельсону это противно. Впрочем, не столько противно, сколько просто надоело быть молодым. Какая уйма энергии растрачивается зря. Он понимает: эта медуза, перемещающаяся по дырочкам потолка, та же энергия, что питает бинарные части компьютеров, но дальше этого мысль его не идет. В Кенте его заинтересовала компьютерная наука, но дело ограничилось вводными лекциями: математика оказалась ему не по плечу... Это было выше его понимания. Вот он и решил, что надо возвращаться домой и делить с родителями накопленное добро... Бабуля ведь не вечно, и когда она отдаст концы, магазин достанется ему и маме, а папаша будет играть роль вывески — этакой картонной фигуры в натуральную величину, какие стояли в демонстрационных залах автомобильных салонов до того, как картон подорожал. При мысли об этих черных, которые расхаживают вокруг с видом превосходства, об этой их рассчитанно-холодной манере здороваться и смотреть на тебя в упор, как бы бросая вызов и при этом ни за что не отвечая, он в ярости начинает весь чесаться, хотя закрутки должны были бы сработать и он уже должен был бы расслабиться. Может, надо еще выпить пива. Тут он вспоминает, что у него между коленями стоит банка, холодная и тяжелая, потому что она полная и пиво свежее, прямо из холодильника этого Тощего, и отхлебывает глоток. При этом Нельсон внимательно смотрит на свою руку, потому что у него впечатление, когда он берет банку, что на руке у него надета рукавица.

Почему папаша не умирает? В этом возрасте у людей полно всяких болезней. Тогда бы они остались с мамулей. А уж с мамулей-то он справится — это он знает.

Он ведь не такой и молоденький — ему уже стукнуло двадцать три — и вдобавок он человек женатый, потому и чувствует себя так глупо среди всех этих ребят. Здесь ведь больше никто, похоже, не женат. И уж конечно, больше нет ни одной беременной — во всяком случае, не заметно. От всего этого он чувствует себя как на витрине: малый-де явно без головы. К чести Пру надо сказать, что она не хотела сюда ехать, ее вполне устраивало сидеть там и, точно пальма, нежиться в лучах телевизора и смотреть «Лядю любви», а потом «Придуманный остров» вместе с бедной старенькой бабулей; последнее время бабуля стала сдавать, папа с мамой раньше сидели с ней дома, но теперь — вот и сегодня тоже — они болтаются где-то с этой компанией из «Летящего орла», просто невероятно, до чего безответственно могут вести себя так называемые взрослые, когда считают, что они всех обскакали: мамуля ведь рассказала ему про это их дурацкое золото; может, ему следовало предложить остаться дома, чтобы они с Пру посидели с бабулей — в конце-то концов все карты ведь у нее на руках, — но пока он об этом раздумывал, Пру уже принарядилась, считая, что нельзя совсем лишать Нельсона развлечений: он так много работает и вы-

нужден из-за нее сидеть все время дома... Ох уж эта семейная жизнь — вечно каждый считает себя обязанным сделать что-то для другого, а в итоге все только мешают друг другу, этаная неразбериха. А как только Пру очутилась здесь и назююкалась, в ней взяла верх шалая девка из Акрона, и, пустившись во все тяжкие, несмотря на беременность, она принялась отплясывать, притом в таких туфлях, в каких ей не то что плясать, но и ходить бы не следовало, — в туфлях на тяжелых высоких танкетках, прикрепленных к ногам лишь тонкими зелеными пластиковыми ремешками... Может, она это делает назло ему. Но он и сам уже распустил вожжи, и ему даже доставляет удовольствие издали следить за ней сквозь дым. В ней есть шик, в этой Пру, шик и блеск в этом зеленом электроплатковом платье без пояса, которое она купила в новом магазине на бульваре Акаций, откуда нынешняя аристократия выживает стариков пенсионеров: средний класс ведь возвращается в города. Пру крутится, и широкие, как крылья, рукава взлетают, живот торчит точно пушечное ядро, приподнимая платье, так что можно вдоволь любоваться оранжевыми эластичными чулками, которые доктор велел ей носить, чтобы не испортить свои молодые вены. Ее блестящие танкетки не хотят скользить по мохнатому ковру, но она их не сбрасывает, показывая, что может и в них плясать — опять-таки назло ему; ее тело, словно насаженное на вертел между лопатками, извивается в такт музыке, а зеленые руки и эти поразительные длинные волосы взлетают, образуя круг, снова и снова.

Нельсон не может танцевать, вернее, не желает — разве нынче танцуют: топчись на месте и жди, когда демон музыки овладеет тобой, нет, он на это не способен. Не хочет он выглядеть идиотом. Вот папаша — папаша станцевал бы, будь он здесь!.. Взгляд Нельсона упирается в дырочки на потолке — за эту преграду не проникнуть, и он снова опускает глаза на Пру, ослепительно яркую в своем платье, переливающимся как расплавленный драгоценный камень, лицо сонное, убаюканное музыкой, крепкий живот торчит и то, что там, внутри, принадлежит не только ей, но и ему, а раз так, значит, и он танцует. На секунду он становится ненавистен себе — что-то мешает ему танцевать, вот так же он не мог заставить себя ни предаться прихотливой игре ума, какой требует компьютерная наука и обучение в колледже вообще, ни стать спортсменом и бездумно скользить по жизни, как его отец. Но возникшее было мрачное настроение проходит, сменяясь уверенностью, что настанет день, когда он еще всем им покажет.

Некоторое время Пру танцует с одним из этих бруэрских черных, большущим парнем в рабочем комбинезоне и ковбойских сапогах, затем из-за растений в кадках выныривает Тоший и попадает в орбиту Пру, а она продолжает трястись, есть кто рядом или нет, — присела, выпрямилась, взмахнула руками, вскинула голову. Лицо у нее действительно совсем сонное... И все то и дело дотрагиваются до ее живота, точно это может принести счастье... Как уберечь ее от этих прикосновений, как защитить, не дать запачкаться? Слишком она крупная — глупо он будет выглядеть, если вмешается, к тому же она любит грязь, она же из грязи и вышла. Как-то раз они проезжали мимо ее бывшего дома в Акроне, она не предложила Нельсону зайти, — этакый унылый ряд домишек с деревянными верандами, на которых стоят старые холодильники. У Мелани дом наверняка был лучше — ее брат ведь даже играл в поло. Во всяком случае, Пру могла бы хогь снять туфли. Нельсон мысленно представляет себе, как он сейчас поднимется и скажет ей об этом, но слишком он перебрал и вынужден сидеть тут и киснуть между пушистых червячков ковра и червоточин на потолке... Мальчишка, с которым Тоший плясал раньше протягивает Пру закрутку — та посасывает влажный кончик и втягивает в себя дым, продолжая в такт двигать ногами и животом. Нельсон понимает, что для чувихи из акронской трущобы Бруэр — это сборище деревенских вахлаков, вот она им всем и показывает что к чему.

Девчонка, которую Нельсон раньше заметил — она приехала с большим красноржим олухом, нацепившим по такому случаю шиджак и галстук, — подходит к Нельсону, садится на пол рядом с ним и, вытянув банку пива, зажатую у него между лодыжек, отхлебывает из нее. На ее бледном круглом улыбающемся лице читается растерянность, но ей явно хочется нравиться.

— А ты где живешь? — спрашивает она, точно продолжая разговор, начатый с кем-то другим.

— В Маунт-Джадже. — Он не считает нужным входить в подробности.

— У тебя квартира?

— Я живу с родителями и с бабушкой.

— А почему? — Ее милое лицо блесит от пота. Она тоже немало выпила. Но в ней есть какое-то спокойствие, и ему это приятно. Она вытягивает рядом с ним ноги в белых брюках, которые начинают поблескивать, когда эта непонятная медуза растекается над ними.

— Так дешевле. — И чтобы не быть невежливым, добавляет: — Мы решили не искать себе жилья, пока не родится ребенок.

— У тебя есть жена?

— Вот она. — Он жестом указывает на Пру.

Девчонка внимательно ее оглядывает.

— А она потрясная.

— Можно и так сказать.

— Это как же понимать — почему такой тон?

— А так, что она все кишки из меня выматывает.

— А ей можно так прыгать? Я имею в виду — из-за ребенка.

— Ну, говорят, нужны упражнения. А ты где живешь?

— Недалеко. На Янгквисте. У нас квартирка, но не такая шикарная, как эта, — мы на первом этаже, окнами не на улицу, а во двор, где собираются все коты. Говорят, наш дом, может, сделают кооперативным.

— Это хорошо или плохо?

— Хорошо, когда есть деньги, и, наверное, плохо, когда их нет. Но мы только начали работать в городе, и мой... мой парень хочет пойти в колледж, когда мы немножко поправимся.

— Скажи ему — пусть забудет об этом. Я учился в колледже, и это сплошная морока. — Верхняя губа у нее такая приятно пухлая, но по тому, как она поджала рот, он с сожалением видит, что закрыл тему. — А чем ты занимаешься? — в свою очередь спрашивает он.

— Я работаю санитаркой в доме для престарелых. Едва ли ты знаешь, где это. На Саннисайде, в направлении старой ярмарки.

— А не слишком тяжело там работать?

— Считается, что да, но я не против. Старики разговаривают со мной — людям ведь главным образом и надо поговорить.

— Вы с этим парнем женаты?

— Нет еще. Он хочет сначала выбиться в люди. Я думаю, это правильно. А потом, мы ведь можем и передумать.

— Разумно. А эта курочка в зеленом, что танцует там, понесла, и у меня уже не было выбора.

Тут тоже разговора не получается. Однако девчонке с ним явно не скучно, а ведь очень многие начинают с ним скучать. В магазине он наблюдает, как лихо болтают Джейми и Руди, и завидует им — трещат вовсю, и вид при этом у них совсем не идиотский. А сейчас перед ним это незнакомое лицо — спокойное, довольно даже внимательное, глаза такие голубые, что кажется, светлее быть не может, кожа молочно-белая и нос чуточку вздернутый, а рыжие волосы свободно отброшены назад. Видно, что уши у нее проколоты, но серег нет. В состоянии одурения, в котором он находится, белые, чуть угловатые раковины ее ушей кажутся живыми.

— Ты сказала, что вы недавно переехали в город, — говорит Нельсон. — А откуда?

— Из-под Гэлили. Знаешь, где это?

— Более или менее. Когда я был маленький, мы раза два ездили туда на парные автогонки.

— Ночью, когда тихо, у нас слышен гул моторов. Моя комната выходит в торец, и я всегда их слышу.

— А там, где мы живем, мимо дома всегда идет транспорт. Раньше моя спальня выходила во двор, а теперь моя комната выходит на фасад.

Прелестные маленькие ушки, такие же маленькие, как у него, хотя все остальное у девчонки не такое уж и маленькое. Бедро, к примеру, основательно натягивают эти ослепительно белые брюки.

— А чем занимается твой отец — он фермер?

— Мой отец умер.

— Ох, извини.

— Ничего, жизнь у него была, правда, тяжелая, но концы с концами сводил. Он был фермером — ты правильно угадал, а потом у него еще были автобусы, и он возил школьников по договору с городом.

— Все равно скверно, что он умер.

— Зато у меня чудесная мама.

— А что в ней такого чудесного?

В своей тупости он как бы все время препирается с ней. Но она вроде не возражает.

— Видишь ли, просто она все понимает. И бывает очень занятой. И потом у меня еще есть два брата...

— Вот как?

— Да, и мама никогда не требовала, чтоб я уступала им и вообще, только потому, что я девчонка.

— Ну а почему, собственно, она должна была это требовать? — Ему стало завидно.

— Есть матери, которые потребовали бы. Они считают, что девочки должны быть тихими и разумными. А вот моя мама говорит, что женщины получают куда больше от жизни. Ведь с мужчинами как — если он всякий раз не одерживает верх, значит, он ничто.

— Вот это мама. Все разложила по полочкам.

— А потом она еще толще меня, и за это я ее тоже люблю.

«Нисколько ты не толстая, ты очень даже миленькая», — хочется ему сказать ей. Вместо этого он говорит:

— Приканчивай пиво. Я принесу нам еще.

— Нет, спасибо... А как тебя зовут?

— Нельсон. — Ему бы спросить, как ее зовут, но слова не слетают с языка.

— Значит, Нельсон. Нет, спасибо, мне только хотелось глотнуть. Надо пойти посмотреть, что там делает Джейми. Он на кухне с какой-то девчонкой...

— Которая всем показывает свои титьки.

— Точно.

— Те, кому есть что показывать, этого не делают, так я считаю. — И он проводит взглядом по ее телу...

Девчонка вспыхивает от такого обследования.

— А чем ты теперь занимаешься, Нельсон, с тех пор как ушел из колледжа?

— Просто существую. Нет, в общем, торгую машинами. Не обычными жалкими драндулетами, а старыми спортивными машинами, которых никто уже больше не выпускает. Цена на них будет все подниматься — непременно будет.

— Звучит заманчиво.

— Так оно и есть. Бог ты мой, тут на днях я увидел в городе припаркованный белый «Сандерберд» с красными кожаными сиденьями — владелец держал крышу опущенной, хотя уже довольно холодно, — так я чуть не рехнулся. Она стояла — ну прямо яхта. Когда выпускали такие машины, не было ведь всего этого жмотства.

— А мы с Джейми только что купили «Короллу». Она записана на него, но вожу я: теперь ведь к старой ярмарке автобусы не ходят, а Джейми работает совсем близко, так что может добираться и пешком. Это там, где делают такое приспособление против мошкеры, ну, ты знаешь, электрические решетки, которые накаляются докрасна, люди ставят их у бассейнов или когда готовят шашлыки.

— Похоже, прибыльное дельце. А сейчас у него, наверно, спад в работе.

— Вроде должно быть так, а вот нет же: они сейчас делают эти решетки уже для будущего года и рассылают их по всему Югу.

— Хм.— Может, уже хватит разговаривать. Ему вовсе не охота слушать про эти решетки против мошкеры, которые делает Джейми.

Но девочку уже не остановишь — она с ним освоилась, и потом она такая юная, ей все внове. Нельсон полагает, что она года на три, на четыре моложе его. А Пру на год старше, и это вдруг его раздражает — вместе с этими ее вызывающими плясками, ее беременностью и всеми этими черномазыми и извращенцами, которых она вовсе не боится.

— Так что по правилам я должна выплатить ему половину стоимости машины,— объясняет тем временем девочка.— хоть он и зарабатывает в два раза больше меня. Его родители и моя мама одолжили нам поровну денег на аванс, хотя я знаю, что маме это было трудно. В будущем году, если мне удастся куда-нибудь пристроиться на пол-оклада, я хочу пойти на курсы медицинских сестер. Те, у кого есть диплом, зарабатывают кучу денег, а ведь я делаю все то же самое, кроме уколов, которые им разрешены, а мне — нет.

— Господи, неужели ты хочешь всю жизнь возиться с больными?

— Мне нравится о ком-то заботиться. Пока был жив отец, мы всегда держали у себя на ферме разных животных. Я даже сама сригла наших овец.

— Хм.— Нельсон всегда терпеть не мог животных.

— А ты танцуешь, Нельсон? — спрашивает она его.

— Нет. Я сижу, и пью пиво, и жалею себя.

Пру раскачивается теперь с каким-то пуэрториканцем или что-то в этом роде. У Мэнни двое таких работают в мастерской. Нельсон не знает, чем они болеют в детстве, но только щеки у них все в рытвинах — хуже оспы.

— Джейми тоже не хочет танцевать.

— Пригласи кого-нибудь из этих ублюдков. Или начни танцевать сама — кто-нибудь непременно подстроится.

— Я обожаю танцевать. А почему ты себя жалеешь?

— Ох... отец у меня — сукин сын.— Нельсон сам не понимает, почему он это сказал. Наверное, потому, что эта девочка так хорошо говорит о своих родителях. При мысли об отце перед глазами Нельсона возникает большое добродушное лицо, и его поражает застывшее на этом лице выражение мрачной беспомощности. Затем оно расплывается, точно снятое крупным планом не в фокусе, как это бывает в военных фильмах, когда в центре сражения вдруг появляется и тут же исчезает чье-то лицо...

— Ты не должен так говорить,— замечает девочка и встает. Ноги у нее длинные, обтянутые блестящими брюками... Зачем она это сказала? Чтобы ему стало стыдно и он чувствовал, что она его не одобряет. У нее-то отец умер. После ее слов Нельсону начинает казаться, что он убийца своего отца. А, пошла она подальше. Она и пошла и, застенчиво постояв с минуту у стены, задвигалась, расслабляясь. Он не хочет смотреть на нее и завидовать: тяжело поднявшись, он отправляется на кухню — взять новую банку пива и посмотреть на полуголую девочку.. Там же сидит и Джейми, лицо и руки у него широкие, все в царапинах: он распустил галстук, чтобы не слишком стягивал могучую, как у быка, шею... Холодильник, где на прохладных полках стоит йогурт в бумажных стаканчиках и пиво в упаковках по шесть банок с четко отпечатанным названием, кажется островком порядка среди царящего в кухне хаоса. Холодильник напоминает Нельсону магазин с рядами новеньких «тоёт», и у него екает внутри. Иногда он стоит в демонстрационном зале один, без покупателей и вдруг чувствует, как из детства на него напоздает знакомый страх: ему кажется, что он заблудился и что жизнь идет по правилам, которые никто не желает ему объяснить. Он возвращается в большую комнату с ее двойным потолком и тутчас замечает, как нелепо выглядит Пру, насколько она старше всех остальных танцующих... в том числе и безымянной девочки в белых брюках, которая стоит в сторонке, раскачиваясь в такт музыке, и дожидается, пока кто-нибудь к ней подойдет «Одна ночь в жизни, одна жизнь за ночь» Она немного стесняется, но явно рада быть здесь, выбраться из своей глухомани. Черные дырочки динамиков, кажется, сейчас разорвет от грохота, который все нарастает и нарастает, а его жена с этим своим пушечным ядром вот-вот рухнет на пол ничком. Нельсон подходит к ней и, схватив за руку, отсасывает в сторону. Ее смуглый бандит-партнер разворачи-

вается с невозмутимым видом и подкатывает к девчонке в белых брюках. «Детка, это будет непременно сегодня, детка, это будет непременно сегодня». Нельсон изо всей силы сжимает руку Пру, чтобы она почувствовала боль. А она, выбившись из ритма, шатается, и это еще больше злит его — надо же, чтоб его жена так накачалась. Сосуд с изъяном, который рассыпается, только чтобы привлечь внимание к нему. И у него возникает желание шмякнуть ее как следует, чтоб совсем уже сбить с ног.

— Ты мне делаешь больно,— говорит она. Голос ее, писклявый и тоненький, проникает в его сознание сквозь коробочку, которая висит в воздухе где-то возле его уха. Пытаясь высвободить из его пальцев руку, она больно царапает их висящими на браслетах брелками, и это приводит его в полную ярость.

Надо увести ее отсюда. Он тащит жену через холл, выискивая свободную стену, к которой можно было бы ее прислонить. И обнаруживает таковую в боковой комнатке, где выключатель, оказавшийся рядом с плечом Пру, сделан в виде лица с разинутым ртом, из которого торчит язык, а нажмешь — уползает. Нельсон приближает лицо к лицу Пру и шипит:

— Слушай, ради всего святого, приди в себя. Ты же можешь покалечиться. И покалечить ребенка. Ты что, хочешь так его растряссти, чтоб он выскочил? А ну успокойся.

— Я спокойна. Это ты беспокоен, Нельсон.— Ее глаза у самых его глаз, так что кажется, он сейчас потонет в их зелени.— Да и кто тебе сказал, что это будет он? — Рот Пру дернулся в кривой усмешке. Губы у нее накрашены по последней моде — кроваво-красные, как у вампира, и это ей не идет, лишь подчеркивает застылость ее узкого, бесконечно спокойного, без кровинки лица. Тупого, вызывающего, как часто бывает у бедняков,— такую ничем не испугаешь.

— Ты вообще не должна пить и курить марихуану,— увещевает он ее.— Ты можешь испортить гены. Ты ведь это знаешь.

Она отвечает, медленно складывая слова:

— Нельсон! Тебе же наплевать на гены.

— Ах ты глупая сучка! Да не наплевать мне. Конечно, не наплевать. Это же мой ребенок. Или не мой? Вы, акронские, готовы спать с кем угодно.

Комната, в которой они очутились, какая-то чудная. Вокруг сплошные фламинго. Тот, кто живет в этой боковушке с видом на два узеньких дворика и кирпичную стену за ними — первоначально она скорее всего предназначалась для служанки, — коллекционирует шутки ради фламинго. Фламинго из розового блестящего атласа перекинуло свои нелепые длинные черные ноги через спинку дивана-кровать. Пустотелые пластмассовые птицы с ногами-палочками стоят на полках вдоль стен. Есть тут и пельнички в виде фламинго, и кофейные чашечки, и объемные картинки с нарисованными на них розовыми птицами, озерами, пальмами и закатами — сувениры из Флориды... Должно быть, здесь живет Тоший — Джейсону и Пэм не уместиться на этом диване-кроватьи.

— Твой,— заверяет его Пру.— Ты знаешь, что твой.

— Нет, не знаю. Ты сегодня ведешь себя, как последняя шлюха.

— Я ведь не хотела сюда ехать, помнишь? Это тебя вечно тянет из дому.

Он плачет — из-за чего-то в лице Пру, из-за этой ее акронской жесткости, которой она отгородилась от него как стеной, из-за того, что она задевает его животом, этим своим телом большой куклы, которое он так любил, из-за того, что она так легко, запросто может отдаться другому и этот другой будет ласкать все ее изгибы и складочки, а его она так же легко и запросто может всего этого лишиться, потому что он ровным счетом ничего для нее не значит. Вся пора их нежности — когда он помогал ей взбираться в гору, и гулял с ней под деревьями, и ходил в бары на Прибрежной улице, и сам поехал вперед, а ее оставил там, в Колорадо, и она думала, что он лоботрясничает, а он надрывался здесь, в округе Дайамонд,— все это ничто. Он для нее — ничто, как был ничто для Джилл, недоносок, которого надо только гладить по шерстке — и вот смотрите, что получилось. Любовь разъедает его тело, будто ржавчина, она проникает вниз, до самых колен, которые подгибаются под ним, точно гнилое дерево.

— Ты же повредишь себе,— всхлипывая, произносит он, от его слез ее зеленое платье заблестело на плече еще больше, а у него перед глазами стоит

собственное сморщенное лицо так четко, словно изображение на экране телевизора.

— Странный ты, — говорит ему Пру; голос ее звучит тише, словно возле его уха шелестят тряпочки.

— Пошли отсюда, из этого жуткого места.

— А эта девчонка, с которой ты трепался, что она тебе говорила?

— Ничего. Ее парень делает решетки против мошкары.

— Вы что-то долго трепались.

— Ей хотелось потанцевать.

— Я видела, как ты указывал ей на меня и смотрел. Ты же стыдишься, что я беременная.

— Ничуть. Я горжусь.

— Ни черта подобного, Нельсон. Ты стесняешься.

— Не настаивай. Поехали, хватит ссориться.

— Вот видишь, ты стесняешься. У тебя нет никаких чувств к этому ребенку — ты только стесняешься его.

— Пожалуйста, поедем. Чего ты добиваешься, хочешь, чтоб я встал на колени?

— Слушай, Нельсон! Я отлично развлекалась, танцевала, а тут являешься ты и начинаешь командовать. Мне до сих пор руку больно. Может, ты ее сломал.

Он неуклюже берет ее за руку, чтобы поцеловать, но она не дается; ему порою кажется, что она — и телом и душой — точно плоская шершавая доска. А потом у него возникает опасение, что она и есть такая плоская, что ничего она не скрывает, нет в ней глубины — такая, какая есть. Вот сядет на своего конька и, похоже, не может слезть. Он снова завладел ее рукой и тянет к себе, хочет поцеловать, но она не дается, голько злится еще больше, и лицо у нее краснеет, заостряется, каменеет.

— Знаешь, кто ты есть? — говорит она ему. — Ты маленький Наполеон. Ты, Нельсон, — ничтожество.

— Эй, прекрати.

Кожа вокруг ее красных, как у вампира, губ напрягается, и голос звучит ровно — так мчится по рельсам паровоз.

— Я по-настоящему тебя не знала. Вот теперь смотрю, как ты ведешь себя с родными, и вижу, до чего ты избалован. Избалован, Нельсон, и груб.

— Заткнись. — Только бы снова не разреветься. — Никто меня никогда не баловал, совсем наоборот. Ты понятия не имеешь, сколько горя причинили мне родители.

— Я слышала об этом тысячу раз, и мне это никогда не казалось чем-то таким уж страшным. Ты же считаешь, что твоя мама и бедная старенькая бабуля должны заботиться о тебе, что бы ты ни творил. Ты отвратительно относишься к отцу, а он хочет только любить тебя, хочет, чтобы у него был хоть отчасти нормальный сын.

— Он не хотел, чтобы я работал в магазине.

— Он считал, что ты не был к этому готов, и ты действительно не был готов. И сейчас не готов. Ты и отцом стать еще не готов, но тут уже мой просчет.

— А, значит, и ты допускаешь просчеты. — До чего же отвратителен этот зеленый, с электриковым отливом цвет, до того ядовитый — такое платье могла бы надеть разве что толстая черная проститутка, чтобы привлечь внимание на улице...

— И очень даже часто, — продолжает Пру, — а как я могу их не допускать, когда никто ничему меня не учил. Но вот что я скажу тебе, Нельсон Энгстром: я рожу этого ребенка, что бы ты ни вытворял. А ты можешь катиться ко всем чертям

— Могу, значит, да?

— Да. — Она чувствует, что надо слегка отступить. Даже ее живот, упирающийся в него, становится как бы мягче. — Я вовсе этого не хочу, но можешь. Я не в силах тебя удержать, и ты не в силах меня удержать — мы же

все-таки разные люди, хоть и женаты. Ты не хотел на мне жениться, и не надо мне было на это идти, как теперь выясняется.

— Но я же все-таки женился на тебе, женился,— говорит он, боясь, как бы от этого признания снова не разреветься.

— В таком случае перестань мною командовать. То ты командовал, чтоб я сюда ехала, теперь командуешь, чтоб я уезжала. А мне нравятся эти люди. Они лучше понимают юмор, чем там, в Огайо.

— В таком случае давай останемся.— Он теперь видит, что в комнате не только фламинго, а много и всякой другой мерзости. Гипсовый бюст Элвиса Пресли⁵ на подставке со свечами в красных подсвечниках, точно это икона... На стенах наклеены открытки — на них женщины в серебристых бикини, кувыркающиеся или застывшие в мечтательных позах, придерживают руками в серебристых перчатках огромные груди.— открытки, напечатанные в Гамбурге на ребристой бумаге: на них в зависимости от угла зрения ты видишь либо вполне пристойную, либо непотребную картинку...

Пока он рассматривает эту мерзость одну за другой, Пру, пожалв ему руку — возможно, в знак извинения за то, что они друг другу наговорили,— выскальзывает из комнаты. А что они, собственно, друг другу наговорили? На кухне девчонка, сидевшая с голой грудью, натянула на себя майку, на которой написано ЭРА, а Джейми снял пиджак и галстук. Нельсону кажется, что он вдруг вырос, так вырос, что даже сам себя не слышит, но это не имеет значения, и они все смеются. В затемненной спальне рядом с кухней кто-то смотрит специальное сообщение из Ирана, которое передают в 11.30,— время на вечеринках, как всегда, движется быстрыми спазматическими скачками. Неожиданно рядом с ним возникает Пру и просит отвезти ее домой — он замечает, что она смертельно бледна, точно призрак в кино, с губами цвета крови, слегка стершейся посередине, там, где соприкасаются губы. Что-то произошло у него в голове, и все кажется синим, а ее зубы — кривыми, когда она еле слышно сообщает ему, что сняла туфли, как он просил, и теперь не может их найти. Она плюхается на кухонный стул и вытягивает свои оранжевые ноги, так что живот торчит ядром, и хохочет вместе со всеми. Ну прямо свиньи! Нельсон, отправившись на поиски ее туфель, обнаруживает в боковой комнате с этими омерзительными серебристыми открытками и фламинго девушку в белых брюках, заснувшую на диване-кровати. Сейчас, когда лицо ее в покое она кажется еще более юной. Возле курносого носа лежит ладонью кверху белая рука. Крутой, с легкой россыпью веснушек лоб без единой морщинки — спит. Только в волосах притаилась великая сила женщины — в этих освобожденных от заколок, отливающих разными оттенками провалах и взвихрениях спутанной гривы. Нельсон хочет накрыть девчонку, но одеяла нигде не видно... Полоска молочно-белой кожи выглядывает там, где рыжий свитер вылез из брюк. Нельсон смотрит на нее и думает: почему женщина не может быть просто другом, без всякой примеси эротики? Почему надо все время тешить свое самолюбие, бить наотмашь, только чтобы защитить себя? Глядя вниз, на эту молочно-белую полоску кожи, он забывает, зачем сюда пришел. И вдруг чувствует, что ему срочно надо в ванную.

А там, справившись со своими делами, он замечает толстую глянцевиутую книгу на корзине для белья, видимо принадлежащую Тошму,— альбом с репродукциями фотографий и плакатов времен нацизма в Германии: молодые красавцы блондины стоят рядами и поют; импозантный толстяк в белой форме, увешанный орденами и медалями; и Гитлер, этакий молодой стройный рыцарь, смотрит вдаль, на Альпы. Держать такую вещь в ванной — это своеобразный вызов, как и те серебристые открытки с изображением омерзительных женщин, и, кажется, не спастись от всей этой мерзости — столько ее на свете,— не спастись ни этой спящей девочке, ни ему. Пру нашла свои жуткие зеленые туфли и сидит в кухне на стуле, а пуэрториканец с лицом, испещренным мелкими шрамами, словно следами ножевых ран, с которым она отплясывала, стоит перед ней на коленях и застегивает пряжечки на тоненьких, как позумент, ремешках ее туфель. Когда она встает, ее швыряет в сторону — что это они ей

⁵ Известный американский исполнитель рока.

дали? Она покорно позволяет надеть на себя бархатный пиджак, который носила осенью и весной в Кенте, — пиджак красный, а платье у Пру зеленое, так что она выглядит точно елка, наряженная на полтора месяца раньше срока. Джейсон танцует в большой комнате: туда же переместились теперь и Джейми с девчонкой, на чьей чахлой груди написано ЭРА, — они тоже стараются не отставать, поэтому Нельсон и Пру прощаются с Пэм и Тошм. Пэм целует Пру в щеку очень по-женски, точно потихоньку хочет шепнуть ей на ухо пароль, а Тошм прикладывает, словно Будда, сложенные руки к груди и кланяется... Последний взмах руки, улыбки, и дверь закрывается, отсекая Нельсона и Пру от шума вечеринки.

Дверь старинная, тяжелая, из светлого дуба. Нельсон и Пру стоят на площадке третьего этажа — тишина плотно накрыла их словно колпаком. Над головой по стеклу темного слухового окна, затянутого проволочной сеткой, барабанит дождь.

— По-прежнему считаешь меня ничтожеством? — спрашивает он.

— Нельсон, ну почему ты никак не повзрослеешь?

Толстые деревянные перила справа двойной головокружительной петлей спускаются вдоль двух маршей на первый этаж. Заглянув вниз, Нельсон видит крышки двух пластмассовых контейнеров для мусора, стоящих в подвале, далеко под ними. Пру нетерпеливо обходит его слева — он ей осатанел, и к тому же она хочет поскорее выбраться на воздух, — а он потом вспомнит, как она толкнула его своим широким бедром и какая в нем поднялась злость на эту ее намеренную неуклюжесть, но не вспомнит, не толкнул ли и он ее — совсем немножко, в отместку. Слева у лестницы нет перил и штукатурка на стене вся в дырках от гвоздей — должно быть, раньше там была деревянная обшивка, но ее ликвидировали при ремонте. Таким образом, когда Пру подворачивает ногу на этих своих высоких танкетках, ей не за что ухватиться; она слегка вскрикивает, но бледное лицо ее остается невозмутимым, как и в те минуты, когда, занимаясь планеризмом, она брала старт. Нельсон протягивает руку, чтобы схватить ее за бархатный пиджак, но Пру пролетает мимо — ноги уже не держат ее; Нельсон видит, как ее лицо скользит на фоне дырочек от гвоздей, когда она переворачивается к стене, пытаясь хоть за что-то ухватиться, но хвататься не за что. И она летит боком, вниз головой, ударяясь животом об окантованные металлом ступени. Все происходит так быстро, однако мозг Нельсона успевает зарегистрировать последовательность ощущений и чувств: вот мягкий бархат пиджака коснулся его пальцев, затем она раздраженно толкнула его бедром, затем он разозлился на ее тяжелые танкетки и на тех, кто отодрал перила от лестницы. — все разложилось по полочкам... Она обхватывает себя руками, пытаясь уберечь свое летящее вниз тело, и когда наконец останавливается на середине крутой лестницы, рука у нее вывернута, туфля слетела с ноги и висит на ремешке, головы не видно под разметавшейся массой чудесных волос, и крупное тело ее неподвижно...

А дождь мягко постукивает по стеклу слухового окна. Сквозь стену доносятся музыка с вечеринки. Но, видимо, Пру упала с таким грохотом, что дверь светлого дуба распахивается и вокруг уже шумят люди, в ушах же у Нельсона стоит лишь слабенький вскрик Пру, когда она полетела вниз. — с таким звуком любаются под ногой пластмассовые игрушки, какие дают детям в ванну.

Манная Каша чувствует себя в больнице точно рыба в воде — подтрунивает над сестрами и сиделками и словно не подвластный никаким правилам веселый микроб передвигается по этому белому миру в своей черной одежде. Он подходит к мамаше Спрингер с таким видом, будто собирается заключить ее в объятия, но вместо этого лишь весело хлопает ее по плечу. Дженис и Гарри он озорно улыбается, обнажая мелкие зубы; к Нельсону обращает вмиг серьезнейшее лицо — только в глазах еще прыгают живчики.

— Она выглядит лучше, куда-то, вот гольфо рука в гипсе. Но и тут ей повезло. Рука-то левая.

— Она левша. — говорит ему Нельсон. Малый бухтит и сутулится от недосыпа. Он пробыл с Пру в больнице с часу ночи до трех утра и сейчас, в половине десятого, уже снова здесь. В четверть второго он звонил домой, но ник-

то не подошел к телефону, что сразу увеличило счет накопленных им за двадцать лет обид. Бабуля была дома, но слишком она стара и одурманена лекарствами, чтобы слышать во сне телефон, а его родители отправились с Мэркеттами и Гаррисонами в этот новый стритиз на шоссе 422 что за «Четырмя временами года», по дороге на Потстаун, после чего еще заехали к Мэркетгам пропустить по стаканчику перед сном. Таким образом, семейство узнало новость лишь в девять утра, когда Нельсон, залезший в пустую постель в половине четвертого, проснулся. По дороге в больницу, сидя в «Мустанге» матери, он утврждал, что заснул, лишь когда пиццы уже начали чирикать.

— Какие еще пиццы? — заметил Гарри. — Они же все улетели на юг.

— Пап, не донимай меня, как раз за нашим окном живут такие черные птицы.

— Скворцы, — подсказывает Дженис, стремясь восстановить мир.

— Так они же не чирикают, а щипат, — не унимался Гарри. — П и щ а т, п и щ а т.

— Теперь разве не поздно светает? — прерывает их спор мамаша Спрингер. Это постоянное напряжение между зятем и внуком отнимает у нее последние силы.

А Гарри действительно раздражает Нельсон — сидит рядом весь еще пропахший вчерашними возлияниями, глаза красные, из носа течет; Гарри и сам мало спал и еще не пришел в себя с похмелья. Он еле удерживается, чтобы не сказать еще раз «пищат».

— Как это вы сумели так быстро здесь очутиться? — спрашивает он в больнице Манную Кашу, искренне восхищаясь священником. Можно сколько угодно над ним издеваться, но малый в самом деле маг-волшебник.

— Сама больная призвала, — весело изрекает священник, сделав шагок в сторону и смахнув при этом на пол один из журналов, лежащих на низеньком столике. «День женщины». «Поля и реки». В больнице, конечно, не выписывают «К сведению потребителей». Некоторое время тому назад там была напечатана совершенно убийственная статья о стоимости медицинского обслуживания и фантастических ценах на такие вещи, как аспирин и таблетки от простуды. Манная Каша нагибается поднять журнал и, выпрямившись, с трудом переводит дух.

— После того как милой женщине дали успокоительного, — принимается он рассказывать, — и вправили руку, и заверили, что зародыш вроде не пострадал, она тем не менее продолжала тревожиться и проснулась в семь утра; она понимала, что Нельсон еще спит, и не знала, кому бы позвонить. Вот и подумала обо мне. — Он расплывается в широкой улыбке. — Я, конечно, еще покоился в объятиях Морфея, но быстро собрался и сказал ей, что заскочу между причастием и десятичасовой службой, — и вот я здесь. Ессе homo⁶. Она хотела помолиться со мной, чтобы бог сохранил ей младенца, она постоянно об этом молилась, и по крайней мере на данный момент, как принято говорить, вроде бы сработало! — Его черные глаза обегают лица одно за другим, вверх, вниз и поперек. — Доктор, принимавший ее, сменился в восемь утра, но дежурная сестра торжественно поклялась мне, что, хотя мать и расшиблась, маленькое сердечко бьется в ней с нормальной силой и ни следа кровотечений или каких-либо других неприятностей. Матушка природа — крепкий орешек: все вынесет. — Он произносит это, обращаясь к мамаше Спрингер. — А теперь я должен бежать, иначе паства будет алкать и не обретет пищи. Посетителей здесь пускают только с часу, но я уверен, что начальство не станет возражать, если вы заглянете к ней на минутку. Скажите им, что я вас на это благословил. — И его рука машинально поднимается, словно он в самом деле хочет их благословить. Но не благословляет, а кладет руку на рукав дорожной меховой шубы мамаше Спрингер. — Если вы не успеете к службе, непременно приходите на собрание, которое состоится потом, — просит он ее. — На этом собрании будет решаться вопрос о новом органе, и уйма мелких людей придет из своей глубинки. Они никогда больше доллара в неделю церкви не жертвуют, а право

⁶ Се человек (лат.). Так сказал Понтий Пилат, указывая на Христа. Евангелие от Иоанна, 19,5.

голоса имеют такое же, как мы с вами.— И он быстрым шагом удаляется по коридору, осеняя воздух знаком мира — двумя растопыренными пальцами.

...Больница святого Иосифа расположена на севере центральной части Бруэра — там, где раньше находился дом Христианской ассоциации молодых людей, который потом снесли и построили еще один банк с заездом для машин, и где раньше железную дорогу пересекал деревянный мост, который заменили бетонным, а он тут же стал давать трещины. Поговаривали даже о том, чтобы запрятать здесь железнодорожное полотно в туннель, но потом поезда почти перестали ходить, и, таким образом, проблема была решена. Здесь Дженис произвела на свет Ребекку — тогда все сестры были монашки, может, они и сейчас монашки, только теперь уже не разберешь. Во всяком случае, приемная сестра на этаже в брючном костюме цвета сомон. Нельсон с родителями и бабулей идут следом за ее пышным задом и покатыми плечами. Сквозь полуоткрытые двери видны исхудавшие люди, которые лежат под белой простыней, уставясь в белый потолок, — уже не люди, а призраки. Пру находится в четырехместной палате, и две женщины в легких больничных пижамах поспешно ныряют в постель, застигнутые врасплох ранними посетителями. На четвертой кровати спит пожилая негротянка. Да и Пру тоже, по сути дела, спит. Под глазами у нее еще остались следы вчерашней туши, но в остальном она выглядит так, словно только что родилась, особенно белоснежным выглядит гипс, покрывающий от локтя до кисти ее руку. Нельсон легонько целует ее в губы и, опустившись на единственный возле кровати стул, тогда как старшие члены семьи продолжают стоять, зарывается лицом в матрац у бедра Пру. «Какой же он еще младенец», — думает Гарри.

— Нельсон вел себя поразительно, — сообщает им Пру. — Такой был заботливый.

Голос ее звучит мелодичнее и ниже обычного. Гарри ни разу не слышал, чтобы она так говорила. Интересно, думает он, может, когда женщина лежит, меняется угол, под которым у нее из горла вылетает звук.

— Угу, он болезненно это пережил, — говорит Гарри. — Мы услышали о случившемся только утром.

Нельсон поднимает голову.

— Они были на стриптизе, представляешь?

— Господи! — вырывается у Гарри. — Кто все-таки кому должен давать отчет? — спрашивает он Дженис. — Он что, хочет, чтоб мы все время сидели дома и потихоньку старели?

— Вот что, — объявляет мамаша Спрингер. — через минуту мы уезжаем: я хочу попасть в церковь. Мне кажется, нехорошо это будет если я появлюсь только на собрании, как предлагал достопочтенный Кэмпбелл.

— Непременно поезжайте на собрание, мамаша, — говорит Гарри, — они вас там обштопают на целое состояние. Органы ведь не растут на деревьях.

— Милая ты моя бедняжечка, — обращается Дженис к Пру. — С рукой очень худо?

— О, я как-то не обращала внимания на то, что говорил доктор. — Голос у Пру замирает: должно быть, ее накачали транквилизаторами. — Есть там косточка с наружной стороны с таким смешным названием...

— Фемур, — подсказывает Гарри. Чем-то эта история взвинтила его, и он держится вызывающе. Да еще эти девицы вчера вечером — среди них были совсем молоденькие, почти как его дочь. Заведение называлось «Золотая вишенка».

Нельсон снова приподнимает голову с постели.

— Фемур — эта в бедре, пап. А Пру хотела сказать — гумерус.

— Ха-ха, — произносит Гарри.

У Пру вырывается что-то вроде стога.

— Доктор сказал, просто перелом.

— И сколько же это протянется? — спрашивает Гарри.

— Он сказал — шесть недель, если я буду его слушаться.

— Значит, к рождеству ты поправишься, — говорит Гарри. Рождество в этом году занимает в его мыслях немало места, так как после него и после встречи Нового года они отправятся в свое путешествие — у них уже зарезер-

вированы места в гостинице, билеты на самолет, они снова все обсудили вчера вечером, возбужденные стриптизом.

— Милая ты моя бедняжечка, — повторяет Дженис.

Пру словно запела, но без мелодии. Однако звучит это все равно как песня:

— Ах боже мой, я ведь не жалуюсь, я даже рада — это мне в наказание. Право, я уверена, — при этом она не отрываясь смотрит на Дженис с такою твердостью, какой раньше за ней не замечалось, — это господь послал мне испытание — такова цена, которую я должна заплатить, чтобы не потерять ребенка. И я готова ее заплатить, пусть даже все косточки в моем теле будут переломаны, мне все равно. Бог ты мой, когда я почувствовала, что ноги меня больше не держат, и поняла, что полечу с этой страшной лестницы, какие только мысли не пронеслись у меня в голове! Вы-то меня понимаете.

Она имеет в виду, что Дженис понимает, каково это — потерять ребенка. Дженис вскрикивает и всем телом валится на лежащую молодую женщину, так что Гарри, внутренне содрогнувшись, хватается ее сзади за платье и тянет. Почувствовав под грудью жесткий валик гипса, Дженис выгибает спину — кожа у нее под материей натягивается как на барабанах, такая горячая. Но Пру явно не больно — она лежит спокойно, смежив веки со следами вчерашних синих теней, и улыбается своей скупой кривой улыбочкой, не пытаясь сбросить с себя навалившуюся Дженис. Рукой, свободной от гипса, Пру обнимает свекровь и похлопывает по спине — пальцы ее почти соприкасаются с пальцами Гарри Шлеп, делают они, шлеп, шлеп... Дженис все всхлипывает, а Пру все похлопывает ее, и две другие больные в палате всё смотрят на них... Нельсон, отодвинутый матерью в сторону — а ее захлестнули горестные воспоминания, — сидит уставясь в пространство, бедный, измученный. Эти чертovy женщины так обожают горевать сообща, что мы всегда остаемся за бортом. Наконец Дженис выпрямляется, сильно хлопнув носом, так, что вся верхняя губа у нее покрывается слезью.

Гарри протягивает ей носовой платок.

— Я так рада, — говорит она, звучно сморкаясь, — за Пру.

— Да ну же, возьми себя в руки, — буркает Гарри, отбирая у нее платок. Мамаша Спрингер проливает масло на разбушевавшееся воды:

— Какое это все-таки чудо — свалиться с такой лестницы и почти ничего себе не повредить. В этих старых бруэрских домах верхними лестницами пользовались ведь только служанки.

— Я пролетела не всю лестницу, — говорит Пру. — Я потому и руку сломала, что сумела задержаться. И боли в тот момент не почувствовала.

— Угу, — вставляет Гарри. — Вот и Нельсон сказал, что ты не чувствовала боли.

— Да, да. — После объятий Дженис волосы у Пру разметались по подушке, и кажется, будто она падает навзничь в белизну, выводя нараспев: — Я почти ничего не чувствовала, и доктора говорят, что не должна была чувствовать, а все случилось из-за этих жутких высоченных танкеток, которые мы все носим Ну не идиотская мода? Непременно сожгу их, как только вернусь домой.

— А когда же это будет? — спрашивает мамаша, перекладывая черную сумочку из руки в руку. Она оделась для церкви еще до того, как проснулся Нельсон и началась вся катавасия. Настоящая раба церкви, одному богу известно, что это ей дает.

— Мне придется провести здесь еще с неделю, так он сказал, — говорит Пру. — Чтобы я лежала спокойно, ну, словом, чтобы ничего не случилось. С ребенком. Я сегодня утром проснулась, и мне показалось, что у меня начались схватки, я так испугалась, что позвала Манную Кашу. Он такой чудесный.

— О да, — говорит мамаша...

— Нам все-таки надо доставить мамашу в церковь, — объявляет Гарри. — Нельсон, ты собираешься проснуться и поехать с нами или останешься здесь спать? (Голова у мальчишки снова лежит на больничном матраце.)

— Гарри, — говорит Дженис, — не хамя ты всем.

— Он считает, уж очень все мы носимся с этим будущим ребенком, — мечтательно произносит Пру, слегка поддразнивая Гарри.

— Да нет. Я считаю, это замечательно, что у нас будет ребенок. — Он на

клоняется, чтобы поцеловать ее на прощание. и хочет шепнуть ей, сколько у него было детей, мертвых и живых, видимых и невидимых. Но, так ничего и не шепнув, выпрямляется и говорит: — Не вслуныся. Мы еще заедем потом и посидим с тобой подольше.

— Только не за счет гольфа, — говорит она.

— В гольф сыграть уже не удастся. В клубе не любят, когда выходят на поле после определенного часа.

Нельсон спрашивает жену:

— Как ты хочешь — чтобы я уехал или остался?

— Уезжай, Нельсон, ради бога. Дай мне немного поспать.

— Знаешь, извини, если я вчера вечером что-то не то говорил. Я совсем одурел. А когда мне ночью сказали: они думают, что ты не потеряешь ребенка, я от облегчения даже заплакал. Честное слово. — Он бы и сейчас заплакал, но они не одни, и на лице его появляется смущенное выражение: ведь это слышала не только она.

Вот почему мы любим несчастья, понимает вдруг Гарри: у нас возникает чувство вины, и мы на коленях ползем назад, к богу. Без осознания своей вины мы ничуть не лучше животных. А Нельсон думает: что, если бы выкидыш произошел в тот момент, когда он смотрел на эти омерзительные открытки, как бы ужасно он потом себя чувствовал.

Пру спокойно произносит, словно не замечая, как дрожит голос мужа и какие перевернутые у всех лица:

— Я чувствую себя отлично. Я вас всех так люблю. — ...И в знак прощания приподнимает с груди свой обрубок крыла в белоснежном гипсе.

Они оставляют ее на попечение антисептических ангелов-хранителей и шагают, стуча каблуками, назад по больничным коридорам, решив про себя отложить выяснение отношений до машины.

— Еще целую неделю! — произносит Гарри, как только «Мустанг» трогается с места. — Кто-нибудь из вас представляет себе, сколько стоит теперь неделя пребывания в больнице?

— Папа, ну как ты можешь все время думать только о деньгах?

— Кто-то должен же об этом думать. Неделя — это минимум тысяча долларов. Минимум.

— У тебя же есть карточка Синего Креста.

— Для невесток она недействительна. Да и для тебя тоже, после того как тебе исполнилось девятнадцать.

— Ну, не знаю, — говорит Нельсон, — но мне не нравится, что она лежит в общей палате со всеми этими женщинами, а они стонут ночи напролет и их рвет. Одна из них даже черная, вы заметили?

— Откуда у тебя эти предубеждения? Уж во всяком случае не от меня. Так или иначе, это не общая палата, а так называемая полуниндивидуальная, — говорит Гарри.

— А я хочу, чтобы моя жена лежала в отдельной палате, — говорит Нельсон.

— Вот как? Ты хочешь, ты хочешь. А кто будет платить по счету, задвала? Не ты, конечно.

Мамаша Спрингер говорит:

— Я помню, когда у меня случился дивертикул желудка, я лежала в отдельной палате — Фред и слышать ни о чем другом не хотел. Причем палата была угловая. Из окон открывался чудный вид на дендрарий — магнолии были как раз в цвету.

— Ну, а в магазине. — спрашивает Дженис, — разве на Нельсона не распространяется групповая страховка?

— На помощь в связи с родами имеют право лишь те, кто проработал в «Спрингер моторс» больше девяти месяцев, — сообщает ей Гарри.

— Сломанную руку я бы родами не назвал. — говорит Нельсон.

— Угу, но если бы ей не предстояли роды, она гуляла бы сейчас со своей рукой.

— Может, Милдред посмотрела бы, что тут можно сделать, — подает идею Дженис.

— О'кей.— нехотя соглашается Гарри.— Я в точности всех наших правил не знаю.

Нельсону бы тут и успокоиться. Вместо этого он перегибается через спинку переднего сиденья, так что голос его грохочет в ушах Гарри, и говорит:

— Только Милдред и Чарли и выручают тебя — сам-то ты вообще ничего не знаешь. Я имею в виду...

— Я знаю, что ты имеешь в виду, и я знаю о торговле машинами куда больше, чем ты когда-либо будешь знать, если не возьмешься за ум и не перестанешь играть в эти старые детройтские игрушки, на которых мы и так уже немало потеряли: пора сосредоточиться на том, чем мы занимаемся.

— Я бы не возражал, если бы ты торговал «дацунами» или «хондами», но, честно, пап, «тоёты»...

— Старик Фред Спрингер получил разрешение на торговлю «тоетами» — «тоёты» мы и продаем. Бесси, ну почему вы не дадите малому шлепка? Мне до него не дотянуться.

После паузы до него доносится с заднего сиденья голос тещи:

— Я все думаю, надо ли мне вообще ехать в церковь. Я знаю, что предподобный Кэмпбелл спит и видит купить орган, а сторонников у него не так уж много. Если я там появлюсь, они еще могут поставить меня во главе комитета, а я для этого слишком стара.

— Верно. Тереза была такая милая? — громко произносит Дженис. — Точно за одну ночь повзрослела.

— Угу, — говорит Гарри, — а если бы пролетела по лестнице оба марша, то стала бы даже старше нас.

— Господи, папа, — говорит Нельсон, — ты хоть кого-нибудь любишь?

— Я люблю всех, — говорит Гарри. — Просто я не люблю, когда меня загоняют в капкан.

...В воскресное утро в машинах едут по большей части американцы старшего поколения — женщины с волосами голубоватых или розоватых оттенков, похожими на перья куриц, которых раскрашивали на пасху, пока это не запретили законом, и мужчины, с такою силой вцепившиеся обеими руками в руль, точно иначе машина сейчас вырвется и начнет скакать и брыкаться, еще бы: теперь, когда из-за старина аятоллы бензин без свинца на некоторых городских заправокных станциях стоит доллар тринадцать центов, водители стараются каждую каплю использовать... В кинотеатре торгового центра идут четыре фильма: ЛЮБАЯ ТРАДИЦИИ ВСЕ СНАЧАЛА БЕГСТВО и «10». Гарри охотно посмотрел бы «10»: он знает из рекламы, что там играет эта девушка, похожая на шведку, которая, точно уроженка Заира, заплела себе волосы мелкими косичками. Мир един: все спят друг с другом. Стоит ему представить себе, сколько в мире пар занимается любовью и сколько еще будет заниматься, а его это не коснется никак, он так и будет сидеть и постепенно умирать в этой душной машине. — у него падает сердце. Он уже ни с кем не будет спать, кроме бедной Дженис Спрингер. — эта перспектива расстилается перед ним прямая и унылая, как хорошо известная дорога. Желудок у него после вчерашних развлечений бунтует, как бывало, когда он опаздывал в школу. Он вдруг говорит Нельсону:

— Как ты все-таки, черт подери, дал ей упасть, почему не удержал ее? Да и вообще, что вы так поздно там делали? Когда твоя мама была тобой беременна, мы никуда не ходили.

— Хотя по крайней мере побыли наконец вместе, — говорит парень. — Ты-то, насколько я слышал, был ходок.

— Но не тогда, когда она была беременна тобой, тогда мы вечер за вечером просиживали перед этим дурацким ящиком, смотрели «Я люблю Люси» и прочую белиберду, верно, Бесси? И не нюхали никакой гравки.

— Травку не нюхают, ее курят. А нюхают кокаин.

Мамаша Спрингер с запозданием отвечает на его вопрос

— Ну, я ведь в точности не знаю, как вы с Дженис себя вели. — устало произносит она голосом человека, который смотрит из окна на то, что происходит на улице. — Молодежь нынче другая.

— Прямо скажем, другая. Ты выставляешь за дверь человека, чтобы дать более молодому место, а этот молодой на все корки разносит твой товар...

— Твой товар вполне о'кей, если ты этим довольствуешься,— объявляет Нельсон.

Гарри в ярости прерывает его, думая о бедной Пру, которая лежит в палате и ждет мужа, а является хнычущий младенец и тычется головой ей в бок; о Мелани, которая в поте лица грудилась в «Блинном доме», обслуживая всех этих банковских недоумков, которые предпочитают обедать в городе; о своей милой, полной надежд дочери, которая вынуждена довольствоваться этим большим краснорожим Джейми; о бедной маленькой Синди, которая вынуждена с улыбкой терпеть старика Уэбба с его манией фотографировать ее в разных позах, иначе он не может возбудиться; о Мим, которая столько лет удовлетворяла прихоти этих головорезов-итальяшек; о маме, стиравшей своими старыми руками в серой мыльной воде и плакавшей под звуки блюзов на кухне, пока ей не повезло и болезнь Паркинсона не уложила ее отдыхать в спальне; обо всех женщинах в мире, которых используют и губят мужчины, чтобы вот такие желторотые юнцы могли появиться на свет.

— Дай-ка я тебе кое-что расскажу про «тоёты»,— говорит Гарри сидящему сзади Нельсону.— Их собирают маленькие желтые человечки в белых халатах, которые работают на одном и том же заводе от колыбели до могилы и прямо-таки сходят с ума, если в систему зажигания попала хоть одна пылинка, а эти драндулеты, что выпускает Детройт, сколачивают черномазые в наушниках, из которых им прямо в уши наяривает музыка, да к тому же до того накачавшиеся наркотиками, что не могут отличить винт с прорезанной головкой от зубчатой гайки, и при этом ненавидят фирму, где работают. Половина машин, которые сходят с конвейера на заводах Форда, преднамеренно испорчены — забыл, где я об этом читал, но не в журнале «К сведению потребителей».

— Пап, ты полон предрассудков. Что бы сказал об этом Скитер?..

— Я же не говорю, что черные плохо работают на конвейере, я их не вижу, просто говорю, что они производят плохие машины.

Но Нельсон уже настроился на атаку — он оскорбился и весь в раздрыганных чувствах, бедняга.

— И какое ты имеешь право критиковать меня и Пру за то, что мы поехали к друзьям, когда сам ты отправился со своими друзьями любоваться этими дурачками экзотическими танцовщицами? Как тебе-то это может нравиться, мам?

— Это было совсем не так плохо, как я думала,— говорит Дженис.— И все в рамках приличий. Право же, ничуть не хуже, чем когда-то на старых ярмарках.

— Нечего перед ним оправдываться,— говорит ей Гарри.— Кто он такой, чтоб нас критиковать?

— Самое забавное,— продолжает Дженис,— что нам с Синди и Тельмой всегда нравились одни девушки, а мужчинам совсем другие. Нам всем понравилась эта высокая восточная женщина, такая грациозная и артистичная, а мужчинам, мама, понравилась маленькая блондинка без подбородка, которая и танцевать-то не умела.

— Зато создавала атмосферу,— поясняет Гарри.— Я хочу сказать, она все делала всерьез...

— Бабуле вовсе неинтересно слушать эту мерзость,— объясняет Нельсон с заднего сиденья.

— Бабуля не возражает,— осаживает его Гарри.— Бесси Спрингер ничем не смутить. Бабуля любит жизнь.

— Ну, не знаю,— со вздохом говорит старуха.— Когда мы могли этим интересоваться, такого не было. Помню, Фред иногда приносил домой «Плейбой», но мне это казалось скорее грустным, все эти восемнадцатилетние девчонки, совсем еще дети, только тело у них взрослое.

— А кто не дети? — спрашивает Гарри.

— Говори от своего имени, пап,— вставляет Нельсон.

— Нет, я хотела сказать,— не отступает мамаша,— смотришь на то, как нынешние девчонки расхаживают совсем голые, в чем мать родила, и удивляешься, чего ради родители их растили. Да и вообще что думают по этому поводу родители.— Она вздыхает.— Да, мир стал другим...

Они объехали гору и свернули на Центральную улицу; судя по часам в витрине химической чистки, уже без трех минут десять.

— Похоже, мы успеем, Бесси! — кричит сидящим сзади Гарри.

Флаг на мэрии наполовину приспущен из-за заложников в Иране. Люди в праздничной одежде все еще стекаются к церкви под звон колоколов, сзывающих их своими железными языками под серым, разодранным ветром ноябрьским небом, отсвечивающим кое-где серебром. Выпуская мамашу из «Мустанга», Гарри говорит ей:

— Только не заложите магазин ради этого органа Манной Каши.

Нельсон спрашивает:

— Как ты будешь добираться домой, бабуля?

— Меня, наверное, подвезет внук Грейс Штул — он обычно приезжает за ней. Ну а нет, так и пешком дойду — не помру.

— Ах, мама, — говорит Дженис, — тебе же в жизни не дойти. Если тебя некому будет подвезти, позвони нам, когда собрание кончится. Мы будем дома.

...Возвращаясь домой с Дженис и Нельсоном, Гарри вспоминает, как они ездили раньше вдвоем, жили вместе, были моложе. Между малым и Дженис эта связь сохранилась. А он ее потерял. Вслух он произносит:

— Значит, тебе не нравятся «тоёты».

— Вопрос не в этом, пап, там нечему нравиться или не нравиться. Вчера на вечеринке я разговаривал с одной девчонкой, которая только что купила «Короллу», так мы с ней говорили только о старых американских машинах — какие они были замечательные. Вот и «вольво» тоже стали не те, и никто тут ничего не может поделывать. Как говорится, всему свой срок.

Мальчишка явно стремится поддержать разговор и уладить ссору; Гарри же помалкивает, раздумывая: «Всему свой срок — если так гнать, так крутиться да еще наркотиками накачиваться, хорошо, если ты свой срок до моих лет дотянешь».

— «Мазды», — говорит Нельсон. — Вот чем бы я хотел торговать.

— В таком случае иди к Абе Шафетцу и проси работы. Я слышал, он вроде прогорает — столько у «мазд» дефектов. Мэнни говорит, никогда им всех не исправить.

— По-моему, — говорит Дженис, пытаясь внести дух умиротворения, — реклама «тоёт» по телевизору на редкость умная и шикарная.

— О, реклама — заглядение, — соглашается Нельсон. — Реклама — просто чудо. Я-то говорю про машины.

— А тебе не нравится, — спрашивает Гарри, — эта новая, которая хрюкнет и трогается с места? — Он хрюкает, и Дженис с Нельсоном смеются, и последний квартал до дома они едут по Джозеф-стрит под голыми кленами, весело вспоминая все вдвоем, какие у «тоёт» были рекламы...

— Надо нам отсюда съезжать, — внезапно охрипшим голосом произносит Гарри несколькими днями позже, накануне возвращения Пру из больницы, где она пролежала целую неделю. Они с Дженис в спальне, на дворе ночь; лесной бук, сбросив с себя листья и трескучие коробочки семян, пропускает теперь в их комнату куда больше света, чем летом. Два стекла в окне со стороны, что ближе к улице, с той стороны, где спит Кролик, не идеально гладкие, а слегка волнистые, все в каких-то продолговатых пузырьках, которые днем едва видны глазу, зато ночью образуют на дальней стене медальоны крапчатых теней, резко увеличенных, более ярких по цвету, чем на самом деле, так что над заставленным туалетом красного дерева, который перешел к Дженис от Кёрнеров, у четырехстворчатой двери, отгораживающей от них мир, вся стена пестрая, цветная, как витраж. За десять лет, что они здесь живут, в те минуты или часы, что проходят между тем, когда тушится лампа и когда наступает сон, эти светящиеся квадратики отпечатались в мозгу Гарри как драгоценности, яркие камушки, образовавшиеся из воздуха, — ему будет их не хватать, когда он уедет отсюда. Но уезжать надо...

— Куда же мы поедем? — спрашивает Дженис.

— Купим себе дом, как все, — говорит он тихим, хриплым голосом, точно мамаша Спрингер может услышать это его предательство сквозь стенку, не-

смотря на бормотанье, а потом грохот телевизора в момент кульминации; затем взрывается реклама, затем начинает нарастать новая кульминация.— В другой части Бруэра, ближе к магазину. Эти ежедневные поездки через центр города сводят меня с ума. Да и сколько бензина уходит.

— Только не в Пенн-Виллас,— говорит она.— Назад в Пенн-Виллас меня ни за что не заманишь.

— Мени тоже. А как насчет Пенн-Парка? Там соседями у нас будут все эти славные адвокаты — специалисты по разводам и дерматологи? Я всегда мечтал — еще в ту пору, когда мы с ними играли в баскетбол,— поселиться там где-нибудь. Чтобы дом, по крайней мере по фасаду, был облицован камнем, ну и, может быть, с утопленной гостиной — тогда мы могли бы пристойно принимать Мэркетгов. А сюда просто неудобно кого-то звать; мамаша, правда, после ужина уходит к себе наверх, но здесь так чертовски мрачно, да еще теперь тут Нельсон со своей командой.

— Он говорил, что они собираются снять квартиру, когда дела наладятся.

— Дела у него никогда не наладятся при его отношении к работе. Ты это знаешь. А здесь он живет бесплатно, и потом мы не будем так угрызаться, оставляя твою мамашу. Такой шанс нельзя упускать.— Стремясь заставить жену посмотреть на вещи его глазами, он запускает руку под ее ночную рубашку...— Или, может,— продолжает он все так же хрипло,— купить такую псевдотюдоровскую штукуну, похожую на пряничный домик, у них еще такие островерхие крыши, как у ведьминых домов на картинках. Бог ты мой, как бы возгордился папка, если б увидел, что я живу в таком доме!

— А нам это по карману,— спрашивает Дженис,— при том, что теперь надо платить тринадцать процентов по закладным?

Он передвигает руку по шелковистой, гладкой выпуклости ее живота... Пусть будет утоплена не гостиная, а кабинет, просто должно быть такое место, где бы одна-две обтянутые бобримок ступеньки вели вниз, чтоб ты чувствовал, что находишься в современном доме.

— В этом прелесть инфляции,— говорит он Дженис, изо всех сил стараясь ее обольстить.— Чем больше ты должен, тем лучше твои дела. Спроси Уэбба. Платишь-то ты долларами, которые все обесцениваются, а проценты Дяде Сэму вычитает из подоходного налога. Даже после того как мы купили круггерранды и заплатили налог в сентябре, у нас в банке осталось слишком много денег, а деньги в банке держат нынче только тупицы. Внесем их в качестве аванса за дом, и пусть банк тревожится по поводу того, что доллар падает, а наш дом тем временем будет каждый год подниматься в цене на десять — двадцать процентов.— Он чувствует, что Дженис начинает отвечать на его ласки.

— По-моему, это будет тяжело маме,— говорит Дженис слабым голоском, какой появляется у нее в минуты близости.— Она ведь собирается оставить нам этот дом, и я знаю, она рассчитывает, что до тех пор мы будем жить здесь с нею.

— Она проживет еще двадцать лет,— говорит Гарри...— А через двадцать лет тебе будет шестьдесят четыре.

— И потом — не покажется ли это странным Нельсону?

— Почему? Ведь именно этого он и хочет — чтобы я не маячил перед ним. Я подавляю парня.

— Гарри, я не уверена, что это ты на него так действуешь. По-моему, он просто боится.

— Чего же ему бояться?

— Того, чего боялся и ты в его возрасте. Жизни.

Жизни. Слишком она длинная и одновременно короткая. Боишься, что она кончится, и боишься, что завтра будет таким же, как вчера.

— Ну, не надо было ему возвращаться домой, если он так настроен.— говорит Гарри. Он явно теряет интерес к любовным утехам.

— Он же не знал,— говорит Дженис. Гарри чувствует, что и ее мысли уходят от зова плоти в грустную сферу семейной жизни.— Он же не знал, что ты будешь так придирается к нему. Почему ты так к нему относишься?

— Это он придирается ко мне.— говорит Гарри. Он перестал шептать. Телевизор у мамаша Спрингер, как он слышит, по-прежнему работает: что-то шур-

шит. грохочет, гул нарастает, но это, пожалуй, не человеческие голоса, а шум деревьев или океана. Мамаша пристрастилась смотреть в половине двенадцатого специальное сообщение Эй-Би-Си о заложниках и каждое утро пересказывает им последние сведения о том, что ничего не происходит. Хомейни и Картер — оба попали в ловушку, расставленную группой заросших волосами парней, которые ни черта ни в чем на смыслят, несут всякую чушь насчет того, что старики гонят молодежь на войну. — вот избавиться бы от всех этих дурней, тогда в мире стало бы куда спокойнее жить. — Стоит мне раскрыть рот, как у него на лице появляется раздраженное выражение. Что бы я ему в магазине ни сказал, он идет и делает наоборот. Явился тут один мальчик покупать машину из тех двух спортивных, что Нельсон расколошматил тогда, и попросил поставить у нас на продажу мотосани. Я решил, что это шутка, но тут на днях прихожу в магазин и вижу — спортивная машина ушла, а эти желтые мотосани «Кавасаки» стоят себе в переднем ряду рядом с новенькими «Перселами». Я как и подскочил, а Нельсон говорит мне: хватит ехать по старым рельсам: он, оказывается, пообещал парню за них четыре сотни, а нам эта история принесет такую известность, какой мы бы в жизни не имели, истрать мы в два раза больше на рекламу, еще бы: нашелся сумасшедший торговец, который взял мотосани для продажи!

Дженис издает какой-то легкий звук, который, будь она менее усталой, означал бы смех.

— Именно так поступал папа.

— И потом он набрал за моей спиной на десять тысяч старых спортивных машин, которые жрут по галлону бензина на десять миль, кому они нужны такие, да еще эта история с Пру, которая обойдется нам в целое состояние. Ведь она же никак не застрахована.

— Ш-ш! Мама может услышать.

— А я и хочу, чтоб она услышала: это она потворствует парню и его «гениальным» идеям. Ты же слышала вчера вечером, как они рассуждали, что у них с Пру будет своя машина, хотя этот старый «Ньюпорт» мамаша шесть дней в неделю стоит в гараже?!

Приглушенные выкрики проникают сквозь оклеенную обоями стену — это иранцы демонстрируют перед американским посольством на радость телевизионщикам. У Кролика от досады даже перехватило дыхание.

— Я просто не могу больше здесь, лапочка.

— Расскажи мне лучше про дом, — говорит Дженис, возвращая его руку к себе на живот. — Сколько там будет комнат?

Он начинает гладить ее, ведет пальцами вдоль одной складочки, потом вдоль другой...

— Нам ведь не нужно много спален. — говорит он Дженис, — достаточно одной большой для нас с тобой и чтоб там было большущее зеркало, в которое можно смотреться с кровати...

— Зеркало?! Откуда у тебя эта идея — насчет зеркала?

— У всех теперь есть зеркала. Лежишь в постели и видишь себя.

— Ох, Гарри, нет...

— А я думаю — да. Ну и потом, скажем, еще одну спальню — на случай, если вдруг твоя мамаша вздумает пожить с нами или приедет кто-то в гости, но только чтоб не рядом с нашей, чтобы нас разделяла по крайней мере ванная, а то телевизор уж больно мешает: а внизу у нас будет кухня с новейшим оборудованием, включая электрокомбайн...

— Я их боюсь. Дорис Кауфман говорит, что первые три недели у нее все превращалось в кашу. Разница лишь в том, что один вечер каша была розовая, а другой зеленая.

— Ничего, научишься, — мурлычет он, описывая рукой круги по ее телу... — Для этого существует специальное руководство; а потом у нас будет холодильник с автоматической заморозкой и встроенная в стену плита, где духовка на уровне твоего лица, чтоб не нагибаться... и потом у нас будет уютная гостиная с освещением, скрытым в стенах, — мы там сможем принимать гостей.

— Кого же мы будем звать в гости? — Голос ее едва слышен: подушка поглощает его, как пыль с лица мумии.

— О-о... да кого угодно. Дорис Кауфман и всех прочих лесбиянок, которые играют в теннис в «Летящем орле», Синди Мэркетт и ее верного спутника Вадди Инглфингера, всех этих славных девчонок, которые вертят своими красивыми задами в «Золотой вишенке», чтоб Америке веселее жилось, всех этих роскошных самцов, которые работают в отделе ремонта и запасных частей «Спрингер моторс»...

Дженис хихикает, и в этот момент внизу хлопают входная дверь. Навестив Пру, Нельсон теперь обычно отправляется в бар, тот, что раньше назывался «Феникс», и болтается среди этого жуткого сброда, который убивает там время. Гарри возмущает эта свобода, которой пользуется парень: ему разрешили не работать по вечерам, чтобы он мог навещать Пру, так нечего шататься по барам и накачиваться. Если парня так потрясло, когда она свалилась, он должен бы заняться чем-то более стоящим — из благодарности, что ли, или в качестве искупления, или почему-то еще. Внизу слышны его пьяные шаги. Они бухают один за другим — бум, бум — по гостиной, между диваном и вольтеровским креслом и дальше, мимо подножия лестницы, так что зазвенела посуда в буфете, — на кухню, за пивом. У Гарри перехватывает дыхание, когда он представляет себе это надутое озадаченное лицо, прикладывающееся еще к одной банке с пивом, — пьет и жрет до отвала и при этом презирает весь мир. Он чувствует, как рядом с ним застыла мать Нельсона, прислушиваясь к шагам сына, и кладет ее руку себе на живот... Снизу доносятся шаги Нельсона возвращающегося в гостиную, к вольтеровскому креслу, а Дженис и Гарри предаются любви, и Гарри, имея в виду дом, который ему так хочется купить, хрипло заверяет жену:

— Тебе это понравится. Понравится.

Перевела с английского Т. КУДРЯВЦЕВА.

(Продолжение следует)

Когда, поверив похвальбе,
 Поэт стал думать о себе
 Как о пророке новом,
 Пусть верный друг иль честный враг
 Его над бездной бравый шаг
 Прервет правдивым словом.

Когда ты из былых заслуг
 Спасательный напялил круг
 И топчешься на месте,
 Мой друг,
 чтоб делу не мешать,
 Спеши в отставку сам подать
 Во славу прежней чести!

Завещание пожарника Чернобыльской АЭС мая 1986 года

Судьбу не кляни, молодая жена,
 И воле моей оставайся верна:
 Подземные воды и корни деревьев
 Ныне спасти от меня ты должна.

Падучую в небе я вижу звезду,
 И так, как написано мне на роду,
 В свинцовом гробу ты меня похоронишь:
 Тело мое излучает беду.

* * *

Издревле русский наш Парнас.
 Есенин.

Быть может, вправду изменился климат
 И на Парнасе русском, вот беда,
 Иные, словно мертвые, не имут
 Пред небом страха, пред людьми стыда.

Писали встарь:
 поэты, мол, от бога.
 Но реже все,
 как их явилась тьма,
 Божественность пленительного слога,
 Изящное пророчество ума.

* * *

Дома я иль в потоке людском,
 На реке, в соловьиной ли чаще,
 Как щитом, прикрываю все чаще
 Грудь ладонью под левым соском.

Сон взрывала команда: «В ружье!» —
 Иль катили орудие в гору,
 Одного я не ведал в ту пору:
 Где находится сердце мое.

В этом мире благом

Пора, что для сна отдана,
 Приблизила край окоема.

И стогоподобно луна
Стоит у окна возле дома.

От века на свете благом
Так было,
 так есть и так будет.
Мужчина под желтым стогом
Жену вожделенно разбудит.

И явь станет слаще, чем сон,
И, слит, словно спутник с орбитой,
Забудет о времени он,
А после заснет как убитый.

**Эпитафия на могиле председателя колхоза
дважды Героя Социалистического Труда
Саиходжа Урунходжаева**

Подобье колыбели в кишлаке
Его надгробье не причуды ради.
И всяк прочтет здесь строки из Саади
На золотом таджикском языке:

«Придя на свет, расплакался я вдруг,
Но улыбались все вокруг при этом.
Я уйху, простившись с белым светом,
И радуюсь, что плачут все вокруг».

Ранение драгуна Руфина Дорохова

Горячая кровь, словно время,
Незримо по жилам течет.
И ногу вдевает он в стремя
И лошадь бросает в намет.

Рвет саблю
 и, плечи сутуля,
Не слышит в открытом бою,
Как свистнула меткая пуля,
Но кровь замечает свою.

И замерла лошадь гнедая,
И всадник сползает с седла
И видит:

 жена молодая
Свечу поминально зажгла.

Ужель на судьбу ее вдовью
Обрек он.
 не ставший седым?
И скрытности прежней над кровью
Лишилося время пред ним.

Басурманка

Победителям сдавшимся на милость,
Пал Тавриз в окружении лун,

Где пленен был,
уж так получилось,
Персиянкою знатный драгун.

На паласе из огненной шерсти
Посреди сердоликовой мглы
Целовал персиянки он перси,
Что, как персики, были смуглы.

И шептал ей в пылу тайнобрачья:
«Не указ мне ни поп, ни мулла.
И тебя ото всех незадач я
Увезу на излучке седла».

Возвратился домой из похода
С басурманкой, что сердцу мила...
У потомков всего его рода
До сих пор еще кожа смугла.

Сорока

Зима. Снега стоят высоко.
И с тайной вестью на хвосте
Березняком летит сорока
Под стать летучей бересте.

Среди морозного салюта
Да будет эта весть добра,
Что упадет на грудь кому-то
С иссиня-черного пера.

Апрель 1986 года

Лес чернея, как аспид стоит,
Нет меж тьмою и днем промежутка.
По закатному небу летит
Одинокая утка.

Взвел курки городской дуралей,
Вот сейчас он по утке шарахнет.
«Не стреляй,— я кричу,— пожалей!»...
Кровь на небе и порохом пахнет.



АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО

★

ТИШИНА КАШТАНОВ

Поэма

Трагическая беда Чернобыля заставила на многое взглянуть по-новому. Увы, это дается страшной ценой. Разбуженное непознанное чудовище смешало привычные биологические, географические, понятийные и нравственные критерии. Планета ждалась до коммунальной квартиры, человечество стоит перед бездной нового познания.

Понятно, что новая поэма уже известного читателям поэта Александра Ткаченко, написанная о Чернобыле, в которой он пробует найти новый взгляд на происходящее и на то, что может произойти, пытается философски взглянуть в суть события. Может быть, она может показаться сложной для восприятия, непонятной. А бездна, приоткрывшаяся нам, понятна?

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

1

Товарищи, знайте, помните —
мальчик спал в общежитской комнате,
спящим взяли его лучи,
потрогали костный мозг и селезенку,
утром разбудили, шепнули: «Молчи
и подальше от глаз держи слезенки...»
Пей гранатовый сок,
посмотрим, что тебе выпадет, где.
И как тебя размагнитит восток,
и как твои нервы забьются на западе.
Знай — это новые бесы земли,
не пропустившие свой срок,
но ни один Иероним Босх и ни один Сальвадор Дали
вообразить такое не смог...»
Трава, побледневшая на лугах Припяти,
опустошенные дома в Чернобыле,
глаза удивленного неба навывкате —
неужели опять на себе самое смертельное пробуете?
Дороги на Киев и Минск, их острые кромки,
хотя ни одной опасности минной...
Военной эвакуации ужас громкий,
тихий ужас эвакуации мирной...

Нет, на земле уже не будет покоя,
пока останется главным от века
одежда не просто военного покроя,

а просвинцованные робы
защитников человека от самого человека!

Что же, Данте, Шекспир, Достоевский,
созданное вами бессмысленно, если
оно не сработало... Страшно.
Оно борется, бьется, думает, но если
бесов своего века
изгоняют заклинанием только своим?
Что тогда, что тогда, я спрашиваю?!
Данте, Шекспир, Достоевский...

Я теряю в тебя веру, сила слов,
сила слов, надежда моя,
но ни один ядерный щит или заслон
почему-то не рухнули пока, всё говорят, говорят, говорят...
Левой ногой шевельнешь в Подмосковье,
правая вздрагивает там, в Калифорнии.
Таково конкретное дело. И его присловье.
Таков масштаб человека. Пока в протокол не оформленный.
Помните мальчика в общежитской постели.
Что будет с ним? А он-то думает — уже не со мной.
Знаю и верую — ему другого хотели,
но время засветило глаза его
радиоактивной тоской.

2

Киев. Тишина каштанов.
Сила смерти, сила жизни в ней.
Прыгаю... До веток не достану.
Тайною была. Стала не ясней.
Тихая природа, тихий человек,
что вас осенило, бросило под кроны
думать и молчать. завершая век
думой траурной и тронной?..
Чем он коронован? Солнечной короной,
стронцием и цезием, Цезарем незримым.
Рим периода упадка? Что там бруты и нероны?
Карфагены все и Римы?
Один на одного. Когорта на когорту.
И голову свернут — так знаешь кто, зачем.
А если забивается дыханье над аортой?
И восемь дней — как восемь невиданных ночей?

3

Не знают листья, почему
им тяжело дышится в ночи
и почему качаются во тьму
стволы... Сказал? Теперь молчи.
Уже минута началась молчанья.
И почему не знает соловей
он задыхается по-над дорогой
всей легкой сущностью своей...
Сказал? Теперь не трогай.
Не знает мама, почему
она в земле зашевелилась, оживая.
И дочку на пол рвет. И посему —
сказал? Теперь молчи, всего не понимая.

4

Этой бедою неправедной роздан
во испытанье тебе, великий народ,
стронций для костного мозга,
цезий для мышц,
для щитовидки радиоактивный йод.
Это недавно в твоём обиходе,
в практике мира это недавно,
это и с майской травой восходит,
с листьями выпадет и подавно...

Да, и впервые в четвертом реакторе
встал человек новой формации, новой волны.
Мы говорили о человеческом факторе?
Вот оно — мирное испытанье атомной войны!
Этой бедою неправедной розданы
во испытанье тебе, великий народ,
чьи-то беспечность, халатность и розовый,
розовый взгляд на движение вперед.
Вот ты уходишь, трагедия, вспять,
уравновесив историю жизнью...
Вот испытанье для человека — опять и опять
он побеждает ошибки свои и чужие.

5

Есть вдруг беды, есть вздрог трагедий,
и не по воле, может быть, вины
ураном всем, всей кислой медью
лавиной прет из глубины...
Из глубины времен еще и Демокрита,
сказавшего о дробности природы,
и вот она разложена, раскрыта...
Ударила по сущности людской породы.
И зашатало человека. И разбросало волосы
ветрами радиаций со всех равнин, со всех обрывов,
но есть на свете такая крепость в голосе,
что вытянет на срыве и выстоит при взрыве.

6

Мама ждет сына.
Над Припятью тишь водоворотов, течения вглубь.
Ждет она год, ждет она век... И никого не спросила,
сколько ей ждать... Мама ждет сына.
Ждет на крыльце, у калитки, как принято.
Смотрит на облако и в чистоту его верит.
Что это было когда-то над Припятью?
Ветер развеял легенду и быль. И не развеял.
Мама ждет сына.
Выросли внуки быстрее, чем думалось.
Ждут они батьку. Столетия ждут.
Чистые помыслы. Без примеси умысла.
Что там, над Припятью? Може, солому там жгут?
Мама ждет сына. Над Припятью тишь.
Капли в колодце слышны.

Спи, наша родина. Нет, ты не спишь.
 Мама ждет сына.
 С работы ждет, не с войны.

7

Разлита слабость в воздухе, разлита,
 садовая решетка плавает литая,
 как будто амфора нечаянно разбита,
 и листья слиплись, птицы не взлетают.
 Разлита сладость в воздухе, разлита,
 весны начало, жизни новой,
 но амфора остывшая разбита
 с какой-то древнею, тягучею виною.
 И влажною уборкой не сотрете
 те капли жизни, капли смерти.
 Да, гражданин, куда вы прете?
 Сначала уезжают дети...

8

Сначала уезжают дети,
 еще и не родившись, уезжают.
 Мы ищем тебя, мальчик Петя.
 Я жду вас. мамо, тату. Он не знает.
 Мы ищем тебя, город опустевший,
 на карте гладим солнечные крыши.
 Мы ищем тебя. сын осиротевший!
 В пространство кличем. Он не слышит.
 И на заборах надписи скупые.
 Любимая. Любимый. Не попрощались. Не кори.
 Нет адреса. По всей стране родные.
 Но мальчик ждет. Зустринемся колы?
 Что скажут ему век-чудовище,
 наука, неуч, диссертант?
 Прогресс во имя жизни? Стояще!
 Да так-то оно так...
 Но почта носит письма не ему,
 и сам он пишет в дом пустой
 в каком-то там участливом Крыму...
 А ну-ка треугольник равнобедренный построй!

9

Проникающее ранение,
 проникающее повсюду —
 в будущие строения,
 в греческие сосуды.

Течь открывается. Кровь стекает
 с полотен Брейгеля, Пикассо,
 как ни предрекали стихами,
 не предусмотрели все...

Разгоняя частицы,
 можно разогнать человечество.

Птицы летают, птицы
от современья к вечности.

Спросите у них, проникающих повсюду,—
почему архитектор грустит
и пусты древнегреческие сосуды?

10

Опыт бесценный женщин беременных,
девочек хрупких, хрустальных ресниц,
опыт нежданный, опыт безвременный
школы машинного разума учениц.

Тайна застынет вперед на столетье,
опыт всему человечеству, но
кто-нибудь с ними делился последним?
Нет, не делился. Им суждено...

Опыт генетики. Дело генетика.
Опустошенье. Что делать с ним?
Полые судьбы. Врачебная этика.
Рок их чудовищный кесарил...

Будут еще наполняться сосуды,
деревья полнеть, изгибаясь стволами.
Опустошенье. Невоплощенные судьбы
дышат неровно с закрытыми ртами.

11

Там, где машины стоят облученные,
телемозги не пускают вперед,
люди встают и идут обреченные,
зная, что кроме никто не пройдет.

Смерть-невидимка стирает сознание,
записи мира за тысячи лет,
каждый бы мог, находя оправданье,
бросить, уйти, опираясь на «нет»...

Но здесь война, хоть и мирное дело,—
может, и будут мирными войны?
Дух проявляется в свете рентгена —
светлый на темном, невольный на вольном!

Знают врачи, что ничто не поможет,
кроме их слов, утешенья и крови,
руки нужны, пока их, как оружие, не сложат
с той перевернутой зоною вровень.

12

Рыбы не верят — это не видно,
звери не верят — это не слышно,
люди не верят — это не больно,
вода стекается в океан мировой
все так же —
там распадаются
Город Солнца и Атлантида...

Но никакая это не Герника.
Ты, человек, только ты,
человек,— счетчик Гейгера,
только в душе твоей чувства, предчувствия
собираются с годами,
и по глазам твоим видно,
сколько ты хватанул
ума и безумия
двадцатого века
и что о тебе расскажет
сын твой — век двадцать первый!

13

Коровы послушно бредут в кузова.
Геть, облака непослушные!
Сквозь респираторы невнятные слова,
спертые, душные...

Коровы молчат, люди взывают
тихо и крика не выдавив,
отрешенно и ни к кому не взывая,
в прошлое смотрят с обидою.

Кто там спешил. экономил, халтурил?
Разве сейчас наказание спасет?
Горе такое не переждешь, не перекуришь —
гнезда в глазницах на сколько совет?
Зона всего лишь в тридцать км.
Зона планеты — реакторы мирные.
Мысль отгоняю, но приходит ко мне —
это атомные бомбы законсервированные!

Луч прикоснется космический, тайный
звездной войны. этой силы нечистой...
Как он сейчас, результат отдаленный и дальний,
мучает нас своей тягой лучистой...



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ



Николай Тихонов относился к числу поэтов, которые работали циклами или книгами. Эта давняя поэтическая традиция в нашем веке имела таких носителей, как Блок, Анна Ахматова, Мандельштам, Багрицкий, Асеев. Вот почему за пределами опубликованного у Тихонова осталось очень много вполне законченных, глубоких, блестяще отделанных по форме стихотворений, которые ждали своего часа.

К сожалению, теперь мы уже не можем восстановить в полной мере замыслы поэта. Но и из бережно сохраненного мы можем увидеть, или скорее ощутить, как конструировалась будущая книга. Это отношение к публикации было свойственно не только зрелому Тихонову, но и Тихонову молодых лет, когда он гусаром первой мировой войны возил в кавалерийской сумке большие конторские книги, испещренные нервным, торопливым почерком. Тихонов писал урывками на привале, в окопе, в казарме. Он писал в дозоре, на митингах, в короткие часы отдыха. Он писал под свист пуль и грохот артиллерийской канонады. Его ранним стихам было свойственно и пламенное гражданское чувство, и патриотизм, и мягкая лиричность, детских воспоминаний.

Те, кто близко знал Тихонова, помнят, как он ценил свои ранние опыты, из которых впоследствии выросли такие вершины в русской советской поэзии, как «Орда», «Брага».

Предлагаемая читателю подборка как нельзя лучше отражает указанные черты тихоновской поэзии. Части значительного здесь налицо. Эти стихи не требуют комментария. Они ясны и просты и вместе с тем философичны и многозначительны. Стоит только обратить внимание, что они все написаны до 1921 года, а некоторые относятся и к самому раннему периоду творчества поэта.

Изысканная форма раннего Тихонова не ограждала его от нового читателя, получившего книгу из рук революции. Наоборот, Тихонов стремился к ясности и простоте, исчерпывая смысл до дна, но вместе с тем оставляя широкий простор для столкновения. Но как бы мы ни объясняли ту или иную строчку поэта, мы никогда не ошибемся, если скажем, что душа поэта была открыта для революции, что с наибольшей силой выразилось в стихотворении «Революционное credo», где поэт страстно и темпераментно излагает свою

Мечту о том, что не герой отдельный
Сокрушит в мире смерти вечный грех,
Но будет в жизни ярко запредельной
Бессмертие для каждого и всех.

Последние публикации Тихонова к его девяностолетию со дня рождения с новой силой подтверждают высокое место, занимаемое им в русской советской культуре XX века, и с новой силой покажут, каким нелегким и счастливым путем шел к будущему этот крупный мастер.

Вслед за Горьким он воспевает достоинство человека.

Публикацию подготовила ответственный секретарь комиссии по литературному наследию Н. С. Тихонова **ИРИНА ЧЕПИК**.

* * *

(Я знаю вечер... Не забыть,
О, не забыть его, как чудо,
Я слышал радостное «жить»,
Я слышал клич борьбы повсюду...)

(Я видел сотни сжатых рук,
Металл звенящего отмщенья
И в небе розовый жемчуг
Передзакатного цветенья.)

Запомни ныне день и год
И вырежь даты в славной тверди,
Мы купим радости Свобод
Хотя бы собственную смертью,

Чтоб через долгие века
Запечатлелось неуклонно:
В тот день народная рука
Разбила царскую корону

О камни темной мостовой,
О стены тюрем и подвалов,
Как бьет прибой береговой
Скорлупы раковин о скалы...

* * *

Путь направлен к закатной стране,
Там всегда умирают лучи,
Ты боишься курганных камней,
Где так страшно чернеют мечи.

Верь мне: страшное станет простым,
Как курганные камни — сном,
Солнце в небе одно: я, и ты,
И наш путь над рекою — одно.

Но два берега есть у реки,
И в лучах на тех берегах
По-разному светят цветки,
Холодея в умерших лучах!

Сон

Никогда я не был матросом,
Никогда меня буря не качала,
Почему же снятся мне тросы
И визгливые песни штурвала?

Был ли тросом я или штурвалом?
Но тогда б не видал, несвободный,
Как заря моряков целовала,
Каждого — поочередно!

И шурились рыжие волки
От ласки губ нежданных,—
Может, был я кортиком колким?
Компасом в руках капитана?

Ну, конечно — не ими, а птицей,
Что, сверкая в меди заката,
Отдыхать привыкла садиться
На мачты сторожевого фрегата!

Лермонтов

Молчало все... И над страной болот,
Страной печалей вековечных,
Цепями скованный, был темен небосвод,
А желтый серп стоял нахмуренно-беспечно.

Молчало все... И гордые уста
На землю бросили бесценные удары.
И пламя сил, дерзання красота
Зажгли в болотах яркие пожары.

Зажгли на миг... И снова сон глубин,
Холодный сон сковал огни угрозы,
И снова тучи, небо и березы,
И снова тьма — без царства властелин!

В крови огонь, а ум подобен льду:
«Ваш тихий рай черней слепого ада!»
И ты сказал: «Бестрепетно иду,

Пускай один — пускай безумцы рады,
Здесь, на земле, я счастья не найду,
А в небесах мне нет отрады!»

* * *

Пусть молодежь горда своим порывом,
Пусть старость хороша уменьем лгать —
В погожий день не плачут об огнive,
Не будут в бурю гавани бросать...

Революционное кредо

Статисты жалкие — рабы полусознания,
Чей крик и жест был никогда не нов,
В сценарии под красочным названьем:
История народов и веков.

С вас рвали кожу с мясом заодно,
Жгли на кострах, топтали без пощады,
И от всего осталось одно,
Одно большое имя Торквемады.

Название многим было легион,
Тем, что прошли в дыму и зле сражений,
И только Цезарь, Ксеркс, Наполеон
Запечатлелись в памяти явлений.

А ведь они — миллионы этих рук —
Сдвигали царства, рушили престолы,
И каждый век, как обманувший друг,
Бросал им зов и гнев Савонаролы.

Без имени, без масок — шумной массой
Они творили жизнь и хаосы побед,
И смерть чудовищной гримасой
Им засмеялся в ответ.

И их, виновников, заложников событий,
Засыпала без чести, без следа,
А вы, герои случая, живите,
И вами пусть история горда.

И вот они среди миллионов точек
Стоят одни — чудовища мечты,
А те, что дали этих одиночек,
Давно молчат... Землей полны их рты.

О, ангел бурь и ангел искупленья,
Падите вниз, я призываю вас,
Пропойте им все гимны всепрощенья
За все века один короткий раз.

Им, павшим с пульей и петлей, под палкой,
В ничтожестве, отчаянье, в огне,
Господь времен, благослови их жалкий,
Ничтожный прах, гниющий в тишине.

Они молчат, они проспят веками,
Они в ночи, что им до солнца дней,
Но новый мир всеобщими руками
Скует мечту мечтаний всех сильнеей.

Мечту о том, что не герой отдельный
Сокрушит в мире смерти вечный грех,
Но будет в жизни ярко запредельной
Бессмертие для каждого и всех.

* * *

Моя душа в бездумности озер,
Моя душа в туманностях созвездий,—
Да усладит, о, мать-земля, твой взор
Зеленый сок осенних гроздий...

Есть в осени предел и новизна,
Есть в осени магические зовы,
Небесная раскрыта глубина,—
И двери в мир необычайно новы...

Моя печаль светлее, чем была,
И мысль ясней, чем в небе просинь,—
Да усладит мой взор Царица Осень...
Созрели к жизни многие дела...



ПУБЛИЦИСТИКА

БОРИС КЛЮЕВ

★

РАДЖНИШ И ЕГО ПОП-МИСТИКА

1

Джонстаунская трагедия в ноябре 1978 года — коллективное самоубийство 914 членов секты «Народный храм» проповедника Джеймса Джонса в Гайане — потрясла весь мир. Когда прошел первый шок, были заданы неизбежные вопросы: как могло случиться такое в наше время? Какие причины обусловили вспышку средневекового изуверства на пороге XXI века? Эти вопросы привлекли внимание мировой общественности к явлению, анализом которого до этого события занимался узкий круг социологов, психологов и религиоведов. Речь идет о так называемом религиозном буме на Западе, то есть о появлении в 60-х годах в США и Западной Европе множества сект, культов, общин, конфессиональных обществ и организаций. В научной литературе и публицистике эти образования именуются нетрадиционными, неорелигиозными, внеконфессиональными. Ведь они не только не принадлежат ни к одной из традиционных или официальных церквей, но противопоставляют себя им, резко и часто справедливо критикуя эти церкви как утративший истинную веру элемент враждебного человеку истеблишмента, хотя сами эти культы используют символику, некоторые постулаты и догмы исторических религий — христианства, буддизма и индуизма.

Западные социологи пишут о новой религиозной волне, о «новом религиозном поколении». Именно так расценивается существование только в США двух тысяч нетрадиционных культов, вовлекших в свои ряды, по разным оценкам, от 5 до 7 миллионов американцев. Лондонский еженедельник «Экономист» не без ехидства заметил, что Америка в этом отношении обогнала остальной мир на двадцать лет.

Дело, конечно, не в сомнительных приоритетах такого рода. Неорелигиозные культы — это массовое социальное явление, оказывающее заметное воздействие на идеологический климат США и ряда стран Западной Европы. В условиях широкого международного общения и роста эффективности средств массовой информации какие-то взгляды, идеи, установки, даже организационные формы проникают и в наше общество под видом некоей «сокровенной мудрости». Из этих соображений нетрадиционные культы заслуживают пристального внимания и тщательного изучения.

На первый взгляд главная черта таких культов — их поразительное разнообразие. В самом деле, одни секты насчитывают всего десятки членов, численность других — сотни тысяч. Одни живут за счет нищенства, воровства, проституции, другие имеют счета в банках на миллионы долларов. Последователи одних пророков кутятся на чердаках и в подвалах заброшенных домов, другие располагают роскошными культовыми зданиями, сельскохозяйственными фермами, промышленными предприятиями, издательствами и радиостанциями. Какие-нибудь «рыцари сатаны» терроризируют население небольшого провинциального городка, а «Церковь унификации», Общество трансцендентальной медитации, Международное общество сознания Кришны, «Дети бога», «Ананда марг» («Путь к блаженству») имеют разветвленную сеть филиалов в странах Западной Европы, Латинской Америки, Азии и Австралии.

По данным опросов и социологических обследований подавляющее большинство членов нетрадиционных культов в США — это юноши и девушки в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет, казалось бы, наиболее динамичная и критически

мыслящая часть американского общества. В отличие от сектантского контингента 20—30-х годов — безработных, бродяг, пауперов, социально дискриминируемых цветных, людей преклонного возраста — нынешние носители новой религиозной волны, как правило, принадлежат к так называемому среднему классу. Это выходцы из семей обеспеченных или среднего достатка. Во всяком случае, они не знакомы с беспросветной нуждой и именно к ним применима евангельская формула: не хлебом единым жив человек. Довольно высок и их образовательный уровень — средняя школа, чаще колледж или университет.

У людей этой социальной категории хлеб, то есть материальный достаток, есть. Острый дефицит в чем-то другом. Неспособность капиталистического общества дать молодому поколению это другое и создает питательную среду для возникновения неорелигиозных культов.

Знакомство с многочисленными рассказами-исповедями как фанатичных адептов новых культов, так и тех, кому удалось порвать с ними, позволяет с большой степенью достоверности говорить о том, что ядро этих культов складывается из молодых людей, находящихся в состоянии конфликта с обществом. Проще говоря, из людей, если не ущербных, то обязательно с тем или иным изъяном с точки зрения обывателя. Одни поняли бессмысленность «крысиных гонок» за долларом, но не нашли конструктивной альтернативы. Другие страдают от нравственной несостоятельности устоев окружающего их общества; третьи разочаровались в своей работе или избранной профессии; четвертые пережили личную или семейную драму, угнетены авторитарностью родителей и «их общества»; пятые просто отвергают бездуховность образа жизни, сводящегося к потребительству. Одним словом, в сытое время особенно остро ощущается дефицит духовного. На эти настроения накладывается ощущение беззащитности перед преступностью, разнузданной пропагандой милитаризма, грязными войнами, угрозой ядерного армагеддона и экологической катастрофы. Для многих путь в неорелигиозные секты пролегал через бегство от действительности: в группы хиппи или панков, в истерическое поклонение перед кумирами поп-культуры, в алкоголизм и наркоманию. Любая из этих форм эскапизма расшатывает психику человека, предрасполагает его к истерии, доводит до гипертрофированных размеров разрыв между самооценкой и реальным местом в жизни. Психологически такие люди становятся особенно podatливыми к внушению и самовнушению. Они созрели для новоявленных пророков.

Следует учитывать и социальную природу среднего класса. Для его представителей, особенно молодого поколения, присуще шараханье от ультралевого экстремизма к обскурантизму и политической реакции самых мрачных тонов, вплоть до фашизма. Мелкобуржуазная природа этой среды воспитывает в принадлежателе к ней человеке, казалось бы, взаимоисключающие качества: с одной стороны, стремление избавиться от родительского или социального контроля, бунтарство, анархизм, а с другой — столь же сильное желание стать членом какой-то замкнутой группы единомышленников, или скорее единоверцев, найти покровительство в этой группе и у ее авторитарного лидера. Разнузданный индивидуализм уживается здесь с безысходным одиночеством в толпе.

Если перед таким человеком возникает альтернатива — тяжелая, длительная, сознательная борьба за переустройство общества на справедливой основе или иллюзорный, но кратчайший путь к «освобождению», «озарению», «раскрепощению духа», «космическому сознанию», — то, к сожалению, при прочих равных условиях он берет последнее.

И наконец, как бы парадоксально это ни звучало, научно-техническая революция в антагонистическом обществе предрасполагает многих его членов к вере в социальное чудо. Образование позволяет понять чудодейственные способности и потенции человека, открывшего ядерную энергию, осваивающего космос, создавшего генную инженерию и думающие машины (любопытный факт: на Западе, да и в Азии, популярны калькуляторы-гадалки и электронные машинки, составляющие горюшки). Но почему чудеса возможны только в технике? Почему нельзя с помощью чуда победить болезни и изменить общественное устройство усилиями чудотворцев и сверхчеловеков? Было бы просто противоестественно, если бы в такой атмосфере не появились целители и экстрасенсы, пророки и мессии, религиозные наставники и «богочеловеки». Они и появились в большом количестве.

Немало преуспели на американском континенте в качестве лидеров неорелиги-

озных культов наставники — гуру — и «богочеловеки» индийского происхождения, «учения» которых получили в США довольно широкое распространение.

В отличие от традиционных индийских духовных наставников подвизающихся в Соединенных Штатах «богочеловеков» называют неогуру. Различия между ними и гуру существенны. По канонам индуизма жизнь человека делится на четыре стадии: брахмачария — ученичество, подготовка к исполнению своей дхармы — долга; грихастха — роль домохозяина, жизнь в миру, создание семьи, труд и так далее; ванапрастха — жизнь в лесу, отход от мирских забот, наставничество, сохранение опыта и традиций; и санньяса — уход от мира, полный разрыв мирских связей, размышления, подготовка к смерти и новому рождению. Традиционный гуру — это человек преклонных лет, находящийся на двух последних стадиях жизненного цикла. Возможен, однако, и сравнительно молодой гуру, но обязательно принявший обет санньясы. Неогуру по возрасту также старше своей паствы. Большинство из них за шестьдесят. Традиционный гуру живет скромно, довольствуясь необходимым для поддержания жизни. Его ашрам (обитель) непритязателен и расположен в уединенном месте, вдали от людской суеты и забот. Неогуру же старается обзавестись комфортабельным ашрамом, который внушал бы адептам мысль о процветании и богатстве наставника. Они стремятся быть на виду, прибегают к широкой рекламе.

Для традиционного гуру светское образование, как и любое другое мирское достижение, не имеет никакого значения. Дав обет санньясы, он меняет имя и отрекается от прошлого. Он не должен вспоминать и тем более говорить о нем ученикам. Его единственное профессиональное качество — это глубокое знание священных книг индуизма — Вед, Бхагавадгиты, Упанишад, причем обязательно в оригинале, на санскрите. Он должен уметь толковать эти тексты в рамках традиции и своей школы, а также научить этому последователей. Неогуру — публика в целом образованная. Свами Прабхупада (основатель Международного общества сознания Кришны) с блеском окончил Калькуттский университет, где изучал химию и индустриальный менеджмент. Раджниш — кандидат философских наук также с университетским образованием. Махариши Махеш Йоги (Общество трансцендентальной медитации) изучал в колледже физику. Высшее образование имеет и Прабхат Ранджан Саркар («Ананда марг»). За редким исключением у них самое поверхностное представление о религиозно-философской литературе индуизма, но они бойко толкуют постулаты этой религии, заботясь лишь о приспособлении их к запросам своей аудитории.

Сложные философские категории индуизма предельно упрощаются или меняются до неузнаваемости, чтобы стать понятными западному обывателю. В индуизме есть трудное для нашего восприятия многозначное понятие «карма». Это не только рок, судьба, как его часто толкуют. Это и груз поступков в «прошлых жизнях» верующего индуса, и воздаяние, и нравственный долг, и связь прошлого с будущим. В проповедях неогуру это понятие толкуется просто: хорошо себя ведешь, зарабатываешь много долларов. В книге «Бхагавадгита как она есть» на английском языке, то есть для американского читателя, Свами Прабхупада поясняет: карма — «это я как бы бизнесмен, который упорно и умело трудился и скопил много денег на банковском счету». Любопытно, что в переводе на русский язык, адресованном советскому читателю, это объяснение предсудомительно опущено. Особенно много спекуляций возникло вокруг модной ныне йоги. Представление о них дают названия книг неогуру на эту тему — «Йога для занятого человека», «Йога сразу». Излюбленное занятие неогуру — это нагнетание мистического тумана вокруг простых вещей.

Пропагандистские упражнения и ритуальная практика неогуру вызывают возмущенные комментарии жрецов ортодоксального индуизма, прибегающих в этих случаях даже к непарламентским выражениям. Жрецов беспокоят не только покушения на чистоту веры, ее профанация. Вероятно, гораздо значимее то обстоятельство, что неогуру создают сильную конкуренцию традиционным институтам индуизма. Прогрессивных же деятелей Индии волнует другое. В стране идет острая борьба вокруг освоения богатейшего культурного наследия. В этой борьбе неогуру выступают союзниками консервативных сил. Они берут из этого наследия не общечеловеческие ценности, гуманистические элементы, а те установки, с помощью которых в течение многих столетий человек унижался, низводился до положения покорного раба брахманской традиции.

Стоит задуматься над этим обстоятельством. Модные нынче рассуждения о животворной пране, оовождении, космическом сознании и прочих астральных эле-

ниях имеют мало общего как с древними философскими системами Индии, так и с постулатами индуизма, содержащими немалый заряд «своей» мистики. Попадающая к нам с Запада продукция неогуру — это прежде всего суррогат, информация на уровне испорченного телефона, полученная окольными путями из третьих рук. Ее гораздо легче освоить, чем изучить имеющуюся у нас литературу строго научного содержания. К тому же проповеди неогуру внешне могут показаться привлекательными, даже глубокомысленными, но они весьма далеки от оригиналов, так же как, скажем, теософские откровения Елены Блаватской¹, которая по праву может считаться предтечей многих нынешних пророков Мистификации мадам Блаватской были разоблачены ее современниками и вызывают снисходительную усмешку у самих индийцев, и можно только удивляться доверчивости людей, полагающих себя интеллигентами, но принимающих на веру откровения неогуру, трактаты которых не без далекого идущих замыслов издаются сейчас в США и на русском языке. Какой бы современной ни была упаковка этих откровений, на них без труда можно увидеть печать самого пошлого обскурантизма.

Достаточно, например, повнимательнее приглядеться к приемам, с помощью которых неогуру создают вокруг себя ореол святости. Они присваивают себе звонкие титулы — «его великое святейшество», «его божественная милость», «великий учитель мира», просто «бог». Этот акт тщеславного самоутверждения подкрепляется наивным мифотворчеством. Неогуру рассказывают о таинственных знамениях, сопровождающих их рождение, о чудесах, творимых в младенческом и даже в грудном возрасте о таинствах озарения и слияния с высшим существом. Излюбленными являются рассказы о «прошлых жизнях» и великих свершениях, о которых человечеству почему-то неизвестно. Глава «Ананда марг» П. Р. Саркар, к примеру, в дополнение к претензиям на обладание харизмой утверждает, что свободно владеет 350 языками мира. По свидетельству же лиц из его ближайшего окружения, он говорит на родном бенгальском языке и худо-бедно изъясняется по-английски.

Иногда «богочеловеки», явно переоценивая свои возможности, попадают в анекдотические ситуации. Летом 1979 года мир был обеспокоен судьбой американской космической станции «Скайлэб», которая потеряла управление и должна была упасть на землю в непредсказуемом районе. Некий Рама Кант Мишра заявил, что с помощью йоги он предотвратит падение восьмидесятипятилетней станции и поднимет ее на безопасную для земли орбиту. «Это будет испытанием нашей духовной силы, противостоящей материалистической науке». Йог, окруженный распеваящими ведические гимны брахманами, концентрировал свою духовную силу непрерывно в течение десяти дней. Ему помогали члены разбросанных по всему миру 8 тысяч центров йоги. Но материалистическая наука, разумеется, победила: в соответствии с предсказаниями ученых обломки «Скайлэба» упали на землю. Заявление Рама Кант Мишры широко рекламировалось, тем не менее многие индийцы поспешили застраховаться от возможного ущерба в случае падения станции. Управляющие страховыми компаниями повысили ставки, получив, таким образом, солидную прибыль.

Личные качества и дарования неогуру — это, конечно, важные слагаемые их успеха. Но дело не только в них. Любое религиозное учение становится действенным только в том случае, если удовлетворяет какие-то социальные или социально-психологические потребности. В проповедях неогуру обычно заложен изрядный запас критики современного западного общества и его порядков. Юношескому радикализму созвучны их резкие, порой доказательные и убедительные нападки на пороки капитализма. Они говорят о том, что «материалистическое», то есть потребительское, общество погрязло в темноте и невежестве, что оно опутано грехом, изжило себя и обречено на неминуемую гибель. Каждый неогуру предлагает свой путь к спасению. К достижению индивидуального просветления, духовного блаженства и космического сознания в рамках своей общины. Их последователей привлекает также экзотичность учений наставников и предлагаемых ими ритуалов, налет таинственности и чувство сопричастности чуду.

¹ Блаватская Е. П. (1831—1891) — русская писательница. Путешествовала по Тибету и Индии. Под влиянием индийской философии основала в 1875 году в Нью-Йорке Теософическое общество, проповедовавшее мистическое учение Блаватской, которое экивотически объединяло мистику буддизма с элементами оккультизма и неортодоксального христианства.

Но неогуру критикуют следствия, не затрагивая причин. лечат симптомы, а не саму болезнь. Поэтому они никогда не ограничиваются проповедями критического содержания. Собрав вокруг себя группу последователей, неогуру используют различные средства для воспитания в них настроений слепой, фанатичной преданности, для подавления в них способности к анализу и критическому восприятию. По свидетельству английского исследователя Питера Брента, обстоятельно ознакомившегося с порядками во многих ашрамах, некоторые гуру, угощая перед проповедью своих слушателей прохладительными напитками, для большего эффекта подмешивают в них слабый наркотик. Немалую роль играет усердно внушаемый последователям мотив исключительности, избранности, возвышения над обыденностью, происходящие якобы из принадлежности к данному культу.

Неогуру ведут между собой жестокую конкурентную борьбу за души и достояние последователей, ибо чем больше община, тем выше доходы и репутация ее лидера. В этой борьбе нет запрещенных приемов. Каждый гуру объявляет своих коллег по промыслу обманщиками и лжепророками, которые лишь вводят людей в заблуждение и сбивают их с истинного пути к спасению. В результате сторонники данного неогуру воспитываются в противостоянии «мы — они» на два фронта — против общества, истеблишмента в целом, и против других культов, — что способствует укреплению внутренней сплоченности общины.

Психологическая обработка членов культа, сопровождаемая изнурительными ритуалами, тяжелым трудом, замыкание на гуру и общину всех интересов ее членов ведут к выработке у них не просто слепого поклонения но и патологической зависимости от гуру. Это, в свою очередь, перестраивает психику адептов таким образом, что они постепенно утрачивают навыки и способность жить в обычном обществе, ибо у них разрушается сложившаяся система ценностей и искажается реакция на раздражители внешней среды. Порожденное потребительским обществом отчуждение доводится до крайних степеней. Американским психиатрам пришлось создать специальную организацию по психотерапевтической реабилитации тех, кто после более или менее длительного пребывания в общине неогуру решает вернуться к нормальному образу жизни. Таким образом, во многих таких общинах дремлют зародыши джонстаунской трагедии.

Наблюдая за успехами неогуру индийского происхождения, невольно задаешься вопросом: почему западное общество, обходившееся до 60-х годов доморощенными пророками и духовными целителями, с готовностью открыло двери «импортным» проповедникам? Посмотрим в связи с этим на некоторые социальные явления в современной Индии.

После достижения независимости в 1947 году в этой стране происходит довольно быстрое развитие капиталистической экономики со всеми вытекающими отсюда противоречиями и проблемами. Процесс совершается в традиционном обществе, опутанном множеством пережитков, с высоким уровнем массового религиозного сознания. В политической жизни Индии религия и раньше играла значительную роль. По мере обострения политической и идеологической борьбы активизируется деятельность религиозно-общинных партий и организаций. Религиозная рознь, кровопролитные столкновения между общинами стали повседневным явлением, а в некоторых районах, в частности в штате Пенджаб, такие стычки привели к острому и затяжному политическому кризису, к террористическим и сепаратистским выступлениям.

В индийском обществе представлены практически все религии мира, но число их сторонников неодинаково. По переписи 1981 года 83 процента составляют инду-сы, то есть последователи религии индуизма, 11 процентов — мусульмане, 2,6 процента составляют христиане, почти 2 процента — сикхи, 0,7 процента — буддисты. Хотя по конституции Индия объявлена светским государством, а правительства Индийского национального конгресса проводят политику секуляризма — политику равного отношения ко всем религиозным общинам, — влиятельная прослойка политических и общественных деятелей, выступающих от имени общины большинства, требует превратить страну в индусское государство. Эти деятели подобно пропагандистам других вер утверждают что индуизм не просто религия, а образ жизни, определяющий поведение человека.

Индийские политологи и социологи также говорят о подъеме религиозной волны в Индии. На гребне этой волны родилось любопытное явление — религиозный

шовинизм. Фанатичные представители этого течения не ограничиваются настойчивой пропагандой лозунгов «возрождения» индуизма в Индии и приведения государственно-политического устройства, общественной и культурной жизни страны в соответствие с положениями священных книг этой религии. По их мнению, в век господства «материализма», порождающего мировые конфликты, единственная панацея для человечества — принятие им индусской веры, философии и образа жизни. Создана и специальная организация — Всемирный совет индусов (Вишва хинду паришад). Первоначально Всемирный совет индусов ставил сравнительно скромную задачу — вернуть в лоно индуизма всех тех, кто принял ислам и христианство в Индии, и восстановить связь с индусами, проживающими в других странах. Со временем идеологи индусского возрожденчества выработали более амбициозные установки. На второй европейской конференции ВСИ в Копенгагене в июле 1985 года организаторы выступили с утверждениями, что до IV века нашей эры вся Европа, не включая Россию вместе с Сибирью, была населена индусами. Для доказательства используются лингвистические совпадения. В индусских религиозных книгах упоминается некий клан данава, который будто бы проживал в Европе и дал название реке Дунай и государству Дания. От другого клана — дайтья — якобы произошло название Германии (Дойчланд). Название России истолковано пропагандистами ВСИ как ришия — страна мудрецов, а Москва как мокшия — место, где люди достигают религиозного «озарения». Исконной религией древних россиян, или славян, по утверждению таких «ученых» был индуизм, современные русские люди в глубине души не приемлют ни христианства, ни тем более социализма и только ждут, чтобы кто-нибудь помог им вернуться к древней вере...

Но возвратимся к Индии. За годы независимого развития в этой стране быстро возростала численность городской мелкой и средней буржуазии. По оценкам индийских социологов, к середине 80-х годов она достигла уровня 100—120 миллионов человек. В быту и в значительной мере в социальном общении этой прослойки продолжают господствовать сложившиеся веками традиции, взгляды, уклад жизни и система ценностей. В малоподвижном сословном обществе с господством феодальных пережитков эти традиции служили фактором стабильности. Но они перестают быть надежным ориентиром при вторжении в жизнь товарно-денежных отношений. Процесс капиталистического развития несомненно повысил жизненный уровень значительной части городских средних слоев, но повышение коснулось не всех и было существенно ниже ожиданий. Этот процесс сопровождается также неизменными спутниками капитализма — инфляцией, ростом цен, безработицей, усилением конкуренции, нарастанием имущественного неравенства, давлением монополистического капитала. В результате в этой среде растут настроения беззащитности перед рыночной стихией, страха, неуверенности в будущем. Они усиливаются ломкой традиционных укладов, переставших быть надежной опорой. Вместе с тем сохраняющийся традиционализм с его многочисленными социальными табу и предрассудками, косностью мышления сковывает инициативу и усиливает чувство растерянности.

Здесь и появляются неогуру с их осовремененной мистикой. Их задача облегчается тем, что представители средних городских слоев в Индии в основном молодежь. Как подчеркивают индийские социологи, эти люди живут между двумя мирами — старым и новым, не принадлежа ни к одному из них полностью. В ашрамах неогуру эти враждебные миры как бы сливаются, примиряясь друг с другом, создавая иллюзию гармонии. В ашрамы потянулись многие страдавшие от неустроенности жизни. Профессия неогуру стала доходной.

Однако поистине фантастическое преуспевание их началось со слиянием двух волн религиозности — индийской (или — шире — восточной) и западной. Первое слияние произошло в 60-х годах на индийской почве, когда в эту страну хлынул поток американцев и западноевропейцев — битников и хиппи, искавших экзотику, душевную гармонию, дешевые наркотики, просто новые впечатления. На лужайках индийских городов появились группы молодых людей в причудливых одеждах, увешанных бусами, цепочками, амулетами, бритоголовых и заросших волосами, шумных и задумчивых, погруженных в себя. Поначалу они потянулись в ашрамы традиционных гуру, но мало кто из них был подготовлен к строгой дисциплине, аскетизму и перспективе многолетнего ученичества. Большинство их пришло к неогуру, смешалось с их индийской клиентурой. Они принесли наставникам валюту, рекламу и известность.

Наиболее деятельные и подвижные неогуру скоро поняли простую истину: необходимо перенести свои ашрамы на Запад, ближе к разного рода жизненным благам. Они стали пересекать океан и обосновываться в Соединенных Штатах Америки с группами своих учеников. Американские власти не чинили им препятствий, скорее поощряли многих из них. Дело в том, что организации неогуру создавали удобный и надежный мост неофициального обмена и общения. В Индии терпимо относятся к любым проявлениям религиозности. Белые европейцы, обычно столь заметные среди индийцев, в религиозных одеждах сливались с окружающими. Для американцев это было особенно важно после краха пресловутого «корпуса мира», добровольцам которого было предложено убраться из Индии. Так и возникло второе слияние волн религиозности уже на американской территории.

В отличие от христианства и ислама в индуизме нет непреложных догматов и символов веры, освященных авторитетом церкви и духовенством. Свободное толкование священных книг и столь же свободный выбор объектов веры и поклонения исключают из системы индуизма само понятие «ересь». Опираясь на опыт тысячелетий, жрецы индуизма добиваются контроля не над мыслями верующих, а над их повседневным поведением в течение всей жизни в рамках кастовой системы и традиций каждой конкретной общины в безбрежном многообразии индуизма. А неогуру, оперирующие символами и понятиями индуизма, вольны давать им практически любое толкование, и нет церковной организации или жреческого авторитета, которые могли бы убедительно опровергнуть такое толкование.

2

Среди сотен наставников-неогуру, создавших собственные культы, одна фигура представляется особенно примечательной. Речь идет о некоем Раджнише, чья карьера по-своему поучительна.

Раджниш Чандра Мохан родился в декабре 1931 года в маленьком провинциальном городке Кучвада (индийский штат Мадхья-Прадеш). Его отец занимался мелкой торговлей. Хотя семья испытывала материальные затруднения, родители дали Раджнишу неплохое образование. Он окончил колледж и в 1957 году с блеском защитил кандидатскую диссертацию в университете города Сагар. Получив ученую степень, пробовал силы в журналистике, но неудачно, преподавал философию в колледже.

Непрестижная и малооплачиваемая работа преподавателя в глухой провинции не устраивала тщеславного и предприимчивого молодого человека. Раджниш вскоре понял, какие большие возможности заложены в ремесле религиозного наставника. Перед его глазами были и живые примеры шумных успехов таких неогуру, как Махариши Махеш Йоги, Свами Прабхупада, Балайоги и других.

Решив сменить профессию, Раджниш пошел по проторенному его предшественниками пути. Он принялся разъезжать по стране выступая с публичными проповедями. В них он излагал свои мысли, как кратчайшим путем избавиться от стрессов, обрести душевный покой, найти интуитивный путь к единению с богом.

Новоявленный проповедник установил довольно высокую плату за вход на свои сеансы. С самого начала он сознательно ориентировался на зажиточных, по крайней мере платежеспособных, учеников и последователей. Будучи сам выходцем из городских средних слоев и постоянно вращаясь в этой среде, Раджниш хорошо знал ее настроения и предрассудки, надежды и страхи.

Накопив деньги, Раджниш обосновался в шумном и многолюдном Бомбее. Здесь он расширил свое дело: кроме выступлений с проповедями организовал группы медитации и самостоятельной психотерапии. Особым успехом эти группы пользовались у американцев и западноевропейцев.

Журналисты прозвали его гуру для богатых, и Раджниш принял это прозвище как лучшую рекламу. «Это именно так, — говорил он, — ко мне идут богатые, образованные и культурные люди, ибо только они могут понять, что я им говорю. Ко мне пришли те, кто хотел ощутить вкус божественного. Кто нуждается в хлебе, ко мне не придет. Бедные не идут ко мне по той простой причине, что нищета не позволяет им стать подлинно религиозными». Позже ту же мысль он сформулировал короче: «Пусть другие религии беспокоятся о нищих. Оставьте меня в покое и дайте мне возможность заботиться о богатых». Свое кредо он часто высказывал с помощью известной еван-

гельской формулы, переиначив ее по-своему: «Блаженны богатые, ибо мир уже принадлежит им».

Циничнее выразиться трудно. Слова Раджниша звучат как вызов, как издевка, особенно в Индии. Но они сказаны искренне и вполне серьезно.

То, что он отдает предпочтение богатым, Раджниш обосновывает и теоретически. К нему приходят люди, жаждущие душевного блаженства. Для этого они прежде всего должны отречься от мирских благ и мирского благосостояния. Но чтобы отречься, надо располагать состоянием. «Весьма трудно воспринять философию отказа, не имея опыта обладания», — утверждает этот гуру. Ссылается он и на примеры Будды и Махавиры — основателя религии джайнизма, — у которых были богатство и власть, но они отказались от них ради поисков истины, то есть путей к абсолюту, к богу. И снова циничный вывод: «Будде и Махавире поклоняются не из-за величия их религиозных учений, а потому что (отказавшись от богатства. — Б. К.) они сыграли на эгоистических наклонностях нищих».

Восхваление золотого тельца — единственная позиция, которую Раджниш отстаивает последовательно, ради которой он легко меняет свои взгляды, подчас противореча сам себе.

По установленному Раджнишем порядку его постоянные ученики, принятые в общину, обязаны отдать гуру все свое состояние. Приходящие ученики должны выделить гуру фиксированную часть доходов и оплачивать все услуги — лицезрение гуру, полученный от него прасад (причастие), беседу с ним, участие в группах медитации (плата от 50 до 7500 долларов за курс) и тому подобное. Помощники гуру с выгодой продают его сочинения, стерео- и видеокассеты с его выступлениями. Торгуют они и одежаниями оранжевого и красного цветов, в которых полагается предстать перед гуру. Неудивительно, что за семь лет проповеднической деятельности Раджниш сделался богатым человеком и главой целой культовой организации.

В 1974 году Раджниш с последователями перебирается в город Пуна неподалеку от Бомбея. Там он приобретает большой земельный участок, на котором создается фешенебельный ашрам, где селятся около 6 тысяч учеников, называющих себя раджнишами. Постоянная и солидная база, увеличила приток поклонников и, соответственно, доходов. Строительство, оборудование, содержание и уборка помещений ашрама в территории — словом, вся работа производилась раджнишами бесплатно.

Успех открыли Раджниша. Он присваивает себе титул бхагван (буквально — бог) и требует, чтобы почитатели именовали его только так — бхагван Раджниш. С помощью рекламы создается образ некоего сверхсущества. «Ачарья (учитель. — Б. К.) Раджниш достиг озарения. Через него дышит бесконечность. Он не обычный человек, он очеловеченное божество. Каждый миг в нем вспыхивает трансцендентальная истина... Он стал космическим сознанием», — пишет личный биограф Раджниша, которым поспешил обзавестись бхагван.

Как водится среди неогуру, Раджниш сочиняет себе «священную родословную». Ссылаясь на постулат индуизма о переселении душ, он сообщает биографу, что предпоследнее (перед нынешним) его рождение состоялось семьсот лет назад. Известная в Индии (ныне уже покойная) Ма Анандамайи, коллега Раджниша по промыслу (сейчас все больше женщин осваивают эту ранее чисто мужскую профессию), подтвердила: да, именно в те далекие годы Раджниш был ее сыном.

Раджниш, оказывается, и в ту пору был святым и духовным пастырем, но меньшего калибра. Он рассказывает о том времени следующую историю. В возрасте ста шести лет он подготовил себя к акту озарения (самадхи). Ему оставалось выдержать суровый пост в течение двадцати одного дня. Однако за три дня до окончания поста кто-то убил его. Озарение не состоялось. Из-за незавершенного поста в той жизни ему двадцать один год пришлось готовиться к достижению самадхи в нынешней жизни. Этот наивный миф важен для Раджниша: он объясняет его довольно поздний приход к положению бхагвана.

Сам момент озарения Раджниш описывает в эпическом стиле. Это произошло после получения им университетского диплома 21 марта 1952 года, в день весеннего равноденствия, когда, по мнению астрологов, природа находится в состоянии идеального равновесия. Раджниш любил предаваться медитации, сидя на суку высокого дерева. В тот день, погрузившись в мысли о возвышенном, он упал на землю, но ощутил, что дух его воспарил и остался на высоте. «Как это может быть: я вот здесь, на земле, а мой дух наверху?» — задал себе вопрос дипломированный философ. Ответом было

новое ощущение: «Земля ушла из-под моих ног, все опоры рухнули, все связи повалились. Явился храм господень». Это ощущение представляется необходимым и достаточным основанием для перехода от профессии преподавателя к карьере «богочеловека». «Я явился в этот мир не учить, но пробуждать. Покоритесь мне, и я преобразу вас!» — заявил неогуру. Раджниш Чандра Мохан умер, явился бхагван Раджниш.

Ашрам в Пуне стал золотым дном. Бхагван обзавелся несколькими «мерседесами» кремового цвета и одеждой, расшитой бриллиантами, которые он почему-то называет пролетарскими камнями. Поклонники преподносили ему все новые и новые дорогостоящие подарки, в том числе сделанные по специальному заказу в Швейцарии золотые часы с массивным браслетом, также усыпанным драгоценными камнями. Все это радовало новоявленного бхагвана. Но неогуру не останавливается на достигнутом. Он открывает филиалы ашрама в Дели и других городах Индии, планирует новые рассадники «космического сознания».

Раджниш, получивший философское образование, в своих проповедях использует концепцию ортодоксального индуизма, согласно которой истинная реальность есть брахман — объективное безличное духовное начало, мировой дух. Он порождает мир, но этот мир, называемый майя, нереален, он всего лишь иллюзия. Разум имеет дело с этим миром, то есть с иллюзией, а посему не может проникнуть в реальность брахмана. В данной системе взглядов истина — это брахман, совершенно недоступный разуму. Постигание истины возможно лишь интуитивно, путем мистического озарения. В каждом человеке частица брахмана — дух, духовное начало, нематериальное индивидуальное «я», называемое атман. Отсюда озарение, достижение «космического сознания», самдхи, по принятой в индуизме терминологии, — соединения части с целым, атмана с брахманом после преодоления препятствий, создаваемых более всего разумом. Как говорит Раджниш, приблизиться к истине можно, только убив разум.

Не следует думать, что бхагван обучает поклонников самодельной системе религиозно-философского идеализма. Отнюдь нет. Он непримиримый противник всякой науки, которая, по его мнению, не что иное, как источник человеческого невежества, причина войн и разного рода других конфликтов. Всякое порождение разума подлежит уничтожению во имя торжества «сверхсознания». Он противопоставляет дух разуму даже анатомически. Разум гнездится в голове, но индивидуальное «я», дух расположен совсем не в передней части головы, как утверждают традиционалисты, душа расположена в районе пупка, заявляет неогуру, и страдания человека не кончатся до тех пор, пока «упор будет делаться на голову, а не на пупок — этот корень нашего существования».

Использование Раджнишем религиозно-философских концепций индуизма (пусть в предельно упрощенном виде) обусловлено характером его аудитории. У темных, неграмотных людей, погруженных в стихийную бытовую веру, фантасмагоричные высказывания бхагвана о боге вызвали бы протест и, возможно, враждебность. Для таких людей и внешний мир — это совсем не майя, иллюзия, а осязаемая реальность, заставляющая первым делом заботиться о пропитании и добывать его тяжелым трудом. Другое дело раджниши. По данным одного из социологических обследований, 64 процента обитателей ашрама Раджниша имели высшее образование и практически все принадлежали к «белым воротничкам» — служащим. У них иные запросы и иное отношение к жизни.

Учение Раджниша — это проповедь откровенного эгоизма. «Никто никогда не жил для других. Каждый человек живет для себя, — вещает неогуру. — Самой природой человек создан жить только своей жизнью... По существу, себялюбие естественно. Противоестественно жизнь для других, ибо это есть вторжение в жизнь другого человека».

Почему труден путь к озарению, к познанию своего «я»? — задает вопрос Раджниш. Потому, отвечает он, что современный человек «переполнен отбросами, мусором». Цивилизация с ее бесконечными запретами уродует человека. Воспитание, образование, социальный опыт порождают в человеке различные комплексы, которые и подавляют его внутреннее «я», его атман (вечную душу). Человек становится рабом общества. Этика, мораль, гуманность, сострадание — все это искажает «естественные проявления человеческого духа — эгоизм, склонность к насилию, секс... Чем скорее вы отделаетесь от бремени того, что называется «древняя цивилизация и культура», тем лучше».

После проповеди начинается действие, именуемое динамической медитацией. В традиционном индуизме под медитацией понимается предельное напряжение внимания на мантре — слове или фразе, сообщаемых гуру своему ученику, или на другом объекте веры при максимальном отключении всех чувств от внешних раздражителей, включая мысли и посторонние образы. Такой медитации предаются в тишине и одиночестве. У Раджниша медитация есть техника коллективного экстаза (или психоза). Когда ученики бхагвана (каждый в меру своих способностей) «подавят разум», они переходят к дыхательным упражнениям, а затем к массовой пляске. Темп пляски, задаваемый ударными инструментами, убыстряется. Участникам для пляски рекомендуется надеть минимум свободных одежд, не стесняющих движений, или вообще обходиться без оных. Сеанс продолжается полтора часа. К его концу участники начинают кричать, хохотать, плакать, судорожно дергаться, драться друг с другом, либо такой сеанс завершается оргией.

В чем же смысл динамической медитации? Техника бхагвана не сводится лишь к грубому потаканию низменным инстинктам человека. Погружение в свое «я» путем подавления разума и высвобождения определенных эмоций из-под контроля определяется психологами как искусственное торможение коры головного мозга на фоне возбуждения функций подкорки. Подобно другим неогуру Раджниш добивается максимальной изоляции поклонников от внешних раздражителей, анализируемых рассудком, и замыкания их на единственную волну — на внушениях наставника. Сеансы медитации постепенно приучают их руководствоваться инстинктами, в минимальной степени контролируемые сознанием. Такое преобразование психики превращает человека в своего рода живого мертвеца.

При выработке культовой практики своих ашрамов Раджниш учитывал острую конкурентную борьбу между «богочеловеками» за паству. Каждый из них старается внедрить что-нибудь новенькое, необычное, завлекательное. Раджниш придумал публичные оргии. Но техника подобных медитаций известна с древности. Нечто сходное происходило, например, на радениях секты трясун в дореволюционной России, включая и массовый секс, который ортодоксальная церковь называла свальным грехом. Одно из этих радений описано А. М. Горьким в романе «Жизнь Клима Самгина». Бхагван лишь вывел радения из молеального дома на площадь.

Раджниш отдавал себе отчет в том, что медитации — это все же вызов обществу и что бесконечно испытывать терпение общества опасно. Он нашел оправдание своим действиям с предельно конформистских позиций — медитации увязал с рассуждениями о «естественности» капитализма: «Капитализм основан на естественном порядке вещей. Никто не приносит жертв ради другого. Каждый живет для себя и, поступая так, живет для других», «Капитализм — это система, производящая богатство... Призываю вас отказаться от иллюзий, что капитал будто бы создается трудом рабочих... Фактически рабочий есть мелкий, незначительный фактор в создании богатства... Рабочий имеет заработок и кров потому, что существует капиталист».

Бхагван признает, что капитализм несовершенен. Но, негодует он, вместо устранения этого несовершенства некоторые пытаются уничтожить его. Они не понимают, что «уничтожение капитализма было бы уничтожением самого человечества».

Культовая практика Раджниша, таким образом, не ограничивается манипулированием психикой своих последователей. Откровенная апология капитализма достаточно определенно свидетельствует о заложенной в этом культе социальной задаче. Поощряя «естественную» склонность человека к насилию и реализуя «энергию секса» в своем ашраме, Раджниш объективно гасит социальное бунтарство, вернее, остатки бунтарских настроений среди своих учеников. Бунт духа, протест против существующих порядков сознательно трансформируются в бунт тела.

Раджниш постоянно взывает к духу и его свободе, обещает поклонникам блаженство путем реализации своего «я». Однако оказывается, что индивидуальное «я» — это не только и не столько дух: «Отберите право собственности, и вы уничтожите 90 процентов индивидуальности человека». Это не случайная оговорка. Раджниш снова возвращается к излюбленной теме: «Экономическая независимость составляет большую часть тотальной индивидуальности человека... Его право сказать: это мое, потому что я создал это». Раджниш не желает замечать очевидного, общеизвестного факта — именно капитализм наиболее полно и последовательно лишает действительного производителя плодов его труда.

На роль спасителя капитализма Раджниш претендовал в самом начале своей

карьеру. «Я хочу, чтобы капитализм имел свои собственные аргументы, свою собственную философию,— писал он,— тогда он сможет развиваться должным образом... В тот день, когда капитализм со всей страстью выразит свою философию, он сможет вернуть потерянные позиции. Тогда сегодняшний социализм будет вытеснен сначала из Калькутты², затем из Пекина и, наконец, из Москвы».

С особо близкими учениками Раджниш задумал создать нечто экстраординарное — образцово-показательный ашрам, «рай на земле», вселенский центр духовного освобождения, который своим блеском и великолепием затмил бы подобные учреждения других неогуру. На эту цель была выделена сумма в 100 миллионов рупий (примерно 10 миллионов долларов) и подыскан участок площадью 160 гектаров в холмистой, живописной местности в двадцати километрах от Пуны.

Ашрам Раджниша в Пуне приобрел скандальную репутацию. Местные жители все чаще обращались к городским властям с жалобами на почитателей «богочеловека», которые, по словам одного корреспондента, вели себя здесь как завоеватели в покоренном городе. Затем в западногерманском журнале «Штерн» появилась статья о нравах в ашраме с, мягко говоря, слишком откровенными фотографиями. Часть этих материалов была перепечатана в индийской прессе. Одним из элементов радений Раджниша была групповая медитация, нередко заканчивавшаяся дракой. Помощники Раджниша признали все это на пресс-конференции в Дели. «Некоторые (обитатели ашрама.— Б. К.) действительно освобождаются от склонности к насилию... Конечно (!), при этом случаются перебитые носы, разбитые губы, сломанные руки. Но до членовредительства и убийства дело не доходит»,— заявил известный в Индии киноактер, ставший приближенным Раджниша. Что же касается секса, то сам Раджниш учил: «Если вы любите женщину, живите с ней в любви и радости, но не превращайтесь в мужа и жену. Быть мужем и женой отвратительно, ибо это связано с понятием собственности. А собственности у раджнишей быть не должно. «Свободный секс,— уточняет новоявленный гуру,— это неотъемлемое право каждого от рождения».

Британское радио и телекорпорация Би-би-си, почувствовав запах сенсации, вознамерилась снять телефильм об ашраме Раджниша. Однако индийские власти не дали на это разрешения, ссылаясь на то, что «ашрам не отражает истинного облика Индии».

Зато ашрам стал объектом пристального интереса индийских правоохранительных и налоговых органов. Участились случаи столкновений между раджнишами и жителями Пуны, поскольку первые пытались распространить нравы ашрама на весь город и его окрестности. После покушения одного из жителей Пуны на жизнь Раджниша ашрам перешел на осадное положение. Разрекламированный как «обитель любви, творчества и культуры», он стал крепостью с колючей проволокой и вооруженной охраной. Все его входы были оборудованы приборами для обнаружения металлических предметов в карманах посетителей.

Полиция установила, что раджниши не только агрессивны, но и нечисты на руку. Выяснилось, например, что с 1976 по 1981 год организация уклонялась от уплаты налогов. Задолженность составила 39,2 миллиона рупий. Кроме того, нескольких раджнишей, занимавшихся в миру бизнесом, уличили в незаконных валютных операциях.

Руководители ашрама, понимая, что конфликт с уголовным кодексом грозит тюрьмой, разработали план срочной эвакуации. Скрытно упаковали и отправили в США все ценное имущество. Значительную часть недвижимости продали с аукциона на месте. Раджниш же в генеральном консульстве США в Бомбее получила визу на шестимесячную поездку в Америку «для лечения».

Перед тем как последовать за наставником, раджниши не удержались от очередной аферы. Они застраховали на крупную сумму склады с печатной продукцией ашрама. Склады внезапно сгорели вместе с содержимым. В связи с этим они предъявили иск страховой компании на сумму в 15 миллионов рупий, попытавшись тем самым реализовать залежалую печатную продукцию наставника. Однако расследование показало, что иск лишен оснований: склады находились под круглосуточной охраной обитателей ашрама и объективных причин для пожара не было. Речь могла идти только об умышленном поджоге. Раджниши сократили претензии до 500 тысяч рупий, а затем и вовсе отказались от них и тихо покинули Индию.

² С 1977 года в штате Западная Бенгалия, столица которого — Калькутта, у власти находится правительство Объединенного левого фронта, возглавляемого коммунистами.

В июне 1981 года Раджниш с группой учеников (индийцев и американцев) обьвился в США, в северо-западном штате Орегон. В болотистой местности, близ поселка Антилопа за 6 миллионов долларов они купили участок площадью в 25 тысяч гектаров. Сделка совершилась от имени Международной организации Раджниша (МОР), президентом которой стала Ма Ананд Шила, подруга и доверенное лицо Раджниша, сыгравшая важную роль в его дальнейшей судьбе. Ее настоящее имя Шила Амбалал Патель. Она родилась в Индии в 1949 году, но большую часть жизни провела в США. Выйдя замуж за американца, она получила американское гражданство и потому в отличие от Раджниша имела право приобрести в США недвижимую собственность. Ее отец Свами Сварупананд (в миру Амбалал Чатурбхай Патель) «усыновил» Раджниша. Все это потребовалось для того, чтобы Раджниш как близкий родственник натурализовавшегося американца индийского происхождения получил американское гражданство и остался в США.

По словам Ма Ананд Шилы, на купленном участке раджниши собирались основать «дружественную земледельческую коммуну, поэтическую обитель любви, радости и свободного сознания», с целью «воспитания нового человека в этом оазисе блаженства». В течение двух лет заболоченный пустырь был действительно превращен в оазис. Из сборных конструкций построены жилые дома, здания для медитации и других занятий, проложена дорога, вырыт пруд, посажены деревья. Руководители МОР особое внимание уделили строительству доходных учреждений — трех ресторанов, баров, дискотеки (входная плата 50 долларов), салона красоты, «университета медитации» (плата за обучение до 7500 долларов), овощной и молочной ферм. Ашрам получил название Раджнишпурам (город Раджниша).

Создание ашрама потребовало расходов в основном на строительные материалы. Все работы на территории осуществлялись за счет бесплатного труда около 6 тысяч поклонников Раджниша, которые все эти два года ютились в палаточном городке, работая по двенадцать часов, без выходных.

Элита общины, возглавляемая первой леди Ма Ананд Шилой, занималась не физическим трудом, а бизнесом. Руководители МОР основывают Инвестиционную корпорацию Раджниша с капиталом в 30 миллионов долларов и Трест Раджниша по финансовым услугам, пустивший в оборот, как это водится, кредитные карточки, привязавшие и обитателей и посетителей ашрама к его торговой сети. Они начали скупать участки и другую собственность в Антилопе, постепенно вытесняя оттуда старожилов. С помощью подставных избирателей МОР подчиняет своему контролю муниципальную корпорацию поселка. Первое решение нового состава корпорации — создание в поселке парка нудистов — привело в ужас консервативных провинциалов. Постепенно деятельность МОР распространилась на близлежащий город Портленд, где были куплены ночной клуб, гостиница, хлебопекарня.

Энергичная, не терпящая возражений, резкая в манерах и высказываниях Ма Ананд Шила становится ключевой фигурой в общине раджнишей, оттеснив других подруг гуру.

Американские иммиграционные власти заинтересовались делами ашрама и пытались выяснить планы Раджниша и сроки его пребывания в США. Стремясь избежать ответов на такие деликатные вопросы, Раджниш принимает обет молчания. Он общается только с «верховой жрицей», которая, действуя от имени гуру, забирает в свои руки бразды правления.

Финансовые сделки и спекуляции МОР породили множество конфликтов с местными жителями и властями. Положение усугублялось агрессивным поведением раджнишей. Возникли судебные тяжбы и процессы. Против МОР были выдвинуты обвинения в незаконном строительстве, создании экологической угрозы местности, клевете, оскорблении личности и тому подобном. Только по одному из таких обвинений Ма Ананд Шиле пришлось выплатить по суду 625 тысяч долларов.

«Оазис блаженства» обносится колючей проволокой под электрическим током, все входы контролируются телевизионными мониторами. Создается отряд вооруженных охранников, названных силами мира Раджниша. Численность «сил мира» превышала штат полиции округа, а их арсенал насчитывал более ста единиц огнестрельного оружия. Вооружилась пистолетом и первая леди ашрама, которая публично пригрозила: «Если местные гронут кого-либо из нас, полетят пятнадцать их голов!»

Раджниш тем временем продолжал блюсти обет молчания. Он почти не выходил из своей роскошной виллы с плавательным бассейном. Раджниши лицецерели своего гуру лишь в полуденные часы, когда он совершал прогулку по окрестностям в одной из 93 автомашин марки «роллс-ройс», подаренных ему поклонниками. На бамперах этих автомашин была прикреплена вызывающая надпись: «Христос сэкономил, Моисей вкладывал деньги, Раджниш их тратит!» Фанатичные раджниши планировали со временем довести число таких машин до 365, с тем чтобы их обожаемый гуру мог ежедневно ездить на новой машине.

Не складывали раджниши и пропагандистского оружия. В выступлениях по телевидению они говорили, что их противники — «это те же люди, которые в свое время распяли Христа и отравили Сократа, а теперь преследуют бхагвана. Но ничего — к 2000 году все погибнут. Останется только Раджнишпурам и его обитатели».

Эта идиллия под охраной автоматов сохранялась около четырех лет. Осенью 1985 года Ма Ананд Шила с полдюжиной помощников и помощниц тайком бежала из Раджнишпурама в Европу. Вспыхнул большой скандал. Бхагвану пришлось прервать молчание. В телевизионных интервью он заявил, что «эта сука» (то есть Шила) задумала его отравить, чтобы унаследовать все дело и управлять им от имени гуру. Планировалось также убийство новой подруги бхагвана Ма Прем Хасьи и его личного врача. В отличие от первой леди, имевшей неофициальный титул «верховной жрицы», Ма Прем Хасью называли в ашраме крестной матерью (одно время она была замужем за голливудским продюсером, субсидировавшим фильм «Крестный отец»).

По словам Раджниша, Ма Ананд Шила и ее «банда фашистов» (выражение гуру) прихватила с собой 55 миллионов долларов из фондов МОР, оставив ашрам без средств. Журналистам демонстрировался подземный бункер под резиденцией Ма Ананд Шилы, которая почему-то называлась «Обитель Христа». В этом бункере находилась лаборатория по производству и испытанию ядов, откуда подземный ход вел к дальнему оврагу. Журналисты шупали бронекорсет «верховной жрицы», листали «руководства» по различным способам убийства, знакомились с подслушивающей аппаратурой. Разгневанный Раджниш рассказывал, что контролировалась даже святая святых ашрама — его спальня.

Гуру всячески поносил свою бывшую помощницу. По его словам, Ма Ананд Шила была озабочена только тем, как «попасть в постель бхагвана». В ответ на вопрос корреспондента, почему же он избрал себе в помощники такого человека, Раджниш пояснил: надо же было кому-то заниматься практическими делами, а у Шилы «целиком материалистический, прагматический склад ума и характера».

Ма Ананд Шила, в свою очередь, назвала Раджниша преступником, лжецом и суперобманщиком, который воздействует на своих учеников не столько проповедями, сколько «веселящим газом» (закись азота) и наркотиками под названием «экстаз». Она признала, что пришла в ашрам не ради блаженства духа, а потому что любила Раджниша. Теперь она разочаровалась в нем, ибо он «порченный человек», погрязший в сексе и богатстве. Уйдя из ашрама, она решила обосноваться в ФРГ и создать здесь фирму по эксплуатации гостиниц.

При основании Раджнишпурама было сказано много возвышенных слов. Но, как показали события, с самого начала ашрам строился на лжи и обмане легковых невротиков, на альковых интригах и насилии. Даже обычный бизнес в ашраме сопровождался обманом.

Стремясь приглушить скандал, Раджниш объявил о ликвидации МОР, роспуске ашрама и отказе от ремесла бхагвана. Обращаясь к поклонникам, он заявил: «Я возвращаю вам свободу и индивидуальность». Раджниши на радостях устроили гигантский костер, на котором сожгли сочинения своего гуру и одежды Ма Ананд Шилы. Танцы и песни вокруг костра продолжались всю ночь. На этот раз раджниши уже не требовали от страховых компаний возмещения. После аутодафе часть раджнишей разбежалась, часть забрали родители, остальным власти предложили покинуть Раджнишпурам. Верховный суд штата Орегон принял решение конфисковать земли ашрама. За уплату долгов и обязательств была также объявлена распродажа «роллс-ройсов» и арсенала. Раджнишпурам перестал существовать.

На этом злоключении бхагвана не кончились. Для расследования «дела» на место прибыла группа детективов из полиции и ФБР. Один из них заявил, что полицейские власти давно пытались разобраться в делах ашрама, но для успеха необходим был внутренний осведомитель «Похоже, — продолжал этот полицейский чин, — что теперь

у нас есть отличная посадная утка — сам бхагван». Обретя голос, Раджниш явно наговорил много лишнего.

По итогам расследования Раджнишу были предъявлены обвинения по тридцати пяти пунктам: незаконное пребывание в США, лжесвидетельство, организация фиктивных браков и так далее. Федеральное большое жюри США подтвердило эти обвинения. Над неогуру нависла угроза тюремного заключения сроком на сто семьдесят пять лет! Опираясь на прежний опыт, бхагван решил тайком покинуть США на частном самолете, но власти были настороже, и самолет принудили к посадке в аэропорту города Шарлотта (Северная Каролина). Раджниша и его свиту арестовали, заковали в цепи и под сильной охраной препроводили в тюрьму. Американцы могли наблюдать все это по телевидению.

Вначале Раджниш возмущался и негодовал, но двенадцать дней в тюрьме сломили его. Он принял предложенный американцами вариант: признал себя виновным по двум пунктам обвинения (незаконное пребывание в США и лжесвидетельство) и был приговорен к уплате 360 тысяч долларов штрафа и 40 тысяч долларов судебных издержек. «Бог» уплатил полмиллиона долларов в качестве залога и получил разрешение покинуть страну. Американцы избавились от одиозной даже по американским меркам фигуры. Став правонарушителем, осужденным американским судом, Раджниш на ближайшие десять лет потерял право на въезд в США, а также в ФРГ, Англию и другие страны, связанные с американцами соглашением о взаимной выдаче преступников.

Разогнав орегонский ашрам, американские власти восстановили свой порядок в штате. Но они всего лишь удалили нарыв на организме, страдающем тяжелым хроническим недугом: ведь десятки других культов в США продолжают процветать. Большинство их внешне аполитичны. Значит ли это, что они социально нейтральны и безобидны? Да, многочисленная толпа адептов подобных культов состоит из потерявших себя людей, замкнувшихся в слепом поклонении «богочеловекам». В разные времена такие фанатики веры не раз становились исполнителями воли самых темных антинародных сил, включая разные варианты фашизма. Но даже существуя сами по себе, такие культы антиобщественны. Они изолируют десятки и сотни тысяч потенциально активных, преимущественно молодых людей от реальной жизни, от решения актуальных ее проблем и сознательной борьбы за переустройство общества на справедливой основе.

Раджниш, Ма Ананд Шила и их подручные любили повторять: «Америка — свободная страна, и мы вольны делать здесь все, что нам захочется». Американская система преподнесла им своеобразный урок. Скупка собственности, нажива, спекуляции — все это не противоречит нравам американского бизнеса. Да и деловые операции раджнишей имели локальный характер и не шли ни в какое сравнение с деятельностью крупных воротил. Но раджниши, нарушив правила игры, не захотели понять, что жульничество должно обязательно прикрываться ханжеским благочестием; не могли американские власти оставаться равнодушными и к развязным высказываниям Раджниша, цветного эмигранта без гражданства, о некоторых сторонах американского образа жизни и об американском обществе.

Порядком перепуганный бхагван поспешил вылететь в Индию.

4

Несколько дней он провел в Дели, где выступил на нескольких пресс-конференциях. В опубликованных в 1970 году проповедях и в последующих выступлениях он воспевал Америку и ее богатства. По его словам, Рокфеллер, Морган и другие «гении капитала» в течение ближайших пятидесяти лет произведут столько богатства, что его хватит на всех, в США наступит социализм. Глашатаями такого «социализма» Раджниш считал битников и хиппи, появление которых якобы свидетельствовало о подъеме Америки «на новый, более высокий уровень сознания». В тюрьме города Шарлотта перед угрозой пожизненного тюремного заключения он говорил, что «любит американцев, доверяет американской конституции и считает США единственной надеждой в мире». Вернувшись в Индию и почувствовав себя в безопасности, бхагван заговорил по-другому: «США — это ад... Я увидел реальное лицо Америки. Это не демократия, а лицемерие... Американский образ жизни — это насилие, убийства и безумие».

Столь радикальный сдвиг во взглядах неогуру на США можно, видимо, считать его вторым озарением. И стимул к нему был явно более сильным, чем падение с дерева.

После орегонского фиаско Раджниш предстал перед своими поклонниками в непривычном свете. То был не уверенный в себе бхагван в блеске славы и богатства, знающий ответы на все вопросы, а слабый, скорбный духом и больной человек (астма, диабет, аллергия, смещение позвонков), замешанный к тому же в сомнительных махинациях.

Отвечая на вопросы дотошных журналистов в Дели, Раджниш сказал, что, признав себя виновным на американском суде, он «согнал первый раз в жизни». Гуру явно поскромничал. Лжи и противоречий в его высказываниях так много, что иногда трудно понять, когда же он говорит искренне.

Бежав из Пуны в Орегон, Раджниш стал называть индийцев не иначе как трусами и хитрецами. Индия для него — «страна зла». «Индийский ум,— утверждал он,— бездарен, неповоротлив и упрям, а Индия — это страна призраков, страна мертвецов». «Только сикхи (как будто сикхи не индийцы.— Б. К.) — это люди, на которых можно положиться и которые ничего не боятся». Расхваливая сикхов, он выступал в поддержку сепаратистов и лозунга о «независимом Халистане», добавляя: «Индию нужно расчленить, а ее штаты превратить в независимые государства». Напомним, что в соответствии с индийским законодательством призывы к расчленению страны и нарушению ее территориальной целостности — уголовно наказуемое деяние.

Понятно, почему индийская общественность и власти отрицательно отнеслись к приезду Раджниша. Не могли обрадовать индийцев и публично высказанные бхагваном советы — установить в Индии «благожелательную диктатуру, ввести полный контроль над рождаемостью и вступить в союз с крупной ядерной державой».

Традиционные гуру в индуизме обязаны соблюдать ряд незыблемых принципов — ахимса (ненасилие), апариграха (ненакопление богатства) и особенно сатья (бесстрашное и неуклонное следование истине). Любое отклонение от истины лишает гуру права быть учителем, ибо оно сводит на нет все его накопленное добрыми поступками благочестие, делает его грешным и нечистым. Раджниш нарушил эти принципы. Но потребовался скандал в Раджнишпуре и откровенно лживые заявления бхагвана, чтобы часть почитателей окончательно разочаровалась в его культе и вернулась к нормальной жизни.

Однако поклонники у Раджниша все еще остаются. Объяснение этому в традиционном характере отношений между гуру и учениками и психическом складе людей, обычно обращающихся к услугам подобных гуру. В ортодоксальном индуизме статус гуру очень высок. Он в буквальном смысле приравнивается к богу. «Гуру — это бог Вишну... Во всех трех мирах нет никого, кто был бы выше гуру», — говорится в индуистком философском трактате «Йогашикхупанишад». Поэтому индуизм предъявляет крайне высокие требования к личным качествам гуру.

Ученик должен раствориться в учителе, чтобы усвоить мудрость гуру, подчинить ему свои мысли и волю, утратить индивидуальность. Это первое и незыблемое правило ученика.

Называясь бхагваном, то есть богом, Раджниш ставит себя выше богов. «В бога,— говорит он,— могут верить лишь умственно отсталые люди, совершенно заурядные индивидуумы... Здравомыслящие верят не в бога, а в грех... От греха освобождает только гуру».

Когда, с точки зрения стороннего наблюдателя, гуру теряет лицо, совершает неблагоприятный поступок, даже преступление, ученик обычно воспринимает это как испытание его веры. Уход же от веры, возврат к нормальной жизни с ее проблемами и горестями мнится ученику катастрофой. Страх тем сильнее, чем эффективнее гуру удавалось оборвать внешние связи ученика, обрубить каналы внешних раздражителей, замкнуть его только на себя и на хорошо натренированное самовнушение.

...Из Дели Раджниш отправился на север страны, в живописную долину Кулу (штат Химачал-Прадеш). В туристских буклетах ее называют долиной богов. Однако и здесь бхагван не нашел покоя. Власти штата не разрешили ему покупку земельного участка, без всякого энтузиазма отнеслись к его планам основать новый ашрам. Молодежные организации Химачал-Прадеша пригрозили начать кампанию протеста против Раджниша: по мнению этих организаций, культ бхагвана создает угрозу культуре штата. Положение Раджниша осложнялось тем, что центральные власти Индии продолжали требовать погашения налоговой задолженности его ашрама в Пуне, на собствен-

ность которого наложен арест. Зарубежным поклонникам бхагвана предложили покинуть пределы страны по истечении срока действия их виз. Правительство Индии обязало свои посольства воздерживаться от выдачи новых виз раджнишам.

Раджниш помчался в Непал, но, встретив там более чем прохладный прием, полетел в Бангкок, оттуда на Крит. Созвал туда около 300 учеников из европейских стран, говорил им о намерении купить остров(!) и основать здесь новую общину. Но его снова подводит страсть к красному словцу. О греках, которым принадлежит Крит, он в одной из проповедей высказался следующим образом: «Если бы они следовали учению Сократа и Аристотеля, то стали бы сливками мирового общества. Но они пошли за этими византийскими идиотами (то есть приняли христианство.— Б. К.) и до сих пор идут за ними». По требованию духовенства греческие власти силой выдворили Раджниша. Он пытался задержаться в Испании, Англии, Ирландии, но ему везде отказывали в разрешении на въезд. Его видели в Дакаре (Сенегал) и на острове Антигуа, в Южной Америке...

Как бы подводя итоги бурной деятельности бхагвана, солидная буржуазная газета «Хиндустан таймс», издающаяся в Дели, писала в передовой статье: «Взлет и падение Раджниша должны послужить хорошим уроком тем, кто в своих духовных исканиях теряет всякое чувство меры и вовлекается в орбиту культа, из которого нет нормального выхода».

Чувство меры окончательно утратил и сам бхагван. Будучи изгнан из всех стран, он снова вернулся в Индию. По прибытии в Бомбей в августе нынешнего года он заявил, что разочаровался в людях и хотел бы, чтобы скорее началась третья мировая война.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЛАЗАРЕВ



НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...

*Заметки о повести Василя Быкова «Карьер»
и некоторых проблемах литературы,
посвященной Великой Отечественной войне*

О пять Василя Быков рассказывает о войне.

Кажется, все это давно быльем поросло. Не найти, не осталось, наверное, людей, которые знали тех, кто жил когда-то на этой тихой окраинной улочке белорусского местечка, которые помнят трагедию, разыгравшуюся здесь в сорок первом году, в жуткое время оккупации. А герой быковского «Карьера» все-таки ищет если не свидетелей — их через столько лет, видно, уже не отыскать, — то хотя бы какие-то сохранившиеся следы прошлого, ищет с таким отчаянным упорством, с такой безоглядой сосредоточенностью, словно жить дальше, не выяснив, что тогда здесь произошло, не докопавшись до истины, невозможно.

Впрочем, почему же «словно» — это на самом деле жизненно важно: не распознав в кровавом водовороте событий войны, что было добром, а что только казалось добром, как отличишь черное от белого в пестрой, запутанной сегодняшней жизни? И не один герой повести Василя Быкова потерял душевный покой, стараясь во что бы то ни стало разобраться в былом. «Та память вынесенных мук жива, притихшая, в народе...»

Быкова читать тяжело — он не признает умолчаний, не отворачивается от сложностей и противоречий, чреватых бедой и кровью: беда у него действительно беда, а не полоса препятствий, в конце концов непременно одолеваемых, кровь — кровь, а не та красная краска, которой в кино мажут бинты и гимнастерки. Да, читать Быкова тяжело, но книгу его нельзя, невозможно отложить не дочитав. Она не отпускает Мир его героев — их страдания, их тревоги

и заботы — становится нашим миром. Вместе с героем «Карьера» мы будем искать ответ на терзающие душу вопросы. О многом заставляет думать Быков — о том, как ты жил прежде и как живешь сейчас, и о том, что из того, во что ты верил, оказалось истинным, а в чем ты обманывался, о человеческом достоинстве, которым нельзя поступаться ни при каких обстоятельствах, и о великой ценности жизни.

Книга возникает не в безвоздушном пространстве, незрными нитями писатель связан с тем, что происходит и происходило вокруг него в литературе, многое здесь важно — среди прочего и то, как встречали критики его прежние произведения и произведения его коллег и что принималось в журналах и издательствах на ура, что скрепя сердце, а что и вовсе отвергалось как сомнительное или не заслуживающее внимания. И, читая быковский «Карьер», я думал не только об этой повести, но и о том, как автор шел к ней, как нелегко и непросто, преодолевая сопротивление прочно утвердившихся, нормативных литературных «установлений», нередко подвергаясь даже гонениям, вообще развивалась литература о Великой Отечественной войне. Иногда эти мысли уводили далеко от повести, но рождены они были все-таки ею, с нею связаны и в итоге к ней возвращали. Обычно, когда пишешь рецензию, ограничиваешь себя, большая часть попутно возникающих соображений остается за листом бумаги; несколько беглых замечаний о том, что в критике называют литературным фоном, и о прежних произведениях автора — вот, в сущности, все, что может вместить в себя рецензия. На этот раз я

рискнул написать о «Карьере» не рецензию, а заметки, поговорить в связи с повестью о некоторых проблемах и уроках развития литературы о Великой Отечественной войне — время, которое мы сейчас переживаем, подталкивает к подобному рода размышлениям, а они, надеюсь, в свою очередь помогут лучше понять повесть Василя Быкова.

Эта повесть, как и прежние книги Быкова, как лучшие произведения о войне других наших писателей, устанавливает ту меру правды и добра в литературе, которая делает очевидными примелькавшуюся и оттого чувствующую себя хорошо защищенной полуправду, а то и прямую неправду, поэтизацию бездушия, выдающего себя за принципиальность и гражданственность, беллетристические узоры, прикрывающие пустоту. Не будем делать вид, что все благополучно в литературе, журналистике и критике, занимающихся Великой Отечественной войной. Куда там, многим авторам война — все еще или уже — представляется в виде хорошо отрепетированного спектакля, где роли загодя были распределены, поступки и реплики выучены действующими лицами назубок, финал заранее известен, — в этих книгах, очерках, статьях нет места правде и реальности, все, что было тогда, превратилось в слова, слова, слова — утратившие смысл, ничего не значащие...

В майском номере журнала «В мире книг» попался на глаза очерк. Посвящен он журналисту-международнику и его супруге-переводчице: несколько лет назад они написали книгу о Гитлере, богатую неизвестным нашему читателю материалом. Автор очерка посетил своих героев дома и был прежде всего очарован их квартирой — впечатление было таким сильным, что он не мог не поделиться им с читателями: «тяжелая резная мебель», «затейливые «антикварные» безделушки», «кофе в просвечивающих чашечках розового фарфора, тугая прохладность крахмальных салфеток». Нет, он не просто так — бездумно — восхищается этим великолепием, его восторг, можно сказать, идейно обоснован. Оказывается, «сам дух таких квартир не терпит ни малейшей фальши», они свидетельствуют о «недремлющей гражданской памяти» хозяев. (Я не называю тех, кому посвящен очерк, — не могу поверить, что они читали это сочинение до публикации и одобрили его.) Перейдя от резной мебели и розового фарфора к героям своего очерка, автор и вовсе теряет голову от умиления: «Я смот-

рю на этого человека, нестигаемого по своей главной, внутренней сути, и думаю о совершенном, нет, совершаемом им и его женой подвиге, длящемся не одно десятилетие». Что же за подвиг совершил герой очерка, в каких тяжелых испытаниях не согнулся? «...началась Великая Отечественная. Молодой сотрудник ТАСС сразу же попросился на фронт. Но сочли, что большую пользу он принесет в только что образованной редакции контрпропаганды ТАСС. Это и был его фронт... Зачастую это была рукопашная — один на один с фашистом номер 1 — Адольфом Гитлером».

А теперь для ясности. Константин Симонов, много чего повидавший на войне — выбирался в июле сорок первого из окружения и принимал участие в боевом походе подводной лодки, высаживался на Севере во вражеский тыл с диверсионной группой моряков и летал через линию фронта к югославским партизанам, ходил с пехотной ротой в атаку и был у прижатых к Волге защитников Сталинграда, — всегда говорил о себе: «Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом...» Надо ли доказывать, что работа военного корреспондента была тяжелее и опаснее работы сотрудника тассовской редакции контрпропаганды, находившейся на порядочном расстоянии от действующей армии. Так при чем же здесь фронт и не стыдно ли называть фронтом здание на Тверском бульваре в Москве? Да и схватывался герой очерка с фюрером вовсе не один на один (а то ведь у читателей может ненароком возникнуть мысль, что он-то и одолел Гитлера заодно с его армией) — контрпропагандой занимались в газетах и журналах, на радио многие журналисты и писатели, и были перья поострее и фигуры покрупнее, я уж не говорю об Илье Эренбурге, чье первенство здесь неоспоримо. А главное, при чем здесь рукопашная — один из самых страшных и кровавых видов боя?

Можно было бы, наверное, просто высмеять пошлый, галантерейно-рекламный стиль очерка, если бы стиль этот не был порожден инфляцией кардинальных нравственных понятий, я бы сказал, не боясь в данном случае высоких слов, святых понятий, оплаченных большой кровью и великими жертвами народа. Они превращаются в мелкую разменную монету для дешевой литературной распродажи. Они даже служат поводом для недостойных литературных забав. Только в такой обстановке могло быть напечатано, да еще в журнале, призванном настаивать молодых литераторов, выступление Юрия Кузнецова, в ко-

тором стихотворение «Жди меня» объявлено чуждым духу нашего народа (об этой оскорбительной для всех людей, вынесших на своих плечах войну, выходке справедливо писал в «Новом мире» Марк Соболев). Слишком часто в последнее время, когда дело касается Великой Отечественной войны, приходится сталкиваться с поразительной нравственной глухотой и бесцеремонной развязностью, слишком часто, чтобы только иронизировать по поводу дурного вкуса и панибратского обращения с вещами, требующими уважения.

Увы, началось это не сегодня и даже не вчера. У Василя Быкова в «Карьере» есть эпизодический персонаж — бывший сотрудник газеты воздушной армии. О нем с насмешкой и презрением рассказывают фронтовики: «Теперь что! А вот посмотрел бы ты на него, как он демобилизовался в пятьдесят пятом. Голубой кант, фуражка с крабом, все летчиком представлялся. Авторитет был ого! На все местечко один летчик. Устроился в областную газету собкором. Все об успехах писал. А заголовки какие давал: «На фронте уборочной страды», «Битва за урожай», «Атака на бесхозяйственность». Видал он хоть раз в жизни атаку...» Вот кто — я имею в виду не этого конкретного человека, а некий слой людей, которых он представляет, — был заинтересован в девальвации понятий, вот кто сознательно ли, интуитивно играл на понижение, кому оно было на руку. А нынче все эти не безобидные художества распространились уже так широко, с такой самоуверенностью утверждается право не считаться с правдой, что Григорий Бакланов, выступая с критикой несостоятельных — фактически и нравственно — рассуждений Л. Аннинского о ленинградской блокаде, назвал свое открытое письмо критику «Становится нормой?». Неужели это в самом деле превратится в норму, неужели мы будем с этим мириться?

В документальном фильме «Шел солдат...» кавалер трех орденов Славы Хабибула Якин рассказывает с горечью: «Быть в пехоте трудно, действительно трудно. Вот, иногда, я вспоминаю, к нам приезжали артисты, и эти артисты приходили, давали концерты, а потом старались уйти скорее от нас. И вот я иногда смотрю кино, выступление артистов, с какой гордостью говорят, что они были на передовой с концертом. Они были. А солдату надо было жить там — там, где они были какой-то час, или полтора, или два». Не о почестях идет речь — кому большие, кому меньшие, — а о правде, о том, чтобы называть

вещи своими именами, о разъедающих нравственные устои «приписках». Если говорим: передний край, — значит, речь идет о том месте, откуда находившимся в каком-то километре, а то и в двух-трех сотнях метров КП батальона казалось уже тылом. Если говорим: подвиг, — значит, имеем в виду нечто из ряда вон выходящее: человек в необычайно трудных условиях совершает акт величайшей самоотверженности, сознательно жертвует своей жизнью. Посмотрите фронтовые дневники Константина Симонова «Разные дни войны», или «Блокадную книгу» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, или «У войны — не женское лицо...» Светланы Алексиевич (документальные книги самой высокой пробы, в которых война предстает в своем настоящем обличье) — как редко, буквально считанные разы встречается там слово «подвиг»: его подлинную цену знают.

А автор очерка, о котором шла речь (а он ведь не одинок), понятия не имеет, что такое подвиг, фронт, передовая, атака, огонь на себя и так далее. Не знает, а главное, знать не хочет — это для него расхожие «красивые» слова, в другом качестве они ему не нужны. Пустопорожняя напыщенная фразеология выдает размытость, ущербность нравственных представлений, пренебрежение правдой истории. И возникало все это не само собой — творилось людьми заинтересованными: в основе лжи всегда лежит корысть. Об этом говорил в недавнем интервью Василь Быков: «...те самые бюрократы, которые в предвоенные годы «хорошо устроились», они и в эти суровые дни не очень пеклись о других и тут сумели извлечь выгоду для собственной персоны. Это же факт, что среди тех, кто говорит о себе, что «прошел войну от звонка до звонка», находятся подчас и такие, кому бы надо при этом добавить: «и ни разу не взглянул смерти в лицо». Ветераны великолепно знают, кто чего стоит».

Для большинства наших современников война уже находится за пределами их личного опыта. Но интерес к ней отнюдь не только исторический. Чтобы понять, чем мы сильны и где кроются наши слабости, нужна правда о трагическом свинцовом времени: и о том, какого врага мы одоле-^{ли} ли, и на каком краю стояли, и какой ценой заплатили за победу, и какими тогда были. В посмертно опубликованном стихотворении Борис Слуцкий, один из самых глубоких поэтов фронтового поколения, писал **об этом**, опираясь на пережитое и увиденное **все 8** **годы** войны:

Плохие времена тем хороши,
что выявлению качества души
способствуют и казни, и война,
и глад, и мор — плохие времена.

Многое в наших сегодняшних днях уходит к войне, а многое и в самой войне и в нас — какими мы были в ту пору — открывается нам только теперь. Это одна из глубинных причин, почему до сих пор, вот уже четыре с лишним десятилетия, война не уходит из литературы, почему с таким пристрастием литература допрашивала на протяжении четырех десятилетий именно это время, почему прежде всего к нему обращались с самыми трудными и наиболее важными вопросами. И литература тут немало преуспела. Незадолго до сорокалетия Победы в одной беседе Даниил Гранин справедливо заметил: «Можно без преувеличений сказать, что наша военная литература — лучшие ее книги — это великая литература».

Конечно, не надо представлять себе дела литературные — и былых лет и наших дней — в розовом свете. Очень много выпущено книг (и кинофильмов) художественно беспомощных, державшихся на плаву лишь благодаря теме, материалу, а нередко, как бы это помягче сказать, вполне сознательно пренебрегавших реальной действительностью. Это от них у читателей и зрителей оскомины: «А, про войну... Не буду, сыт по горло...» И самое печальное, самое дурное — такие сочинения, случалось, задавали тон в литературной жизни, выдвигались как эталон правды и художественного совершенства. Они становились трудноодолеваемой преградой — и издательски-редакторской и даже психологически-творческой — для той правды о войне, которую хотели рассказать ее участники. Об этом вспоминают многие писатели фронтового поколения — о книгах, в которых война была выдуманна в угоду схемам, ничего общего с действительностью не имевшим. «Были и другие книги,— пишет Алесь Адамович, вспоминая первое послевоенное десятилетие,— появляясь, они так не оскорбляли чувства правды скучно-розовым сочинительством. Но таких было гораздо меньше. А те, те не только сами не помнили, как оно было на самом деле, но и от других, от тебя как бы требовали — забыть. И вроде бы действительно твое не настоящее, а то настоящее, потому что оно существует — вот она, книга!» И Виктор Астафьев обескураженно отмечал для себя разительное расхождение между пережитым им на фронте и книжно-показательной войной: «...я послужил не

в одном полку. Бывал я и в госпиталях, и на пересылках, и на всяких других военных перекрестках встречал фронтовиков. Разные они, слов нет, но есть в них такое, что роднит всех, объединяет, но и в этом родстве они ничем не похожи на тех, которые кочуют по страницам книг, выкрикивают лозунги, всех бьют, в плен берут, а сами, как Иван-царевич, остаются красивыми и невредимыми. Нет, не такими были мужики и ребята, с которыми я воевал». О том же рассказывал в «Неделе» Василь Быков: «За перо взялся, как теперь сам понимаю, скорее из литературно-полемических побуждений. Читал некоторые произведения о войне, и они выводили меня из себя своей «красивостью», своей «литературщиной». А мне хотелось правды!»

Сколько раз на моей памяти возникали в критике толки, что военная тема исчерпала себя,— обычно это совпадало с усиливающимися требованиями в литературе нарумяненного благополучия, фанфарных мелодий, сказочной бесконфликтности. Уже на следующий год после конца войны — фронтовики еще не нажили штатских костюмов, ходили в гимнастерках и шинелях, а многих и не демобилизовали — стали появляться статьи, в которых молодых тогда поэтов строго предупреждали, что пора им решительно перестраиваться, война была и прошла, они должны уже воспевать сегодняшние достижения, а не вспоминать, что с ними было на войне. Так и писалось — я ничего не утрирую, не заостряю — в «Литературной газете» в 1946 году:

«Прошло немало времени со дня окончания войны, со дня одержанной нами великой победы. Новые огромные задачи встали перед нами. Народ с упорным трудолюбием, с энтузиазмом взялся за возрождение разоренных районов, за выполнение предначертаний новой послевоенной сталинской пятилетки... народы нашей страны бодро, с верой в свои силы творят дело возрождения, дело строительства коммунизма.

Что же делают в это время некоторые наши литераторы?

Журнал «Знамя» из номера в номер печатает стихи большей частью молодых поэтов. Сколько грусти во многих из этих стихотворений, сколько безысходной печали, порою переходящей в нытье. Как плакальщицы, разместились поэты на журнальных страницах и на все лады выводят свои мотивы».

И в подтверждение в статье приводятся стихи тогда молодых, а ныне широко известных поэтов Семена Гудзенко, Александр

ра Межирова, Сергея Орлова (среди раскритикованных стихотворений — «Его зарыли в шар земной...» и «Мы не от старости умрем...»), ставшие потом хрестоматийными). Досталось и Ольге Берггольц за строки из поэмы «Твой путь», строки, которые стали примером высокой гражданственности в поэзии:

И ясно мне души моей вельенье:
Своим стихом на много лет вперед
Я к твоему пригвождена виденью.
Я вмерзла в твой неповторимый лед.

«Лед Ленинграда растаял,— писал критик. — Пришла весна победы. Ленинград вместе со всей страной живет кипучей жизнью. Жизнь идет вперед. Мы движем ее вперед.

О ленинградской блокаде, о подвиге наших людей надо писать снова и снова. Но глядеть в прошлое надо из сегодняшнего дня, глазами живого человека, а не вмерзшего в лед, пригвожденного к виденью военных лет»

Но мало ли что мог написать критик, торопивший поэзию обогнать жизнь, оторваться от нее, воспарить над ней. Ну написал и написал. чего не бывает. Но я привел цитаты из одной статьи, а на самом деле это был критический залп, означавший некую установку: на редакторско-издательском уровне закрывался шлагбаум для многих стихов о войне. Конечно, это сказалось так или иначе на всей поэзии, посвященной Великой Отечественной войне,— били не только по молодым (разносной критике были подвергнуты цикл лирических стихов Маргариты Алигер, Михаил Исаковский — за знаменитое нынче стихотворение «Враги сожгли родную хату...»), но особенно тяжелы были последствия для молодых поэтов. Война для всех них была почвой и судьбой, а для большинства и осталась на всю жизнь — теперь это уже можно сказать, теперь это ясно. Ни о чем другом они писать в ту пору не могли.

У каждого поэта есть провинция.
Она ему ошибки и грехи,
все мелкие обиды и провинности
прощает за правдивые стихи.

И у меня есть тоже неизменная,
на карту не внесенная, одна,
суровая моя и открытая,
даленая провинция --
Война...

Эти стихи Семена Гудзенко, написанные в 1947 году, были программными не только для него, но и для всего поэтического поколения, пришедшего с войны. Разумеется, они тогда не увидели света, потому что

противоречили установке, воспринимались как вызов.

Тем из молодых, кто успел напечататься в конце войны или сразу же после нее, повезло — пробилась (мы и не заметили как этот глагол, выражающий не очень свойственное художнику активное действие, стал привычным для разговоров об искусстве). А у многих литературная судьба сложилась поистине драматически. Одни надолго замолчали, другие годы отдали переводам, третьи добросовестно пытались писать то, что требовалось, но прежних удач не случалось, новый материал еще не был пережит, не стал кровным — поэзия становилась рифмованной журналистикой. Позже Александр Межиров напишет о собственных стихах, сочиненных в это нелегкое для него и других поэтов время: «...пустота: тшета газетного листа».

Наверное, если бы не все эти обстоятельства, первое после войны стихотворение Бориса Слуцкого было бы напечатано не в 1953 году, а много раньше. Наверное, по-иному сложилась бы и поэтическая биография Давида Самойлова. Наверное, и широкоизвестные стихи Семена Гудзенко «Мое поколение» («Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели...») и «Я в гарнизонном клубе за Карпатами...» увидели бы свет не в посмертных публикациях...

А вот совсем горькая судьба. В майской книжке журнала «Дружба народов» за этот год напечатана подборка стихов о войне Константина Левина, написанных в то трудное время. Имя это ничего не говорит читателям, у Константина Левина, которого уже нет в живых, не было напечатано ни одной строки. А вот Владимир Соколов, представляя его стихи, называет автора замечательным поэтом. Как же так, как же такое могло случиться?

Мне повезло, на одном из вечеров молодой поэзии тогда, после войны (может быть, кто-нибудь напишет, что это были за вечера, какая атмосфера царила там, — «и слушали меня, как только слушают друг друга люди взвода одного»), я слышал, как читал стихи Константин Левин, и запомнил их на всю жизнь:

Нас хоронила артиллерия.
Сначала нас она убила.
Но, не гнушаясь лицемерия,
Теперь вляцась, что нас любила

Она выламывалась жерлами,
Но мы не верили ей дружно
Всеми обрубленными нервами
В натруженных руках медслужбы.

Мы доверяли только морфию.
По самой крайней мере — бромю.

А те из нас, что были мертвыми,—
Земле, и никому другому.

Тут все еще ползут, минируют
И принимают контрудары.
А там — уже иллюминируют,
Набрасывают мемуары...

И там, вдали от зоны гибельной,
Циклюют и воцат паркеты.
Вольшой театр квадригой
вздыбленной
Следит салютную ракету.

Надеюсь, та критическая статья 1946 года, которую я цитировал, объяснит современному читателю, почему эти стихи не были напечатаны, иначе он, пожалуй, будет недоумевать. А тогда у автора были нешуточные неприятности в Литературном институте, и даже его прошлое фронтовика, тяжелое ранение, инвалидность — у него была ампутирована нога — не очень-то его защитили. Не знаю, писал ли он стихи потом. Слышал, что долгие годы работал в литературной консультации. Какая печальная история — так много обещали его первые стихи, а жизнь поэта оказалась сломана в самом начале. Обидно, что он не увидел свои стихи напечатанными, жаль, что многие мои товарищи уже не смогут прочесть эти обжигающие правдой строки об их фронтовой судьбе...

Многие — слишком многие, чтобы считать это отдельными случаями, — произведения о войне, получившие широкое признание, значение которых ныне несомненно, проходили в печать («проходили» — тоже слово, не очень подходящее для искусства, однако, увы, стало привычным) с большим трудом или после публикации подвергались жестоким нападкам, разносторонней критике, что, в свою очередь, иногда на годы отодвигало книжное издание. Для наглядности назову хотя бы некоторые из них: «Возвращение» А. Платонова и «Двое в степи» Э. Казакевича, «За власть Советов» В. Катаева и «За правое дело» В. Гроссмана, «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева и «Пядь земли» Г. Бакланова, «Ожнье повести» К. Симонова и «Убиты под Москвой» К. Воробьева, «Последние две недели» А. Розена и «Наш комбат» Д. Гранина, «Атака с ходу», «Мертвым не больно» и «Круглянский мост» В. Быкова.

Немногим легче было и в последующие годы (разве что реже стали появляться откровенно проработочные статьи) — вплоть до самого последнего времени, когда обстановка стала меняться к лучшему. Сколько лет мариновались в редакциях «Сашка» Вячеслава Кондратьева, «Атака» Анатолия Генатулина, «На старой Смоленской доро-

ге» Вилены Сальковского. Да и широкоизвестный фронтовой дневник Константина Симонова «Разные дни войны», наверно, появился бы лет на десять раньше, если бы публикация первой части не встретила серьезные препятствия...

Я помню, как лет пятнадцать назад на собрании московской творческой интеллигенции один руководящий товарищ с патетическим возмущением бросил в зал: «Вот вы посмотрите фильм Алексея Германа «Операция «С Новым годом!» И тут же с торжеством добавил: «Впрочем, вы его не посмотрите...» Наконец через столько лет зрители смогли посмотреть этот фильм (теперь он называется «Проверка на дорогах») — он завораживает правдой и человечностью.

Впрочем, может быть, зря мы сегодня ропщем на прошлое, зря корим его? Может быть, все это — критические расправы, запреты, положенные на полку ленты, неизданные книги — в порядке вещей, даже на благо искусству: произведения становятся выдержанные, как коллекционные вина, художники от невзгод и гонений крепнут духом и оттачивают мастерство, публика набирается ума-разума, как говаривал бессмертный Пангос, «отдельные несчастья создают общее благо, так что чем более частных несчастий, тем лучше все в целом»? Я бы не поверил в возможность такого рода интеллектуальных игр в наше время, если бы своими глазами не прочитал в журнале «Искусство кино» в рецензии Л. Аннинского, посвященной фильму «Проверка на дорогах», следующее: «Алексей Герман не должен сетовать на жребий: его первый фильм, опоздавший с выходом в свет на полтора десятилетия, смотрится теперь с таким пристальным вниманием, какого он никогда не удостоился бы, если бы второй и третий фильмы не создали Герману славу одного из сильнейших художников нашего кино». Вполне могу понять, что журналу «Искусство кино» по душе позиция Пангоса, — странно, что в этой роли выступает такой искушенный критик, как Л. Аннинский.

Должен или не должен Алексей Герман сетовать на жребий — это, по правде говоря, не худо бы спросить у него (за пятнадцать лет ему дали снять всего лишь два фильма), не знаю, относился ли он к этому с таким философским спокойствием, как Л. Аннинский, но убежден, что подобное расточительство дорого обходится нашему искусству. И не стоило бы Л. Аннинскому употреблять безличную форму «смотрится»: он только теперь смотрел «Про-

верку на дорогах» «с таким пристальным вниманием», а мне посчастливилось видеть фильм пятнадцать лет назад, и он на меня в ту пору произвел огромное впечатление, мне, скажем, тогда было ясно, что это первый в нашем кино фильм о войне, который адекватен тому, что в литературе делает Василь Быков, в те времена тоже еще не очень-то жалюемый. Л. Аннинский уверен, что тогда фильм А. Германа никакой роли в движении нашего искусства не сыграл бы, не «ознаменовал» бы ничего нового. Логика известного персонажа Грибоедовской комедии: «...пожар способствовал ей много к украшенью», — которая увлекла за собой Л. Аннинского, далеко может завести: почему, скажем, ограничиваться только фильмом А. Германа, почему бы и дальше не оставлять на долгое время в парниках редакций и киностудий для дозревания многие произведения — ведь как славно все в конечном счете может получиться! Но мне почему-то такой ход вещей не кажется естественным и плодотворным, наоборот, я рискну высказать предположение, что, появившись фильм А. Германа в свое время, планка идейно-эстетических критериев в кино была бы поднята повыше: запрет же этой ленты существенно затруднил нашему кинематографу и без того нелегкие поиски правды о войне.

На этом Л. Аннинский, однако, не останавливается, он развивает — так кстати для тех, кто когда-то решил судьбу фильма «Проверка на дорогах», — вдруг осеняющую его мысль: «А не ближе ли к истине будет предположить, что в тот момент мы приняли бы картину Германа в качестве «оттепельной» вариации на тему, что не все пленные и перебежчики были трусливыми негодьями, а находились среди них и честные люди; стало быть, людям надо доверять?» Опять же напрасно Л. Аннинский употребляет множественное число — «мы приняли бы» там, где, по-моему, лучше говорить только о себе. О каких это приевшихся ему «вариациях» на тему пленных он отзывается столь высокомерно-нисходительно (кого он имеет в виду, употребляя в данном контексте слово «перебежчики», я понять не могу, у меня даже возникает подозрение, что он не отдает себе отчета, какая непроходимая пропасть разделяет понятия «пленный» и «перебежчик»)?

Боюсь, что эти заполонившие все вокруг «вариации» — «оттепельные» или созданные при другой погоде — померещились Л. Аннинскому, на самом деле их по пальцам можно сосчитать. Тема эта в нашем искус-

стве не была никогда не то что модной или примелькавшейся, а даже сколько-нибудь заметной и если и прорывалась очень редко на книжные страницы, а еще реже на экран, то, как правило, встречалась в самом лучшем случае настороженно. Неловко все это читать: дело идет об одной из самых больших трагедий прошлой войны, трагедии народного масштаба. Напомню, что в плену оказалось 5 миллионов 700 тысяч человек, из них фашисты уничтожили 3 миллиона 300 тысяч. Быть может, Л. Аннинский скажет на это, что для искусства даже такая статистика не много значит. Но как он, человек, причастный к искусству, не почувствовал, что о людях, которые хлебнули такого на фронте, потом в плену, а затем и в послевоенное время, негоже разговаривать небрежно-жеманным тоном, как о чем-то докучливом, надоевшем! Да и мысль о том, что людям надо доверять, я уверен, все еще не утратила своего горького конкретно-исторического смысла, а высокого общечеловеческого не утратит никогда.

И раз уж я заговорил о кино, напомню и о том, с каким трудом (и потерями) пробивался на экран документальный фильм о московской битве Е. Воробьева, В. Ордынского, К. Симонова «Если дорог тебе твой дом...», отличавшийся строгим историзмом, несший в себе огромный эмоциональный заряд (его сейчас, увы, не посмотришь — и кинопрокату и телевидению он явно не по сердцу). И о том, что фильм, который в продолжение запомнившихся «Живых и мертвых» сделал по «Солдатами не рождаются» Александр Столпер, был по перестраховочным замечаниям изрезан до такой степени, что Симонов не разрешил поставить в титрах название своего романа.

О многом еще можно вспоминать... И о том, что только после смерти Владимира Тендрякова увидели свет два его превосходных военных рассказа — «День, вытеснивший жизнь» и «День седьмой». Неужели Тендряков никому их не предлагал? А если не предлагал, то не потому ли, что не надеялся, что напечатают?

На этих днях, через восемнадцать лет после журнальной публикации, в сборнике Василя Быкова, вышедшем в библиотеке «Дружбы народов», напечатана одна из самых сильных его повестей, «Атака с ходу». А с «Мертвым не больно», другой его повестью, хорошо запомнившейся всем, кто прочитал ее в «Новом мире» в 1966 году, медлят, мнутя, видимо, все еще на что-то или кого-то оглядываются. Не нашлось для этих повестей Быкова места и в только что

законченном четырехтомном собрании сочинений, о чем недавно со справедливым негодованием писал в «Правде» А. Адамович, — до чего же трудно ломать инерцию правдобоязни и предвзятости! Да что там говорить, если удостоенный в этом году Ленинской премии «Знак беды» по независящим от редакции обстоятельствам перекладывался из номера в номер, от автора требовали новых и новых поправок, в повести были сокращены отнюдь не длины (смею это утверждать, так как читал «Знак беды» в рукописи). И в недавней телевизионной передаче, показывая на вышедшую отдельным изданием повесть, Быков с горечью заметил, что, наверное, потребовалось бы столько же бумаги, чтобы рассказать, с какими муками «Знак беды» становился книгой.

Я называл наиболее крупные и заметные цели, а ведь били и по площадям. Родившаяся четверть века назад, во время острого спора о баклановской «Пяди земли» формула «окопная правда» на долгое время стала в руках некоторых критиков грозным идеологическим обвинением. Немало книг, а еще больше рукописей было осуждено именно по этой «статье». Анатолий Генатулин вспоминал недавно в «Вопросах литературы»: «В конце 60-х — начале 70-х по редакциям журналов кочевала эта моя повесть («Атака». — Л. Л.). Мне, конечно, отовсюду возвращали ее. Рецензии были уничтожающие. Для краткости привожу только одну выдержку: „Пресловутая «окопная правда» в военной прозе давным-давно сомкнулась с ремаркизмом, переносить который в наши условия вряд ли уместно...“. Нынче эта формула обвинения утратила свою непререкаемую силу и не всех пугает. Но нет-нет и некоторые судьи на поле критики показывают в эту сторону желтую карточку. То «окопная правда» объявляется «устаревшей», вчерашним, преодоленным литературой днем. То оказывается, что она и вовсе потерпела крах.

Одну из главок недавно вышедшей в Горьком книги «Боль памяти» И. Кузьмичев даже назвал «Кризис концепции „окопной правды“». Но на первой же странице его книги я с удивлением прочел: «В битву за подлинные человеческие ценности, в том числе за Память, Мысль, Правду о войне, вступили наши художники-реалисты, и среди них — авторы «лейтенантских» романов и повестей, вчерашние солдаты Великой Отечественной, командиры орудийных расчетов, взводов, батарей, такие, как Бондарев, Быков, Бакланов... Они привели с собою героев, у которых война не забы-

вается. Их память о войне — это память их фронтовой юности. Она приносит им радость и боль, страдания и надежды». Как же это понять: «концепция» никуда не годится, а книги «окопников» прекрасны? Как связать вместе? Но все становится ясно, если обратиться к книге И. Кузьмичева «Герой и народ», вышедшей тринадцать лет назад в издательстве «Современник». Там он совершенно не церемонился ни с Быковым, ни с Баклановым, ни с Симоновым, которого даже объявлял главным виновником всех идеологических пороков военной литературы, ни со многими другими:

«За ним (за К. Симоновым. — Л. Л.) следовала большая группа молодых тогда военных романистов, горячих сторонников «окопной правды», — писал И. Кузьмичев. — По этой причине есть смысл сделать небольшой экскурс в недавнее прошлое нашей литературы и охарактеризовать хотя бы вкратце на двух-трех примерах это противоречивое явление, которое дает о себе знать и сегодня и отзывается на ряде произведений, в том числе «Пропавшие без вести» (1962) С. Злобина, «Убиты под Москвой» (1963) К. Воробьева, «Неудача» (1964) Ю. Гончарова, «Последние две недели» (1965) А. Розена, «Июль 41 года» (1965) Г. Бакланова, «Наш комбат» (1968) Д. Гранина, «Последнее лето» (1971) К. Симонова.

Не будем перечислять имена художников и названия произведений, в которых так или иначе «окопная правда» пересиливает человеческую правду. Остановимся прежде всего на творческом опыте Г. Бакланова, который прочно утвердился в избранном им направлении...»

А «направление» это, по И. Кузьмичеву, такое: Г. Бакланов «отводит солдату в лучшем случае роль слепого исполнителя командирской воли», «изолирует своих героев не только в пространстве, но и во времени», он освободил себя «от докучливой обязанности изображать в народной войне сам народ», «в повестях Бакланова над оголенным полем нашей воинской славы, усеянным трупами безымянных героев, выросло мурло мещанина в образе Мезенцова, да еще на рыжем коне» У В. Быкова тоже дело обстоит не лучше: он «ведет читателя по обочине войны», а затем и вовсе «отходит в сторону дегероизации», у него «события как бы замкнулись сами по себе, отгородились от внешнего мира», «не война с немцами интересует художника, не подвиги людей». И так далее.

Все, по-моему, ясно, хватит цитат. Их вполне достаточно, чтобы убедиться: тринадцать лет назад И. Кузьмичев, как бы

это поделикатнее выразиться, совершенно не считал, что горячие сторонники «окопной правды» отстаивают «Память, Мысль, Правду о войне».

Конечно, не может не вызывать удовлетворения, что достоинства когда-то несправедливо разруганных, в чем только не обвиненных произведений сегодня признают и те, кто прежде камня на камне от них не оставлял. Все-таки жизнь движется, время незаметно все расставляет по местам — даже в таком тонком и вкусовом деле, как литература, где доказательства не безусловны. Я употребил множественное число, потому что И. Кузьмичев не одинок — перестраиваются теперь многие, правда, необязательно меняя взгляды, порой просто согласуя оценки с утвердившимися, на сегодняшний день общепринятыми или достаточно авторитетными. Тот же И. Кузьмичев, рассыпающийся нынче в комплиментах «лейтенантской» литературе 60-х годов, о новой повести Д. Гранина «Еще заметен след» пишет в прежнем зубодробительном стиле, не желая или не умея понять ее содержания: «Герой Даниила Гранина лицо само по себе малопримечательное, начальник какой-то захудалой заводской конторы по сбыту. Но его философия совпадает с философией тех могущественных кругов Запада, которые во что бы то ни стало хотят притупить человеческую память. Они заинтересованы в том, чтобы люди забыли уроки второй мировой войны. В глобальный поход против памяти направлены все наличные идеологические силы буржуазии, в том числе и искусство». Как же это Д. Гранин не заметил, что его герой, таким образом, оказывается участником глобального похода всех идеологических сил буржуазии — ни более, ни менее. Вот и выясняется, что какие-то оценки критик по тем или иным причинам изменил, а методология осталась прежней — вульгарной, проработочной. Подобные кульбиты стали вроде бы в порядке вещей — не реагируем, притерпелись, привыкли.

И все-таки порой беззастенчивость литературных нравов ошеломляет. Готовя собрание сочинений В. Быкова, издательство надумало заказать предисловие критику, который в свое время особенно яростно громил его книги, и тот охотно взялся за это дело. Надо думать, что он теперь написал бы о них по-другому, поменяв, как И. Кузьмичев, минусы на плюсы, — впрочем, это только мое предположение: дело сорвалось, В. Быков почему-то воспротивился осуществлению этого оригинального замысла, не исключая, что в издательстве им

были очень недовольны, корили за нетерпимость и капризы...

Все это говорится не для того, чтобы призвать кого-то к ответу за былые грехи. И покаяний не следует ни от кого требовать — это личное дело каждого, да и чего стоят покаяния по принуждению, под нажимом. Но если человек искренне меняет свою точку зрения, то у него самого возникает потребность открыто и прямо сказать, что прежде он был не прав, заблуждался, особенно если его ошибки были кому-то во вред, иначе его нынешняя позиция лишена какого-либо нравственного обеспечения. Наша печать, к сожалению, обычно обходит молчанием все, что касается литературной этики, нравственного поведения в литературе, сквозь пальцы смотрит даже на случаи вопиющие, а это на руку угодничеству, цинизму, приспособленчеству. Между тем честный и откровенный публичный разговор необходим уже хотя бы потому что иначе не предотвратить повторения ошибок, не предостеречь от конъюнктурного произвола в будущем.

Пусть не истолкуют меня превратно. Я не ратую за то, чтобы произведения, о которых шла речь, были ограждены от критики — и давней и нынешней, — были у них слабости, у каждого свои, меньше всего я хотел бы видеть солдат и лейтенантов нашей войны сегодняшними литературными генералами, перед которыми стоят невытяжку, которым не перечь, которые причислены к «неприкасаемым» (мы имеем возможность в последнее время убедиться, к какому падению художественных критериев приводит появление в литературе разряда авторов, которыми следует только восхищаться). Но критика критике рознь. Одно дело критиковать реальные слабости, другое — жестокие целенаправленные нападки на общее и главное их достоинство — правду о войне, какой она виделась солдатам и офицерам. Одно дело — суждения какого-то критика, которые свободно высказаны в печати и так же свободно могут быть опровергнуты другим критиком: в результате таких споров и должна родиться истина. И иное дело — неестественная, навязанная администраторами от литературы унификация мнений и оценок, все равно — положительных или отрицательных, когда несогласным затыкают рот, ни одна газета, ни один журнал не напечатает их. Кстати, несправедливое возвеличение одних и столь же несправедливое охаивание других всегда взаимосвязаны: если поднимаются вверх книги слабые, посредственные, то талантливые, яркие

становятся бельмом на глазу, само их существование разоблачает мнимые достоинства серых сочинений — вот их и стараются всеми способами спровадить куда-нибудь «вниз», в ущербные, идейно сомнительные, а то и опасные, хотя опасность они представляют лишь для отвернувшейся от правды жизни, художественно несостоятельной литературы. Когда в искусстве уничтожается или извращается принцип состоятельности, когда идейно-эстетические координаты оказываются смещены настолько, что черное получает возможность выдавать себя за белое, а белое объявлять черным, урожайность в литературе резко падает...

А закончить этот разговор об «окопной правде» — что значила воинственная кампания по ее искоренению и чего стоила литературе о войне, — пожалуй, лучше всего цитатой из заметок Виктора Астафьева, напечатанных в «Правде» в год сорокалетия Победы и названных «Там, в окопах»:

«Я был рядовым бойцом на войне, и наша солдатская правда была названа одним очень бойким писателем — «окопной», высказывания наши — «кочкой зрения». Теперь слова «окопная правда» воспринимаются только в единственном, высоком их смысле...

«Всю правду знает только народ», — сказал другой военный журналист, честно выполнявший свой долг на фронте и в литературе, — Константин Симонов.

Итак, «всю правду знает только народ!» Как малая частица этого многотерпеливого, многострадального и героического народа стану и я вспоминать «правду» свою единственную, мной испытанную, мне запомнившуюся, «окопную», потому что другой-то я и не знаю.

Вряд ли можно отыскать писателя фронтового поколения, который не подписался бы под этими словами...

Не академический интерес заставил меня вспоминать всю эту не очень веселую историю. Без нее многое необъяснимо в военной прозе последнего времени — ее стратегические направления, ее важнейшие темы, ее пристальное внимание к невыдуманным подробностям. Не случайно так выдвинулась вперед, так стала популярна документальная проза. Литература словно бы наиверстывала то, что не смогла сделать тогда, когда особенно рьяно третировалась «окопная правда» (ведь это был удобный эвфемизм — на самом деле атаковалась, дискредитировалась просто правда), восставала справедливость по отношению к тем, кому было недодано, о ком го-

ворилось скороговоркой, по касательной, в обход всего, что нельзя было пригладить и отполировать. Это были и солдаты переднего края, на которых наваливалось такое, чего человеку никак не вынести, и все-таки выносившие и невыносимое, и девушки, служившие в действующей армии и занимавшиеся делом, которое не зря веками считалось не женским, и ленинградцы, на которых обрушился жуткий блокадный голод и холод и у которых шансов выжить было не больше, чем у солдата, поднимающегося в атаку, и чудом уцелевшие в огне карателей жители белорусских Хатыней, вернувшиеся с того света, и беззащитные дети, по которым война ударила с чудовишной жестокостью. Никогда прежде литература не уделяла столько внимания жертвам войны, мученикам фашистских палачей (много времени ей внушали, что она должна изображать преимущественно людей активного действия, с оружием в руках сражающихся против захватчиков) — в этом выражался ее антивоенный пафос, становившийся все сильнее и осознаннее, что отчетливо проступает в зрелом творчестве Быкова. Наконец, документальная литература проявляет особый интерес к людям, которым по разным причинам не было воздано за их выдающиеся заслуги перед отечеством в годы войны, — это генерал Петров, адмирал Кузнецов, ас-подводник Маринеско.

В художественной прозе идет процесс, параллельный расцвету документалистики, почва тут общая. Возрастает значение первоизданного, невыдуманного материала, высоко ставится скрупулезная добросовестность в воссоздании фронтовой обстановки, армейского или тылового быта, тщательная выверенность всех реалий времени, места, военной профессии и так далее. Образцовым в этом смысле был роман Владимира Богомолова «Момент истины» («В августе сорок четвертого...») — он открывал поразительные возможности поэтики точности и достоверности. У художественной ткани этого романа одна группа крови с документами, в таком количестве и с такой дерзостью включенными в произведение, — произведение представляет собой органическую эстетическую структуру. Кстати, большая часть подражателей В. Богомолова не понимает этого, они механически заимствуют прием, надеясь, что документы прикроют убожество и уязвимость жизненной основы их детективных и полудетективных сочинений. Конечно, ничего путного не получается, неизбежно происходит то, что в медицине называется отторжением, доку-

мент не может врасти в столь чужеродную ему беллетристическую ткань.

Сила достоверности — уже этим привлекают к себе лучшие произведения последнего времени о войне. Как бы в остальном ни отличались друг от друга «Навеки — девятнадцатилетние» Г. Бакланова и «Я погиб в первое лето войны» Ю. Пзэгеля, ржевские повести В. Кондратьева и «Самоходка номер 120» К. Колесова, «Атака» А. Генатулина и «Мгновение — вечность» А. Анфиногенова, это свойство у них общее. Что было замечено и критиками, об этом как о сознательной задаче говорят и сами писатели. «...по прошествии десятилетий, — делится своими наблюдениями в книге «Слова, пришедшие из боя» Вячеслав Кондратьев, — стало почему-то важно восстановить каждую малость, каждую примету, каждую деталь жизни того времени. Не только я придаю деталям и быту такое значение. Сравните у Бакланова «Пяць земли» и «Навеки — девятнадцатилетние». Быта, деталей больше в последней вещи. Почему так, не задумывались? По-моему, потому, что поняли мы писатели фронтового поколения: если мы не расскажем, то не расскажет уже больше никто. Вот и хочется вырвать из забвения любую вроде бы мелочь, без которой картина прошедшей войны окажется неполной...»

Недавно Даниил Гранин написал очерк «Ленинградский каталог» — очерк для нашего времени неожиданный, в прошлом веке его, пожалуй, назвали бы физиологическим. Вспоминая Ленинград 20—30-х годов, писатель заметил, что «быт, нравы, обычаи — все сменилось, вся городская жизнь стала иной», и попытался рассказать о вещах, о приметах быта, которых уже нет, которые ушли в прошлое, а многое определяли в повседневном течении жизни. Ему показалось очень важным сохранить, увековечить все это хотя бы на бумаге — иначе нельзя представить себе, каким был Ленинград в первую пятилетку, как жили тогда люди. Этот очерк Д. Гранина рожден тем же чувством, о котором говорит В. Кондратьев. А возникло оно сейчас, рождено сегодняшним мироощущением.

Все это — безупречную достоверность батальных картин, невыдуманные, неповторимые подробности повседневной фронтовой жизни на передке — очень ценит и Василь Быков. С его напутствием недавно в Душанбе вышли солдатские записки Ефима Гольбрайха «Войны разрозненные строки». «Автор настоящих записок безусловно, но очень правдиво, со сжатыми

ной точностью участника и очевидца повествует о пережитом...» — рекомендует эту книгу читателям В. Быков. «Главная ценность записей в их достоверности, подлинности боевых ситуаций и душевных состояний действующих лиц...» — это уже из предисловия В. Быкова к автобиографической повести Теодора Вульфовича «Там, на войне», опубликованной в июньской книжке «Нового мира».

Возникает соблазн сказать, что Василь Быков потому и поддержал эти солдатские и лейтенантские записки, что в своей новой повести и сам следует в том же направлении. Можно даже в доказательство привести некоторые страницы из «Карьера» — скажем, очень сильно написанный рассказ Семёна Семенова о разведке, в которой ему так не повезло (подорвался на mine), или эпизоды первого боя, в котором участвует главный герой, — он не в состоянии в памяти своей соединить их в более или менее цельную картину, что мало кому вообще удавалось. И все-таки это не так. У Быкова иная задача. Если бы речь шла о «Его батальоне», то эту повесть можно было бы поставить рядом с теми произведениями, которые я назвал. А присоединить к ним «Карьеру» нельзя, не погрешив в угоду удобной критической схеме против истины. Да и вообще, определяя направление литературного развития, мы имеем дело не с всеобъемлющими категориями, а лишь с теми или иными тенденциями, которые, к счастью, никогда не охватывают всех явлений, что-то остается в стороне, что-то идет вразрез, иначе какой уныло-однообразной предстала бы перед нами литература. И как бы ни была сильна наметившаяся тенденция, обычно рядом и параллельно с ней существуют и другие, иногда направленные к иным целям, иногда стремящиеся к той же цели, но иным путем. Тенденции сближаются и расходятся, переплетаются, противостоят.

Быть может, какие-то читатели, восприятие которых настроено на прозу, близкую к документальной и мемуарной, сочтут концентрацию подробностей и мотивировок в «Карьере» недостаточной — это дело вкуса, а о вкусах, как известно, не спорят. Но при этом надо все-таки иметь в виду, что пафос вещи в другом, что автор сосредоточен на проблемах нравственно-философских, их он исследует. И для него важна прежде всего и главным образом достоверность душевных состояний — вот чем он поглощен. Время, его обстоятельства, сила их давления на человека и мера и возможности его сопротивления им, возника-

ющие при этом нравственные деформации, которые, что существенно, как деформация не воспринимаются, — все это проступает при пристальном рассмотрении автором душевных движений героя, его внутренних побуждений, куда, к чему они вели его, где он был человечен, а где изменял человечности. Мерой Быкову служат здесь общечеловеческие идеалы, сама жизнь как самая высшая, абсолютная ценность — кажется, ни в одной из его прежних вещей это не делалось так прямо, открыто и страстно. Он и сам говорит об этом: «Героизм, долг, ответственность, самоотверженность... Обычно критика, разбирая мои предыдущие повести, выделяла в них психологическую разработку именно этих, очень важных на войне и, разумеется, не менее существенных в мирной жизни нравственных понятий. В «Карьере» я пытался взглянуть несколько дальше, обратиться к фундаментальным ценностям человеческого бытия. Непреходящая ценность, может быть, самая важная — человеческая жизнь. Об этом стоит помнить всегда. Но сейчас — тем более, поскольку появилась опасность исчезновения человеческого рода».

Сосредоточенный на проблеме и вечной и жгуче современной, В. Быков, однако, исторически точен в изображении и событий военных лет, и внутреннего мира, строя мыслей и чувств участников тех событий. Наверное, лучше сказать еще конкретнее — повесть посвящена сорок первому году. Конечно, война была кровавым и смертоносным делом все четыре года — до самого последнего своего часа: гибнут пехотинцы летом сорок четвертого на Карельском перешейке в «Атаке» А. Генатулина, гибнут артиллеристы в апреле сорок пятого, когда до Берлина рукой подать, в «Самоходке номер 120» К. Колесова. Сложить голову на войне можно было в любой день, в любую минуту. Но сорок первый — особая пора. И горькие те испытания тоже особые.

У поэта фронтового поколения Наума Кислика есть прекрасное стихотворение, которое помогает понять, почему они особые, те испытания, почему тяжесть тех дней ни с чем не сравнима. Оно о «жестокоем различье» между «последним поколением войны» — солдатами 1925 и 1926 годов рождения — и теми чуть постарше, на кого обрушился первый страшный удар гитлеровской армии:

Ведь 25-й,
тоже битый, мятый,
и он познал стальных клещей захваты,
но их ломая, чуял:
мы сильны.

И не хлебнул того, что звали драпом,
пред первым их, пред броневым
нахрапом, —
он сам держал клещами ось войны.
Того, как слово «плен» крошечной птицей
над головою стриженной кружится,
и знать не знали эти пацаны

Такою страшной разностью цены
живые, павшие
от тех живых и павших,
стоявших насмерть,
насмерть отступавших,
пропавших без вести,
по лагерям сдыхавших,
от старших,
из небытия восставших,
мы все в своей судьбе отделены.

Не зная этого, разве поймешь героя «Карьера»? Полк его, беззащитный перед авиацией и танками, был разгромлен, а он, чудом уцелевший, чудом вырвавшийся из окружения и не попавший в плен, с развороченной осколком ногой, добрал вместе с однопольчанином до белорусского местечка, надеясь с его помощью найти там какой-то приют, какое-то убежище, где можно залечить рану, а потом пробраться к линии фронта, к своим, чтобы занять место в армейском строю. Но на каждом шагу к этой цели, казавшейся простой и ясной, возникали новые и новые, совершенно неожиданные, трудноодолимые препятствия. Он никогда не стремился к легкой жизни, не боялся трудностей и невзгод, как человек военный, был готов идти в бой, в огонь, но прежде все ему было ясно, во всех ситуациях, которые он только мог себе представить, он знал, как вести себя, что делать. Он ощущал себя частицей великого целого олицетворявшего силу и разум. И вдруг рухнул незыблемый, не вызывавший никаких сомнений порядок вещей: немисливо, но отступала, терпела одно за другим тяжкие поражения его армия, которая должна была только побеждать; не укладывалось в сознании, но у фашистов оказались готовые на все прислужники и подручные, и среди них — совсем уж невероятно — даже вчерашние командиры нашей армии. Уходила почва из-под ног — было от чего терять голову, приходило в отчаяние: «...немцы: ломали оборону, обходили, окружали на широком фронте и безостановочно катились на восток. Где они сейчас и где фронт, что ждет армию и страну в недалеком будущем — вот те вопросы, от которых в гнетущем испуге билось сердце, которые, если над ними задуматься, казалось, были способны свести с ума. На его глазах гибли люди, рушились вековые устои и ставилось под вопрос будущее всей земли...» Как могло

случиться, что он, командир Красной Армии, вынужден на своей земле прятаться, всего и всех опасаясь, куда увлекает его лавина грозных событий, что будет с ним?

Быков, как он уже не раз делал с героями прежних своих произведений, оставляет Агеева в одиночестве с его смятением, с его отчаянием, с мучительными вопросами, на которые герой не может найти ответов. Раньше попав в сложный переплет, он мог уповать на прозорливость начальников, рассчитывать на помощь товарищей, стоящих рядом в строю, наконец, руководствоваться сложившимся общим мнением. А теперь он должен был противостоять бедам, обступившим его со всех сторон, опираясь лишь на собственные мужество, разумение, совесть. Он должен был все решать сам, не ожидая ни помощи, ни подсказки. Возможностей для выбора у него оставалось все меньше и меньше, обстоятельства шаг за шагом загоняли его в угол, из которого, кажется, можно было выбраться или пожертвовав жизнью, или став предателем. Безвыходность его положения прекрасно понимали заприметившие Агеева полицейские: куда ему деваться в чужом местечке, с незажившей раной — или придет к ним, начнет им служить, расписочку-то о сотрудничестве полицейские у него вытребовали, не отвертелся, или другая дорога — в яму, кормить червей.

Робкая, почти призрачная надежда на какой-то выход, все-таки не оставлявшая Агеева, — та единственная ниточка, которая связывала его с только-только возникающем после шока военного поражения подпольем. Ну а если эта ниточка порвется? Или подпольщики на всякий случай, опасаясь ловушки, от него отстранятся — ведь он сам их предупредил, что им заинтересовались полицейские и ему пришлось дать им расписку. Тогда как ему быть, что делать?

А тут еще, на счастье, на беду ли, судьба свела его с девушкой. Полюбили они друг друга, когда все вокруг летит в тартарары, когда не знаешь, что с тобой и с ней будет завтра. Был ли он готов к этой новой, дополнительной ответственности, которая легла на его плечи? Осознал ли ее до конца? Наверное, нет. Его душевные силы, его лихорадочно-тревожные думы были сосредоточены на другом.

Мария пришла в дом, где он скрывался, в надежде на защиту, но мог ли он, сам загнанный в угол, по-настоящему

защитить ее, мог ли он, когда выяснилось, что Мария ждет ребенка, защитить его? Да и какое значение, казалось ему, имеет чья-либо маленькая жизнь сейчас, когда идет жестокая борьба миллионов. И никому нет пощады? До жалости ли здесь? И тут роковой случай заставил Агеева действовать с безоглядной решимостью. За взрывчаткой, которая хранилась у него, долго не приходили, это не давало Агееву покоя, подстегивало его, «видно, следовало проявить инициативу, позаботиться о доставке тона на станцию, где его ждали», так решил он. Сам идти он не мог. И, подавив возникшие у него сомнения — можно ли подвергать ее такому риску, — он отправил со взрывчаткой Марию. Долг, который ему следовало выполнить — разве это только его долг! — позволяя, считал он, распорядиться не только своей, но и ее жизнью. Марию схватили, и, хотя она Агеева не выдала, полицейские все-таки напали на его след. Так Агеев и те трое подпольщиков, которые похоронены теперь на площади этого местечка, оказались в карьере, на краю обрыва, под дулами винтовок полицейских. Его не убили, а тяжело ранили, чудом он остался жив. А что стало с Марией, он не смог узнать ни тогда, в войну, ни потом, вот сейчас он предпринимает последнюю попытку, перекапывая этот заброшенный карьер...

Не надо представлять себе Агеева человеком бесчувственным, бездушным эгоистом, переступившим через какие-то общепринятые тогда нравственные нормы. Дело совсем не так просто. Он вполне достойный человек — честный, самоотверженный, отзывчивый. Но он человек своего времени, и его нравственные представления принадлежат той безжалостной поро крайнего ожесточения, безжалостной решимости. Они так понятны у поколения, которое война рубила под корень, тем более что принимались как безупречные, неколебимо справедливые. Экстремальная, трагическая ситуация, в какую попал Агеев, обнаружила, выявила — но только сегодня это проступило столь зримо — не одну лишь силу и высоту, но и уязвимость, даже ущербность жизненной позиции, воспринимавшейся тогда как цельная, последовательно человеческая и, главное, единственно обеспечивающая победу над врагом.

Это мироощущение выразил в удивительно точной и емкой поэтической формуле в свое время Семен Гудзенко:

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б
не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред
господом богом, чисты...

О том, что это мироощущение было общим, действительно мироощущением целого поколения, свидетельствуют стихи и других поэтов, которых с Семеном Гудзенко объединила общая фронтовая молодость.

В одной из популярных песен Булата Окуджавы из кинофильма «Белорусский вокзал» возникает тот же мотив — на пути к победе ни с чем не считаться, ни перед чем не останавливаться: «А нынче нам нужна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим». Песня написана через много лет после победы, но это взгляд на войну изнутри войны. С таким чувством уходили в бой. Чтобы подчеркнуть, что оно принадлежит именно и только тому времени, поэт предваряет эти строки другими — в них взгляд уже из наших дней, которые тогда были почти немислимым — доживешь ли? — будущим: «Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим...» Из этого все-таки наставшего «когда-нибудь» с уже совершенно иным чувством — боли и жалости — провожают в бой в другой песне Булата Окуджавы. «До свидания, мальчики»:

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите.

и все-таки
попытайтесь вернуться назад.

Агеев раскапывая свое прошлое, видит его уже иными, умудренными глазами: «Иногда, вспоминая пережитое, он не узнавал себя нынешнего, так мало в его характере осталось от молодого Агеева». Действительно — «и не поверится самим»..

Лет десять тому назад Василь Быков, беседа в «Вопросах литературы» с критиком, заметил. «...иногда к проблемам, которых я только коснулся в какой-то повести (они были для меня боковыми), я возвращаюсь позже, чтобы заняться ими основательно.» Анализируя «Знак беды», Алесь Адамович увидел в этом один из внутренних законов творчества Василя Быкова: «Когда-то соборы строили веками, несколько поколений мастеров сменялось, и все они должны были соотносить свою работу с уже сделанным — будущие формы прочитывали в уже вложенных камнях. И чем дальше продви-

галась работа, чем больше наработано, тем зависимее были мастера от уже существующего. Это ли происходит, произошло и с Василем Быковым? Не думаю, что он с самого начала задумывал тот величественный цикл повестей, который состоялся и все еще сохраняет неистраченную энергию продолжения. Но чем больше набравалось, тем сильнее удерживало писателя уже сделанное, творческая фантазия его несла и несет в себе, с одной стороны, строгий расчет, а с другой — одержимость исследователя: раскрыть еще одну грань, еще одну возможность человека, совершенно новую, иную... Каждая повесть живет и сама по себе, но имеет также силу как часть целого, цикла. Как шахматные фигуры в напряженной игре, где значение каждой зависит еще и от расстановки, взаимодействия».

Это пронизательное наблюдение. Внутри обширного, разветвленного художественного мира, который являет собой творчество Василя Быкова, многое взаимосвязано — перекликаются конфликты, судьбы героев. мысли, — одно произведение помогает лучше, глубже понять другое, мотив, громко прозвучавший в одной повести, эхом отзывается в другой, явление, однажды исследованное, рассматривается под новым ракурсом и обнаруживает неведомую прежде грань.

Читатель «Карьера», хорошо помнящий прежние вещи Быкова, вычитает в новой повести куда больше, чем тот, кто плохо знает творчество писателя. Наверное, такой, как говорили в былые времена, просвещенный читатель вольно или невольно соотнесет картину первых месяцев гитлеровской оккупации Белоруссии, нарисованную в «Карьере», с тем, что знает об этом кровавом времени из «Обелиска» и «Знака беды». И некоторые мотивы новой повести обогатятся, притянут, как магнит, из предыдущих вещей дополнительное содержание (размышления Степаниды из «Знака беды»: «Каким надо быть рассудительным, не злым, справедливым! Потому что твое зло против ближнего может обрушиться — и еще с большей силой! — назад, на тебя самого, тогда ой как делается больно» — заставляют, скажем, задуматься над тем, что варварски разрушенная в начале 30-х годов церковь стала у оккупантов полицейским застенком); судьбы и ситуации, сохраняя свою неповторимость, не будут казаться исключительными (читая об Агееве, которому приказано коман-

довать одной из прорывающихся из окружения групп: «Нет, погибнуть теперь было не самое страшное — страшнее было не вышолнить приказ, не суметь, опозориться. Этого Агеев позволить себе не мог», вспоминаешь героя «Дожить до рассвета», наверное, в определенных обстоятельствах Агеев был способен повторить его судьбу; в старосте Петре из «Сотникова» можно обнаружить в свернутом виде идею характера Барановской); обелиск и в «Карьере» напоминает о не до конца проясненной человеческой трагедии, одной из великого множества похожих и не похожих друг на друга, а знаком беды отмечено не только пепелище хуторской усадьбы Степаниды и Петрока, но и вымощенный мелким булыжником, теперь заросший густым бурьяном дворик перед заброшенным домом Барановской на окраине местечка.

Если искать у Василя Быкова, где он впервые столкнулся с той нравственной проблемой, раздумья над которой привели его затем к «Карьере», на ум сразу же приходит финал «Сотникова». Вспомним, как истерзанный в полиции заплочных дел мастерами Сотников, опираясь на спину Рыбака, с трудом взобрался на стоявший под виселицей чурбан: «...теперь, в последние мгновения жизни, он неожиданно утратил прежнюю свою уверенность в праве требовать от других наравне с собой». Наверное, ему не давало покоя чувство вины перед старостой Петром и Дёмчихой, которых они подвели под петлю, наверное, пожалел он и Рыбака — не проклял, а пожалел, что неплохой, в общем, парень покатился в пропасть, не сумел умереть, сохранив достоинство и честь.

Вот и в «Карьере» сцепщик Зыль, молодой уже человек, понимающий в жизни много больше, чем те молодые люди, с которыми вместе ему суждено умереть, не обвиняет, а защищает от нападок своего племянника, который, не выдержав пыток на допросах, назвал своих товарищей по подполью, в том числе и его. Позиция автора тут не вызывает сомнений: не с осуждением, а с состраданием относится он к тем, кто претерпел столь ужасные муки, — не зря в повести и Семенов, тертый войной без всякого милосердия и в армии и на оккупированной территории, рассказывая, как полиция избивали до полусмерти раненого начальника штаба партизанского отряда, человека верного и мужественного, а тот

не выдержал — «все-таки что-то и скажет», — с пониманием и сочувствием заключил: «Не очень веселое это дело — в их руках побывать». Такое сострадание, сочувствие не мягкотелость Зыля и Семенова. Автор, нравственный максимализм которого общепризнан, потому и присоединяется к своим персонажам, что они, последовательно отстаивая человечность, понимают, что жестоко, бессердечно требовать от людей того, что сверх человеческих сил. Человеколюбие, прежде всего оно, делает Зыля, как и Барановскую, непримиримым борцом с фашистами — он сразу же одним из первых вступает с ними в борьбу. И именно он оказывается в их подпольной группе человеком наибольшего мужества. Уже перед лицом смерти на краю обрыва, услышав, как начальник полиции сказал, что он сжег двенадцать вагонов, Зыль с вызовом бросает ему: «Не двенадцать, начальник! Семнадцать! Семнадцать вагонов я сжег! Пусть там запишут: семнадцать...»

Для писателя то неожиданное чувство, с которым Сотников уходил из жизни, было открытием новой, высшей ступени человечности. Задумавшись над природой этого чувства, над его нравственной сутью, Быков закономерно пришел к мысли, что даже готовность к самопожертвованию не дает права не считаться с чужой жизнью, что человеческая жизнь представляет собой абсолютную ценность. В этом пафос написанной им через несколько лет после «Сотникова» «Волчьей стаи». Спасая от карателей новорожденного младенца, Левчук совершает невозможное. Младенец, конечно, вязал его по рукам и ногам... Но если бы не младенец, Левчук ни за что бы не выдержал такой облавы, не вырвался бы из кольца — сил бы на это не хватило. Откуда же они у него взялись, что это за силы? В повести Алеся Адамовича «Последний отпуск» есть такой эпизод. Оккупанты в отместку за какого-то убитого начальника решили расстрелять всех жителей улицы, на которой жил герой, тогда еще мальчишка; когда их уже гнали к яме, мать, нечеловеческим усилием разогнув толстые железные прутья кладбищенской ограды, вытолкнула его, и он бежал, спасся. Чувство, которое движет Левчуком, сродни материнской любви — мать, защищая свое дитя, способна творить чудеса. Младенец, которого если и мог кто-то спасти, то только он, Левчук, ответственность за беззащит-

ную жизнь подностью легла на его плечи,— этот беспомощный младенец неожиданно раскрывал партизану простую, но самую главную цель невиданно жестокой, невыносимо тяжелой войны, которую им пришлось вести: «ради жизни на земле» борются они, страдают и гибнут. Левчук если и не осознавал, то остро чувствовал это.

В «Карьере» мысль о человеческой жизни как высшей ценности сущего доказывается автором, так сказать, от противного. Сегодняшний взгляд на прошлое открывает Агееву, что его беда в том, что он тогда не посчитался с этим безусловным принципом — «ради жизни на земле», переступил через него. И жестоко поплатился — потерял Марию, самого дорогого ему человека, поставил под удар и ее и их будущего ребенка, едва зародившуюся жизнь, забота о которой заложена в генетическую память рода человеческого. Как, в каком затмении мог он пожертвовать той, которая была его любовью, его счастьем? (Тут уместно заметить, что эта трагическая история эмоционально воздействовала бы еще сильнее, если бы любовь Агеева и Марии была написана ярче, проникновеннее, увя, это не лучшие страницы повести; видимо, изображение любви вообще не очень дается Быкову — тому свидетельство и романтическая выпренность «Альпийской баллады»: здесь странным образом пасует столь сильный во всех остальных случаях быковский психологизм.) На чем же сбилась у Агеева, человека доброго, неэгоистичного, стрелка его внутреннего нравственного компаса, что увело ее в неверную сторону?

Кое-что нам подскажут прежние произведения Василя Быкова. Он не раз так или иначе касался в них такой тяжелой, дорого стоившей нам общественной болезни, как подозрительность, огульное, превентивное недоверие. Получившие теоретическое обоснование в идее, что по мере укрепления социалистического строя классовая борьба внутри страны будет обостряться, вражеские силы стали действовать все опаснее и зловернее, подозрительность деформировавшая общественную мораль преследования по формально-анкетным признакам расправы на основе ложных обвинений очень больно ударили в 30—40-е годы по многим людям. Это стало кошмаром — непонятным, необъяснимым и тем более поэтому ужасным — того времени. И тяжелый сон, который преследует в плену ге-

роя «Альпийской баллады», навеян не менее тяжелой явью: «По прибитой овечьими копытами улице Иван бежит к колхозному амбару, куда — он это знает — пригнали со связанными руками Голодая и с ним еще нескольких знакомых гефтлигов. Сердце у Ивана разрывается от обиды, от напряжения. Кажется, он опоздает и не докажет людям, что нельзя срывать злость на пленных, что плен — не проступок их, а несчастье, что не они сдались в плен — их взяли, а некоторых даже сдали, предали — было и такое. Но он не добегает до амбара». В другой повести, в «Западне», изменник Чернов-Шварц придумывает остроумный, как ему кажется, способ расправы с несговорчивым пленным лейтенантом: он предлагает немцам отправить его к своим — там лейтенанту несдобровать, «на той стороне все в квадрат возведут». С издевкой он бросает на прощание Клименко: «Зондерпривет коллегам!» — уверенный, что «коллеги» не очень будут разбираться, прав или виноват лейтенант, — «замаран», и все тут. В «Обелиске» учитель Мороз ушел из партизанского отряда и сам отдал себя в руки полицаяв, которые объявили, что, если он явится, они выпустят его учеников. Мороза казнили вместе с учениками. Но поступок его не был понят, и тень подозрения на долгие годы легла на его доброе имя. Вот почему на обелиске, сооруженном в память о казненных школьниках, нет его фамилии.

Эта мрачная тема возникала в литературе о войне и до Быкова. Федору Таланову, герою леоновского «Нашествия», лишь ценой жизни удалось разорвать круг недоверия, в котором он оказался. Полковник Бабуров из симоновских «Записок Лопатина» — после того как его в тридцать седьмом арестовали, обвинив в участии в каком-то мифическом заговоре, но, продержав два года в тюрьме, к счастью, не такому частому тогда, выпустили, — «на всю жизнь испугался. Испугался всего, в чем когда-нибудь и кому-нибудь вздумалось бы его обвинить. Испугался всякой ответственности, которую ему правильно или неправильно могли приписать». И в минуту трудную сломленный этим страхом Бабуров выстрелил себе в сердце.

Страх оказаться в положении человека отверженного, попавшего под подозрение, утратившего доверие, и был той главной внутренней причиной, которая толкнула Агеева на роковой шаг. Откуда

же этот страх? Ведь в жизни его ничего подобного тому, что пережили герои Л. Леонова и К. Симонова, о которых только что шла речь, не было, такого рода беды минули его, судьба его и служба складывались в довоенные годы как будто бы вполне благополучно. Но разве он был совсем глух и слеп, не замечал, не слышал того, что происходит вокруг? Неужели он дышал каким-то другим, особым воздухом, очищенным от микробов подозрительности? Да нет, Агеев, как я уже говорил, был во всем человеком своего времени — мог ли он уберечься от столь распространенных предрассудков и заблуждений?

Как глубоко все это проникло в души людей, можно судить по одной записи из фронтового дневника Константина Симонова. Запись относится к сентябрю сорок первого года, к его, корреспондента «Красной звезды», поездке на Арабатскую стрелку вместе с членом военного совета 51-й армии А. С. Николаевым; перевозили их рыбаки, за несколько дней до этого угнавшие свои лодки из Геническа, куда неожиданно ворвались немцы. «Темно было так, что я с трудом различал лицо Николаева, сидевшего напротив меня. Мы тихо переговаривались. Рыбаки могли бы в такую ночь завезти нас куда угодно, если бы они польстились на немецкую награду, которая, наверное, была бы немалой за генерала и корпусного комиссара сразу. Мы лавировали по волнам, причем геническое зарево оказывалось то слева, то справа от нас, и скоро мы потеряли всякую ориентировку по отношению к берегам. Завезти нас куда угодно и посадить не на тот берег не составляло никакого труда». Публикуя дневник, Симонов прокомментировал эту запись: «Откуда они взялись в моем дневнике, эти кажущиеся мне сейчас нелепыми и даже оскорбительными слова о рыбаках, которые «могли бы в такую ночь завезти нас куда угодно»? В других случаях я иронизировал в дневнике над подозрительностью других людей. А здесь мне самому пришла в голову мысль, наверно рикошетом долетевшая откуда-то из тридцать седьмого года. Значит, в каких-то обстоятельствах я и сам, очевидно, мог быть несправедлив в своем хотя бы мысленном недоверии к людям, в мысленном допущении того, чего не было оснований допускать. Значит, какой-то честицей это недоверие все-таки сидело во мне тогдашнем...»

Да, к явлению, которое мы называем

подозрительностью, Быков обратился не первый, да и сам он до «Карьера» уже касался его. Но на сей раз он пристально вглядывается в одну его грань, кажется еще не исследованную искусством, — это страх потерять доверие, охватывающий, как правило, человека, в душу которого проник микроб подозрительности. Так оно и было с Агеевым. Крепко в нем сидело недоверие. Он настороженно относился к Барановской, сомнения — верный ли она человек — не оставляли его. Он отлично понимал, чем она рискует, укрывая у себя его, раненого командира, — немцы за это по головке не погладят, расправятся не только с ним, но и с нею, — однако «где-то в глубине его души все же таилась подленькая опаска: как бы она не подвела его, эта попадя. Все-таки она принадлежала к чуждому классу, а разность классовых интересов есть вечная предпосылка для борьбы, это он усвоил себе со школь». Даже Марию он поначалу подозревает: «А может, она подослана? Завербована и внедрена?»

Многое в сознании Агеева смещено, перевернуто, многое он принимал на веру не задумываясь. Его, скажем, мало смущают несправедливо жестокие преследования священника Барановского, он считает это в порядке вещей: религия — опиум для народа, попы — коварные противники нового строя, готовые на все; он поражен, узнав, что Барановский был добрым и хорошим человеком, никому не делал и не желал зла, заботился о благе и просвещении прихожан, принял народную власть. Он бы нисколько не удивился, если бы Барановская, вынесшая столько горя и обид от советской власти, встала на сторону фашистов, а она считает их злейшими врагами, всем чем может помогает тем, кто с ними борется, за что легко заплатить головой, — Агеева это поражает, он не может толком понять, что же его движет. Война поставила под сомнение кое-что из того, в чем он прежде никогда не сомневался, — жизнь, в которой вроде бы все было ясно определено и заведомо известно, оказалась своевольной и запутанной, не разглядишь, что там впереди, на каждом шагу можно оступиться, да так, что уже не встанешь. К этому Агеев не был готов, тут годились далеко не все из затверженных им истин, иные оказались несостоятельными, а он не понимал, что направляют они не на путь истинный, а в тупик.

Определяя идейно-эстетическую структуру произведений Василия Быкова, кри-

тики назвали их повестями нравственно-го эксперимента. Действительно, писатель ставит своих героев в такие условия, в которых давление неблагоприятных обстоятельств достигает высшей, критической точки. Это позволяет ему выявить максимальный потенциал — положительный, или отрицательный — их чувств, их душевных возможностей; при нормальных нагрузках обнаружить эти внутренние резервы духа и скрытые трещины характера невозможно. Быковский психологизм и в новой повести направлен на этику.

Не попади Агеев в такой переплет, разве можно было бы предположить, что посеянная в его душе подозрительность обладает такой разрушительной силой, способна затуманить голову, толкнуть на поступки, глубоко чуждые его натуре? А в ситуации он оказался, на самом деле не оставляющей никаких надежд: пришлось дать полициям подписку о сотрудничестве, он честно рассказал об этом Кислякову и Молоковичу, товарищам по подполью, надеясь, что они помогут ему — других связей у него здесь нет — убраться куда-нибудь подальше из местечка, лучше всего в лес, в партизанский отряд. Но стоило им только узнать об этой злополучной бумажке, какая-то незримая стена отчуждения выросла между ними и Агеевым. Молокович тот ему прямо сказал: «Но ведь и там надо... доверие. С подозрением куда же в отряд?» А что на это ответить: ведь он не задумывался, когда подозрение падало на других, и сам грешил недоверием к людям, а теперь вот он под подозрением, ему не верят, к нему относятся с опаской — может ли он рассчитывать на понимание, на то, что кто-то разберется в его истории?

Позже, уже в полицейском подвале, он подумает обо все этом с беспощадной справедливостью по отношению к самому себе — чего же ему ждать от других, если и сам он таков: «...куда бы он побежал? Ведь следом они пустят слух, что он их агент Непонятливый, и от него отшатнутся все. Тот же Молокович первым потребует справки над ним и будет прав. Пожалуй, на его месте Агеев поступил бы так же». Это и было самое страшное — «поступил бы так же». Отсюда внутренняя безысходность положения Агеева. Логика, требовавшая, чтобы на нем поставили крест, была и его логикой. Вот почему собственный душевный опыт не мог служить ему опорой, наоборот, ввергал в отчаяние.

Он метался: как вернуть доверие, как снять с себя подозрение? И в голову ему пришла безумная мысль: может быть, тол оставили у него, чтобы его испытать, проверить. «выжидают, как он поведет себя с этим толом, кому передаст»? И тогда он решил послать на станцию Марию — он был так погружен в свое, так хотел оправдаться, что отгнал мысль: а есть ли у него право рисковать ее жизнью? Потом, когда уже ничего нельзя было изменить, исправить, Молокович, догадавшись, что толкнуло Агеева на этот отчаянный шаг, попрекнет его: «Вам не терпелось оправдаться, рассеять подозрения». В страхе быть заподозренным и была настоящая причина нравственного слома Агеева...

Почувствовав на себе, каково придется тому, к кому относятся с завидомой предвзятостью, кто возникшим подозрением заранее осужден, Агеев начинает осознавать, что порочный круг подозрительности нельзя разорвать, не изменив отношения к человеку, к цене его жизни, — в этом суть: «Оставшись один, он стал думать, почему так устроены люди, что вот появляется маленькая неясность, и уже готовы усомниться, готовы поверить нескольким окольным фактам и не верить долгим годам дружбы, знакомства, совместной работы, наконец, испытанию смертью, которое они недавно совместно выдержали. Но неужели Молокович тоже усомнился в его честности, неужто подумал хоть на минуту, что он двурушничает и может их предать?.. Но ведь, наверно, подумали? Наверно, думать так было привычнее? Или прощай? Или, возможно, практичнее, дальновиднее? Но если дальновиднее, как же тогда его человеческая судьба? Или в такой обстановке одна судьба ничего не стоит? Так сколько же тогда судеб чего-нибудь стоят? Сто? Тысяча? Десять тысяч? Нет, видно, если ничего не стоит одна, так мало стоят и десять тысяч».

Так соединяются два главных мотива повести, вернее, обнаруживается, что они связаны между собой неразрывно — как следствие и причина. И относятся не только ко времени войны, оккупации, подполья — в довоенные годы исчез однажды ночью Барановский, после закрытия церкви зарабатывавший на скудный хлеб сапожничая, но все равно гонимый и преследуемый А после войны Семенов «восемь лет белых медведей пас», «у него... в деле чего-то значилось» с войны, видимо, тянулось за ним, что пошел в полицию, а охотников разбираться, что

пошел, чтобы добыть винтовку, без оружия в партизанский отряд не брали, к сожалению, не нашлось. Новеллы, посвященные судьбе Барановских и Семенова, не воспринимаются как вставные, хотя в каждом случае это самостоятельный сюжет,— они органичны в повести и необходимы, чтобы с должной полнотой раскрыть ту мысль, то чувство, которые не дают покоя автору, которые его боль.

«Карьер» написан спокойно, сдержанно — ни одной патетической или сентиментальной ноты, автор нигде не повышает голоса, он не выдает своих чувств и тогда, когда Агеева и его товарищей по подполью осенней ночью расстреливают полиция, и тогда, когда через столько лет его герой приходит к обелиску, где покоятся те, с кем он стоял рядом в ту страшную ночь. Одни от боли кричат, другие покрепче сжимают зубы. Быков суров, стиль его аскетичен, но тем глубже он проникает в суть проблем, которые наш безжалостный век ставит перед человеком, тем сильнее его повесть действует на читателя. Вероятно, все-таки не зря говорят, что тихие воды глубоки...

Тревога Быкова, его боль, родившие новую повесть,— понизившееся в наш век уважение к человеческой жизни. И было это при нас, происходило на наших глазах. Сколько раз, когда речь шла о сломанных человеческих судьбах, мы слышали как само собой разумеющееся оправдание: лес рубят — щепки летят. Это о людях — щепки, винтики, на фронте о пехотинцах — спички... Прав быковский герой: если ничего не стоит судьба одного человека, то невелика цена и тысячи и десятки тысяч, количество нулей можно увеличивать бесконечно, никаких принципиальных нравственных преград для этого нет. Вырубая в свое время леса, люди не отдавали себе отчета, какие это повлечет в будущем тяжелые экологические последствия. Как же бережно надо обращаться с человеческим лесом! Как страшны здесь «вырубки» — они и в последующих поколениях отзываются равнодушием, цинизмом, жестокостью...

Сюжет повести построен Быковым в двух временных измерениях не случайно, ограничиться прямым изображением событий военных лет он не мог. Писателю необходимо было показать, как в наши дни Агеев раскапывает карьер в надежде, что, быть может, Мария тогда избежала участи его товарищей по подполью и какую-то часть давящего его

много лет груза вины он сможет снять с души.

Правда, описания этих реальных раскопок кажутся местами затянутыми, повествовательная ткань здесь менее плотна (за исключением прекрасно написанных страниц, посвященных Семенову, его судьба не менее интересна, чем судьба героя, его неожиданная смерть потрясает), чем в сценах военных, некоторые рассуждения Агеева о прошлом избыточны — его нынешнее отношение к тому, что случилось с ним в войну, отчетливо проступает в восстанавливаемом памятью прошлом, и кое-где с пользой для повести можно было бы опустить сегодняшний комментарий.

У Быкова бывают просчеты и слабости художественного свойства, но безукоризненный нравственный слух и «стратегические» решения, подсказанные этическими соображениями, у него всегда точны. В «Карьере» он не мог обойтись без сегодняшнего Агеева, ибо те главные мотивы повести, о которых я говорил, не получили бы завершения, — лишь становясь нравственными уроками, они реализуются с истинной полнотой.

Раскопки, которые ведет Агеев в своей памяти, — в сущности, это нравственный суд над собой, над своим прошлым. «В то время как прежний Агеев был бессилен судить его нынешнего, сам он тысячи раз на все лады судил и обсуждал Агеева давнишнего. Это было затянувшееся и малоприятное для обоих разбирательство, хотя строгий судья был беспристрастен и мудр той неподкупной мудростью, которая открывается с высоты прожитых лет. Порой восхищаясь, а порой удивляясь безрассудству своего обвиняемого, обходя некоторые вышедшие в тираж ценности давних лет, этот судья со временем стал ориентироваться на истинный кодекс непреходящих ценностей, на первом месте среди которых он ставил человеческую жизнь как таковую».

Но какой смысл в этом нравственном суде над прошлым, дает ли он что-нибудь, нужен ли? Сыну Агеева все это кажется «псевдопроблемами», блажь, «разрушительным нравственным самодействием»: «...все копаешься, ищете, разбираетесь. Некоторые сорок лет воюют, успокоиться не могут». В конце концов, изменится ли что-нибудь от того, что Агеев узнает, как тогда было дело, разве это исправит его бывшие ошибки и прегрешения? Разве гранинский комбат (я беру произведение, наиболее близкие новой повести Бы-

кова, в которых тоже ставятся проблемы памяти и нравственного суда.— мне кажется, что намечается даже определенное направление в нашей военной прозе) сумеет перевоевать заново те бои первой военной зимы, докопавшись, почему они не приносили успеха, почему стоили таких потерь? Зачем героиня другой повести Д. Гранина «Еще заметен след» одержимо ищет среди однополчан человека, которого в глаза не видела, только переписывалась с ним в дни войны, да так случилось, в минуту трудную не пришла ему на помощь, человека этого давно нет в живых, разве может она сегодня что-то сделать для него? «Но что мне делать с этим знанием, с этой памятью, если ничего нельзя исправить?» — размышляет после встречи с ней герой повести Дударев.

«Для очистки совести»,— отвечает Агеев сыну, недоумевающему, зачем это отец, молодой и очень большой человек, надрывает сердце и силы в поисках того, что ушло в прошлое, превратилось в призрак. И герой «Нашего комбата» думает о себе и своем фронтовом командире: «Я позавидовал его одиночеству. Давно я не оставался в таком одиночестве. Отвык я от его неуютных правил — делать свое дело по совести, не объясняя своей правоты, не ища сочувствия». Сам этот словесный оборот — «для очистки совести» — с годами все больше утрачивал свой прямой смысл, приобретая чаще и чаще значение пустого, формального, перестраховочного занятия. Лишь в последнее десятилетие слова «для очистки совести», «по совести», «суд совести» стали звучать по-иному, вновь обретая первоначальное значение. Потому что в этом есть общественная потребность. Ожившие слова и понятия указывают на перестройку сознания, на перемены в духовной жизни общества. Немало сделала для этого литература, в том числе и повести Василия Быкова...

Нелегко дается Агееву расчет с прошлым, он ведь и прежде не лукавил с жизнью и людьми, поступал так, а не иначе, полагая, что действует правильно. Время заставило его переоценить некоторые из былых ценностей, и ему стало ясно, что он жестоко ошибался. И какими бы благими намерениями, какими высокими соображениями — так они воспринимались тогда — ни продиктованы эти ошибки, он их сегодня простить себе не может, не может снять с себя вину. Оправдать себя, поладить как-то с сове-

стью, переложить на кого-то или на что-то ответственность значило для него предать и свое прошлое и свое настоящее. Каким бы мучительным ни был и для человека и для общества расчет с прошлым, он необходим, он целителен, без этого и думать нечего об иммунитете от тех болезней, что отравляли нам существование в былые времена, без этого не избавиться от повторения эпидемий в будущем...

В мыслях своих мы постоянно возвращаемся к войне. Не только по праздникам и не только славы ради... Такого безжалостного экзамена, обнаруживающего силу и слабость, честь и бесчестье, человечность и жестокость, у каждого из нас и у всех у нас вместе не было ни до, ни после этого. Уроки, которые тогда получили и каждый из нас и все мы вместе — а они бывали и нестерпимо горькими,— надо и до конца осознать и крепко помнить, слишком дорогой ценой за них плачено...

В записках Ефима Гольбрайха, о которых я уже упоминал, есть такой эпизод: «Наши пришли! Наши пришли!

И такая радость написана на их лицах, таким счастьем светятся их глаза!

Это надо видеть... Для них война уже кончилась.

А мы, взволнованные встречей, возбужденные еще не окончившимся боем, настороженно вглядываемся поверх плеча, не высунется ли откуда автоматный ствол, не контратакуют ли немцы, и, освобождаясь от объятий, редкой цепью, прижимаясь к остаткам домов, перебегаем к дальней окраине, на ходу очищая от немцев ставшее теперь снова нашим село...

Радость освободителей — самая главная радость жизни. Кто ее испытал, тот знает. Кому не довелось — пусть поверит. Этого счастья хватит до последнего часа.

На всю оставшуюся жизнь».

Но рядом с этим великим, ни с чем не сравнимым счастьем, которое было подарено нам судьбою, с гордостью, что стояли, все вынесли, одолели такого врага, живет и другое чувство. Оно тоже не отпускает, и чем больше мы задумываемся об итогах прожитой жизни — а время для этого уже пришло, — тем сильнее становится оно. Это чувство вины. И не только за то, что ненароком, не по злому умыслу причинили кому-то зло, как Быковский Агеев или гранинский Дударев. Но и за все то горе, что было рядом с

нами и в котором мы как будто не были виноваты,— за это мы тоже не можем не отвечать перед своей совестью. Это особое, всеобъемлющее чувство.

В первый год войны Семен Гудзенко написал стихи, жестокая правда которых сразу же обратила на себя внимание:

Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв

И умирает друг.
И, значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним

идет охота.
Будь проклят
 сорок первый год
и вмерзшая в снега пехота,
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв

И лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.

Виноват ли в чем-нибудь герой этого стихотворения перед своими погибшими товарищами — на одном поле они лежали под огнем, ему повезло, им нет. Кто его осудит за то, что он тогда был рад — пронесло, уцелел?

Но вот через двадцать лет появился маленький — полторы странички — рассказ Владимира Богомолова «Сердца моего боль». После войны рассказчик встретил мать своего школьного товарища: «И хотя Ленка как я слышал, погиб в первом же бою, возможно, не успев убить и одного немца, а я пробыл на передовой около трех лет и участвовал во многих боях, я ощущал себя чем-то виноватым и бесконечно должным и этой старой женщине, и всем, кто погиб — знакомым и незнакомым, — и их матерям, отцам, детям и вдовам...»

Эта неутраченная боль сердца родила пронзительные стихи. Наверное, лишь поэзии дано с такой силой выразить это чувство бесконечной вины — рассказ В. Богомолова, в сущности, стихотворение в прозе.

Сколько горечи и печали в стихотворении Бориса Слуцкого «Однофамилец»:

Но пули пели мимо — не попали,
Но бомбы облетели стороной,
Но без вести товарищи пропали,
А я вернулся. Целый и живой.

Я в жизни ни о чем таком не думал.
Я перед всеми прав, не виноват,
Но вот шоссе, и под плитой угрюмой
Лежит с моей фамилией солдат.

Чувство вины здесь затаено, оно изнутри освещает стихотворение. Александр Твардовский говорит о нем напрямую с удивительной мудростью:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто
 моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Чувство такой вины — высокое чувство. Быть может, самое высокое, придающее существованию человека надличностный смысл. Оно приводит к нравственному суду над собой, к нравственному самоочищению, без которых не может жить достойно ни человек, ни общество. Сегодня для нас это не отвлеченная нравственная сентенция, а насущнейшая духовная задача. Василий Быков — один из тех писателей, кто осознает это особенно глубоко и остро. «От умения жить достойно, — говорил он недавно, — очень многое зависит в наше сложное, тревожное время. В конечном итоге именно наукой жить достойно определяется сохранение жизни на земле. Жить по совести нелегко. Но человек может быть человеком, и род человеческий может выжить только при условии, что совесть людская окажется на высоте...»

Эти слова помогают понять, в чем современный смысл повести Василя Быкова, посвященной таким далеким уже от нас событиям Великой Отечественной.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

★

КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ

К 80-летию академика Дмитрия Сергеевича Лихачева

«От начала развития литературы и до современности... протягивается линия возрастания личностного начала в литературе»¹.

Ничто как культура не представляет таких возможностей для развития личности.

Человек становится ученым человеком, мы говорим уважительно — становится ученым, тем самым еще выше поднимаем это понятие, свидетельствуя о чуде приобщения людей к высокой культуре, к процессу реализации таинственной силы заложенных в человеке генов в очевидные научные открытия.

Скажем, одаренный от природы человек становится художником: художником слова, мастером сцены, живописцем, музыкантом, — это опять-таки культура таким образом приобщила к себе человека.

Не часто, но случается, что человек «проникается» культурой в ее более общем значении, как явлением мировым, и тогда он становится ее глашатая, а будучи художником или ученым — еще и деятелем культуры.

И наконец, еще реже, но как бы поднимаясь уже над тем и над другим, человек обретает способность весь окружающий мир, историю, даже будущее этого мира видеть и предвидеть через культуру, передавая свое видение и понимание другим.

И вот еще в чем дело: природа нередко позволяет человеку использовать заложенные в нем способности для гениальных открытий тех самых явлений, которые она дает ему и обнажить и понять; при этом она столь сложно и лукаво зашифровывает в генетическом коде то, что мы определяем как «способности» и «гениальность», что человечество никогда, навер-

ное, не будет пользоваться ими вполне сознательно.

И в науке и в культуре в целом всегда сокрыта универсальная тайна наших способностей, их происхождения, их начальной энергии, которая, очевидно, так и останется тайной; хотя, используя эту энергию, личность всей своей жизнью и деятельностью может иногда достигнуть вполне очевидных, конкретных и великих открытий.

И так как мы пользуемся величинами неопределенными, значит, заранее исключается получение хотя бы приблизительно предсказуемого результата.

Мы знаем, что способность созидать сочетается в человеке со способностью разрушать, что наряду с культурой, которая для нас истинна и нам во благо, давно уже параллельно развивается псевдо- или антикультура, результат которой — апокалипсис, гибель человека и самой природы.

Тем более необходимо в наше время — время высоко развитой науки и техники — разобраться, под каким знаком культуры этот уровень достигнут теми или иными людьми. Что они представляют — культуру или антикультуру?

Выдающиеся люди оказывают непрерывное воздействие на наш духовный мир, влияют на повседневную и элементарную оценку того, что вокруг нас хорошо и что плохо, и ошибиться в этом нам никак нельзя.

Однако такое распознавание отнюдь не просто, не элементарно. Псевдокультура ни словом, ни жестом может и не отличаться от культуры, но делом, но последствием слова, но своею ошибочностью — отличается. Теперь-то мы знаем, что далеко не

¹ Эпиграфы и цитаты приводятся из книги статей и очерков Д. С. Лихачева «Прошлое — будущему» (Л. «Наука», 1985).

всегда время исправляет ошибки, оно вопреки истине может многократно их и повторять и усугублять. Наше же время такое, что каждая ложь, каждая даже невольная ошибка дополняют и усиливают ошибку гло-

бальную, апокалипсическую, умаляя и ослабляя при этом культуру истинную, то достоинство человека и человечества, которые только и могут быть апокалипсису противопоставлены.

«Прошлое — будущему».

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал свою книгу «Прошлое — будущему».

Настоящее он как бы пропустил. Забыл его? Но, может быть, его и стоит забыть? Ради него самого. Ведь если у человека было прошлое, тем более прошлое осознанное, и если он предвидит будущее, значит, его настоящее словно бы само собою разумеется. А если нет в нашей памяти прошлого, нет веры в будущее — тогда что такое настоящее?

Сейчас, сию минуту мы не столько живем этой минутой как таковой, сколько заботой, появившейся вчера или час тому назад, словом — в какой-то мере возникшей в прошлом.

Мы всегда живем в предвидении пусть ближайшего, но будущего; сегодня «устраиваем» свой завтрашний день, работаем на него, на предстоящую осень, зиму, весну и лето. живем и думаем во времени, а время никогда не представляется нам только нынешней минутой, только настоящим, если бы это было так — мы не помнили бы о своем рождении и не знали бы о своей грядущей смерти. Мы не были бы людьми. У животного, скажем, нет сколько-нибудь развитого представления ни о прошлом, ни о будущем, так вот оно и живет как бы не во времени, а в вечности, будучи на

самом деле смертным. Да, мы знаем, что такое прошлое, оно — было; знаем, что будущее будет, но настоящее — хотя оно и есть — двусмысленно, и, наверно, поэтому мы всегда очень хотим, но никогда не умеем им дорожить. Прошлым — да, будущим — умеем, а настоящее у нас в вечном расходе, в расходе опять-таки на прошлое, которое мы без конца осознаем, но никак не можем уладить с ним свои отношения, расхлебать его последствия, и на будущее, у которого мы находимся в постоянном рабстве. Это господин, которому мы прислуживаем ежеминутно, но никогда не видим его в глаза.

Не знаю, что думал Д. С. Лихачев, называя свою книгу «Прошлое — будущему», но меня он побудил задуматься именно обо всем этом. Тем более что и назначение его книги — заставить думать. И даже — угадывать (но ни в коем случае не гадать). При этом в необходимости верить ему как представителю и деятелю культуры истинной не возникает ни малейших сомнений.

В книге поднято множество вопросов, одни рассмотрены автором подробно, другие — бегло, в общих чертах, но это не умаляет ни их значения, ни интереса к ним.

«По существу, выводы всех наук в большей или меньшей мере гипотетичны. Многие науки кажутся точными только со стороны».

Точные науки, как представляется нам, дают точные, во всяком случае вполне доказуемые решения. Доказуемые в пределах задачи, поставленной той наукой, в которую эта задача входит. Точность решения в этом случае заранее предопределена точностью и определенностью границ, в которых задача решается. В этом сказываются преимущества научной методологии, но не самой науки, тем более если понимать под наукой познание мира в его единстве. Стоит нам поставить перед точными науками такую конечную цель, как познание единого мира в целом, и их точность окажется весьма сомнительной.

Испытывают сложности и гуманитар-

ные науки: едва включившись в решение своей частной задачи, они неизбежно выходят на всеобъемлющий вопрос о смысле существования человека. Вопрос «а зачем?» присутствует в любом труде ученого-гуманитария, и если ученый уходит от него, присутствие этого вопроса не становится менее очевидным. Иначе и не должно быть, поскольку наука не может достоверно определить границы своего исследования, она априори полагает, что так и ужно.

Очевидно, что все науки были созданы человеком с потребительской целью, для удовлетворения материальных и духовных потребностей, но случилось так, что науки подчинили себе своего потребителя.

И вот уже выражение «в мире науки», под которым мы подразумеваем пребывание среди ученых в атмосфере научных изысканий, нынче может толковаться совсем иначе.

В самом деле, весь окружающий нас мир — это уже давно мир науки, так как любой предмет нашего обихода, будь то книга, стол, стул, бумага, карандаш, обувь, любое средство передвижения, связи, любое медицинское средство (даже народное), появился и проявился под воздействием науки и как результат научного знания.

Мы, люди, уже и друг для друга в определенном смысле стали предметами науки, поскольку знаем и изучаем анатомию, психологию, происхождение человека, законы, интересы и образ его жизни. Мы — наука друг для друга. И природа для нас тоже наука, мы знаем, что воздух — это атмосфера, которая обладает таким-то составом и такими-то свойствами, что земля — это геология и почвоведение, что воды — это гидрология, что растительность — это ботаника, что человек — это опять-таки анатомия и психология, этнография и демография, социология и еще множество наук, которые и характеризуют людей, определяют их свойства и статус в этом мире.

Итак, мы представили себе мир в виде формул, законов и гипотез, а всему, что остается за их пределами, дали название эмпирического, однако эмпирическое, хотя оно-то и есть субстанция, оно звучит для нас как «временное», потому что мы уверены: вот-вот наука приложит усилия, и эмпирическое тоже станет осознанным, научно обоснованным.

Науки далеко не все могут объяснить, но пытаются объяснить все, они объясняют не до конца, но без конца, и вот уже без этого процесса объяснения мы не мыслим и самих себя.

И все-таки мы еще в значительной мере эмпиричны опять-таки потому, что не можем объяснить и предвидеть последствий научных исследований, результатов нашего бытия под эгидой наук. Чем «научнее» становилось нашего бытие, тем эмпиричнее становилось наше будущее, но мы окончательно убедились в этом только тогда когда отвлеченно-философская, теоретическая проблема «быть или не быть» стала практикой и даже той голой эмпирикой, к которой нас привели науки, прежде всего точные — физика, химия, математика, баллистика.

И сопоставляя «за» и «против», мы нын-

че ждем спасения уже не столько от наук точных и естественных, сколько от гуманитарных, оказавшихся более «природными», ибо они не столь старательно дробили мир на части и частные задачи, не столь умело использовали методику разобщения этих частей и задач одну от другой, одну — от всех остальных. Оказалось, что именно они поддерживают в нас наш потенциал существования.

Мы хотим, чтобы научно обоснованные проекты нашего века подвергались не только технической, но и гуманитарной экспертизе, чтобы в расчетные нагрузки этих проектов гуманитарная нагрузка включалась обязательно, чтобы ею поверялась деятельность точных наук, их возможности. Ведь будь эти возможности реализованы без очевидной необходимости для нашего бытия, они явятся бедой, великим несчастьем мира, поставят под вопрос само его существование.

Возможно ли в коем случае нельзя путать с можно — мы в этом убедились

Мы хотим, чтобы все без исключения науки приобрели целесообразность, которая определяется чувством меры, а эту меру можно назвать этикой. Этика для всех наук — вот что прежде всего необходимо. Но разработать такую этику должны, очевидно, науки гуманитарные, ибо этика — суть гуманизма.

Да так оно и есть — многие науки кажутся точными только со стороны. И мы слишком долго на них смотрели со стороны собственной принадлежности к ним, тогда как они должны безраздельно принадлежать нам.

Подчинение науки и техники подлинным и долговременным интересам человечества вопреки интересам временным, интересам кажущимся — вот проблема, которую люди должны решить сегодня же, не откладывая.

И когда Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев в заявлении по советскому телевидению говорит: «Более половины 1986 года, объявленного Организацией Объединенных Наций годом мира, позади. Продлевая свой односторонний мораторий, Советский Союз вносит еще один весомый вклад в общее стремление добиться того, чтобы этот год остался в истории достойным своего названия», — это все та же проблема.

Последует мир (а США — прежде всего) призыву прекратить ядерные испытания — человечество будет существовать, не последует — кто знает...

«...Экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим»

«Человек — существо нравственно оседлое, даже и тот, кто был кочевником, — для него тоже существовала «оседлость» в просторах его привольных кочевий. Только безнравственный человек не обладает оседлостью и способен убивать оседлость в других».

Да, нет культуры без истории, и если мы хотим сохранить культуру, мы должны сохранить и историю тоже.

Собственно говоря, все наши исторические представления есть в то же время представления культурные. Так было всегда.

Но нынче культура должна трансформироваться еще и во всеобщую, всеобъемлющую этику — в этику науки, техники, политики, дипломатии, образования и самой себя тоже. Культура должна внедриться в практику. До сих пор она зачастую существовала как бы отдельно от практики жизни — сама по себе. Мудрецы давно предполагали, что когда-нибудь культура станет полностью определять практику жизни, поведение людей, и это будет светлый, озаренный разумом «перевал» истории. Но что во второй половине XX века вопрос встанет столь трагически:

исполнит культура свою задачу — будет жизнь, не исполнит — не будет, об этом не догадывались и мудрецы.

Культура обрела ту очевидную необходимость, которой ей всегда не хватало.

Дело за нами: сумеем ли мы, мы все эту очевидность понять? Сумеем ли ею руководствоваться повседневно?

Чтобы культура исполнила это свое назначение, она должна до конца проникнуться этикой. Речь идет о том, что Д. С. Лихачев называет экологией культуры.

Наверное, может случиться, что в какой-то момент развитие и упрочение экологии культуры окажется даже важнее, чем развитие самой культуры. Ведь в культуре нашего народа, в одном только ее советском периоде накоплено столько опыта, пройти мимо которого никак нельзя. И нужно время, чтобы этот опыт освоить.

«Ценность культуры прежде всего определяется тем, как она создавалась, какая в ней „заложена память“».

Развитие культуры не следовало часам и календарям, бывало, что один век срабатывал и за тысячелетие, бывало — развитие приостанавливалось, но это отнюдь не приводило культуру к гибели.

Культура, а вслед за нею и народы, ее создатели и носители — уж это обязательно! — погибали, когда они теряли свою историю, теряли память. Иначе говоря, они опять-таки теряли экологию культуры и все то, что с ней сопряжено — письменность и язык, учения и нравоучения, опыт прошлого существования.

И так же как культуры нет без истории, так нет ее и без экологии — что другое сохранит в ней историю?

Это положение и универсально и конкретно. Примером его конкретности может быть хотя бы... литературная критика.

Ведь она, как утверждает Д. С. Лихачев, «...должна помочь человеку отличить подлинное в искусстве от ложного, отличить псевдоискусство от искусства истинно народного, отличить подделку от оригинала».

Отличить... Но разве задача отличения не есть задача экологическая применительно к культуре?

Еще цитата:

«Самое массовое из искусств — фольклор словесный, музыкальный, материальный (изделия народного ремесла) — почти лишено того, что мы могли бы назвать безвкусицей, подделкой под искусство».

Почему? Я думаю, именно потому, что народное искусство (фольклор) создается всеми, для всех и в рамках многовековых традиций. Во всем, что делал народ, — единые представления о красоте».

Итак — опять опыт, опять история и, значит, опять — экология, ее задача.

Нам то и дело приходится выбирать между приобретением и убережением.

Что было выгоднее и разумнее — приобрести (приобрести) на Байкале целлюлозно-бумажный комбинат или уберечь Байкал в чистоте?

Сегодня на мировом рынке байкальская вода может продаваться по 50—75 копеек за бутылку, а разве ЦБК сможет когда-нибудь выпускать продукцию такой же высокой ценности и такой же низкой себестоимости?

Мы строим ГЭС, нам нужно приобрести источник дешевой энергии, мы затапливаем ради этого земли. Но стоимость киловатт-

часа с каждым годом снижается, открываются новые источники энергии, а новая земля не возникнет никогда, и ценность каждого гектара возрастает со временем в геометрической прогрессии.

Диверсии против природы оборачиваются диверсиями и против культуры, против ее «оседлости», против ее неизменных понятий. Нельзя навязать родину, она у людей либо есть, либо ее нет, а есть только место жительства; для кого-то нет понятия народа, есть — население, нет истории, есть учебники по истории для школ и вузов, нет родного языка, есть средство общения.

В народном понимании это звучит так: на нет — суда нет! Но вот в чем дело: хотелось бы понять, кому нынче мешают имена Есенина, Шукшина? Или — Гоголя? Толстого? Или — Достоевского (о котором недавно довелось читать, что его «национальная ограниченность неизменно отталкивает»)? Кому нужно, чтобы мы забыли «Слово о полку Игореве», латышские даины, «Манас», «Калевалу»? Люди часто ошибаются в прижизненной оценке творчества писателя, но память не ошибается никогда. Случается, популярнейший художник исчезает из нашей памяти через три-четыре года после смерти, а малоизвестный при жизни — той же памятью — воскрешается. Что это? Это экология, почти бессознательная, которую настало время сознательно поддерживать.

Человек, однажды воспринявший идею «экологии культуры», не ошибется в сравнительной оценке явлений, не унизит чужую культуру и не расхвастается своей.

Экология — всегда культурна, подлинная культура всегда экологична.

«Подлинно новая культурная ценность возникает в старой культурной среде... Нового самого по себе, как самодовлеющего явления, не существует».

«Культура существует для тех, кто обладает собственным культурным «тезаурусом» — запасом знаний по истории культуры».

«Реализм — стиль, наиболее приближенный к пониманию действительности,— развивает в себе с особенной интенсивностью и индивидуальное авторское начало».

«Ни в одной стране мира с самого начала ее возникновения литература не играла такой огромной государственной и общественной роли, как у восточных славян».

«Человек, живя в мире, помнил о мире в целом, как огромном единстве, ощущал свое место в этом мире».

«На литературоведах лежит большая и ответственная задача — воспитывать „умственную восприимчивость“».

«В литературоведении нужны разные темы и большие «расстояния» именно потому, что оно борется с этими расстояниями, стремится уничтожить преграды между людьми, народами и веками».

И дальше цитировать бы Д. С. Лихачева, и дальше размышлять бы по поводу каждой цитаты — какое увлекательное занятие! Можно сказать еще — какое современное занятие!

Но тут уже дело читателя, к которому обращена книга «Прошлое — будущему», ему вдумываться в текст и дальше. Ему продолжать знакомство и с личностью автора, который представляет нашу культуру, и с нашей культурой, которая эту личность выдвинула.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Бочаров. Мера нашей ответственности.— **Ал. Михайлов.** Поэт и поколение.— **Вадим Баевский.** Пристальное зренье.— **Мария Зорная, Сергей Дмитренко.** Сад, где тропинки сойдутся.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Л. Маркелова. Ради мира и прогресса.— **А. Валентинов.** Гигант духа и мысли.— **Вик. Ерофеев.** Наедине с Марком Аврелием.

Литература и искусство

МЕРА НАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Витаутас Мартинкус. Охота в заповеднике. Роман. Перевод с литовского. «Дружба народов», 1986, № 3—4.

Казалось бы, удивительно: и на российском и на всесоюзном писательских съездах много и горячо говорили о проблемах сбережения природы, о спасении Байкала, о недопустимости поворота северных рек, о расширении заповедных зон. Мало, что ли, у литераторов других забот — и борьба с бюрократизмом, и задачи социально-экономического ускорения, и прорухи в собственном писательском хозяйстве.

Но в этой писательской борьбе за бережное отношение к природе сфокусировались и сопротивление узкому прагматическому бюрократизму, и расширение демократических начал нашей жизни, и гражданственное понимание ответственности не только перед сегодняшним днем, но и перед последующими поколениями — не оказаться бы в роли промотавшихся отцов. Да и самим как бы с сумой не пойти!..

Так и получилось, что обретшая общественный резонанс борьба писателей и в художественной прозе и в публицистике против расточительного и нетерпеливого преобразования природы обрела остросоциальную окраску. Людей и впрямь стала все больше беспокоить поступь научно-технического прогресса, деяния рыцарей индустрии. То эти рыцари в железных доспехах

мелиораторов, гидростроителей, нефтерудо- и прочих добытчиков напористо шагают, не очень-то замечая, куда ступает их нога. То опускают забрало, отделяющее их от прочих людей, и уже принимают в расчет лишь кубометры, тонны, миллионы единиц продукции, видя самый смысл своего существования в одном бесконечном приумножении их.

Тревогу при виде железной поступи и опущенного забрала громче, пронзительней всего выражает сегодня литература, ибо она неизменно на стороне человека — для нее человек всегда неповторим, всегда высшая ценность, всегда смысл и цель бытия: его благом и его страданиями измеряет гуманистическая литература все содеянное.

Советская литература неизменно выступала против попыток рационально усовершенствовать человечество, не любя отдельного человека, считая его средством, а не целью. Любить все человечество нетрудно, гораздо труднее полюбить отдельного, рядом с тобой живущего человека — как часто и страстно писала об этом наша проза: и Платонов, и Казакевич, и Тендряков! Новый роман Мартинкуса «Охота в заповеднике» продолжает эту традицию.

Дело дороже всего для могуществен-

ного генерального директора текстильного комбината Балиса Титнагаса (в переводе на русский — кремень). Во многом благодаря его усилиям объединение «Блаkitис» неоднократно побеждало в соцсоревнованиях, удерживает всесоюзное переходящее знамя отрасли. Второй человек-камень — социолог Спин Каволус, одержимый желанием высвободить тайные хранилища человеческой энергии, которые он называл социумом. На протяжении романа оба героя ведут различные социологические эксперименты в цехах, создают «двойные семерки», переформируют бригады по уровню образования ткачих и так далее, отыскивая внутренние резервы роста производительности без замены оборудования.

А героиня романа, секретарь Титнагаса и возлюбленная Спины, двадцатичетырехлетняя Маре-Мария, перешедшая затем из директорской приемной в ткацкий цех, где она когда-то начинала свой трудовой путь, тяготеет положением подопытного объекта этих экспериментов, сопротивляется равнодушному «научному» высасыванию энергии за смену, после которого уже ни на что сил не остается.

Увлеченный масштабными социологическими опытами Спин отстраненно утешает ее: скоро-де с такой же научной обстоятельностью и за ваш досуг возьмемся. Маре пугается: это означает, что и за фабричными стенами суждено жить не по своей воле, не по своей природе, а проходить фильтры тестов, фиксирующих «психические параметры: позицию, статус, спонтанность, творческий потенциал, координацию, избирательность, внутреннюю дисциплину, склонность к коллективным действиям, синдром фетиша, импульс социальности, интенсивность эмоций, эффект коллективности — радиус социума, весь его искровой спектр».

Да, Маре сознает, что производственные заботы и цели директора и «его зама по делам человеческих душ» основательны. Но все ее женское существо, жаждущее любви, материнства, душевного тепла, восстает против того, чтобы ее воспринимали как пассивный экспериментальный объект, а «Блаkitис» — как испытательный полигон. В сущности, Маре протестует против прагматически холодного толкования слов «человеческий фактор». Человеческий фактор — необходимая и, может быть, главная часть организации производства. Но за этой формулой не должны пропадать живые людские надежды, мечты, склонности, жажда самосуществования. Стремление к максимальной эффек-

тивности человеческого фактора на производстве должно сопровождаться максимальной заботой о человеческой душе, не откладывая ее устройство куда-то на потом, в графу «социологическое устройство досуга». Не может Маре принять лишь формально справедливую прямоту Титнагаса: «Планы — абстракция. Здесь действует закон больших чисел. Он не подходит, когда речь идет об отдельном человеке по имени Юозас или Мария».

Все, что делают Титнагас и Спин, ведет к традиционному совершенствованию навыков ремесла — делать быстрее, четче, экономнее. И только. А Маре-то надеялась поначалу, что Спин задумал «найти способ помочь человеку взять из накопленной человечеством культуры наиболее ценное», формировать «тружеников, получающих или находящихся себе работу, в исполнении которой они незаменимы. Они единственные».

Рыцари прогресса. словно взывает Маре, не забудьте за вашими экспериментами и перестановками, что человек всегда единственный, незаменимый и душа человеческая — заповедник, заповедная зона, куда не смеет врываться неосторожный и самоуверенный охотник.

Недаром через весь роман проходит «мотив ружья»: поначалу Спин хотел подарить Титнагасу старинное ружье, чтобы тот взял его к себе на работу. Правда, тогда Спиноу раздобыть ружье не удалось. Впрочем, и нужда в нем отпала: на работу в объединение устроила любимого Маре. Позже Спин уговорил своего друга Тадаса Каранаскуса отдать ему семейную реликвию — кремневое ружье предка, командира батальона повстанцев 1863 года — в обмен на редкую энциклопедию. Спин передал ружье Титнагасу, чтобы тот, в свою очередь, подарил его нужному человеку Евгению Ткаченко.

Во время охоты, устроенной для гостя, Титнагас выстрелил для пробы из этого ружья, ружье разорвалось, и директору обожгло лицо. Случилось это не потому, что кремневое повстанческое ружье старое, а потому, что не может оно служить человеку-кремню, ведущему, образно говоря, охоту в заповеднике.

И этот символ на первый взгляд неожиданно соединяет индустриальную проблематику романа и экологическую тему: заповедны и окружающая человека природа, и сама натура человеческая, заповеден весь живой мир. Этим, кстати, и объясняется «экологическое» начало моей рецензии: все в жизни накрепко увязано и характер «рыцарской поступи» одинаков — что в горо-

де, что в деревне, что в обращении с природными богатствами.

В драме Маре, ее утерянной любви, звучит чистый гуманистический голос человека, механически втянутого в масштабные эксперименты НТР. Этот голос явственно слышится за железной поступью рыцарей прогресса. Тихо, застенчиво, уповая на рыцарское снисхождение, напоминает он о том, что человеческий фактор — это всегда живая, неповторимая личность.

Очень точно уловил автор: голос должен был принадлежать женщине — женщины острее чувствуют такие просчеты, внутренний дефицит гармонии; мужчины же сосредоточены на деле, на практических результатах, на решительных поступках.

Конечно же, писатель не ограничился целью показать лишь крах рационализма, крах «чистой технократии». Духовное содержание романа гораздо объемнее. Оно вбирает и поиски героиней своего места в жизни. Три достаточно типичных модели поведения, три возможных пути возникают перед нею.

На одном из них — атмосфера любви, взаимопонимания, нежности в семье беременной подруги Маре, где она нашла временное пристанище, сбжав из своей квартиры от матери и отчима.

Другой путь — модель жизни Юноны, жены Титнагаса, тоже своего рода кремневой женщины. Намного моложе мужа и красавица, она, что называется, сильно продвинулась по части эмансипации брачных отношений (похоже, и Спин стал очередным ее возлюбленным). Титнагас, любя Юнону, терпит это и старается утишить боль новыми директорскими заботами. Для концепции романа очень важно, как бьет самого Титнагаса не принимаемая им во внимание в деловых расчетах обыкновенная человеческая беда.

Третий путь в жизни Маре возникает с появлением вроде бы влюбленного в нее Евгения Ткаченко, представителя-толкача российской швейной фабрики. Вполне понятное женское желание обожать, создавать кумиров из сильных, властных, увлеченных людей. Вот и Спин покорила Маре своими «лекциями» о социуме, и ее недолгая связь с Титнагасом объяснялась не тривиальной интрижкой секретарши и начальника, а искренним желанием Маре ощутить себя причастной к жизни сильного человека. Но столь же понятно и желание каждой женщины почувствовать себя любимой, Прекрасной Дамой. Увы, для Титнагаса и Спина нежная Маре была скорее слушателем, не-

обходимым преданным человеком, чем возлюбленной.

Ткаченко реализует рыцарскую функцию: появившись в приемной Титнагаса в полу пальто из искусственного меха, он показавшись Маре похожим «на средневекового рыцаря, набросившего поверх лат звериную шкуру», только оружием его были извлеченные из «дипломата» букет гвоздик и коробка конфет. Похоже, он и впрямь увлекся красивой секретаршей, дарит ей подарки, трогательно заботится — и не так-то легко было Маре устоять перед напором такого откровенного обожания.

Впрочем, как то нередко бывает в романтически форсированных произведениях, Ткаченко не столько характер, сколько художественная функция; он предстает в трех ипостасях, рыцарское обожание — лишь одна из них.

Ткаченко — своего рода дьявол-искуситель. Ни деловая хватка Титнагаса, ни социологический эксперимент Спина не дали объединению желаемого производственного эффекта, и тогда директор обратился к давно искушавшему его представителю швейников пойти по дорожке, предполагающей, мягко говоря, некоторую изворотливость в добывании импортного оборудования. Когда-то генеральный директор даже не принимал этого хода дальней фабрики, а теперь дарит ему раздобытое Спином ружье. И это торжество Ткаченко знаменует крах попытки решить проблему «человеческого фактора» чисто рациональным путем: новым размещением, перетасовкой, тестами.

Наконец Ткаченко — обвинитель, роковой вестник, доставивший известие о том, что отец Маре, якобы пропавший, умерший, пережил в свое время драму несправедливого обвинения, в которой злую роль сыграл Титнагас, тогда совсем молодой, но уже равнодушный, невнимательный к людям. И это стало окончательным низвержением Титнагаса для Маре и для нас, читателей.

Но все это не стало торжеством самого Ткаченко, ибо и в нем все-таки на поверку таится не рыцарское, а злое начало. «Наверно, я действительно люблю вас», — говорит он в финале. И почти без всякого перехода принимается рассуждать о том, что деньги не имеют большого значения: «Их можно брать, давать... Есть куда более ценные вещи, чем деньги. Хотя бы красота. Как оценить в рублях вашу красоту? Красоту города? Красоту мира? Пустое дело — деньги, их всегда можно достать, когда они требуются». Этот стык рублей и красоты открывает душу дельца в отличие от рыцаря: если есть рубли, можно и красоту поискать,

Это и удовила своим чутким сердцем Маре, знающая истинную цену тем людям, для кого пустое дело деньги достать.— не им дано формировать «единственных» и «неповторимых». Не Ткаченко ей нужен, не Прекрасной Дамой на рыцарском содержании хочет быть Маре, она нуждается в любви и нежности, хочет родить ребенка от любимого.

Не безоговорочно правильный путь выбрала себе Маре, нет в нем забот о своем месте на службе — на той самой работе, где что-то предпринимают и Титнагас и Спин. Но, вероятно, определенное форсирование темы любви и женственности естественно для романтизированного повествования.

Так высвечивается единая концепция романа, в которой любовь, сострадание, нежность, взаимопонимание противостоят многоликкой рационалистичности, бездушности.

Откуда вроде бы взяться силе у сострадания и нежности — извечных качеств женственности? Но смогла Маре оставить место властительной директорской секретарши и отвергнуть ухаживания Ткаченко в тот трудный момент, когда покидает ее Спин. А с какой деликатной решимостью ушла она из полученной на комбинате квартиры, когда ее выживали оттуда отчим и попавшая под его влияние мать. Маре ничем не хочет мешать матери, надеющейся, что хоть с этим мужем ей повезет. Воюя с отчимом, пришлось бы, понимает Маре, сражаться и с матерью: «У меня были все основания считать их скверными людьми. Но Рудайтене вырастила меня... Какой бы она ни была, всегда буду заботиться о ней и любить ее...» Может быть, в этом единении слабости и стойкости и кроется обаяние ее цельной натуры.

Жаль только, что романтическое напряжение повествования то и дело падает из-за каких-то необязательных, а иногда про-

сто мелодраматических эпизодов: в повествование такого типа автору все время приходится подбрасывать полешки, чтобы не остывал накал монолога. Вот и появляются полешки, дающие совсем мало жара,— отношения Маре с отчимом или эпизод с собакой, заставившей героиню стоять на выступе стены под окном Спины до приезда милиции.

Особенно суетливым становится повествование к финалу, когда подходит пора стягивать концы с концами. Тревожная мелодия, органично и сильно звучащая в романе, сменяется вдруг откровенной мелодраматичностью. Тут и попытка Маре покончить с собой, и предсмертное письмо однокласснику, с которым у нее семь лет назад был школьный роман и к которому она почему-то обращается с прописной буквы: Ты, Тебе, Твой. Тут и чудесное спасение от смерти возле заброшенной мельницы в охотничьем заповеднике. И в довершение романтический возглас, заканчивающий повествование: «Прости меня, Луч света!..» То ли Мартинкус, увлеченный лирико-романтической взвихренностью сюжета, сам не осознал, насколько весом социально-гуманистический заряд производственного конфликта, и потому сосредоточился к концу на любовной драме героини. То ли не смог выбраться из противоречия между жизненным поражением Маре в ее конфликте с «рыцарями» и ее внутренним духовным самоутверждением. А может быть, просто подыграл сентиментальному читательскому вкусу...

Трудно советовать автору еще раз вернуться к вещи, которую он счел для себя законченной. Но и утаивать претензии к произведению, представленному всесоюзной аудитории, тоже нет резона. К крупному писателю и счет крупный.

А. БОЧАРОВ.



ПОЭТ И ПОКОЛЕНИЕ

Екатерина Шевелева. Костер на снегу. Стихотворения и поэмы. М. «Современник». 1985. 326 стр.

Нет ничего удивительного в том, что по строчкам, еще не видя имени на обложке, легко угадываешь поэта, формировавшегося в 30-е годы. Время это наложило на поэзию какую-то особую печать.

Стенограммы партийных съездов.
Пульс Истории в толще книг —
Удивительной силы средство
Против личных невзгод моих.

Тут слышится смеляковская интонация, но ведь и к позднему Смелякову автор цитированных стихов Екатерина Шевелева пришла из 30-х, из тех энтузиастических лет пронесся через жизнь ощущение молодости и движения. С годами душа поэтессы все охотней раскрывается навстречу прекрасному, навстречу человеку со всей доступной ей щедростью.

Все в мире взаимосвязано. Эти взаимосвязи хорошо просматриваются в стихах Шевелевой — и через их географию, и через отраженную в них жизнь общества и отдельного человека. Когда ему тяжело, когда у него горе, тогда, считает поэтесса, природа, «ветки влажные деревьев», оранжево светящаяся рябина стараются ему помочь.

И все-таки убежден: только поэт ее поколения может завершить стихотворение такими строками: «Как странно кончается жизнь: как будто бы все впереди!»

Все они, комсомольцы 30-х годов, страшно торопились жить и нетерпеливо призывали к себе будущее. Призывали — и все делали, чтобы приблизить его. Самый большой раздел книги — «О моем поколении», — с которым переключается поэма «Коммунист», может служить визитной карточкой Екатерины Шевелевой.

Необычайно широка география раздела «Границы Москвы» — тут и Вестминстерское аббатство и Гонконг, Кливленд и Дели, джунгли и Индийский океан... Впрочем, перечисление географических точек заняло бы много места. Все они мыслью, чувством стягиваются к Москве. Стоит только избрать свою точку отсчета — и тогда вот что можно увидеть при посещении металлургического гиганта Бхилаи:

Здравствуй, далекая юность былая, —
Возраст металлу не страшен, —
Первая плавка Бхилаи —
Отблеск истории нашей!

От 30-х годов, наверное, идет и некоторая эмоциональная сдержанность поэзии Шевелевой, даже ее лирических, интимных стихов. «Костер» жарче разгорается, когда в него попадает горячее вещество общественных страстей. Это характерная черта Екатерины Шевелевой и поэтов ее поколе-

ния. Такими они были и остались в жизни и в поэзии.

Обращаясь к ровеснику, Шевелева пишет:

Не верю, что лучше от жизни такой —
Шальной и кипучей — уйти на покой.
Куда интересней огонь допоздна.
Мой милый ровесник,
я — ваша весна.

Есть в стихах Шевелевой одно признание, которое мне представляется очень важным и тоже характерным для поколения: «Очень трудно правду говорить...» Я ни в коем случае не хочу обвинить кого-то в неискренности. Эти поэты и прежде, даже в своих заблуждениях, были искренними. Но, вступив в новое время, когда понадобилась правда более жесткая, нередко опровергающая то, что раньше принималось за правду, они поняли, что прийти к ней нелегко. «Все же надо правду говорить». Шевелева стремится это делать, честно, бескомпромиссно анализируя в стихах конфликты повседневности.

У Шевелевой, как и у почти любого серьезного поэта, есть своя эмблема, свой поэтический знак, по которому ее узнает человеческое множество. Это, как мне кажется, стихотворение-песня «Уголок России». Лирический герой ее, ощутив свой возраст, как бы приостановился, призадумался, понял что-то такое, о чем раньше некогда было задумываться:

Проходят дни, бегут года,
И где-то там и тут
Встают большие города,
Дороги вдаль ведут.
Но сколько б ни было дорог
И беспокойных дней,
Всегда России уголок
Живет в душе моей.

Этот мотив согревает книгу «Костер на снегу».

А. Л. МИХАЙЛОВ.



ПРИСТАЛЬНОЕ ЗРЕНИЕ

Александр Кушнер. Стихотворения. Л. «Художественная литература». 1986. 303 стр.

Александр Кушнер. Дневные сны. Книга стихов. Л. Лениздат. 1986. 87 стр.

Кушнер создал необыкновенно цельный поэтический мир. Книга «Дневные сны» его проясняет и упорядочивает. То, что прежде можно было угадывать, теперь стало вполне очевидно. Таково, мне кажется, главное отличие «Дневных снов» от «Гаврического сада» и более ранних книг.

В этом мире путь человека лежит по едва заметной черте между бытием и небытием, жизнью и смертью. В смягченном варианте трагедия переключена в бытовой план, и тогда путь пролегает между счастьем и бедой, благополучием и неблагополучием.

Вот счастье — с тобой говорить, говорить,
говорить!
Вот радость — весь вечер, и вкрадчивой
ночью, и ночью.
О, как она тянется, звездная тонкая нить,
Против эту тьму, эту яму волшебную,
волчью!

Так всегда. Счастье, радость соседствуют с тьмой, тьму прошивает звездная нить, звездная нить удерживает человека над темной ямой, яма волчья, но она же и волшебная.

Мечется из стороны в сторону маятник счастья-беды. Обнажаются противоречия бытия, в их столкновении возникает острое переживание. Можно понимать стихотворение как страстное любовное объяснение. Можно — как напряженные размышления «о жизни. О смерти. О том, что могли разминуться. Могли зазеваться. Подумаешь, век или два!». Учитывается и «дожизненный опыт, пока нас держали во мраке». И если посчастливилось преодолеть бесчисленные препятствия, жизнь действительно оборачивается невиданным чудом. Какая-никакая заставленная комната с креслом и круглым столом, цветочки на скатерти становятся бесконечно важны и дороги: в них овещается жизнь. Взгляд поэта снова и снова нащупывает такие пограничные, экзистенциальные ситуации:

Мне совестно сказать, но, мнится, есть
в году
Непрочных два-три дня, опаснейших,
в июне.
Мерцают и сквозят... Мы с жизнью не в
ладу:
Пробел какой-то в ней... в провале мы.
в лакуне.

Летнее солнцестояние. Белые ночи Пушкинский восторг: «...и не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса» И вдруг после этого — непрочные, опаснейшие в году дни. Откуда это?

Это хрупкость вселенной на переломе от нарастания дней к их убыванию. Но это и память войны. Поэт, вплавленный в двадцатый век, уже никогда не воспримет белую ночь, «когда прозрачно и светло ночное небо над Невоем» («Евгений Онегин»), безмятежным сердцем. Неизбывны воспоминания его детства: в 1941 году маленьких ленинградцев без родителей погрузили в эшелон, под бомбами и снарядами вывели из города. Другого пути уже не было. Сколько солнцестояний миновало с того страшного июня, а он и сегодня мечтает, «чтоб с рук сошел нам день, на ниточки

разъят, и с нами ничего дурного не случилось».

Кушнер требует медленного, внимательного чтения. Он лирик, самый последовательный и воинствующий лирик в нашем поэтическом сегодня. Изгоняет всякое подобие балладности, фабулы. Фабула — эпосу. Наблюдательность, чувство, мысль — лирике. Он не станет вам рассказывать, как детишек везли навстречу почти верной смерти и как они все же выжили, — это слишком легкий прием почти предающий поэзию. Так считает Кушнер. Это все останется в нем. А с читателем он поделится не воспоминаниями (воспоминания — мемуарам! здесь — Ее Величество Лирика!), а настроениями, надеясь на сочувствующего собеседника-друга:

Не стану называть... У каждого — свой...
Я тоже не люблю, чтобы меня жалели.

Угроза уничтожения нависшая над миром, вплотную приблизившаяся к человеку. Могущественные силы уничтожения, с трудом обуздываемые, с трудом поддающиеся контролю. Политические и общественные деятели квалифицируют их в политических терминах, а поэт скажет:

Приписывая тьме все ужасы, на свет
Надемся, и нему ласкаясь и взывая,
А это рон глядит, в блестящие одет
Одежды, взгляд слепя и зоркость
притупляя.

В другом стихотворении Кушнер исследует классическую Достоевскую проблему: границу между психическим здоровьем и безумием («Как мы в уме своем уверены...»). Для этой границы находится как будто неожиданный бытовой образ — балкон. Впрочем, почему неожиданный? Помните начало статьи?

О, как она тянется, звездная тонкая нить,
Против эту тьму, эту яму волшебную,
волчью!

Звездная нить ведет в мир мифологических представлений. В тонкой звездной нити узнаете путеводную нить Ариадны? В этом мире, где на каждом шагу можно сорваться в бездонную пропасть небытия, где разговор идет «о жизни. О смерти. О том, что могли разминуться», естественно ухватиться за путеводную звездную нить. Одно из программных произведений Кушнера, «Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки...», написанное лет пятнадцать тому назад и, конечно же, вошедшее в «Стихотворения» 1986 года, путеводную нить реализует, овещает в образе реки Мойки. Сперва

это часть хорошо знакомого городского пейзажа:

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки,
У стриженных лип на виду,
Глотая туманный и стойкий
Бензиновый угар на ходу.

Долго нанизываются подробности, иногда нарочито заземленные, но тут же вспыхивают мифологические ассоциации, и контраст их поражает:

Вчерашние лезут билеты
Из урн и подвальных щелей.
Пойдем, как по берегу Леты,
Вдоль окон пойдем и дверей...

Миф рассказывает о сотворении и устройстве мира, человека. о первоосновах бытия Лета — граница, ось, черта отделяющая царство жизни от царства смерти. Пока это брошено вскользь, мимолетное сравнение, но скоро дойдем по берегу Леты (простите, оговорился, я хотел сказать: по берегу Мойки) до конца:

Пойдем же по самому краю
Тоски, у зеленой воды,
Пойдем же по аду и раю.
Где нет между ними черты...

Готическому собору уподобляется стог. Вселенной уподобляется собор. На чем держатся эта вселенная, этот собор, этот стог? На оси. А чтобы показать эту опору как можно более зыбкой и ненадежной — «на треснувшей оси».

Так выстроено стихотворение «Стог».

Чтобы не ухнуть в пропасть, когда подломилась ось, цепляешься за что придется. За любовь. За близкого человека. Но привязанность делает и еще более уязвимым. Она опора, но она и угроза, угроза страшной потери. Боишься не только за всех, не только за себя, но и за нее:

Тебя я не отдам! На свете этом мгlistом
Мне страшно без тебя, текущем, каменистом,
Дымящемся в лучах, сползающем во тьму.

И в другом стихотворении:

Страх и трепет, страх и трепет, страх
За того, кто дорог нам и мил.

Скользящий синтаксис Кушнера, предложения, которые не укладываются даже в длинную стихотворную строку и переходят в следующую, затем нередко застывают посреди новой строки определения («теку чем, каменистом, дымящемся»), оторванные от определяемого ими слова («на свете»), — все это разрушает гармонию, создает впечатление некоторой текучести, зыбкости

в языке, как и в тематике и в образной системе.

Из ощущения непрочности, неустойчивости мироздания Кушнер извлекает и красоту и счастье. Красоту хрупкую, счастье щемяще ненадежное. В том же стихотворении дальше читаем:

С самой жаркой, кровной стороны,
Уязвимо-близкой, дорогой —
Как мы жалки, не защищены,
Что за счастье, вечный страх какой!

И когда поэт восклицает: «Ах если б наша жизнь была чуть-чуть прочней!» — мне хочется возразить: тогда не было бы поэта Александра Кушнера, для которого счастье именно в том, что, несмотря на весь хаос, «мы живем, страдаем, любим, мыслим».

Для того чтобы читатель ни на минуту не забыл, что его подстерегает, если он выпустит из рук тонкую звездную нить, поэт постоянно напоминает о той волшебной, темной волчьей яме, о небытии, из которого человек пришел и в которое уйдет. А если абстракция кого-нибудь не испугает, он заменяет ее образами подспудного хаоса и примитивнейших форм на грани между живой и неживой природой. Как Достоевский пугал вечностью в виде душевной комнатухи с паутиной в углу. У Кушнера это могут быть химеры собора Парижской богоматери, древний предок с хвостом, неведомый зверь, который ревет за тростником (образ моря), морская тварь, в конвульсиях мертвеющая на песке, и просто «дожизненный опыт, пока нас держали во мраке».

Все это очень близко к исходным мифологическим представлениям. Вот почему мифологизм Кушнера абсолютно органичен, вот почему новая книга насыщена лучниками, Аполлонами и простодушными Венерами, Ифигениями и Клитемнестрами, мифом творения и похищением Европы. Муза Кушнера там, в том вечном мифологическом мире.

Но не только там. Одновременно мы видим музу Кушнера всю в вещном, людном мире, в повседневном быте. Замечателен этот поворот в стихотворении «Слово «нервный» сравнительно поздно...». Описаны вроде бы бытовые неурядицы. Ждешь, что поэт их осудит, а выходит наоборот, ибо и это — жизнь, чудо между двумя безднами небытия. Кушнер так дорожит любой подробностью вещного мира, быта, что скоро начинаешь ощущать: они необходимы, человек хватается за них, чтобы не сорваться в дожизненный мрак. Отсюда нежная любовь к вещному миру, его необык-

новенная наблюдательность, почти болезненное внимание к подробностям, деталям, складкам, к суровому холсту, к любому запаху, звуку, ощущению тяжести, объема, плотности, формы, оттенка, призвука.

Но все это открывается только тому читателю, который вместе с поэтом может воскликнуть:

Как люблю я пристальное зреньё
С ощущеньем точности в глазу!

Песчинки, камешки, клочки сухой резины, дощечки, щепочки, разбитого стекла осколки, нагромождение мелочей, которые фиксирует глаз велосипедиста, составляют целое стихотворение. А из них выступают воспоминания вчерашнего дня, мысли о женщине, с которой повел себя не так, пожалуй, как следовало, и о себе, таком неповоротливым, что ли. В стихотворении как в жизни, мысль то уходит от тягостного воспоминания, цепляясь за то, что перед глазами, то снова отвлекает от окружающего и приковывает к прошлому.

Надо сказать, что при своем уплотненном единстве поэтический мир Кушнера предельно разнообразен. В каждом произведении ощущается традиция, давление эпох, и каждое пишется как единственное, как самое первое, неповторимое, со своим особым художественным заданием, поворотом темы, семантическим сдвигом. Кушнеру одинаково важно и художественно познать еще не познанное, выразить никогда не выраженное — и продемонстрировать себе и другим верность культурной традиции. Ведь устойчивость в этой жизни придают не только любовь, не только чувственно воспринимаемые подробности бытового уклада укрепляют нашу с миром связь, но и незримые, духовные нити.

«Стихотворениям» предпослана статья академика Д. С. Лихачева. Он обращает внимание на кушнеровскую иронию и самоиронию. Весьма заметна она и в «Дневных снах», причем обретает, быть может, несколько новый облик. Здесь это высокая ирония, сродни романтической, направленная не против кого-то или чего-то, а вскрывающая противоречия бытия. В трудную минуту, в предельной, пограничной ситуации спасают не только любовь, реалии повседневного существования, ощущение истории, культурной традиции, природа, но и ирония. В ней обнажается скрытое от глаз, неведомое, пугающее, и вот уже оно становится ручным, нестрашным. Излюбленный страшный миг романтиков — пол-

ночь. «Из гроба тогда император, очнувшись, является вдаруг». А теперь:

В тот час, как известно, когда император
встает
Из гроба, — подвыпивший гость начинает
процаться...

Выстроены «Стихотворения» своеобразно. Сначала идут книги конца 70-х — первой половины 80-х годов, потом более ранние в сокращении. В этом отборе, в этом расположении особенно видны два центра, к которым стягивается поэзия Кушнера. Один центр — это наследие пушкинской гармонии, другой — поэтика Мандельштама. Земная ось, стог, низкие формы жизни, — это важнейшие мандельштамовские образы, к Мандельштаму восходит общее ощущение хрупкости бытия. Между двумя центрами есть много перемычек. Вот одна из них:

Ночное солнце в стужу хоронили.

Так Кушнер говорит о гибели Пушкина («Театр, театр! Как скучно мне любить...»). Но чтобы это понять, следует вспомнить мандельштамовскую строку о смерти Пушкина, которую выделяла Ахматова: «Это солнце ночное хоронит», как и строку «И вчерашнее солнце на черных носилках несут» (образ мертвого солнца восходит к Некрологу, напечатанному в № 5 «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“» за 1837 год: «Солнце нашей поэзии закатилось!»).

В языке, стихе Кушнер и явственно продолжает классическую традицию, и подспудно полемизирует с ней.

При общей классической строгости метрики, точности рифм время от времени сдвинута цезура, то в шестистопном ямбе возникает лишняя, седьмая стопа. Приходится все время быть настороже. Вдруг появляется строка, дерзко выпадающая из ямба: «Как юношеский пушок». Она предполагает какое-то бытовое произнесение, нас почти заставляют проглотить слог. В стихотворении «Без этой краски, приливающей...» слово «судороги» дважды надо произносить как «судорги», «сутолка» — как «сутолка». И язык не затвердел, и языковая почва порой становится зыбкой, как осыпь под ногами на горной тропе, над отвесным обрывом к морю.

Ощущение тревоги и счастья жизни пронизывает каждое стихотворение Александра Кушнера.

Вадим БАЕВСКИЙ.

Смоленск.

САД, ГДЕ ТРОПИНКИ СОЙДУТСЯ

Библиотека журнала «Иностранная литература»,
М. «Известия», 1982—1986.

Герберт Уэллс был фантастом, но, как мы можем судить по книге «Россия во мгле», умел удивляться. «В этой непостижимой России, воюющей, холодной, голодной, испытывающей бесконечные лишения, осуществляется литературное начинание, немислимое сейчас в богатой Англии и богатой Америке...» — писал он. — В умирающей с голоду России сотни людей работают над переводами; книги, переведенные ими, печатаются и смогут дать новой России такое знакомство с мировой литературой, какое недоступно ни одному другому народу».

Уэллс имел в виду книги издательства «Всемирная литература» — одно из первых мероприятий развернувшейся сразу же после Октября культурной революции. Идея Горького широко переводить и издавать произведения писателей Европы, Америки и Азии претворялась в жизнь. Стали выходить альманахи, журналы, возникла серия «Литературные памятники», грандиозная «Библиотека всемирной литературы», библиотеки национальных литературы, «Библиотека классики»...

Традиция крепнет. Среди продолжающих ее культурных начинаний последнего времени — инициатива журнала «Иностранная литература», решившего выпускать в свет небольшие, в пять—десять авторских листов, сборники прозы зарубежных писателей. С тех пор как в 1982 году вышли первые книжки в едином серийном оформлении, число их приблизилось к сотне, и представляют они разные регионы планеты. Среди авторов — норвежец Юхан Борген, валлийские новеллисты, кубинец Элисео Диго, новозеландец Вити Ихимаэра, японцы Ясуси Иноуэ и Ясунари Кавабата, Герман Кант из ГДР и Зигфрид Ленц из ФРГ, кениец Меджа Мванги, Видиа С. Найпол с Тринидада, перуанец Армандо Роблес Годой, Кришна Собти из Индии, англичане Сьюзен Хилл, Сид Чаплин, итальянец Леонардо Шаша, поляк Ежи Эдигей и американский негритянский писатель Ральф Эллисон... Если же говорить о времени написания произведений, то диапазон здесь таков: от «Дублинцев» Джойса и сатирических миниатюр Гашека, начинавших литературу XX столетия (двадцатого — не календарного, но эстетического, историко-культурного), до произведений словацкого новелиста Йозефа Пушкаша и француза

Жан-Марка Робера, которые родились уже после второй мировой войны. в 50-х.

Рассматривая «Библиотеку...» как целое, видишь, сколь многое раскрывает она в жизни нашей эпохи, нашего века, испытывающего человека, его интеллект, совесть, волю, память на прочность как ни один век прежде.

Многочислителен сюжет рассказа Гашека «Австрийская таможня» (написан накануне первой мировой войны). Человека, смятого скорым поездом в лепешку, восемнадцать врачей и пятьдесят два ассистента собрали заново. «Это был блестящий пример того, как медицинская наука, словно в сказке, словно дети из строительных кубиков, может из кусочков создать нового человека». Но стоило только спасенному оказаться на таможене, как чудеса современной медицины уступили место чудесам иного рода: серебряную пластину, заменившую часть черепа, платиновые проволоки — ребра и даже свиную почку в его обновленном организме сочли контрабандой. Триумф науки увял под натиском буквализтики, перед триумфальным шествием бюрократизма.

Еще Добролюбов, рассматривая прозу Достоевского, указывал на засилье в жизни формальных отношений, на борьбу в человеке «живых, никогда не заглушимых стремлений и потребностей человеческой природы» с «внешним, насильственным давлением», с «мнением начальства». В гротеске Гашека мысль об отчуждении личности предельно заострена: своего у человека только-то и есть что «остатки серого вещества, какая-то часть желудка, килограммов пятнадцать плоти, пол-литра крови». А настоящая тема гротеска — отчуждение духа, интерпретация человека как совокупности кубиков или некоего устройства с казенным руководством по применению.

Около семидесяти пяти лет назад Ярослав Гашек (рассказы чешского классика, в том числе «Австрийская таможня», опубликованы в серийном сборнике «Талантливый человек») выразил убеждение, что научно-технический прогресс и прогресс социальный — понятия далеко не равнозначные...

И в небольшой повести Винченца Шиккулы «Солдат» (ею также представлена в «Библиотеке...» словацкая литература), написанной в конце 70-х, очевидна соотносительность национальной, фольклорной, и литературной, прежде всего гашековской

традиции с новейшими социально-политическими реалиями. Инвалид первой мировой войны, Дюрис увиден с высоты опыта семи десятилетий. Хроникальность военных походов трансформировалась в притчу, в «прозаическую балладу».

Тема «бравого солдата», как отметил автор предисловия С. Бэлза, возникает из слияния многих источников. Вполне «литературный» герой Шикеры не равен самому себе, инвалиду Дюрису. Сверхзадача — не просто показать «пошлость пошлого человека», нелепицу нелепо устроенного мира, как это было в «Швейке». Дюрис (а с ним и автор) ищет прочные опоры в мире, качающемся между двумя мировыми войнами.

Эта внутренняя тема воплощена в музыке, которая сопровождает события и мышления героя. Песенка об околосказарменной богине Лили Марлен сменяется музыкой Легара, Штрауса, Бели Бартока. А в финале звучит Шуберт.

Мелодия, которую неясно выводит вдали губная гармошка, не впервые в XX веке возникает в прозаическом повествовании, аллюзия здесь очевидна. Это ей, немецкой народной песне «У колодца, у заставы» в обработке Шуберта, посвящены Томасом Манном проникновенные строки в одной из глав «Волшебной горы». «Разве не стоило умереть за нее, за эту волшебную песню! Но тот, кто умер бы за нее, умер бы уже не за нее и был бы героем лишь потому, что умер бы, в сущности, уже за новое, за жившее в его сердце новое слово любви, за будущее...» Эта песня звучит вновь, когда герой романа бежит, сжимая в руках винтовку, под адский вой снарядов — творений «одичавшей науки», сквозь дым и грязь, бежит и вполголоса поет ее нежные и простые слова. Под эту же мелодию в повести Шикеры фашисты вешают инвалида Дюриса.

Но, может быть, в этих далеких чистых звуках и таится задог того, что, как бы ни было сильно в роковой момент насилие, культура — Культура! — всегда жива, в ней надежда на спасение и восстановление жизни!

Не случайно в то же время, о котором повествует Шикера, австралийский писатель Патрик Уайт (его автобиографические заметки опубликованы в «Библиотеке...»), служа в британских военно-воздушных силах, возил с собой томики Диккенса. Его проза воспринималась Уайтом «как теплый пульс растекающегося по жилам здорового дыхания жизни, которая должна продолжаться, противостоять силам разру-

шения, хотя мощь этих сил признавал и сам Диккенс».

В рассказе Джона Гарднера «Искусство жить» (так озаглавлен и сборник крупнейшего американского писателя, изданный «Библиотекой...») герой настойчиво внушает подросткам, «громилам на мотоциклах», что искусство в широком смысле «пробуждает в людях чувство общности, стремление объединиться... Если человек — художник... он обязательно делает что-то, какие-то предметы, которые его никто не просит делать, или даже никто не хочет, чтобы он их делал, и даже, может быть, больше хотят, чтобы он их не делал. Но он все равно их делает... Вот в этом-то вся и штука, чтобы вновь и вновь делать жизнь поразительной и интересной, чтобы соединять семьи, любящих — кого угодно».

Писатели новейшего времени научились слушать «человека толпы», осознали свою обязанность поддержать его в искании истины. Но, внимая рассуждениям гарднеровского Сократа от кулинарии, не позабудем ли мы выслушать также иные мнения?

В 1938 году в предисловии к русскому переводу романа Франсуа Мориака «Волчица» Бунин писал о «глубине падения греха человеческой природы». В «Библиотеку...» включен роман Мориака «Агнец» (1954), где автор, убежденный католик, показывает всю тщету усилий своего идеального героя побороть зло. Ксавье, чье сердце полно безмерной доброты, чья судьба имеет прообразом крестный путь, — чужак, изгой в изначально греховном мире, где «зло поддержано властью среды с кастовым иерархическим сознанием» (из предисловия В. Лакшина).

Не случайно слова Бунина, полные отчаяния (несмотря на оговорку о том, что Мориака «умеет писать столь обольстительно эту греховность»), были сказаны в 1938 году. Этот год в истории человечества — веха не менее приметная, чем 1913-й — последний мирный год, несущий в себе предвестие катастрофы. Угроза фашизма стала реальностью, новый «закат Европы» выпускал свои багровые крылья над землей.

Но в том же 1938 году соотечественница Бунина (по происхождению русская) Натали Саррот пишет книгу «Тропизмы», где развивает теорию «бродячих состояний», «агрессивности», «уязвимости», «покорности», «пугливости», находящихся ниже сознания, до мыслей. И эта попытка пробиться к существу человека, отбрасывая прочь его социальную практику и не оглядываясь на вечные авторитеты, не единична.

В цикле рассказов «Дублинцы» и особенно во фрагменте (эссе? этюде?) «Джакомо Джойс» (этими произведениями представлен Джеймс Джойс в «Библиотеке...») уже проглядывает метод «Улисса», то, что Эйзенштейн назвал героической попыткой литературы дать «сколок с самой физиологии образования эмоций, сколок с эмбриологии формирования мыслей». Но в этом же наш выдающийся режиссер видел и опасность, ибо стремление искусства «сделать шаг за пределы своей ограниченности» может обернуться взрывом «вовнутрь, в сторону средств искусства, а не содержания искусства». И только расширение «тематического содержания в сторону общественно-прогрессивную и революционную» становится взрывом «вонне», «созидательным идвигающим вперед».

Может быть, как раз взрывом «вовнутрь» объясняется очень многое в эволюции Джойса. Этот же взрыв «вовнутрь» отметим и в творчестве Саррот: не в «Тропизмах» и даже не в «Золотых плодах», известных советскому читателю, но только в романе не столь давнего 1972 года «Вы слышите их?», включенном в «Библиотеку...». Саррот смогла как-то примирить апологию «анонимной магмы» предсознания с социальной конкретностью. В романе нет даты («май 1968 года»), но, по точному замечанию Л. Зониной, автора послесловия, это «один из самых значительных художественных откликов на бунт «контркультуры» против культуры». Действительно, достается как консервативным «отцам» подгоняющим под свой размер культурные ценности, так и ультрарадикальным «детям», не желающим отличать тришкин кафтан конформистов от власяницы создателей.

Тем самым и Саррот, столь активно разрушавшая традиционные формы повествования, фактически признала необходимость эстетического наследования. Конечно, говоря о новациях в прозе XX века, мы не должны забывать и об особенностях читательского восприятия. Многие из того, что казалось современникам странным или неоправданным, вычурным или нелепым, очень скоро предстало естественным, чуть ли не хрестоматийным. Новаторство Вирджинии Вулф, Джойса, Дэвида Герберта Лоуренса теперь «определяется словом «традиция» (например, в творчестве Фолкнера, Т. Вулфа)». Об этом справедливо пишет Е. Гениева в предисловии к сборнику той же Вулф «Флаш».

В 1938 году американка Кэтрин Энн Портер выпустила повесть «Тщета земная»,

внешне очень традиционную, «бытовую». Здесь точно обозначены, вынесены в названия глав даты. В хронологической последовательности и отчетливых причинно-следственных связях развертываются события. Все это приобретает новое значение в финале повести, когда звучит монолог главной героини, Миранды. «Моя жизнь принадлежит мне, думала она яростно, ревниво, жадно, что же я с ней сделаю?.. Взбаламученную, бунтующую душу ошеломило открытие: как же полегчало оттого, что внезапно рушилась прежняя, мучительно тесная клетка искаженных представлений и ложных понятий». Но тут же: «Что есть истина, спросила она себя так настойчиво, словно до нее никто никогда об этом не спрашивал... Мысль упрямо отказывалась возвращаться к прошлому — не к памяти о прошлом, но к легенде о нем...»

Миранда — «воплощение надежд, воплощение неведения» — таковы последние слова повести. Они возвращают читателя к началу: утверждаясь в мысли о праве человека самому постигать, «что такое я и моя жизнь», Миранда не смогла разглядеть за чопорно, почти ритуально романтизированными отношениями в среде, где она выросла, проблески подлинного. Миранда еще предстоит понять, что не только жизнь по заветам старины, но и старание жить, как первый человек на земле, без всяких заветов, тоже в своем роде «тщета земная». В позднейшем, антифашистском романе Портер «Корабль дураков» (1962) показано, что вне преемственности в наследовании культурных ценностей нельзя обуздать энергию разрушения.

Накануне второй мировой войны выявились и сосредоточено внимание к единороству одинокого добра с наступающим кромешным злом и мраком, и попытки объяснить человека как вместилище досознательных «бродячих состояний», и противостоящее таким попыткам стремление опереться на широкую гуманистическую традицию. Выпуски «Библиотеки...» позволяют, в частности, уяснить, что проклятия, адресуемые молодыми конформизму отцов, анафемы устаревшему закономерно должны смениться желанием сохранить и упорчить завоеванные человечеством культурные ценности.

Гуманистические традиции большого искусства особенно ярко обнаружили себя в антифашистском пафосе литературы XX века. И конечно, этот пафос направлен не только против германского фашизма. «Литература Сопротивления должна стать оружием, которое не ржавеет, оружием этики,

рупором, разносящим наш голос над морями и весями,— пишет в предисловии к сборнику «Ветер с моря. Чилийская литература Сопротивления» политический деятель и публицист Володя Тейтельбойм.— Сегодня мы — писатели одной темы, объединенные общей целью».

Мысль чилийца, нашего современника, побуждает к обобщению. Можно сказать, что подлинная литература нашего века всегда литература Сопротивления. «Библиотека...» наглядно подтверждает это. Еще раз обратимся к авторскому составу, этому представительству художников разных направлений, несходных жизненных судеб. Они и вправду «писатели единой темы».

Хорхе Луис Борхес, сколь бы ни было сложно развитие его политических взглядов, с молодости выступал непримиримым противником гитлеризма. Сражался в Интербригаде в Испании канадец Хью Гарнер, а его соотечественник Жан-Жюль Ришар, равно как и американец Ральф Эллисон и англичанин Питер Устинов, служил в составе союзнических войск. Среди деятелей французского Сопротивления (из авторов «Библиотеки...») — Мориак, Арагон, Базен; это движение в центре внимания романиста Армана Лану. Писательница Элизабет Бозэн, происходившая из старинного кельтского рода, — госпитальная сестра милосердия в первую мировую войну и боец отряда противовоздушной обороны в годы второй мировой. Инвалид с детства, австралиец Алан Маршалл стал в это же время корреспондентом фронтовой газеты. Будущий видный поэт, прозаик и сценарист у Феллини и Антониони итальянец Тонино Гуэрра оказывается в немецком лагере под Кельном, а серб Душан Калич в романе «Вкус пепла» показывает, как концлагерь зона унижения, обезличивания и уничтожения, становится центром интернациональной солидарности и антифашистской борьбы уже после бесславной капитуляции «третьего рейха».

В оккупированной Греции Костас Варналис задается вопросом: если историографы мифологизируют историю, то почему бы и мне, писателю-фантасту, не превратить мифологию в историю? — и рождается «Дневник Пенелопы», острая сатира на «господ, сидящих на шее у своих народов». Зигфрид Ленц в форме скромной истории о неудавшейся попытке бегства из коричневой Германии воссоздает ее тягостную и душную атмосферу; рассказ «Капризы волн» занимает всего лишь несколько страниц, но и он свидетельствует об антифашистском духе всего творчества

западногерманского писателя, звучит суровым напоминанием о бдительности, адресованным в первую очередь своему народу. Диктатуры фашистского типа — под прицелом в романе-фарсе «Убейте льва» мексиканца Хорхе Ибаргуэнгойтия. И он в западном полушарии не одинок: Мигель Анхель Астуриас многие годы разоблачал гватемальских тиранов, уругваец Эдуардо Галеано рассказал о поистине континентальном, всеобъемлющем противоборстве демократии и диктатуры в Латинской Америке. Современные формы расизма исследуют Надин Гордимер (ЮАР), писатели с Ближнего Востока Яхья Яхлюф (роман «Наджран в час испытаний») и Али Окля Орсан («Голанские высоты»). Семейно-бытовая повесть «Опальный принц» испанца Мигеля Делибеса, по сути, направлена против франкизма. Работая над романом «Фосс» (1957), Патрик Уайт вспоминал, что образ его главного героя начал формироваться в те дни, когда «над жизнью каждого из нас довлела еще более зловещая фигура другого безумного немца, тоже одержимого манией величия». Вновь и вновь возвращаются к событиям «культурной революции» современные китайские писатели. Сборник их прозы выделяется среди пестрых книжек «Библиотеки...» серой, казарменно-шинельной обложкой — как настойчивое визуальное напоминание о столь недавней и уже как бы неправдоподобной обезличке...

Такого рода смысловые переключки свидетельствуют не о тенденциозности при отборе авторов составителями «Библиотеки...», а о главной тенденции в движении литературы XX века. Разве протест Дэвида Герберта Лоуренса (1885—1930) против «механической цивилизации», его антимилитаризм не остаются действенными и поныне? И разве в повестях Германа Гессе рубежа 1910—1920-х годов (теперь они выпущены в «Библиотеке...») нет предчувствия фашизма и новой войны? Не его ли «Игру в бисер» через четверть века жители бывшего «третьего рейха» выменивали на муку и продукты в надежде разобраться в духовной катастрофе нации? И даже Жан Кокто, редко отходивший от сугубо эстетической тематики, писал о войне как о «самом страшном социальном преступлении». Да и эстетические высказывания Кокто всегда были остро критичны по отношению к буржуазному строю. Разве не ясна гуманистическая позиция фантаста Рея Брэдбери из его рассказов «Выпить сразу: против безумия толп» и «Tuganposaurus Rex», которые вошли в сборник

«Библиотеки...»? И роман «Гайное свидание» Кобо Абэ, «поклонника русской литературы», Гоголя (это его собственное признание), читается как впечатляющая «антибюрократида» (а без тотальной забюрократизированности фашизм недееспособен)...

Разные имена, самобытные поэтики, несходные стилевые манеры. Но не объемлет ли все это лозунг Бертольта Брехта, декларировавшего полную свободу литературно-творчества с одним лишь ограничением — «ограничение таково: запрету подлежат произведения литературы и искусства, прославляющие войну, проповедующие ее неизбежность или разжигающие ненависть между народами». Эта «антитема» так или иначе отразилась в творчестве всех скольких-нибудь заметных писателей XX века. Быть может, и потому, что окрепло убеждение: «Сословные, национальные и психологические барьеры способна взорвать великая сила искусства» (из вступительной статьи Г. Анджапаридзе к сборнику Фрэнсиса Кинга «Дом»). История все же чему-то учит: ясно, что появление новых барьеров связано с идеологией «огораживания», крайней степенью которой и выступает фашизм.

Искусство — действенное средство духовного сплочения. Магия художественного слова незаменима. В «Библиотеке...» выпущен сборник эссе Эрве Базена «Во что я верю». В них затронуты многие проблемы, разрабатываемые литературой нашего века. Можно даже прочитать этот сборник как своего рода этическую декларацию, произнесенную от имени большинства авторов серии. Но — увы! — ни одно эссе Базена не заменит его же рассказа или повести. Открытый Блоком «спасительный яд творческих противоречий», движение художественных образов истари воздействуют сильнее любых рационалистических вытязек.

Задавшись целью познакомить советского читателя с зарубежной прозой малых форм, составители «Библиотеки...» не ограничиваются лишь одним жанром. Так, в сборник Тонино Гуэрры наряду с рассказами включена пьеса «Четвертый стул», возникшая как бы в точке схождения кинодраматургических и прозаических опытов автора. Рядом с романом в книге Кобо Абэ помещены драматические сцены, что как нельзя более соответствует его же высказыванию: «Слова, не подкрепленные движением, это проза».

Что и говорить, XX век, введя в хоровод древних муз молодые — кино, радио, телевидение, — потребовал и от художников

слова нового осознания синтетической природы повествовательного искусства. Именно поэтому ограничение серии сугубо прозаическими жанрами выглядело бы досадным анахронизмом.

Также несомненно право редколлегии, сохраняя верность критерию художественного качества, доверять писательскому эксперименту. И когда читаешь сборник фантастических рассказов «Скальпель Оккама», объединенный темой «Человек и Природа», то признаешь: даже при различном уровне авторского мастерства в книжке прослеживается тенденция современной фантастики к слиянию с «большой литературой», совершенствованию поэтики фантастических произведений, усилению в ней социально-психологических мотивов.

Нечто подобное происходит и с детективом. Роман «Двойная игра» Александра Карасимеонова (Болгария) никак не отнесешь к высоким образцам этого популярнейшего жанра. Избранная автором манера повествования от первого лица нередко оказывается в разладе с содержанием, очевиден и недостаток психологизма, подчас повествование тонет в мелочах жизни, в утомляющих подробностях. Но и в таком виде смысл авторской сверхзадачи все же сохраняется — перейти от уголовного сюжета к показу сложных процессов в обществе, заострить внимание на его актуальных проблемах. «У человека всегда два лица — как бы он ни был слаб, он хочет быть сильным» — вот, пожалуй, основной тезис автора. По мысли писателя, прогрессивная идея должна стать силой личности.

Этот критерий особенно важен для литературы социалистического общества. И здесь, пожалуй, уместно вспомнить завет русской классики, герценский: «Мы не врачи, мы — боль». Эта мысль парадоксально заострена венгром Иштваном Эркенем в теоретическом этюде, предвещающем его книгу «Путь к гротеску». По мнению Эркена, именно многоплановость, сложность социальных явлений XX столетия способствовали взлету «гротеска как метода подхода» к ним. При этом, разрабатывая один и тот же прием, писатели Запада и писатели стран социалистических получают в итоге ответы, которые подчас коренным образом разнятся. Эркень подчеркивает: «В отличие от моих западных собратьев по перу я толкую гротеск как ситуацию, которая может быть изменена». И далее: «Жизнь учила меня — и не раз! — что мы в силах изменить ту или иную ситуацию, сколь бы окончательной и безысходной она ни казалась... Я верю в действенность человека да-

же в тех ситуациях, когда объективные условия делают неизмеримо трудным выбор между правильным и ошибочным решением... что же касается моей философии, то это философия активного действия».

Речь здесь идет и о таком пути развития современного языка литературы, который отвечал бы усложнению нашей духовной реальности: частный, но необходимый вариант классического положения, признающего, что сознание человека не только отражает, но и творит мир.

«Библиотека...», к счастью, не грешит европоцентризмом. Развитие литературы — процесс трудно предсказуемый, и сейчас, когда, например, латиноамериканская литература переживает свой звездный час, понятно, почему так много авторов из этого региона уже включено в серию.

Можно, конечно, сказать: кроме приложени к журналу есть и сам журнал. В него и печатать новинки переводящейся у нас литературы. Но обратим внимание на репрезентативную роль «Библиотеки...»: уже вышло немало книг, предворяющих большие сборники тех же писателей, выпускаемые «Художественной литературой», издательством «Радуга». Несмотря на скромный тираж в 50 тысяч. «Библиотека журнала „Иностранная литература“» становится источником эстетической информации, стекающей со всего света.

Хорошо и то, что в оформлении серии используются современная живопись, графика, продуманно подобранные: репродукции картин на обложках книг Сьюзен Хилл, Хулио Каргасара, Джона Чивера, Эдуардо Галеано, монгола Доржийна Гармы, авторский рисунок (сборники Дино Буццати, Жана Кокто — в последнем их целая тетрадка), фотография («Дублинцы» Джойса, «Чужие дела» Робера), народно-прикладное искусство (в книге Юрия Брезана (ГДР) «Черная мельница» воспроизведена лужицкая вышивка). Важно, что предисловия к книгам пишут не только высококвалифицированные литературоведы с хорошим пером (кроме уже названных, это И. Тертерян, Н. Анастасьев, Я. Засурский, Вл. Огнев, Н. Т. Федоренко), но и писатели: Е. Евтушенко, Б. Можаяев, Ю. Нагибин, Ю. Рытхэу...

Уже теперь очевидно: «Библиотека...» — заметное явление культурной жизни Советского Союза. Перед читателем литература, создаваемая с верой, что на земле возможен (если переосмыслить метафорическое название рассказа Борхеса, не изменяя при этом пафосу всего его творчества) возможен сад, где все тропинки сойдутся

Мария ЗОРКАЯ,
Сергей ДМИТРЕНКО.



Политика и наука

РАДИ МИРА И ПРОГРЕССА

Борьба СССР за мирное использование космоса, 1957 — 1985. Документы и материалы в двух томах. М. Политиздат. 1985. Т. 1. 478 стр. Т. 2. 528 стр.

Первый искусственный спутник Земли был запущен Советским Союзом в период Международного геофизического года — обширной и разносторонней программы одновременных научных наблюдений на всем земном шаре. Прошло совсем немного времени после запуска, и Советское правительство посчитало необходимым выступить с развернутым предложением о запрещении использования космического пространства в военных целях, о ликвидации иностранных военных баз на чужих территориях и о международном сотрудничестве в области изучения космического пространства.

Осуществление мечты человечества — вывод на орбиту космического корабля с человеком на борту — заставило нашу страну еще тверже выступить в защиту мирного использования космоса. Вслед за

сообщением о беспрецедентном событии планеты облетело обращение нашей партии и правительства к народам и правительствам всех стран, ко всему прогрессивному человечеству. Оно прозвучало как могучий призыв к дальнейшему овладению силами природы во имя мира и счастья землян. Предупреждения, содержащиеся в этих документах, оказались не напрасными. Очень скоро мир потрясли факты грубого нарушения Соединенными Штатами общепринятых норм космического права — раздела юридических наук, обязанного своим рождением новой эре.

Опубликованное в двухтомнике Заявление правительства СССР об американских ядерных взрывах на большой высоте над Тихим океаном отражало всеобщее возмущение, вызванное такими действиями. Это заявление горячо обсуждалось и под-

держивалось научной общественностью разных стран на конгрессе Международной астронавтической Федерации, проходившем в 1962 году в Болгарии.

«Агрессивность взрывов, — заявил тогда на пресс-конференции академик Е. Коровин, — вне сомнения. С их помощью проверялась возможность парализовать оборону других государств путем выведения из строя систем связи, радиолокационных установок».

Последовал вопрос одного из журналистов: «Какую конкретную задачу при этом решал Пентагон?»

«Обезопасить США от ответного ядерного удара», — сказал ученый.

Можно проследить удивительную способность правителя Америки годами, десятилетиями твердить одну и ту же абсурдную версию об опасности нападения со стороны СССР. Спекулируя на собственных измышлениях, администрация США систематически нарушала договорные обязательства, наращивала ядерные вооружения, активно действовала на поприще военизации космического пространства.

Не прошло и года после «испытательных» ядерных взрывов на больших высотах, как возникли странные эксперименты в космосе с миллионами медных иголок. Проводя их, американская военщина полностью игнорировала те опасные для человечества последствия, которыми чревато засорение околоземного пространства.

Международные научные круги выразили по этому поводу глубокое возмущение. Свой голос поднимали Генеральная ассамблея Международного астрономического союза, академии наук СССР, Франции, Бельгии и других стран, ученые с мировым именем. Профессор астрономии Кембриджского университета Хойл назвал создание кольца из медных иголок вокруг Земли «большим преступлением против разума», а знаменитый английский астроном Ловелл заявил, что «загрязнение космоса нельзя оправдать».

Советский Союз был особенно озабочен опытами США по созданию «колючей проволоки» в космосе, так как готовился запуск космического корабля «Восток-6», впервые пилотируемого женщиной-космонавтом. Сообщение ТАСС об этом запуске, состоявшемся 16 июня 1963 года, помещено в сборнике в числе важнейших документов космической эры.

Материалы, собранные в двухтомнике, воскрешают подробности исторического выхода человека из космического корабля в открытый космос, первой посадки на

поверхность Луны советской автоматической станции «Луна-9», полета советских аппаратов к планете Венера. В связи с этими новыми шагами в освоении космического пространства Международный институт космического права поручил группе юристов ряда стран разработать основные положения международного договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Этот договор, подписанный 27 января 1967 года, стал краеугольным камнем международного космического права. Он категорически запрещает применение силы или угрозы силой и любые другие враждебные действия в космосе, а также использование Луны для совершения таких действий в отношении Земли; в частности, в нем говорится о недопустимости размещения на Луне ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения.

Казалось бы, зачем возводить в закон то, что для всех очевидно? Увы, не для всех. Э. Теллер, которого американцы называют «отцом водородной бомбы», в конце 1969 года во всеуслышание провозгласил целесообразность проведения ядерных взрывов на Луне. Теллер и ныне продолжает быть одним из авторитетных сторонников и пропагандистов военизации космоса.

Немало внимания ученые разных стран уделили выработке статуса небесных тел, предусматривающего, что небесные тела и их отдельные районы не должны подлежать национальному или частному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. Допустим, на Марс одновременно прилетели три космических корабля из разных стран Земли или на одном корабле прибыл интернациональный экипаж. Тогда, гласит закон, отношения между представителями различных государств не должны противоречить правилам, которые соблюдаются в аналогичных условиях на Земле, и обязаны строиться на общих принципах гуманизма, взаимопомощи, добрососедства. Ну, а если на небесном теле встретятся признаки разумной жизни? На этот вопрос космическое право отвечает: детали «должны быть пересмотрены применительно к особенностям каждого случая и с учетом отношений с этими живыми существами..».

Порожденное научно-техническим прогрессом международное космическое пра-

во выступает ныне как важное средство развития сотрудничества государств в деле изучения и использования космического пространства. Задачи космического права возрастают и разветвляются.

Достаточно полно разработаны международно-правовые основы многостороннего сотрудничества социалистических стран по программе «Интеркосмос». За 20 лет сотрудничества осуществлен совместный запуск 23 искусственных спутников Земли, нескольких сотен метеорологических ракет. На советских межпланетных автоматических станциях «Венера», на долговременных орбитальных станциях «Салют» и «Мир» устанавливаются приборы, сделанные в социалистических странах — членах космического содружества. Полученные во время космических экспедиций ценнейшие научные данные используются соответствующими государствами в исследовательских и народнохозяйственных целях. Многим памятли полеты советской станции «Салют», в которых приняли участие представители ряда стран — каждая из них имеет теперь своего Гагарина. И сегодня подмосковный Центр подготовки космонавтов сердечно встречает гостей из-за рубежа, которым предстоит принять участие в будущих полетах.

Многие государства объединили свои усилия, чтобы проникнуть в тайны строения кометы Галлея. Достижения нашей страны в этой области широко известны. СССР выдвинул не менее дерзкий проект «Фобос», который также предусматривает сотрудничество исследователей из разных стран. Спутник Марса Фобос давно привлекает внимание ученых, предполагающих, что он содержит бесценный клад — первозданное вещество Вселенной.

Все большее значение приобретают спутники для быстрого поиска и спасения судов и самолетов, потерпевших аварию. При активном участии СССР создана международная экспериментальная система «КОСПАС — САРСАТ», предназначенная для этой цели. Она уже продемонстрировала свои возможности — своевременно обнаружены десятки терпящих бедствие судов и самолетов, спасены сотни людей в разных частях планеты на суше и море.

Актуальные правовые вопросы назрели в области космической метеорологии. Наряду с совершенствованием прогнозов перед ней встают задачи управления погодой. Значительных успехов в этом деле — в частности, в защите ценных сельскохозяйственных культур от града — добилась гидрометеорологическая служба СССР.

Ну, а как обстоят дела с мирным освоением космоса в США? По данным американской печати, Соединенные Штаты планируют «важные дела в космосе». Осуществляются полеты к Урану, Юпитеру... Вместе с тем делаются завуалированные намеки на то, что «за 1986-м последуют тощие годы». Утверждается, например, что НАСА переживает кризис из-за «появления все более открытой и сложной программы изучения космоса в Советском Союзе». Сетуют и на опоздание с картографированием Венеры, которое действительно уже выполнено с помощью советских межпланетных станций. Это не удивительно — достижения науки служат в США прежде всего военным целям. Во время позорной войны во Вьетнаме Пентагон предпринимал опыты по искусственному стимулированию дождей, затоплявших дороги и затруднявших переброску грузов в Южный Вьетнам. На такое средств не жалеют. По официальным данным, в 1967—1972 годах на «регулирование» погоды в Южном Вьетнаме над районами, контролирувавшимися народно-освободительной армией, истрчено более 21 миллиона долларов. А баснословные суммы, которые предполагается употребить на создание космического оружия в рамках так называемой стратегической оборонной инициативы?

Кстати говоря, юридические нормы вырабатываются людьми и действуют, вполне понятно, лишь в пределах человеческого общества. А как быть с автоматами, роботами? Ведь самый совершенный из них может сломаться, как детская игрушка. По мнению американского социолога А. Банди, ненадежность программного обеспечения СОИ способна привести к катастрофическим последствиям. «Системе, — заявил он, — пришлось бы в десятые доли секунды реагировать на предполагаемую угрозу. Уже бывали случаи, когда система раннего оповещения «НОРАД» приводилась в состояние повышенной боеготовности стаей гусей или появлением из-за облаков Луны. Реакция ненадежной системы станет настолько быстрой, что человеческое вмешательство окажется невозможным». Серьезным предупреждением для сторонников «звездных войн» служит и недавняя трагическая гибель «Челленджера» — пилотируемого космического корабля многоцелевого использования. Ведь подобные аппараты, по мысли идеологов СОИ, должны явиться одним из важнейших средств ее технического обеспечения...

«Крайне необходимо, пока не поздно, отыскать реальное решение, которое гарантировало бы от переноса гонки вооружений в космос, — подчеркнул в своем докладе на XXVII съезде КПСС М. С. Горбачев.—Нельзя допустить, чтобы программа «звездных войн» использовалась и как стимул к дальнейшей гонке вооружений, и как зава на пути к радикальному разоружению».

Международный, общечеловеческий характер космической техники обусловлен ее особенностями, о которых люди, к сожалению, не всегда помнят. Спутник летит над разными континентами и пересекает множество границ — он в отличие от самолета принадлежит всей планете. Техни-

чески невозможно создать такой космический корабль, который летал бы в пределах одного государства. Освоение космического пространства — дело всего человечества. И дело это безмерно трудное, оно потребует и дальше чрезвычайного напряжения сил многих тысяч людей, проявления новых ярких дарований. Циолковский говорил, что звездоплавание нельзя и сравнить по сложности с летанием в воздухе. Вот почему Советский Союз с самого начала космической эры выступал и выступает за объединение усилий, за сотрудничество, осуществляемое на основе норм международного космического права, которое отвечает интересам всех стран.

А. МАРКЕЛОВА.



ГИГАНТ ДУХА И МЫСЛИ

Г. Е. Павлова, А. С. Федоров. Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765).
 Ответственный редактор академик Е. П. Велихов. М. «Наука». 1986. 458 стр.

Гений принадлежит всему человечеству... С этим постулатом трудно спорить. И все-таки в первую очередь гений принадлежит своему народу. В сложном переплетении политических, социальных, этнографических и многих других условий родной страны формируется его личность, определяется отношение к окружающему миру, собственное место в нем.

Понятна ответственность, которую берут на себя исследователи, пытаясь воссоздать для своих современников личность гения, сфокусировав на ней давно ушедшую эпоху во всем ее многообразии. Можно сказать, что Г. Е. Павловой и А. С. Федорову это удалось. За внешне сухим, академическим изложением читатель видит наиболее яркие черты великого ученого: глубокие знания, умение предвидеть основные направления научного прогресса и сочетать теоретические исследования с потребностями практики, неустанное стремление использовать достижения науки в интересах развития экономики и культуры страны. Об этом очень точно сказал Н. Г. Чернышевский: Ломоносов «страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что нужно было для блага его Родины. Он хотел служить не чистой науке, а только Отечеству». Ломоносов первым из русских ученых продемонстрировал качества ученого-патриота, ученого-гражданина, которые впоследствии характеризовали деятельность Лобачевского и Менделеева, Сеченова и Павлова, Жуков-

ского и Циолковского, Курчатова и Королева...

Как человек находит свою дорогу в жизни? Что тут решает — случайное стечение обстоятельств или некая внутренняя потребность? Ответить на этот внешне простой вопрос чрезвычайно трудно, а то и вовсе невозможно. Со школьных лет мы знаем, как великовозрастный помор бросил все и ушел в чужом полушубке с рыбным обозом в Москву учиться. Физический труд закалил его тело, суровое море — душу, а природная любознательность помогла определить единственный верный путь, когда жизнь поставила выбор: или — или... Жизненные обстоятельства формируют характер, который, как гласит народная мудрость, определяет судьбу. Все правильно, так оно и было. Наверное, даже вопроса не должно возникнуть, почему это вдруг жажда знаний пересилила вековые традиции, на которых держался суровый уклад северян, и поставила девятнадцатилетнего парня, единственного наследника богатейшего рыбопромышленника, который сыну уже и невесту подобрал, бросить все и уйти навстречу неизвестности. А вопрос все-таки напрашивается. И хорошо, что авторы книги не отмахнулись от него. Да, жажда знаний тянула. Но помогла делу и злая мачеха, настолько отравившая жизнь парню, что он готов был уйти куда глаза глядят. А вот в том, что ушел в Москву за знаниями, уже характер...

Пожалуй, это единственный эпизод из всей богатой событиями биографии Ломоносова, когда привходящие обстоятельства руководили его поступками. В дальнейшем он тоже нередко бывал вынужден примеряться к обстоятельствам, но всегда и во всем видел главную цель и с пути к ней не сворачивал. Это ярко проявилось и когда он учился в Москве в Спасских школах, живя на три копейки в день, и когда был студентом Петербургской Академии наук «на академическом коште» — без выплаты жалования, и когда в Пруссии, будучи завербован «по хмельному обстоятельству» в армию, бежал с риском для жизни, и в дальнейшем, когда отстаивал перед равнодушными иностранцами в Петербургской Академии интересы отечества...

Факты рисуют нам ученого, не похожего на заимствованный из средневековья образ погруженного в размышления отшельника, человека не от мира сего. Ломоносов всю жизнь был ой как от мира сего. Да и жил он в бурную эпоху, опрокинувшую обветшалые авторитеты, открывшую необозримые, сверкающие ярчайшими красками горизонты для пытливого мысли.

Чему отдать предпочтение, рассказывая о Ломоносове? Человек универсальных знаний, подлинный энциклопедист, он внес весомый вклад в физику, химию, технику, историю, экономику, геологию, географию, литературу, на длительный период предопределил пути их развития. Я расположил различные отрасли знания в произвольном порядке. А как должен поступить исследователь? Вероятно, так же. В деятельности Ломоносова невозможно поставить что-то одно во главу угла. Так, он создал новую науку — физическую химию. Но ведь и русская литература началась, как писал Белинский, с его «Оды на взятие Хотина». Прокатившаяся по страницам нашей печати лет двадцать назад дискуссия о физиках и лириках, вызывающая сейчас ироническую улыбку, возникла через четверть тысячелетия после начала научной деятельности Ломоносова. В его времена такой дискуссии быть не могло. Она от изобилия знаний, от пресыщения. А тогда все было вновь все важно. И он это отлично понимал. Более того, он отлично понимал дух своего времени. С началом капиталистической эры в Европе ускорился процесс развития производительных сил, более интенсивно велись поиски новых путей овладения природой. Требовалось приносить научные достижения на практике.

Появились научные корпорации — академии, в задачи которых входило не только слить разнообразные науки в единое практическое русло, но и подготовить научных работников. Ломоносов как никто другой понимал важность и перспективность именно этого направления деятельности академий. Более того, в России он первый превратил его в реальность.

Авторам книги удалось хорошо осветить педагогическую деятельность Ломоносова, проанализировать причины ее успеха. Петербургская Академия наук была в то время единственной академией в мире, где отсутствовало теологическое направление и в исследовательской деятельности и в преподавании. Иначе говоря, отсутствовал один из сильнейших факторов притеснения свободы научной мысли и творческой работы. Правда, других отрицательных факторов было более чем достаточно. Реакционно настроенное руководство Петербургской Академии препятствовало тому, чтобы она стала центром подготовки национальных научных кадров, видя в этом угрозу для своего дальнейшего существования. Противникам Ломоносова (в частности, правителю канцелярии Шумахеру) в дальновидности не откажешь. «Шумахеру было опасно происхождение в науках и производстве в профессорах природных россиян, от которых он уменьшения своей силы больше опасался. — писал Ломоносов. — Того ради учение и содержание российских студентов было в таком небрежении, по которому ясно оказывалось, что не было у него намерения их допустить к совершенству учения». Нужно было быть Ломоносовым, чтобы выстоять и победить. Результат двадцатилетней борьбы — Московский университет, носящий имя великого ученого и патриота.

Личность Ломоносова, его передовое мировоззрение сказались даже на структуре созданного им университета. Глубоко продумав систему обучения, он предусмотрел в нем три факультета: философский, юридический и медицинский. Богословского факультета, обязательного для всех университетов мира, здесь не было. Нужна была огромная смелость, ясное понимание всей ответственности возложенной на себя задачи, чтобы решиться на такой шаг и отстаивать его. Ломоносов требовал также невмешательства церковных властей в преподавание и обсуждение научных трудов профессоров университета, запрещения духовным лицам вести в народе агитацию

против науки — «не ругать наук в проповедах».

Распространение науки и просвещения, привлечение в науку разночинных слоев русского общества должны были согласно общественно-политическим воззрениям Ломоносова привести к экономическому и культурному прогрессу России, улучшить положение народных масс.

Московский университет с первых лет своего существования пошел по пути, намеченному его основателем. В стенах этого заведения творчески развивались и пропагандировались передовые научные и общественно-политические взгляды Ломоносова. Здесь трудились последователи великого ученого, которые превратили университет в форпост передовой отечественной науки и культуры, в один из центров антикрепостнической и революционной мысли.

Педагогическая и просветительская деятельность Ломоносова уже при его жизни стала приносить плоды. Начали оправдываться и его надежды на появление русских национальных научных кадров. Из Академического университета, руководимого Ломоносовым, вышли многие отечественные ученые, оказавшие значительное влияние на экономическую, политическую и культурную жизнь страны, — С. К. Котельников, С. Я. Румовский, А. П. Протасов, П. Б. Иноходцев, И. И. Лепехин, В. Ф. Зуев и другие.

Ценой огромных усилий удалось Ломоносову заложить прочный фундамент развития народного образования. Вот почему оправдан тот большой объем, который авторы книги отвели показу педагогической деятельности великого ученого. Но хочется сделать авторам и упрек. Подробнейшим образом останавливаясь на личности своего героя, на его поступках, они весьма скупо характеризуют его окружение. Право же, такая скудость неоправданна. Ведь Ломоносов жил и творил в сложнейшую эпоху. Петр I, Екатерина I, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Елизавета, Петр III и наконец Екатерина II — какой пестрый kaleidoscope правителей при жизни одного человека! А с ними чиновники и меценаты, многие из которых сыграли свою положительную или отрицательную роль в судьбе русской науки. Имена людей (скажем, И. И. Шувалова), заслуживающих обстоятельной оценки, порой только упоминаются, какими-то бледными тенями проходят они по страницам книги. Несомненно, это обедняет исторический фон, на

котором развернута в книге жизнь и деятельность Ломоносова.

Один из крупнейших представителей мировой науки XVIII века, Ломоносов явился основоположником материалистической философии в России. Он предпринял смелую попытку дать единую материалистическую картину мира, основываясь на выводах современного ему естествознания. Закономерно поэтому, что авторы, скрупулезно разбирающие научную деятельность Ломоносова, неизменно связывают ее с его мировоззрением. Все творчество великого русского ученого проникнуто идеей познаваемости явлений природы. Он безоговорочно утверждал основной принцип материализма: мир идей вторичен, а мир объективно существующих вещей и процессов первичен. «Идеями, — писал Ломоносов, — называются представления вещей или действий в уме нашем».

Являясь продолжателем Г. Галилея, Р. Декарта, Ф. Бэкона, И. Ньютона и других крупнейших ученых, Ломоносов подверг их труды строгому критическому анализу, отобрав из них все рациональное, отвечающее передовым взглядам. Даже краткий перечень его научных подвигов вызывает изумление. Создание первой в России химической лаборатории, организация астрономических и метеорологических исследований, снаряжение географических и геологических экспедиций, подготовка плаваний с целью изучения и освоения Северного морского пути — вот дела Ломоносова только как организатора науки. А ведь были еще блестящие химические работы, важнейшее место среди которых занимает изучение процессов растворения металлов и солей, была молекулярно-кинетическая теория теплоты — огромный вклад Ломоносова в физику, были изучение упругости воздуха, атмосферного и статического электричества, теория цветообразования, открытие атмосферы на Венере, исследования по геологии, минералогии и кристаллографии, имеющие огромное практическое значение труды по добыче и переработке полезных ископаемых. Не говоря уж о том вкладе, который внес Ломоносов в отечественную литературу и историческую науку...

Главный труд, вершинное достижение ученого — его атомно-кинетическая концепция. Ломоносов первым выдвинул идею развития материи в противовес укоренившемуся представлению о неизбежности мира с момента его «создания» творцом. Свяжав в единое целое материю и движение, он сумел с материалистических позиций

объяснить многие процессы и явления, наблюдаемые в природе. Уже в то время Ломоносов утверждал, что движение — важнейшая форма существования материи, весь материальный мир — от огромных космических образований до мельчайших материальных частичек, из которых состоит тела, — находится в процессе непрерывного движения. Это в одинаковой мере относилось как к неодушевленным веществам природы, так и к живым организмам. Ученый рассматривал живые организмы как конгломерат — механическое соединение простых неорганических тел, которые, в свою очередь, представляют собой совокупность мельчайших частиц. На том уровне знаний это было огромным шагом вперед.

Выдающимся научным достижением Ломоносова является открытый им закон сохранения материи и движения. В нем ученый дал своим современникам основу для нового понимания мира. Развив идею вечности и неуничтожимости материи, выдвигавшуюся еще философами-материалистами античного мира, он первым при исследовании материи и движения обошелся без помощи их «божественного происхождения» и так называемого первотолчка. Уже первая формулировка закона, содержащаяся в письме Ломоносова Л. Эйлеру от 5 июля 1748 года, говорила о чисто природных явлениях, не содержащая никакого намека на высшие силы, без которых

не могли обойтись ни предшественники, ни старшие современники Ломоносова.

«Все встречающиеся в природе изменения происходят так, — писал ученый, — что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрствования, и т. д. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому, им движущему».

Как просто и ясно написано это знаменитое письмо — по существу, обстоятельный научный трактат, в котором сформулирован в общем виде один из важнейших законов природы!

В одной книге, как бы объемна она ни была, невозможно исчерпывающе раскрыть личность такого гиганта духа и мысли, каким был Ломоносов. Потери неизбежны. Однако задачи, которые авторы ставили перед собой, выполнены. Советские читатели получили богатую фактическим материалом научную биографию славного основоположника отечественной науки и культуры, глубокий патриотизм которого явился притягательным примером для всех последующих поколений.

А. ВАЛЕНТИНОВ.



НАЕДИНЕ С МАРКОМ АВРЕЛИЕМ

Марк Аврелий Антонин. Размышления.
(«Литературные памятники») Л. «Наука». 1985. 245 стр.

«Недалеко забвение: у тебя — обо всем и у всего — о тебе». Так писал, счастливо заблуждаясь, Марк Аврелий около двух тысяч лет назад. Время опровергло его слова не без изысканной иронии: забвение для него так и не настало. Философ, рассуждавший о тщете славы, оказался прославленным в веках, в частности, благодаря и этим рассуждениям о славе и забвении.

В чем же неисчерпанная актуальность «Размышлений» Марка Аврелия, в разное время неоднократно — полностью или частично — переведившихся на русский язык, а теперь вышедших в новом переводе в серии «Литературные памятники»? Этот невинный на первый взгляд вопрос может оказаться весьма болезненным. Проблемы, над которыми размышлял им-

ператор-язычник, зачастую так и остались неразрешенными.

Сила книги Аврелия во многом — еще один парадокс! — связана со слабостью авторской позиции. Философская самостоятельность его идей весьма сомнительна, в них он слишком обязан стоицизму. Так же трудно назвать его мысль и последовательной. В книге много внутренних противоречий, несогласованности, «мешанины». Ясно, что Аврелий не слишком дорожил чистотой и последовательностью доктрины. Его волновало другое — совмещение философии и жизни, очеловечивание философских принципов.

Однако это едва ли принесло бы мыслителю бессмертие, если бы он не предстал перед потомками во всяком случае в четырех ролях. Его справедливо называ-

ли философом на троне, что в истории редкий случай. По сути же, Аврелий соединил в себе черты простого смертного, философа, императора и — последнее обстоятельство крайне важно — литератора, оказавшегося способным адекватно выразить свое душевное состояние.

Самобытность Аврелия — в интимности его книги, затрагивающей всего человека без остатка. Автор пишет для самого себя и настолько свободен в выборе формы, что не испытывает страха ни перед повторами, ни перед противоречиями, в какой-то мере замещает или предвещает не свойственный фаталистическим основам античного мышления психологизм.

Загадка власти всегда интригующа. Правитель, сосредоточивший в своих руках безграничную власть императора Римской империи, интересен как мощный аккумулятор социального опыта, недоступного частному лицу. Философ на троне волея-неволей превращается в философа-экспериментатора, который, если перефразировать знаменитый тезис Маркса, не только объясняет мир, но и имеет весьма серьезную возможность его изменить. Взгляд «сверху» позволяет ему лучше постичь социальную природу человека, заметить «блеск и нищету» его общественных амбиций. Именно с точки зрения опытного, несколько утомленного заботами сорокалетнего правителя Аврелий рассматривал славу, тщеславие, власть. Именно с этой точки зрения он предостерегал себя (и других всевозможных правителей) от опасного искуса наслаждения властью: «Гляди, не цезарей, не пропитайся порфирой — бывает такое. Береги себя простым, достойным, неспорченным, строгим, прямым, другом справедливости, благочестивым, доброжелательным, приветливым, крепким на всякое подобающее дело».

Соответствовал ли Аврелий провозглашенному им императорскому кодексу чести? Ответ на этот вопрос — в статье А. Доватура «Римский император Марк Аврелий Антонин» — одной из трех статей, составляющих приложение к тексту. Впрочем, сведения о царствовании Марка Аврелия не отличаются ни обилием, ни обстоятельностью. Известно, что император был миролюбив и гуманен, благодаря чему время его правления получило в исторической традиции название «золотого века». Из его дел, о которых говорится в статье, хочется особенно выделить учреждение в Афинах четырех кафедр фило-

софии (для каждого из господствовавших и споривших между собой в то время философских направлений), что, безусловно, свидетельствует не только о широте мысли императора, но и об его отношении к самой возможности поисков истины.

Мудрый император не заслонил в Аврелии простого смертного, который буквально ушиблен проблемой своей смертности. Его мысль вновь и вновь возвращается к этой проблеме. Не в силах разрешить ее посредством выхода за пределы земного «я», сомневаясь в личностном бессмертии, он пытается примириться со смертью и как заклинание твердит: «Все, что видишь, скоро погибнет, и всякий, кто видит, как оно гибнет, скоро и сам погибнет. По смерти и доможитель, и кто безвременно умер станут равны». Но это утешение, к которому не раз впоследствии обращались другие, не слишком-то утешает, и потому, чтобы связать концы и начала, жизнь и смерть, Аврелий пересматривает с точки зрения неминуемой смерти основные принципы жизни, тем самым, как справедливо пишет автор другой статьи Ян Унт, превращая смерть в «смыслообразующее явление».

Аврелия как философа нельзя понять внеисторически, вне кризисного момента развития культуры, когда античная система ценностей постепенно разрушалась, а нарождающееся христианство еще не получило статуса мировой религии, способной авторитетно ответить на вопросы жизни и смерти. Несмотря на богатство и зрелость предшествующей философии, Аврелий оказывается в решении важнейших жизненных проблем наедине с собой. Его записки — это, может быть, прежде всего борьба автора со своими глубокими внутренними сомнениями, которые касаются основополагающего вопроса о смысле мироздания, и отчаянием, вызванным тем, что сомнение может привести к обесцениванию любых человеческих ценностей, крушению цивилизации. Аврелий — мужественный нравственный проповедник, поставленный в драматическую ситуацию культурно-религиозной «пересменки». Мир, как старая дверь, сошел, сорван с петель — какую нравственную позицию следует в нем занять? Аврелий ясно осознает, что нравственность не может существовать в атмосфере распада смысла, он борется за смысл, он доказывает другим, что смысл — есть, но сам не вполне в этом уверен. Вот почему так страстен его голос в те моменты, когда он гонит сомнения прочь, вну-

шая себе, что «всякий, кто чем бы то ни было опечален или недоволен, похож на поросенка, которого приносят богам, а он брыкается и визжит».

Мысль Аврелия мечется от сурового аскетизма до умеренного наслажденчества («трезво веселись»), от принятия самоубийства до протеста против него, она буквально изнывает от противоречий, отражая момент страдания души, которая устремлена к смыслу. Как сомнения не могли быть преодолены до конца, так и книга не могла быть завершена и представлена читателю. Автор скорее всего предпочел остаться со своими сомнениями, нежели сгладить их, предложив мнимо счастливую развязку. В этом, мне думается, причина фрагментарности, «несобранности» записок, вызывающих у читателя ощущение черновика, но в этом же и причина их жизненной достоверности.

Книга раненного сомнениями проповедника всякий раз обретала особую актуальность, когда происходила коренная переоценка духовных ценностей. Нам неизвестно, читал ли Аврелия Достоевский, но он внутренне близок автору «Размышлений» в постановке больших вопросов о смысле творения. Не случайно издатели последнего полного собрания сочинений Достоевского нашли аналогию между высказыванием капитана в романе «Бесы» («Если бога нет, то какой же я после того капитан?») и следующей мыслью Аврелия: «Уйти от людей не страшно, если есть боги, потому что во зло они тебя не ввернут. Если же их нет или у них заботы нет о человеческих делах, то что мне и жить в мире, где нет божества, где промысла нет?»

Традиционная трактовка Аврелия лишь как настойчивого и даже несколько монотонного проповедника нравственного самоусовершенствования обедняет его мысль. В начале XX века на Западе, да и у нас, наблюдалась демифологизация личности Аврелия, ставшего объектом пародий и шуток. Это вполне объяснимо недоверием новейшей культуры в условиях мировых катаклизмов к рецептам самоусовершенствования. Однако если в «Размышлениях» и встречаются пассажи, порожденные наивной антропологией античности, отрицавшей злою волю, следует признать, что Аврелий во многом способствовал созданию нравственного кодекса, сохранившего непреходящее значение до наших дней. Воспитание, по Аврелию, — это усвоение целой системы нравственных представлений: от «изящества нрава и негневливости» (о

чем автор пишет в первой же строке книги: кто из нас может похвастаться этими качествами?) до достойного поведения перед лицом смерти.

Разговор о книге будет неполным, если не сказать об Аврелии как писателе. Руководствуясь идеей: «Пусть не разукрашит твою мысль вычурность», — Аврелий тем не менее пользуется художественной силой слова. Его книга напоминает литераторам о том, что художественный дар не следует разменивать по пустякам, что метафора хороша лишь тогда, когда служит раскрытию мысли, а не просто составляется с другими метафорами в оригинальности. Жестокий аналитик, стремившийся сорвать с жизни обманчивое покрывало красоты и обесмыслить наслаждения (с тем чтобы ослабить власть жизни над собой), Аврелий видит в подливке или другой подобной пище «рыбий труп», в тоге с пурпурной каймой — «овечьи волосья, вымазанные в крови ракушки», а в физической любви такое, что осторожные переводчики долгое время не осмеливались и переводить. Он утверждает, что «все частичное по сравнению с естественным — одно зернышко, а по времени — один поворот сверла». Этот «один поворот сверла» выдает подлинного художника. Или взять, к примеру, его афоризм на тему философии страдания: «А что не делает человека хуже, может ли делать хуже жизнь человека?»

Словесное мастерство Аврелия открывается нам в новом переводе книги, выполненном А. Гавриловым. Переводчик поставил перед собой цель «попробовать дать точный в историко-филологическом отношении слепок памятника», передать вместе его философский, нравственный и литературный смысл. В отличие от своих предшественников А. Гаврилов настаивает на недопустимости «прояснения текста там, где он бывает неясен и для тех, кто вчитывается в него в оригинале», причем перевод не должен сглаживать «признаки минутного настроения, черты конспективности, которые иногда привлекают к нему больше, чем сознательные литературные усилия». Подобные теоретические установки нельзя не приветствовать, тем более что они воплотились в новом русском тексте памятника. Возражения может вызвать разве что излишняя лихость в осовременивании текста. Такие фразы, как «по-родственному мило», «не дергайся», «прежде всего, не дергайся, не напрягайся» или: «только как уж по-обывательски все это», рождены без учета воздействия на читате-

ля «милых» новейших жаргонных коннотаций

А Гаврилов не только перевел текст, но и написал наиболее интересную по материалу и размышлениям статью «Марк Аврелий в России». Говоря об особенностях русского восприятия книги, он замечает, что Марк Аврелий «стал символом царственного искателя истины, эмблемой сознающего свои несовершенства идеального монарха, парадигмой человеческой бесприютности в любом уделе». При этом, что любопытно, в русской традиции Аврелию как монарху придавалось определяющее значение. «...по характерной чувствительности ко всему неблагополучному, — тонко замечает исследователь, — у нас пронизательно были усмотрены и даже использованы в идейной борьбе некоторые ноты разлада в этой сложной личности». А. Гаврилов приводит письмо общественного деятеля В. Н. Каразина молодому Александру I, в котором, указывая на образец Марка Аврелия, Каразин призывает царя к «воспитанию в народе гражданского чувства на пути личных свобод». Однако Аврелий служил не только либеральной эмблемой. Будучи еще великим князем, Николай I, напротив, выделял в его книге места, где говорится о том, «сколько блага может сотворить добродетельный государь с твердым характером».

Русские писатели также очень по-разному представляли себе Аврелия. Пушкин решительно не согласился с Чаадаевым, для которого Аврелий был «всего лишь занятый образчик искусственного величия и вымученной добродетели». На нравственный опыт Марка Аврелия опирался в поздний период творчества Гоголь, хотя у него, по справедливому слову исследователя, «философская система и упорные

упражнения римского императора в жизненном освоении философской системы грозят превратиться в назидательно-утешительную проповедь». Это размышлений Аврелия слышится в религиозных сомнениях Тургенева. Но особенно важно влияние, которое оказал Аврелий на Толстого, на протяжении последних тридцати лет жизни усиленно читавшего его книгу и определившего ее как одну «из тех лучших книг, которые нам нечаянно оставляли люди». В своем обращении к Аврелию Толстой, сам того, видимо, не подозревая, позволяет выявить «бунтарские черточки» императора, его «неофициальный», загнанный, можно сказать, в подтекст лик.

А. Гаврилов не забывает указать на основную слабость отечественного восприятия «Размышлений»: «...Тревога мысли у Марка Аврелия занимала нас больше, чем сами его мысли». В результате «ни разу не возникла потребность издать подлинник, не говоря уж о комментированном издании, каких немало было на Западе». Здесь исследователь затрагивает действительно серьезную проблему, которая много шире темы «Размышлений».

Разногласия мнений о Марке Аврелии, переходящая порой в какофонию, понятна и неудивительна. Его книга — это сгусток экзистенциальных проблем, стоящих перед каждым мыслящим человеком, выход за пределы академической философии в «живую жизнь», столкновение противоположных жизненных принципов. Единственным условием познания Аврелия остается пристальное вчитывание в его текст. Только наедине с Аврелием внимательно читателю раскроются личность автора и его собственная личность.

Вик. ЕРОФЕЕВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



МИХАИЛ ШАТРОВ. Так победим! Шесть пьес о Ленине. М. «Искусство». 1985. 333 стр.

Почти тридцать лет напряженных творческих поисков отдал Лениниане Михаил Шатров. За эти годы им создано шесть пьес о Владимире Ильиче Ленине, о той прекрасной и яростной поре, имя которой — революция.

Первая пьеса М. Шатрова — «Именем революции» — была написана еще в 1957 году. В начале 60-х выходит вторая работа драматурга — «Шестое июля». В ней много фактографического материала — документов, телеграмм, газетных сообщений. Документальное начало стало доминантой, собственным почерком М. Шатрова во всей его последующей работе над образом Ленина. Художественные принципы, впервые примененные драматургом в «Шестом июля», в большей или в меньшей степени повлияли на поэтику других его пьес, в особенности на революционный этюд «Синие кони на красной траве» и «Так победим!». По сути, эти три пьесы внутренне сцеплены единым художественным замыслом — дать образ вождя революции в экстремальных жизненных и исторических ситуациях.

Все мы родом из революции — этот героико-романтический мотив пронизывает пьесу «Синие кони...», придает ей высокое эмоциональное звучание. Очень точно передана в пьесе обстановка первых лет революции, накал страстей, сшибка мнений. Подлинность происходящего подтверждается документами. Размышления Ленина о войне и мире, о нравственности и человечности, воспроизведенные М. Шатовым, чрезвычайно актуальны и сегодня. Драматургу удалось соединить историю и современность. В революционном этюде живая, убедительная речь Ленина, обращенная к молодежи, как бы спроецирована на день нынешний.

Этот прием «прямой проекции» еще более разработан в пьесе «Так победим!». Здесь сделана попытка раскрыть диалектику ленинской мысли. Анализ Лениным внутренней обстановки в стране, напряженные поиски путей выхода из кризисных ситуаций созвучны со сложными проблемами, стоящими перед нашим обществом сегодня.

Жизнь пьесы во многом определяется ее спеническим воплощением. Недавно московский театр «Современник» вновь обратился к пьесе М. Шатрова «Большевики», осуществив ее вторую постановку. В «Большевиках» автор часто использует средства образной характеристики, присущие прозе,

что, несомненно, расширяет его художественную палитру.

Несколько особняком стоит в сборнике пьеса «День тишины». Она (как, впрочем, и «Именем революции») менее всего вписывается в принятую М. Шатовым концепцию документальной драмы. Их можно отнести к своего рода творческому эксперименту.

Одновременно с выходом книги «Так победим!» на сцене театра имени Ленинского комсомола состоялась премьера спектакля по пьесе М. Шатрова «Диктатура совести».

Лениниана Михаила Шатрова продолжается... «Не так много найдется художников, о которых с полным основанием можно сказать подобное, — справедливо отмечает в предисловии к книге Николай Потапов. — Лениниана Шатрова — реальность нашей театральной жизни, нашего искусства. С завидной последовательностью и упорством ведет драматург художественное исследование великой темы, вовлекая в сферу своего творчества все новые и новые страницы биографии вождя, плодотворно экспериментируя в области жанровых форм. При чем работу эту он вершит не только на nive театральной драматургии, но и в кино, в художественно-документальной прозе».

Т. Лада.

Ташкент.



СЕРГЕЙ ДРОФЕНКО. Стихотворения. М. «Советский писатель». 1985. 159 стр.

В стихах Сергея Дрофенко нет внешних эффектов. Голос поэта звучит ровно, спокойно, не форсируется. Но при внимательном, вдумчивом чтении стихов явственно проступают свойства истинной поэзии: глубина чувства, искренность интонации, самобытность.

Но отчего же эта простота душевного смятения не прощсе? Что значит немота кленовой рощи, сиротство придорожного куста?

Есть грани между счастьем и бедой. Есть доброта и долг, восток и запад. Но как разъять на части этот запах сухого сена пополам с водой?

И говорит с прохожим тишина. И ширь как бы твердит ему родная, что осень для него очередная не будет, к счастью, слишком тяжелой...

Сергей Дрофенко прожил недолгую, но наполненную событиями жизнь. Тридцать семь лет вместили в себя многое. Детство, разорванное войной, годы оккупации в Приднепровье, послевоенная Москва, факультет журналистики МГУ, великие стройки Сибири 60-х годов, работа на радио и в журнале «Юность», где Дрофенко заведовал отделом поэзии. И каждый биографический факт так или иначе повлиял на становление поэта, отразился в его творчестве.

Тема войны, увиденной ребенком и осмысленной уже зрелым человеком, одна из основных в стихах Дрофенко:

И вновь припомнились солдаты,
 немая собственность земли,
 которые до майской даты,
 до мирной жизни не дошли.
 Смешались гордость, гнев и жалость,
 безлюдье ночи, гомон дня.
 И сердце дрогнуло и сжалось,
 забыв неволью про меня.

Порой о войне автором не сказано ни слова, но она как бы растворена в мирном воздухе стихотворения, задевая читателя отдаленными ассоциациями. Таково, например, стихотворение «Осень под Севастополем»...

В начале 60-х годов Сергей Дрофенко работал в многотиражке Западно-Сибирского металлургического комбината. Это, несомненно, позволило поэту расширить творческий кругозор, проникнуться духом гигантских сибирских новостроек. По свидетельству друзей, из Сибири он вернулся духовно повзрослевшим и творчески окрепшим.

Результаты не замедлили сказаться — в 1966 году вышла первая книга Сергея Дрофенко «Обращение к маю», которая представила читателю этого интересного автора. В 1972 году, когда поэта уже не стало, появились книги «Зимнее солнце» и «Избранная лирика», выявившие новые стороны его дарования. Стихи, вошедшие в сборники, объединены единой темой — темой сложной взаимосвязи человека с обществом и природой.

И вот прошли годы. В мире многое изменилось. Изменилось и восприятие поэзии Сергея Дрофенко. Как все живое, она вступила во взаимодействие с современностью, приобрела новое качество. И сейчас, когда в мире тревожно и неспокойно, искренний и чистый голос поэта вселяет в читателя ощущение оптимизма, указывает на существование незыблемых нравственных ориентиров, то есть звучит по-настоящему современно. Значит, Сергей Дрофенко занял достойное место в семье поэтов «хороших и разных».

Владимир Тучков.

Московская обл.



С. НИКОЛАЕВА. Анатолий Алексин. Очерк творчества. М. «Советский писатель». 1986. 247 стр.

В книге об известном писателе легко сбиться если не на банальную комплиментарность, то на аннотацию, обзор. Тем более что об Анатолии Алексине сказано

уже достаточно много. С критиком С. Николаевой этого не случилось. Много лет работающая в литературе для детей и юношества, С. Николаева не пошла в фарватере своих предшественников — исследователей творчества Алексина. Учитывая их мнения, она спокойно и вдумчиво рассматривает творчество Анатолия Алексина в контексте общего литературного процесса и предлагает свои — аргументированные, обоснованные — выводы.

Книга С. Николаевой об Алексине принадлежит к числу таких критических работ, которые являются очень личностными. Исследуемый писатель выбран автором осознанно, в силу глубоких симпатий и интереса к его творчеству, к тому, что она считает в нем корневым. Об этом заявлено с самого начала: «Что же отстаивает и что отрицает Анатолий Алексин? Отстаивает право человека на свой собственный мир, в котором главное — чувство ответственности за все, что было, что есть и что будет, право самому решать свою судьбу... А отрицает право одного духовно подавлять другого; право даже талантливого, одаренного на безнравственность и вседозволенность...» Эту генеральную идею творчества писателя, ее созревание и развитие критик рассматривает на протяжении всей творческой биографии Анатолия Алексина.

С. Николаева совершенно справедливо считает, что в центре произведений Анатолия Алексина — проблема выбора героями осознанной жизненной позиции. Здесь Алексин не одинок. Проблема эта волновала и волнует многих советских писателей, таких, как Ч. Айтматов, В. Астафьев, А. Адамович, В. Быков, В. Тендряков, Ю. Трифонов... Но особенность произведений Алексина в том, что они адресованы детям, подросткам, юношеству. При этом Анатолий Алексин не делает никаких скидок, пишет с той мерой прямоты, которая делает его книги интересными для читателей всех возрастов. Именно честность художника, полагает С. Николаева, — одно из главных условий развития литературы для юного читателя. Она пишет: «Достоинство современной литературы для юных определяется мерой доверия к своему герою, а через него — к читателю».

Эта «мера доверия» определяет и творчество Анатолия Алексина. Вот почему С. Николаева полемизирует с самим Алексиним, считающим, что написанное им разделяется на два периода: до и после 1965 года. Критик доказывает, что в обращении автора от героя-ребенка к герою-подростку и юноше нет никакого противопоставления, творчество писателя цельно. Ибо в его основе лежит мысль о неразделимости мира детей и взрослых.

Начиная с первой повести «Тридцать один день» герой Алексина вырос, он стал подростком, начал понимать, что окружающий его мир не так уж гармоничен; увидев вокруг себя горе, несправедливость, попытка разобраться в их истоках, в себе самом и, разобравшись, помочь людям. Критики давно указывали, что для героев Алексина характерно стремление к самоанализу, причем далеко не все видели в таком углубленном психологизме положительное начало. С. Николаева отнюдь не считает это недостатком. Она апеллирует к Белинскому,

назавшему самоанализ одним из «величайших моментов духа».

Для творчества Анатолия Алексина огромное значение имеет память. Это не только та память детства, которая важна для каждого писателя. Это, в первую очередь, память о своих корнях, о родине, о родителях — тема, звучащая в самых разных по сюжетам и направленности произведениях Алексина. Особенно она сильна в его повестях, составляющих своеобразную трилогию: «В тылу как в тылу», «Ивашов», «Сигнальщики и горнисты». С. Николаева цитирует слова Валентина Распутина: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у тот нет и жизни». И совершенно правильно соотносит с этой позицией творчество Анатолия Алексина.

Лев Разгов.



АНТОН ЛИГОВ. Со строкой наперевес. Афоризмы, шутки, каламбуры. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1985. 160 стр.

Это миниатюрное издание (обложка 8×6 см) возникло в результате творческого содружества новосибирского мастера микрожанра А. Лигова и художников Э. Гороховского и Е. Зайцева — авторов остроумных карикатур, иллюстрирующих текст.

Антон Лигов хорошо известен в советской афористике, знаком читателям по многим публикациям в периодической печати, а также сборникам «Семеро кратких» (1972) и «700 коротких строк» (1980). До сих пор он выступал в ансамбле. Здесь — впервые соло.

Немало остроумных миниатюр содержит книжка. Есть над чем и посмеяться и призадуматься. Вот несколько примеров.

«Защитил диссертацию по луговодству, а там хоть трава не расти».

«В связи с жалобами на недovesы дирекция приняла полумеры».

«Воздушные замки невесомы, только обломки их тяжелы».

«Через замочную скважину видят всегда больше, чем через раскрытую дверь».

«Мертвые схемы особенно живучи».

«Иногда самые протоптанные дороги ведут всего лишь к лазейкам».

«Труднее всего консерваторам: каждый раз приходится придумывать что-то новое, чтобы сохранить все по-старому».

У Антона Лигова есть афоризм: «Диплом позволяет ошибаться значительно увереннее», — но он почему-то не попал в сборник, как, впрочем, и многие другие яркие высказывания автора. Приведем здесь «забытую» миниатюру Лигова, которую можно отнести к числу наиболее удачных: «Постановили: снять фонари, а там видно будет».

Даниилу Гранину принадлежит прекрасный каламбур: «Из одних перлов состоит только перловая каша...» От этой неотразимой формулы не укрыться и А. Лигову. Некоторые высказывания, на наш взгляд, попали в книжку незаслуженно, так сказать, портят пейзаж: «Директор магазина головных уборов подбирает кадры по шапочному знакомству», «Где тонко — там и связи».

И все же в целом книга А. Лигова, без

сомнения, состоялась. Новосибирскому остроумцу особенно удается игра слов. Причем лучшие образцы построены на двуплановом обыгрывании фразеологизма — как единого целого с устойчивым переносным значением и как свободного сочетания слов с «вещественным» смыслом.

Александр Фюрстевберг.



РЕНЕ АНДРИЕ. Стендаль, или Бал-маскарад. Перевод с французского Ю. Гинзбург и А. Зониной. М. «Прогресс». 1985. 286 стр.

Ему было тесно и душно в провинции. В шестнадцать лет он удрал из Гренобля в Париж. Но и Париж разочаровал его. Жажда приключений, тщеславие и случай приводят его под знамена Наполеона. Затем — бесславное отступление из России и долгие месяцы физического и нравственного опустошения. Но вновь пробудившаяся потребность глотнуть свежего воздуха свободы и тяга к странствиям влекут его в путь. Он исколесил всю Италию и влюбился в Рим, где ему всегда будет дышаться вольнее, чем где-либо.

Все в его жизни свершалось вопреки его пылким устремлениям (или как раз в соответствии с его страстно-противоречивой натурой). Преклоняясь перед физической красотой, которой он одарил всех своих героев, сам он, по собственному признанию, обладал внешностью итальянского мясника и глубоко страдал от этого. Чрезвычайно влюбчивый, он до конца жизни оставался несчастливим в любви. Блистательно остроумный, он был до болезненности скрытен и застенчив. Мечтал о карьере, но отказывался пресмыкаться. У него не было ни жены, ни детей. Он умер от удара на одной из парижских улиц — под стать одинокому и бездомному бродяге. Пресса удостоила его некрологом из шести строк. Он сам предсказал себе такую смерть.

Не только это его предсказание сбылось. Заклейменный своими врагами как «очернитель» человеческой души, он верил, что его будут читать потомки. И его читают. Изучают, вдумываясь в каждое слово и скрупулезно анализируя богатейшее творческое наследие, полное до сих пор еще не разгаданных загадок.

Двухсотлетие со дня рождения Стендаля, отмечавшееся во всем мире в 1983 году, вызвало к жизни множество посвященных ему работ. Личность Стендаля, его судьба, неистребимое свободолюбие и воинствующий атеизм по-прежнему вызывают жгучий интерес. Не это ли наивысшая награда умершему в безвестности художнику, который сумел на века опередить свое время, оказаться человеком будущего и выступать сегодня союзником передовых сил в той непримиримой идеологической и классовой войне, которая ведется между миром труда и капитала? Вот почему столь удивившее многих во Франции обращение к творчеству Стендаля видного деятеля Французской коммунистической партии Рене Андриэ на самом деле совершенно закономерно.

Любовно, хотя порой и с тонкой дронией,

которую позволяют себе иногда по отношению к людям, чьи недостатки дороги не менее их достоинств, пишет исследователь о жизни, мятущейся душе Стендаля и его художественном даре. Но в первую очередь Рене Андрие выделяет те качества писателя, которые ему наиболее близки.

Что же это за качества? Это ненависть Стендаля к тирании, правящему сословию, духовенству и «гнусному балу-маскараду, именуемому светом». Отвращение к лицемерию, лакейству и сервильности («Разве ложь не является единственным прибежищем рабов?»). Неподкупность и стремление жить, не презирая себя. Не проходящая с годами страсть идти против течения. Симпатия к «восставшим плебеям» и «безумцам, мечтающим изменить мир». Неспособность Стендаля оставаться равнодушным к творимой на его глазах несправедливости.

Судьбы всех стендалевских героев переплетены с политическими событиями эпохи. Писатель не признавал вневременную литературу и литераторов, скрывающихся от жизненных бурь за стенами наглухо запертого дома.

Когда Стендаль умер, Марксу было двадцать четыре года. «И, однако, при всех различиях в масштабах гениальности, темпераменте, призвании между дилетантом погоны за счастьем и философом, возвестившим обществу будущее, поражает... — пишет Р. Андрие, — насколько анализ Июльской монархии, который мы находим в «Люсьене Левене» Анри Бейля, совпадает с анализом, данным Карлом Марксом в „Классовой борьбе во Франции“».

Это ли не ответ оппонентам Р. Андрие, пытающимся изображать Стендаля «лжеисториком»?

Н. Попова.



П. В. МОСКОВСКИЙ, В. Г. СЕМЕНОВ. Ленин в Италии, Чехословакии, Польше. М. Политиздат. 1986. 173 стр.

Почти пятнадцать лет Владимир Ильич Ленин вынужден был прожить в эмиграции. Первый период его заграничной жизни начался в 1900 году и продолжался до 1905 года — Ильич, вернувшись из шувенской ссылки, уехал из России, чтобы печатать революционную газету, идейно и организационно создавать марксистскую партию. Вторично Ленин эмигрировал по решению партийных органов в декабре 1907 года, после поражения в стране буржуазно-демократической революции. Он вернулся на родину лишь в апреле 1917 года.

Рецензируемая книга выпущена Политиздатом в серии «Памятные места». Она продолжает рассказ о жизни и деятельности вождя революции в эмиграции — на этот раз в Италии, Чехословакии и Польше.

Книга возвращает нас в тяжелые для партии годы. Первая русская революция потерпела поражение, наступил мрачный период реакции; многие не выдержали испытания временем, ушли из партии; ревизии стали подвергаться стратегия и тактика большевиков, философские основы марксизма; тормозили развитие рабочего движения ликви-

даторы, отзовисты, троцкисты, оппортунисты II Интернационала... От вождя революции потребовалась огромная теоретическая и организаторская деятельность, чтобы партия в столь напряженный момент истории не только выстояла, сохранив истинные марксистские позиции, а и окрепла, сплотилась на ленинской платформе и в октябре семнадцатого возглавила победоносную социалистическую революцию.

Как все это было? Мы знаем написанные Ильичем в эти годы труды — десятки статей, а также такие фундаментальные работы, как «Материализм и эмпириокритицизм», «Империализм, как высшая стадия капитализма», — но нам всегда будет интересно знать еще и то, в какой конкретной обстановке рождалась та или иная ленинская мысль, принималось то или иное организационное решение. Уже написаны десятки биографических книг о Ленине, посвященных, в частности, его заграничной жизни. Но, оказывается, есть еще детали жизни гения революции, о которых можно рассказать впервые. Авторы рецензируемой книги собрали эти детали в зарубежных архивах, из рассказов участников событий, о которых повествуется в книге, — с ними П. Московский и В. Семенов встречались во время специальных командировок по ленинским местам.

В книге три раздела. Первый посвящен борьбе В. И. Ленина с ликвидаторством и отзовизмом и их философским («обоснованием» — махизмом. Здесь рассказывается о том, как Ильич беспощадно разоблачал партийных литераторов, скатившихся в болото идеализма и ревизионизма, и как в то же время настойчиво боролся за возвращение в русло марксизма временно оступившихся, искренне заблуждавшихся. Среди последних, к особому беспокойству В. И. Ленина, был А. М. Горький, живший в те годы в Италии, на острове Капри. Дважды приезжал сюда вождь революции, «путь был неблизкий... в первом случае из Женевы, а во втором — из Парижа», читает в книге. Авторы замечают, что менее всего эти поездки «можно объяснить желанием отдохнуть, хотя на южном острове, да еще в обществе Горького, для этого были прекрасные возможности». Поездки эти нужны были Ленину для политической борьбы — борьбы, в частности, за Горького. И пролетарский писатель, как известно, под влиянием Ленина вскоре порвал с Богдановым и богдановщиной.

В центре второго раздела книги, посвященного пребыванию Ленина в Чехословакии, одно из крупнейших событий в истории нашей партии — VI (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП. Авторы в деталях прослеживают, как готовилась конференция, как выбиралось помещение для нее, как соблюдалась конспирация... Представителю себе все это авторам позволили не только ранее опубликованные документы и воспоминания, но и, в частности, встреча в 1956 году с приматором (мэром) Праги доктором Вацлавом Вацеком, помогавшим в 1912 году российским революционерам провести тайную конференцию.

Для более действенного руководства нарастающим в России революционным движением Ленин в июне 1912 года переехал в

Краков. Город этот, находившийся тогда под властью австро-венгерской монархии, стоял вблизи от русской границы. Как жил и работал здесь Ильич до осени 1914 года — до отъезда в Швейцарию, — рассказывает третий раздел книги.

Обогащают это строго документальное произведение фотографии и опубликованный в приложении перечень памятных мест, связанных с пребыванием В. И. Ленина в Италии, Чехословакии и Польше.

В. Григорьев.



НИКОЛАЙ ИВАНОВ. Встречи в ГДР. М. Политиздат. 1985. 271 стр.

Многие немецкие патриоты в сложных условиях вели подпольную борьбу с фашизмом, пытались приблизить день и час его краха. А когда Красная Армия вышла к границам Германии, подпольщики, узнав, что Гитлер приказал своим войскам при отступлении все уничтожать, вступили в неравную, рискованную борьбу за сохранение заводов, фабрик, электростанций, культурных ценностей. За это же боролись и передовые, специального задания, части наших войск. Примеров тому в книге Н. Иванова много.

Берлинскую электростанцию Клингенберг спасали от взрыва советские саперы и местные антифашисты Альфред Вюлле и Дитрих Ёрош. Командир дивизии полковник Шишков, выслушав перебежавших ночью антифашистов, выслал по указанному ими проходу штурмовую группу. Буквально за несколько секунд до того, как эсэсовский офицер положил руку на рубильник, советский сержант, под ураганным огнем пробравшийся к электростанции, перерубил кабель, не подозревая, конечно, что угроза взрыва уже была предотвращена Альфредом и Дитрихом...

В течение нескольких месяцев советские военнопленные и антифашисты Мансфельда прятали статую Ленина, вывезенную фашистами из подмосковного Пушкина. При первых выстрелах приближающихся советских частей они установили этот памятник на площади немецкого города...

Из книги читатель узнает, какие люди взялись за строительство новой жизни в Германии, что они пережили, чем доказали свою преданность делу. Автор выбрал, на мой взгляд, удачные формы для передачи увиденного. Пережитого им самим: это короткие рассказы, очерки, емкие статьи.

Не обойден в книге и факт большой безвозмездной помощи, которая была оказана немцам советскими людьми, нашим государством в первые годы после войны: сотни комбайнов и тракторов, 14 миллионов учебников, отпечатанных для немецких школьников и студентов к весне 1947 года в советских типографиях, тысячи специалистов, помогавших возрождать и восстанавливать металлургию, машиностроение, многие другие отрасли народного хозяйства. Страницы об этих событиях, уже ставших историей, вызывают не меньший интерес, чем экскурсии автора в более далекое прошлое. Читатель узнает, например, что уже в

1923 году в Германии возникло Общество друзей Советского Союза и тогда же немцы одними из первых направили в Россию эшелон с продовольствием. А еще раньше, значительно раньше в германском городе Фрейберге дважды побывал Петр Первый. Как свидетельствует летопись, «площадь перед ратушей освещали 2000 горняцких лампочек». Маленькая гостиница, где останавливался царь, интересовавшийся горным делом, и сегодня называется «Петерсхоф». Напротив «Петерсхофа», на доме, где спустя тридцать лет жил другой известный русский, установлена доска: «Здесь работал и учился М. Ломоносов...»

Исторический фон, которым, кстати, автор нисколько не злоупотребляет, не мешает увидеть сегодняшний день ГДР — наоборот, на нем ярче видны достижения социализма в стране. Вместе с героями очерков читатель пройдет дорогами развития химической, автомобильной, судостроительной промышленности, науки и культуры. Я бы назвал книгу Н. Иванова широкоформатной, вкладывая в это слово свой смысл. Автор встречается с рабочими самых разных специальностей, с хозяйственными и партийными работниками на заводах, фабриках, в министерствах, на полях, в шахтах, с учеными, с молодыми людьми и ветеранами антифашистского движения, установления народной власти в ГДР, с представителями творческой интеллигенции (например, с писательницей Рут Вернер, которая в годы фашизма работала с Рихардом Зорге, являясь его связной). К этому следует добавить географию встреч (Берлин, Росток, Шверин, Висмар, Мекленбург, Потсдам, Котбус, Дрезден, Карл-Маркс-Штадт, Галле, Лейпциг, Зуль плюс десятки средних и маленьких городов). Перед читателем встает панорама современной ГДР с ее людьми и их жизнью, с маленькими и большими повседневными заботами, с постоянно рождающимися и решаемыми изо дня в день проблемами.

Григорий Резниченко.



Т. В. ВАСИЛЬЕВА. Афинская школа философии. Философский язык Платона и Аристотеля. М. «Наука». 1985. 160 стр.

Споры в этой книге ведут не только люди: Сократ и его ученики, Платон и Аристотель, — но и точки зрения, сложившиеся в науке об античности. Сейчас, например, бытует представление, что у Сократа платоновских диалогов, по сути, нет достойных собеседников, ответствующие ему — лишь «мальчики для битья», и говорить следует не о диалогах, а о внутренней речи самого Сократа, который спорит сам с собой. Т. Васильева не упоминает об этой точке зрения, но как бы невзначай, изнутри материала возражает на нее: «...Сократ прежде всего спрашивает: скажи, что видишь, или хотя бы согласишься с тем, что скажу я. Пусть собеседник отвечает монотонными утверждениями: да, я согласен, конечно, разумеется, я и сам так думаю, ты в одно слово со мной — но без этих реплик беседа Сократа попросту те-

ряет всякий смысл. Пусть душа человеческая — потемки для Другого, но она... должна увидеть свой внутренний свет и узнать, что свет этот — не единственный в своем роде, а общий всему роду человеческому».

Что же все-таки такое афинская школа? Какими временными рамками она ограничена? Почему вот уже почти два с половиной тысячелетия на нее оглядываются как на непревзойденный образец философского мышления? Ответы на эти вопросы требовали особой сосредоточенности. И Т. Васильева, кажется, сумела найти в своей книге верный тон и соблюсти меру «ответственного отношения к правде мысли».

Речь идет здесь о философии, которая только-только начинала быть. В IV веке до н. э. ей лишь предстояло «изобрести» свой собственный язык, отличный от языка поэзии или рынков, языка официальных документов или мастерских. Это было тем более трудно, что подобная работа шла «внутри бурно развивающейся словесности». Гомер, казалось, уже вместил в свои гекзаметры всю греческую жизнь, Ксенофонт создал образцы простой и изящной речи, Геродот и Фукидид восславили музу Клио, а в театре Диониса состязались Софокл и Еврипид. К философии афиняне относились подозрительно: не случайно Анаксагору пришлось бежать из города, а Сократу вышить чашу цикуты. Однако в жизни греческих общин, пишет автор, наступил момент, когда опыта отцов и примеров сограждан стало не хватать, — ведь человеческая жизнь коротка. Важно было найти образец — эйдос, единую общую форму для множества вещей: мало знать, какие бывают птицы, дома или деревья, — хорошо бы еще и понять, что есть дом вообще, птица вообще или дерево вообще. Это и стало предметом внимания философии. Единое и многое, общее и частное, копия и образец, материя и форма — сейчас эти понятия для нас привычны, а когда-то они только перекочевывали в философский обиход. Перекочевывали — откуда?

Отвечая на этот вопрос, автор строит три образа философии, возникшие в той, условно говоря, профессиональной среде, которая воспитала трех китов афинской школы — Сократа, Платона и Аристотеля.

Сын каменотеса, Сократ вырос в ремесленной мастерской, работал в ней и знал цену мастерству. Именно в мастерской ремесленник (по-гречески — демиург) трудится над самой обыкновенной вещью, держа в уме ее совершенный образец — эйдос.

А как быть человеку, который желает с помощью философии узнать эйдос совершенной добродетели? Для этого надо выйти из ремесленной мастерской («из пещеры») на солнечный свет, «отвлечься от принижающего несовершенства повседневности», ибо «истинная мудрость — в отвлечении». Так рождается второй образ философии, связанный с образованным аристократом и государственным мужем, потомком царей Платоном.

Однако отвлечение от повседневности переходит в отвлечение от жизни вообще. Сын потомственного врача Аристотель стремится осветить жизнь светом философской мудрости. Это третий образ философии — образ освещенного здания, помогающий увидеть в картине мира существенные и эфемерные черты, различить, как совершенство эйдосов просвечивает в случайных чертах наличного бытия. Все сущее, по Аристотелю, требует определения (суть философии). А определение подразумевает почтение и к эмпирии, и к мудрости творца, создающего образцы для новых вещей. Творец же этот назван демиургом.

Круг замкнулся.

Философия, как показывает Т. Васильева, превратилась в демократичнейшее занятие: она не только заимствовала у демоса народа свой словарь, но и соединила в одно целое представителей разных — снизу доверху — сословий афинского общества.

С. Неретина,
кандидат философских наук.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин, КПСС о социалистической законности и правопорядке. Изд. 2-е, доп. 637 стр. Цена 1 р. 30 к.

В. Авдеевский, А. Рудев. «Звездные войны» — безумие и преступление. 222 стр. Цена 75 к.

Н. Ковальский. Империализм. Религия. Церковь. 271 стр. Цена 40 к.

Н. Кузьмин. Огненная судьба. Повесть о Сергее Лазо. («Пламенные революционеры») 377 стр. Цена 1 р. 30 к.

Р. Фиш. Спящие пробуждятся. Повесть о Бедреддине Симави. («Пламенные революционеры») 409 стр. Цена 1 р. 30 к.

Ф. Гарсиа Лорка. Избранные произведения. В 2-х тт. Перевод с испанского. Т. 1. Стихи. Театр. Проза. 479 стр. Цена 2 р.

М. Дудин. Книга лирики. 679 стр. Цена 2 р. 40 к.

С. Лагерлеф. Перстень Левеншельдов. Шарлотта Левеншельд. Анна Сверд. Романы. Перевод со шведского. 552 стр. Цена 2 р. 90 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

К. Воробьев. Крик. Вот пришел великан... Повести. 478 стр. Цена 2 р.

Л. Лавлинский. Знак Козерога. Стихотворения. 142 стр. Цена 60 к.

И. Науменко. Прощание в Ковальцах. Повесть, роман. Перевод с белорусского. 536 стр. Цена 2 р. 30 к.

Р. Рождественский. Другьям. Стихи. 96 стр. Цена 35 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ф. Искандер. Праздник ожидания праздника. Рассказы. 480 стр. Цена 1 р. 90 к.

Г. Узбер. Гостиница «Большой бизон». Роман. Перевод с английского. 319 стр. Цена 1 р. 30 к.

К. Федин. Первые радости. Роман. повесть, рассказы. 446 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Халатов. Мы снимаем мультфильмы. («Мир твоих увлечений») 159 стр. Цена 15 к.

ВОЕНИЗДАТ

Г. Карау. Двойная игра. Роман. Перевод с немецкого. 326 стр. Цена 2 р. 30 к.

Обычные приключения. Повесть, рассказы. Перевод с чешского. 256 стр. Цена 1 р. 70 к.

И. Симанчун. НИГ разгадывает тайны. Хроника ежедневного риска. 175 стр. Цена 45 к.

А. Шевченко. Под звездами. Повесть, роман. 512 стр. Цена 2 р. 30 к.

«СОВРЕМЕННОК»

С. Крутилин. Косой дождь. Повесть. 109 стр. Цена 40 к.

Г. Машкин. В зоне вечной мерзлоты. Повесть. 304 стр. Цена 1 р. 40 к.

З. Паперный. Стрелка искусства. 254 стр. Цена 90 к.

В. Чалмаев. Иван Тургенев. («Любителям российской словесности») 398 стр. Цена 1 р. 10 к.

«РАДУГА»

М. Бенедетти. Передышка. Спасибо за огонь. Весна с отколотым углом. Романы. Рассказы. Перевод с испанского. («Мастера современной прозы. Уругвай») 528 стр. Цена 3 р. 80 к.

П. Вежинов. Измерения. Повести. Перевод с болгарского. 320 стр. Цена 2 р.

А. Мурти. Самскара. Повесть. Перевод с английского. 120 стр. Цена 70 к.

«НАУКА»

С. Кочуркина. Корела и Русь. («История нашей Родины») 143 стр. Цена 50 к.

Религии мира. История и современность. Ежегодник. 300 стр. Цена 1 р. 70 к.

Л. Федорова. Африканский танец. Обычай, ритуалы, традиции. 128 стр. Цена 55 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Богданов. Лабиринт сцеплений. Введение в поэтику и проблематику чеховской новеллы, а шире — в искусство чтения художественной литературы. 142 стр. Цена 45 к.

Н. Дмитриева, Н. Виноградова. Искусство Древнего мира. 207 стр. Цена 3 р.

С. Соловейчик. Час ученичества. 383 стр. Цена 1 р.

Ф. Шиллер. Кубок. Избранная лирика. Перевод с немецкого. 158 стр. Цена 45 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Т. Зульфикаров. Охота царя Бахрам-Гура Сасанида. Поэмы. стихотворения. Душанбе. «Ирфон». 384 стр. Цена 1 р. 90 к.

Г. Корнилова. В сторону Садового кольца. Рассказы. «Московский рабочий». 175 стр. Цена 75 к.

М. Костров. За счастьем на озеро Дулово. Очерки. Лениздат. 159 стр. Цена 45 к.

К. Циолковский. Грезы о земле и небе. Научно-фантастические произведения. Составитель Ю. Медведев. Тула Приокское книжное издательство. 448 стр. Цена 2 р. 50 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Свирцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Зальгин**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. Н. Крупин, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806 ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29

Сдано в набор 25.08.86 г. Подписано к печати 10.10.86 г. А 10662.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.)
26,98 уч. изд. л.

Тираж 414.000 экз. (1-й завод 1 — 200 000 экз.). Зак. 3033

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798. Москва К-6. Пушкинская пл. 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Свирцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1986, № 11, 1—272.